

ТИПОЛОГИЯ АЗИАТСКИХ ОБЩЕСТВ

О. Е. НЕПОМНИН
Н. А. ИВАНОВ



УДК 94(5)
ББК 63.3(5)
Н53

Непомнин О.Е.

Типология азиатских обществ / О.Е. Непомнин, Н.А. Иванов ;
Ин-т востоковедения РАН. — М. : Вост. лит., 2010. — 440 с. —
ISBN 978-5-02-036429-5 (в пер.)

В книге анализируются региональные и страновые модели типов общественных структур, рассматриваются сценарии исторического развития, системы, механизмы и варианты социальной эволюции стран Востока. В первой части работы показаны коренная противоположность и историческое противостояние между западноевропейской и традиционными восточными моделями Средневековья и Нового времени. Во второй части характеризуются восемь азиатских моделей традиционных обществ: арабско-османская, китайская, японская, индийская, вьетнамская, малайская, индо-китайско-яванская и степная. Заключение посвящено синтезу западной и восточных моделей как господствующему варианту модернизации Востока.

Научное издание

Непомнин Олег Ефимович
Иванов Николай Алексеевич

ТИПОЛОГИЯ ВОСТОЧНЫХ ОБЩЕСТВ

Утверждено к печати Институтом востоковедения РАН

Редактор *З.М. Евсенина*. Художник *Э.Л. Эрман*. Технический редактор *О.В. Волкова*
Корректор *Е.И. Крошкина*. Компьютерная верстка *Е.А. Пронина*

Подписано к печати 19.05.10. Формат 60×90¹/₁₆. Печать офсетная

Усл. п. л. 27,5. Усл. кр.-отт. 28,0. Уч.-изд. л. 27,8

Тираж 400 экз. Изд. № 8380. Зак. № 1246

Издательская фирма «Восточная литература» РАН

127051, Москва К-51, Цветной бульвар, 21

www.vostlit.ru

ППП "Типография "Наука"

121099, Москва Г-99, Шубинский пер., 6

© Непомнин О.Е. (ч. I, гл. 1–3;
ч. II, гл. 2–4, 6, 7; Заключение), 2010

© Иванов М.Н., Иванова И.Б.

(Введение; ч. I, гл. 4, 5; ч. II, гл. 1), 2010

© Редакционно-издательское оформление.

Издательская фирма

«Восточная литература» РАН, 2010

ISBN 978-5-02-036429-5

Часть I

*Противостояние
западной
и восточной
моделей*



ПРЕДИСЛОВИЕ

Проблема типологического многообразия традиционной и современной Азии не одно десятилетие привлекала внимание российских востоковедов. Большой вклад в комплексное изучение этого вопроса внес известный индолог профессор Л.Б. Алаев. В 1974 г. им была составлена «Анкета для изучения типологических черт средневековых обществ Востока». На ее базе в следующем году прошла научная конференция «Типология развитого феодализма в странах Востока». Он же в 1982 г. издал сборник статей «Типы общественных отношений на Востоке в средние века», который открывался его статьей. В ней был обобщен и систематизирован комплекс материалов, полученных при ответах сорока двух ученых на вопросы анкеты 1974 г. Все эти данные рассматривались в рамках дихотомии «Запад–Восток». Тем самым ставился вопрос о соответствии (или несоответствии) «восточного феодализма» его западному варианту как классическому эталону феодальной модели. Восток оценивался по степени приближения (или удаления) к западным, т.е. «типично феодальным формам» организации общества и выраженности феодальных черт. Среди работ, написанных в этом ключе, крайне важны статьи Л.А. Седова и Л.Б. Алаева (см. Библиографию). Позиция последнего наиболее полно отражена в работе «Восток в мировой типологии феодализма. Восточный феодализм» (История Востока. Т. II. Восток в средние века. Гл. VI). Все это способствовало дальнейшему изучению указанной проблемы в нашей стране.

Начало же более глубокому изучению типологии традиционных социумов Востока положил выдающийся ученый-арабист профессор Н.А. Иванов, опубликовав статью «О типологических особенностях арабо-османского феодализма» (Народы Азии и Африки. 1978, № 3). Если до этого указанная проблема ставилась лишь в рамках дихотомии (или антитезы) «Восток–Запад», то Н.А. Иванов фактически заложил фундамент для создания целостной системы регионально-страновых моделей традиционного Востока, т.е. «внутренней типологизации» стран средневековой Азии.

Очередным этапом на этом пути явились изданные в 1996 г. Л.Б. Алаевым и А.В. Коротаевым «Историко-социологическая анкета»

и их совместная статья в сборнике «Сравнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход)». М., 2000. Все отмеченные публикации в этой области дали свои плоды в последующих исследованиях российских востоковедов и для авторов данной книги послужили отправной точкой при создании общей картины типологии стран традиционной Азии.

При написании этой работы О.Е. Непомнин и Н.А. Иванов сделали основной акцент не на фактологию и конкретику, а на аналитическое начало при сочетании регионального и страноведческого подходов и системного видения материала. Авторы сознательно обошли типологизацию обществ Тропической Африки и учли лишь страны Магриба. В книге исследуются модели традиционных обществ Востока как результат средневековой эволюции, приведшей к периоду, когда они вступили в русло Нового времени.

В первой части работы дается общая картина типологического противостояния Запада и Востока в эпоху Средневековья. Речь здесь идет об особенностях общественного строя и цивилизаций Востока, а также о причинах застоя в азиатском традиционном мире.

Во второй части анализируются восемь азиатских моделей. Это арабо-османская, китайская, японская, индийская, вьетнамская, малайская, индокитайско-яванская и степная модели. Главы, описывающие их, основаны на применении сравнительно-исторического метода. Речь идет о противопоставлении друг другу различных восточных моделей при сравнении их с западным типом общественной эволюции и структуры. В наше время крайне важны теория и практика перехода от одной модели к другой. Пионером такого перехода от азиатского способа производства к феодализму и к западной модели стала средневековая Япония, вступившая на этот путь уже в XII–XIV вв. Новейшее время дало целый ряд примеров смены традиционного общества капиталистическим. Речь идет о таких трех «азиатских драконах», как Южная Корея, Тайвань и Сингапур. К ним же примыкает и Гонконг (Сянган) в Китае. В данной работе рассмотрен только один вариант подобной смены модели, а именно тайваньский.

Основным автором и инициатором этого издания является китаевед доктор исторических наук, профессор Олег Ефимович Непомнин. Его перу принадлежат главы 1, 2, 3 части I, 2–4, 6, 7 части II и Заключение.

Другим автором книги является безвременно ушедший из жизни выдающийся востоковед-арабист Николай Алексеевич Иванов (1928–1994). Будучи первоклассным ученым, профессор Н.А. Иванов прославился и как талантливый преподаватель. Его лекции вызывали огромный интерес и получили высокую оценку студентов Института стран Азии и Африки при МГУ и Восточного университета при Ин-

ституте востоковедения РАН. В этой книге он представлен как автор Введения и глав 4, 5 части I и главы 1 части II.

Данная книга во многом создана усилиями арабиста кандидата исторических наук Наталии Максовны Горбуновой — ученицы и последовательницы Н.А. Иванова. Ею же в 2005 г. был восстановлен и издан курс лекций по всеобщей истории профессора Н.А. Иванова. Кроме того, она же составила и подготовила к печати вышедший в 2008 г. сборник трудов Н.А. Иванова по истории исламского мира.

В предлагаемом читателю издании очень ценная глава по типологии традиционных обществ Юго-Восточной Азии (вьетнамская, малайская и индокитайско-яванская модели) принадлежит перу известного ученого-востоковеда профессора В.А. Тюрина, за что приносим ему искреннюю благодарность.

Внимательный читатель заметит различия в оценке авторами формационной природы традиционного Востока. Если О.Е. Непомнин считает эту формацию «азиатским способом производства», то Н.А. Иванов и В.А. Тюрин оценивают ее как «восточный феодализм». Мы сочли возможным сохранить это терминологическое различие, ибо о терминах не спорят, а договариваются. Поскольку сами авторы такой унификации не осуществили, мы выносим этот терминологический спор на суд читателя. Пусть сам читатель для себя вырабатывает самостоятельный взгляд на проблему формационной природы традиционного Востока. Здесь же отметим, что наиболее полное обоснование концепции «азиатского способа производства» дано в работах крупнейшего синоведа доктора исторических наук, профессора Л.С. Васильева. Наиболее активным сторонником концепции «восточного феодализма» выступает доктор исторических наук, профессор Л.Б. Алаев.

Время показало, что затянувшийся спор между сторонниками «восточного феодализма» и приверженцами «азиатского способа производства» зашел в тупик и дальнейшее продолжение дискуссии бесперспективно. Требуется новый подход к решению этой проблемы. В связи с этим авторы данной монографии ищут выход на основе, если угодно, «расчленения» единого Востока как некоего целостного организма на составные части по типологическому признаку — той или иной страны или региона. Речь идет о выделении присущей им индивидуальной модели традиционного общества. В ходе своих изысканий авторы вычленили восемь таких моделей, которые покрывают все основные регионы средневековой Азии. Они либо противостоят западноевропейскому типу, либо совпадают с ним. Тем самым лобовое противопоставление «Азия—Европа» заменяется рассмотрением реального соотношения различных моделей внутри самого традиционного Вос-

тока. В работе показаны два варианта реакции традиционных моделей Азии на воздействие со стороны капиталистического Запада в Новое и Новейшее время. При этом одни восточные модели переходят на рельсы западного типа развития со сменой старой модели на новую. Другие же страны и регионы, по видимости, сохраняют средневековую модель, но в рамках синтеза традиционного и современного начал.

Книга будет полезна также для историков, экономистов, культурологов, социологов, специалистов-востоковедов, преподавателей вузов и школ, равно как и для всех тех, кто интересуется историей Востока.

Ответственный редактор — доктор исторических наук, профессор А.Л. Рябинин.

Редактор-составитель — кандидат исторических наук, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН Н.М. Горбунова.

ВОСТОК И ЗАПАД В РУСЛЕ ВСЕМИРНОЙ ИСТОРИИ

В истории человечества действуют два, казалось бы, взаимоисключающих принципа. Первый гласит: мир един, а его прошлое есть цельный и неделимый общемировой поток. Суть второго иная: мир есть дихотомия «Запад–Восток» в их явном различии и взаимном противопоставлении. Между тем оба принципа не только сосуществуют, но и сливаются в русле всемирной истории. Последняя есть диалектическое единство противоположностей: человеческая история едина в своей разнородности. В силу этого история Востока и эволюция Запада — неотъемлемые слагаемые общемирового процесса восхождения народов, стран и регионов по ступеням прогресса. Каждый из этих субъектов истории имеет свою специфику развития, а изучение их опыта является ценным само по себе. Другой стороной этой «медали» служит взаимосвязь, обоюдное влияние, обмен историческим опытом и достижениями. Из этих двух начал и складывается историческая эволюция этносов, социумов, государств и цивилизаций, определяется их место в общемировом историческом процессе. Дабы получить ключ к пониманию специфики эволюции Запада и Востока, обнаружить особый код развития каждого, надо проследить их прошлое во взаимном сравнении. В таком сопоставлении становятся объяснимыми как общие закономерности, так и особенности. Историческая специфика Востока и Запада выявляется в русле сравнительно-исторического метода изучения (компаративистики). Таким образом, история Востока выступает в двух различных, но взаимосвязанных ипостасях: как самостоятельная самоценная величина и как часть всемирно-исторического процесса. Без анализа исторического опыта Востока невозможно создать ни одной сколько-нибудь перспективной функционально устойчивой теории всемирно-исторического развития. Речь идет в первую очередь о формационной концепции и цивилизационном подходе.

Наша основная задача — показать единство человечества и многообразие путей исторического развития, а также дать представление об особенностях древних и новых цивилизаций Востока, их месте в истории человечества.

В настоящее время все большее внимание привлекает цивилизационный подход к истории, т.е. теория культурно-исторических типов (или цивилизаций), основывающаяся на научном наследии Н.Я. Данилевского (1822–1885), О. Шпенглера (1880–1936) и А. Тойнби (1889–1975). Данная концепция ориентируется на локальные процессы, которые протекали весьма различно в разных регионах и даже странах Востока. В самом общем виде их специфика может быть сведена к особенностям, производным от религиозно-цивилизационного фундамента. Этот последний был особым, отличным от других и в исламском, и в индо-буддийском, и в дальневосточно-конфуцианском, и в африканском мире.

Понятие «цивилизация» определяет структуру человека как личности и вытекающую отсюда нормативную базу, формирующую экономические, социальные, политические и другие отношения в обществе.

В современной литературе термин «цивилизация» имеет несколько значений. Иногда он употребляется просто как метафора — говорят о «капиталистической» или «индустриальной» цивилизации, о технологической, аграрной и т.п. Иногда объединяет понятия материальной и духовной культуры, иногда только материальной (в стиле О. Шпенглера). В историографии, особенно прошлой, он широко использовался для противопоставления первобытных и исторических обществ, «варварства» и «цивилизации», говорили о возникновении «цивилизации», когда в данном регионе или этносе появлялись государственность, письменность и высокая культура. Раз эти понятия есть — они имеют право на существование. В данном случае нас интересует другое, а именно понятие «цивилизации» как культурно-исторического типа. Речь идет о концепции, которую в основных чертах разработал Николай Яковлевич Данилевский («Россия и Европа», впервые изд. в 1869 г.). Из нее исходили Освальд Шпенглер в своем «Закате Европы», Н.А. Бердяев и другие представители русской классической философии, анализировавшие особенности исторической судьбы России. Эта концепция после Второй мировой войны получила широкую известность благодаря Арнольду Тойнби, его 12-томному «Исследованию истории».

В соответствии с этой концепцией цивилизацию как культурно-исторический тип можно определить как стиль или способ жизни, свойственный крупной человеческой популяции, которая руководствуется своим комплексом знаний, своей философией жизни и признает авторитет собственной системы ценностей. В соответствии с этими ценностями и знаниями страны и народы, входящие в цивилизацию или составляющие ее, стремятся строить свою жизнь, свои социальные и политические институты. Каждая цивилизация имеет свою

мифологию и культурно-историческую традицию. Каждой из них присущ особый тип культуры с собственной концепцией жизни и человека. Являясь целостной системой, каждая цивилизация выступает в качестве детерминанта своих частей, в частности экономики. Поэтому у каждой цивилизации существует свой собственный способ производства, свои экономические структуры, т.е. совокупность социальных условий, в которых протекает хозяйственная деятельность человека.

Цивилизация — это очень устойчивая структура. Н.Я. Данилевский толагал, что цивилизации неизменны, развиваются по своим внутренним законам, и даже утверждал, что в принципе нельзя перейти с одного цивилизационного пути на другой. Цивилизация не может измениться, может только погибнуть. Правда, Тойнби дал более гибкий подход, разработав схему преемственности цивилизаций, когда разложившаяся цивилизация выступает в качестве субстрата для возникновения одной или нескольких новых цивилизаций. Каждая из них проходит стадии роста, упадка и разложения.

При возникновении новых цивилизаций особое значение имеет новый господствующий класс и его идеология, а также адаптационные возможности цивилизаций, т.е. эффективность, действенность механизма «вызов—ответ». В целом проблема развития и упадка цивилизаций не решена. Столь же спорным является вопрос о критериях и, соответственно, о количестве цивилизаций. Этот вопрос не принципиальный, хотя его больше всего любят критики теории цивилизаций.

Перечислим основные цивилизации Нового времени (в пределах темы данного издания).

В раннее Средневековье сформировались цивилизации: китайско-конфуцианская, индусская, западноевропейская. Затем: индо-буддийская цивилизация Юго-Восточной Азии (ее иногда рассматривают как цивилизационный субрегион индусской цивилизации), исламская, или рабo-мусульманская, японская, ламаистская, русско-православная (или восточноевропейская).

Характеристика каждой из цивилизаций — это отдельная задача, выходящая за рамки настоящей книги. Отметим лишь, что цивилизации очень сильно различаются между собой по линии соотношения «человек — общество — государство». Религия при этом имеет второстепенное значение и сама изменяется под влиянием цивилизационного субстрата. Последний момент следует особо подчеркнуть, поскольку очень широко распространены представления о совпадении и даже идентичности цивилизаций и конфессиональных общностей. На самом деле это далеко не так. Еще Н.Я. Данилевский отмечал, что «религия — понятие, подчиненное цивилизации». Например, христианство, едва возникнув, стало распадаться по границам цивилизационных регионов.

со временем приняв форму католичества, православия и нехалкидонского христианства, довольно быстро эволюционировавшего и перешедшего в ислам. Фактически то же самое произошло с буддизмом, разделившимся на три направления: хинаяна, махаяна, ваджраяна.

Что касается мусульман Поволжья, Юго-Восточной Азии и Черной Африки, то их стиль жизни, их цивилизационный облик значительно отличаются как друг от друга, так и от цивилизационной сущности жителей арабо-мусульманского цивилизационного региона.

В связи с теорией цивилизаций следует выделить понятие о тупиковых (the arrested) и реликтовых цивилизациях, т.е. цивилизациях, которые не развиваются или отстали в своем развитии. А. Тойнби в качестве примеров реликтовых приводит полинезийскую и эскимосскую цивилизации, в качестве тупиковой — османскую как завершающий этап арабо-мусульманской цивилизации. Но само понятие об отсталости, остановке или замедленном развитии является очень относительным, не вытекает из самой сущности цивилизации и может быть понято только на фоне мировой истории и только на уровне мирового исторического развития, и то лишь если его измерять по высшим точкам мирового развития.

Для истории Азии суть проблемы сводится к выявлению и детальному изучению специфики трех великих цивилизаций Востока — мусульманской, индийской и китайской. Каждая из них сыграла весомую роль в истории многих народов на протяжении тысячелетий и продолжает активно влиять на судьбы современных народов Востока. Темпы и формы модернизации, которые демонстрируют ныне различные страны Азии и Африки, непосредственно зависят от того, какой цивилизационный фундамент заложен в их основе. В русле этой концепции лежат проблемы как дихотомии «Восток–Запад», так и отдельных цивилизаций Азии, включая их технологические, религиозно-философские и социально-этнические аспекты.

Особое место занимает комплекс культурно-исторических проблем «Россия–Восток». Данный блок проблем предлагает сравнительно-исторический анализ и культурно-историческую типологию Евразии как исторического субстрата восточноевропейской цивилизации. Сюда же примыкает анализ хозяйственных структур, менталитета, социально-политических институтов, идеологии и культуры тех народов Востока, которые нашли непосредственное отражение в истории России. Здесь уместен двойкий подход к истории восточных народов России и сопредельных стран — и как самостоятельных объектов исследования, и как интегральной части историко-культурного пространства восточноевропейской и иных восточных цивилизаций.

Часть I

*Противостояние
западной
и восточной
моделей*



**ВОСТОК И ЗАПАД
НА РУБЕЖЕ СРЕДНЕВЕКОВЬЯ
И НОВОГО ВРЕМЕНИ
(XVII–XVIII вв.)**

«Восток–Запад» — одна из главных дихотомий мировой истории. По установившейся традиции под «Востоком» подразумевается территория Азии и Северной Африки. «Запад» в данной работе означает Западную Европу и присущую ей модель исторического развития. В понятие «Запад» не включается Восточная Европа и Россия, обладающие особым кодом общественной эволюции. При этом под «Востоком» понимается не только сумма различных стран, субрегионов, регионов и цивилизаций, но и их условная общность, некое типологическое единство. При всем том граница между Востоком и Западом довольно условна и размыта. Так, Османская империя сложилась в особой контактной зоне, где сочетались черты западного и восточного феодализма. Тем не менее наиболее ярким антагонистом всех азиатских моделей средневековой эволюции оказалась Япония. Эта страна стала носителем западноевропейской модели феодализма. В чисто типологическом плане сложилось противостояние всего гигантского Востока и маленькой островной Страны восходящего солнца. Поскольку вряд ли однозначное противопоставление всего Востока всей Европе неправомерно, более обоснованной является оппозиция «Западная Европа–Азия» или «Запад–Восток» в период развитого и позднего феодализма, т.е. до середины XVII в. включительно. Данный хронологический рубеж принят исторической наукой в качестве «конца Средневековья» и «начала Нового времени (новой истории)». Между тем эта века полностью применима только к Западной Европе. Когда здесь началось разложение феодализма, последний в Азии сохранял всю свою силу и жизнеспособность и к разложению вовсе не клонился. Данная формация в полной мере господствовала на Востоке и в XVIII, и в XIX столетиях. Поэтому сами понятия «конец Средневековья» и «начало Нового времени» постоянно требуют такого рода существенных оговорок.

Зарождение, становление и развитие феодализма на Востоке и Западе выражали собой главную тогда общемировую тенденцию формационного развития. Сам процесс феодализации на просторах Евразии протекал неравномерно — как по регионам и странам, так по уровню и по смене фаз такой эволюции. Под воздействием универсального фактора неравномерности исторического развития Европа и Азия втягивались в общемировой поток феодализации каждая по-своему, т.е. одновременно и в специфических формах. В связи с этим хронологическая сопоставимость стадийных вех этой эволюции на Востоке и Западе представляет собой крайне трудную задачу. Типологическое противостояние Востока и Запада прошло через всю историю человечества — от античной Греции до наших дней. В востоковедной компаративистике существует широкий спектр суждений — от тезиса об отсутствии у Востока и Запада каких-либо общих черт Средневековья до полного отрицания азиатской специфики. Внутри этого спектра есть мнения как о господстве в Азии европейских аналогий, так и о преобладании здесь общественного строя, существенно отличавшегося от феодального Запада. При всем том ни Азия, ни Европа в отдельности не дают ключ к пониманию исторических закономерностей, равно как и прямолинейный перенос типологической специфики Запада на почву Азии и обратно. В связи с этим особую значимость приобретают компаративистские исследования и сравнительно-исторический метод познания фундаментальных закономерностей общественной эволюции человечества в период Средневековья.

За последние два-три десятилетия востоковедами достаточно обстоятельно изучен своеобразный социально-экономический и общественный строй средневекового Востока (с его политической надстройкой — восточной деспотией). Для определения этого строя применяются различные термины — «восточный феодализм», «традиционное общество», «государственный феодализм», «азиатский способ производства», «государственный способ производства» и др. При всем различии таких определений под сущностью этого явления всеми учеными подразумевается одна и та же сумма отличительных черт. Именно это общее согласие и делает бесполезным и бессмысленным спор о преимуществах какого-либо одного из этих терминов. Для этого строя характерна повышенная роль государства, его стремление подчинить себе, контролировать все стороны жизни общества — от экономики до идеологии и морали. Соответственно, ему свойственны жесткая централизация, пирамидальная структура общества и власти, преобладание вертикальных, а не горизонтальных социальных связей, приоритет распределения над свободной торговлей, господство аппарата, засилье бюрократизма, нивелировка личности. Смыслом жизни любого челове-

ка здесь объявлялось служение такому обществу (при подмене понятия «общество» государством). Необычайная живучесть и устойчивость такой системы, ее огромные регенерационные возможности имели и обратную сторону — застойность, практически полную несовместимость с динамичным развитием. Такой вид общества допускает лишь интенсивный рост и создает обстановку технико-экономической отсталости. Неизбежное бюрократическое загнивание периодически приводит эти общества к катаклизмам. «Хирургическое» оздоровление аппарата (с насильственной заменой большей его части) возвращало все на круги своя, и начинался новый циклический виток существования такой системы. С подобным набором ее основных свойств практически согласны все востоковеды. Поэтому спор о формационном наименовании этой системы носит сугубо терминологический характер.

До настоящего времени предпринимались попытки представить данную систему в роли особой «азиатской формации», противостоящей западноевропейскому феодализму. Все эти попытки, равно как и дискуссия о терминах, пока ни к чему не привели.

Ход предшествовавших обсуждений продемонстрировал преимущество концепции «восточного феодализма», которая так и не была поколеблена. Более того, именно она оказалась наиболее аргументированной и успешно применимой к реалиям средневекового Востока, служа эффективным инструментом при анализе его традиционного общества. Поэтому мы пользуемся здесь именно этой концепцией. Вряд ли можно западноевропейскую средневековую систему рассматривать как эталон феодализма, а восточную — как отклонение от нормы. Скорее всего, имело место параллельное и одновременное сосуществование двух самостоятельных вариантов, или типов, единой формации. В этом плане как восточноцентристский, так и западноцентристский подходы являются изначально неполными. Следует исходить из общих закономерностей мировой истории, из принципов развертывания всемирной эволюции, т.е. избегать указанных подходов. Это тем более необходимо при наличии кардинальных различий между европейской и азиатской моделями феодализма.

В истории человечества новые социальные, экономические и политические явления, формы, процессы и структуры, как правило, зарождались и крепились на сравнительно малых территориях. В древности это были отдельные области Греции и Италии, в Средние века — Нидерланды и Англия. Эти очаги нового противостояли огромным зонам господства старого. В этом плане такой сравнительно малый очаг нового, как Западная Европа, уместно противопоставлять гигантскому Востоку. В общемировом контексте Запад представлял собой всего лишь один регион Средневековья и феодализма наряду с другими,

такими как Ближневосточный, Южноазиатский, Дальневосточный, Центральнаозиатский и Юго-Восточный регионы. Типологическая несхожесть с западным феодализмом делала Восток особым «регионом», тогда как разнородность моделей этой вторичной формации внутри самого Востока разрушала его статус как единого «региона». Между тем сопоставление феодального Запада и средневекового Востока показывает, что речь здесь не может идти о сравнении одного региона с остальными, так как перед нами совершенно противоположные типы исторической эволюции.

В судьбах Запада и Востока свою роль сыграл географический фактор. Западная Европа как сравнительно небольшой регион являлась в общем единой и однородной зоной. Здесь почти не было непроходимых естественных барьеров и препятствий на пути обмена товарами, знаниями, идеями и новшествами. Такого рода цельности и компактности Восток противопоставлял необозримые пространства и географическую разобщенность регионов. На пути человеческого обмена здесь лежали могучие горные хребты, вечные снега и ледники, высокие плоскогорья, пустыни и полупустыни, солончаки, степи и джунгли. Все это обусловило трудность общения между странами и регионами, препятствовало торговым и иным связям, мешало поступательному развитию азиатских обществ. В целом ряде регионов (а это Крайний Север, таежная зона, Тибет, горные зоны Юго-Западного Китая и Юго-Восточной Азии) фактор территориальной изоляции живших здесь этносов привел к затуханию самой исторической эволюции. Средневековая Азия характеризовалась слабым развитием коммуникаций, обособленностью друг от друга основных регионов и отсутствием единого взаимосвязанного пространства. Будучи в основном равнинной и обладая более мягким климатом, Западная Европа почти не знала отрицательных географических факторов, царивших в Азии. Речь идет о высокогорном рельефе, засушливых плато, пустынях, полупустынях и джунглях. Поэтому Запад куда реже страдал от сильных засух, песчаных и пылевых бурь, наводнений, ливневых дождей, не зная также муссонов и тайфунов.

Традиционный Восток отличался от феодального Запада и по ряду других показателей. В их числе были сложный этнический и конфессиональный состав населения Азии, значительные перепады в уровне социально-экономического развития и наличие не одной, а нескольких разнородных цивилизаций. В Западной Европе каждая из ее стран и наций являлась частью единого цивилизационного пространства. На средневековом Востоке сложилась иная ситуация. Средневековая Азия была разобщена в цивилизационном отношении. Если Запад спланивался единой христианской культурой, то Азия оказалась разделенной

между тремя различными цивилизациями. Это были исламская, конфуцианская и южно-азиатская, по преимуществу индийская, цивилизации. Одной европейской противостояли три великие культуры Востока.

Если на Западе к концу Средневековья уже сложилась единая система тесной взаимосвязи между государствами, то в Азии еще во многом сохранялась иная ситуация, унаследованная от древности. Здесь преобладала обособленность целых групп стран друг от друга. Так, регион конфуцианской цивилизации оставался изолированным от индийских государств, те и другие — от Юго-Восточной Азии, народы Центральной Азии — от индийской цивилизации и т.д. Если в средневековой Западной Европе сложилась одна-единственная международная система феодальных государств, то в Азии существовало три-четыре такие системы. В их числе были османско-мусульманская, индийская, дальневосточная и юго-восточная системы. Все они были автономными, а в ряде случаев либо изолированными друг от друга, либо мало между собой связанными.

Для Запада был характерен достаточно резкий и завершённый переход — своего рода скачок от древней формации к феодальной. На Востоке же этот переход оказался предельно растянутым во времени и незавершённым из-за длительного сохранения в системе азиатского Средневековья сильного потенциала архаики. В средневековой Азии такого рода древние общественные пласты стали не столько реликтами и пережитками прошлого, сколько функциональными слагаемыми симбиозной и синтезированной системы восточного феодализма, причем не только на «периферии», но и в «ядре» системы. Так архаика сохранялась в генотипе средневековой азиатской государственности. Это проявлялось в сохранении как традиций Древнего Востока, так и его родо-племенных институтов, в том числе племенных ополчений, рабской гвардии и другого наследия первичной формации. Сохранение архаики порождало гетерогенность азиатского общества. Последняя находила свое отражение и в административном устройстве государства, т.е. в наличии здесь вассальных иноэтнических образований и даннических территорий.

Средневековая Азия демонстрировала как противодействие, так и приспособленность феодальных и дофеодальных структур, взаимодействие и синтез средневекового и древневосточного начал. Постепенное обволакивание и поглощение первым вторым растянулось на многие столетия. Данный процесс имел своим следствием снижение формационного уровня восточного феодализма в пользу все еще существовавшего потенциала неизжитой древности. Такое длительное сосуществование дофеодальных, раннефеодальных и зрелофеодальных структур позволяет оценить средневековый Восток как многоукладное

образование. Внутри него процессы феодализации и глухое противодействие им со стороны архаического потенциала протекали бок о бок, «работая» на общую застойность Востока. В этом плане азиатская гипосистема представляла собой синтез феодализма и восточной древности. В русле такого синтеза оба его компонента теряли свою формационную чистоту, четкость форм и сущности. Вместо этого создавались смешанные, промежуточные, межформационные явления, структуры и процессы. Последнее проявлялось в сфере хозяйства, в социальной и политической системе. По этой причине средневековая Азия представляла собой не просто дихотомию «феодализм–архаика», но и продукт взаимопроникновения обоих компонентов друг в друга. Таким образом, наряду с общей эволюцией, т.е. с феодализацией, имел место обратный процесс, т.е. частичная архаизация новых отношений. Данному сложному взаимодействию архаики и феодализма в Азии способствовало многое. Это было и длительное сохранение дофеодальных «периферий», и сосуществование разных уровней феодальных отношений, их откаты к порогу архаики и возвраты к феодализации. Взаимодействие феодализма и архаики вело здесь к возникновению целого спектра компромиссных, симбиозных и синтезированных форм, т.е. к «загрязнению» восточного феодализма. Тем самым итоговая система строилась по принципу триады: «восточный феодализм — азиатская архаика — их синтез». Причем в одних случаях преобладал их продуктивный синтез, в других — их неконтактный симбиоз без появления смешанных явлений. Если единственным системообразующим началом Запада оставался феодализм как таковой, то на Востоке на эту роль претендовала указанная выше триада. В связи с такого рода специфической многоукладностью и переходностью средневекового толка внутри триады контуры «чистого» феодализма оказались размытыми.

В силу сохранения дофеодальных обществ и структур средневековый Восток оставался не столько однородным, сколько конгломератным. Кроме того, зарождение, становление и развитие самого феодализма протекало здесь неодинаково в разных регионах. Данный процесс имел свою специфику в различных странах, в рамках несходных моделей и с большим временным разрывом между странами и моделями. К тому же общение между некоторыми цивилизациями и крупными регионами здесь сохранялось как в древности — всего лишь на контактном уровне, т.е. оставаясь крайне ограниченным и неразвитым. Сами же контакты между феодальными и дофеодальными государствами, обществами и этносами средневекового Востока носили характер межформационного взаимодействия. Устойчивое сосуществование дофеодальных, раннефеодальных и зрелофеодальных структур резко

усредняло и принижало общий уровень средневековой формации на Востоке. Между тем Запад полностью и давно очистился от такого рода отсталых звеньев из прошлых стадий. В Азии же кочевые, полукочевые и горские этносы, архаическая и даже первобытная периферия продолжали оказывать негативное воздействие на зрелофеодальные структуры. В итоге их эволюция либо замедлялась, либо останавливалась. Под воздействием архаики феодальные отношения на Востоке складывались не сразу и не в стандартных формах, а в русле различных моделей феодализма, разными путями и одновременно. Такое хаотическое движение привело к множественности хозяйственных и социальных типов и к разной степени их продвинутости по пути феодализации. Данный фактор неравномерности развития привел к возникновению «феодальной многоукладности».

В связи с длительным сосуществованием на Востоке более продвинутых феодальных и задержавшихся в своем развитии архаических этносов под влиянием первых происходила постепенная феодализация вторых. На базе этих отставших обществ создавались «вторичные» и «третичные» феодальные структуры с ослабленными признаками данной формации. Если внутри западного мира существовали лишь развитые феодальные общества, т.е. сословно-классовые, то восточный мир оказывался отягощенными обществами более низкого уровня, ранних, т.е. предшествующих, стадий эволюции. Здесь наряду с развитыми сословно-классовыми государствами сохранялись и отставшие в своем развитии общества с сословно-статусной иерархией, и просто патриархальные социумы с кастовой структурой. Для обществ традиционного Востока было характерно многообразие исторических и стадийальных типов. Последнее создавало своего рода иерархию высших, промежуточных и низших форм. Ее верхние ступени занимали развитые (по средневековым меркам) сословно-классовые общества. Ниже располагались сословно-статусные, т.е. стадийно более архаичные общества с сохранением патриархальных норм. Далее следовали еще более отсталые — статусные (кастовые и полукастовые) общества. Здесь социальная иерархия по сословию и классу еще не определялась. И наконец, в самом низу находились потестарные, или «ранние», общества (вождество, чифдом) с патриархальными и племенными структурами в своем основании. При всех дефектах и отклонениях эволюция западного феодализма демонстрировала единое поступательное движение от низших форм к зрелым. На средневековом Востоке такой четкой и однозначной тенденции не наблюдалось. Более того. При сосуществовании здесь различных типов, путей, моделей и вариантов наблюдались дискретность, длительное торможение и попятность движения по пути феодализации.

К началу Нового времени Запад сохранял значительный груз старого — остатки средневековой системы внутри абсолютистских государств, феодальную раздробленность германских и итальянских земель. Тем не менее Западная Европа вышла на рубеж Нового времени в состоянии не только формационной, но и стадиальной однородности. Иная картина имела место на Востоке. Здесь сохранялись не только раннефеодальные, но и дофеодальные структуры. Сам же азиатский феодализм так и не вошел в последнюю, завершающую стадию Средневековья — поздний, или угасающий, феодализм. Тот же разнорядностью наблюдался и в политической сфере. Здесь внутри гигантских «лоскутных» империй присутствовал практически весь спектр политических организаций и структур ранних стадий, предшествовавших созданию законченных в своем развитии азиатских деспотий. Речь идет о предгосударственных надобщинных структурах (роды, племена, этноконфессиональные общины), протогосударствах (вождества, чифдом), ранних государствах военно-феодального типа и поздних бюрократических государствах. Будучи завоеванными и включенными в рамки объединивших их в своих границах деспотий, все эти ранние образования потеряли независимость, утратили прежнюю четкость форм, но во многом сохранили свои родовые, видовые и стадиальные черты. В итоге огромные «лоскутные» империи обрели внутри себя переплетение разных стадий эволюции государственности. Весь их спектр был, естественно, привязан к соответствующим районам, зонам и областям. Тем самым стадиальная многоликость сочеталась с их территориальной мозаичностью. По сути, это была не просто скрытая феодальная раздробленность одного определенного уровня, а конгломератность многоплановая — разноформационная, разностадиальная, разноэтническая, разноконфессиональная и т.д. При всем том такая ситуация сохранялась не только внутри гигантских государств — во владениях Великих Моголов и в Сефевидской державе.

Впрочем, в плане формационного развития средневековый Запад не представлял собой монолит. Здесь наряду с романо-германским «ядром» существовала своего рода феодальная «периферия» — скандинавская и славянская. Тем не менее при всей неравномерности их развития между этими блоками не существовало стадиального разрыва в эволюции данной формации. Неравномерность феодального развития внутри структуры «ядро–периферия» не стала на Западе особо значительным фактором Средневековья. Иная картина наблюдалась в Азии. Противостояние «ядра» и «периферии» внутри данного общества или государства на традиционном Востоке играло повышенную роль, особенно в рамках больших империй. По сути, это было взаимодействие социальных, этнических и иных блоков не только разного

уровня развития, но и различного типа исторической эволюции. В связи с этим «ядро» и «периферия» не только развивались по разным путям и моделям, но и отличались разными темпами исторического движения. Такого рода дуализм создавал асинхронность общественной эволюции в рамках больших империй Востока. Даже внутри самого «ядра», т.е. внутри великих империй средневекового Востока, отнюдь не все их население и не вся их территория были втянуты в систему отношений развитого феодализма. Другая их часть продолжала находиться в дофеодальном мире. Тем самым структура «ядро–периферия» перекрывалась дихотомией «феодальная Азия — дофеодальный Восток». Тем самым эта средневековая гиперструктура как бы одновременно жила в разных исторических эпохах и в разных временных измерениях. Такого рода параллельное сосуществование разноформационных обществ и структур позволяет характеризовать их как традиционный способ производства. Последнее позволяет говорить о всем Востоке как о традиционном обществе, а не только о его феодальном «ядре» и дофеодальной «периферии» при наличии в ней раннефеодальных структур. В целом же, однако, средневековая Азия представляла собой не единое формационное целое, а разноформационный комплекс, сложный исторический конгломерат. Его регионы и страны существовали не только в рамках разных цивилизаций, но и находились в разных исторических эпохах, в разных временных измерениях. На просторах Азии ее этносы синхронно переживали различное (точнее, каждый свое) формационное и стадияльное время. Именно общества земледельческо-городского «ядра» вошли в фарватер исторического потока и выдвинулись на передний край азиатского Средневековья. Именно этот «центр» феодальной формации оказался передовым «регионом», где реализовалась ведущая для Востока тенденция эволюции. Это были страны, наиболее продвинутые в русле экономики, социума и культуры, великие державы Азии и главные слагаемые «ядра». Практически все они находились на уровне развитого феодализма.

При движении от «центра» системы к ее «периферии» наблюдалось снижение хозяйственного уровня, зрелости социальных отношений, потребительских и бытовых стандартов, культурного потенциала и активности населения. Ведь даже само «ядро» средневекового Востока не только вступило во вторую фазу этой формации, но и «засиделось» на стадии развитого феодализма. Между тем на обширной азиатской «периферии» все еще сохранялись страны, застрявшие в первой фазе, т.е. на раннефеодальной стадии. Более того, здесь же были широко представлены дофеодальные государства и этносы. Одни из этих социумов оставались на стадии древнего мира, другие вышли на рубеж перехода в Средневековье, третьи находились в рамках синтеза этих

двух вариантов. Данные дофеодалные общества, по сути, все еще «допереживали» предшествующую феодализму эпоху, т.е. находились в координатах Древнего Востока. Сосуществование на Востоке феодального «ядра» и дофеодальной «периферии», а также противостояние этих разноформационных начал в самом «ядре» обусловили параллельное движение двух типов — внутри- и межформационного. Первый был представлен затяжным переходом от первой стадии феодализма ко второй. Длительный переход от архаики к раннефеодальным структурам составлял сущность второго типа. Это был переход от структур, унаследованных от Древнего Востока, к структурам азиатского феодализма. Если на Западе аналогичный переход давно завершился, то в Азии он продолжался и в период развитого Средневековья. В этом заключалось одно из слагаемых восточной специфики. Средневековая Азия фактически все еще переживала эволюцию, свойственную Древнему миру. Такое зачастую отталкивающее сочетание древности и Средневековья наложило особый отпечаток на азиатский феодализм. Поэтому средневековый Восток демонстрировал сложное переплетение межстадиальных и межформационных начал, чего почти не наблюдалось на феодальном Западе. Если позднефеодальная Западная Европа на исходе Средневековья оказалась «беременной» зачатками капитализма, то зрелофеодальная Азия была отягчена «остатками» Древнего Востока, его формационным наследием. Тем самым здесь задолго до колониального периода наблюдалось длительное переплетение формационного и межформационного начал на старой, добуржуазной почве. Восточный феодализм не был в состоянии устранить или сократить глубокий разрыв между общественными уровнями «ядра» и «периферии». Средневековая Азия не только постоянно воспроизводила противостояние «ядро–периферия», но и саму пропасть между ними.

Кроме того, в ткань азиатского феодализма был прочно вмонтирован кочевой комплекс. Вместе с ним сюда вошли как борьба, так и сотрудничество между земледельческо-городским «ядром» и степной «периферией». Ее воздействие на «центр» восточного феодализма не сводилось лишь к фактору разрушения отсталым началом развитого. Наряду с явной деструкцией номады привносили в «ядро» устойчивое консервирующее и стагнационное воздействие. Каждая полоса восстановления разрушенного кочевниками оборачивалась возвращением «ядра» к исходной стадии, на прежний уровень. Вместо движения к более высокой ступени Азия была периодически занята возрождением и закреплением старого состояния. Наряду с земледельческо-городским «ядром» и кочевой «периферией» в Азии имелись также этносы, находившиеся на различных стадиях перехода от кочевниче-

ства к оседлости. Развитые феодальные социумы «центра» на Востоке жестоко страдали от периодических вспышек агрессивности кочевой и полукочевой «периферии». Из-за ударов такого рода завоевателей поступательная эволюция «центра» сменялась откатом назад. Тем самым время от времени развитие сменялось инволюцией, т.е. попятным движением, чего Запад практически не знал. Такого рода периодическая смена скромного прогресса жесточайшим регрессом стала особенностью генотипа Азиатского материка, помимо иных факторов ведущей его к историческому тупику. Соседство с Великой Степью служило проклятием средневекового Востока. Мир кочевников, их набеги и завоевания периодически отбрасывали земледельческо-городской мир Азии назад в стадияльном и формационном плане. Мир варварства слишком часто подминал под себя мир восточных цивилизаций. Земледельческий Восток тем самым платил непомерно высокую цену за соседство с Великой Степью. В эту плату входили не только потеря времени на очередное восстановление разрушенного, но и отставание от Запада.

Если Западная Европа базировалась на дуалистической модели «деревенское население — городской социум», то Восток строился на более широком и сложном основании. Здесь соединялись не два, а четыре компонента: сельский социум, горожане, кочевники, горцы. Кочевники являлись постоянным фактором истории Востока. Номады выступали и как внешняя сила (скотоводы Великой Степи — от Причерноморья до Маньчжурии), и как внутренний блок великих империй — Османской, Сефевидской, Цинской и Великих Моголов. Менее опасным для «ядра» восточных цивилизаций был горский фактор. Последний представлял собой отставшие в своем развитии этносы, населявшие горы Ирана, Афганистана, Тибета, Непала, а также Юго-Западный Китай, некоторые районы Бирмы, Лаоса, Вьетнама, Сиамы и Индонезии. Через всю Азию — от Кавказа до Калимантана — южнее пояса Великой Степи протянулся пояс горских этносов. Кочевники и горцы представляли собой «периферию» вокруг «ядра» (деревня–город) восточной системы. При всем том отсталые и архаичные кочевая и горная составляющие тянули «ядро» вниз и назад — к уже пройденным городам и деревням стадиям общественной эволюции. В ряде случаев это более продвинутое «ядро» как бы являлось заложником отсталой «периферии». Реакционное воздействие последней на земледельческую и торгово-ремесленную среду не только тормозило развитие «ядра», но и мешало устойчивой эволюции всей системы. В отличие от Азии Западная Европа не знала таких опасных и отсталых соседей. Избавленная от кочевого и горского факторов, она имела более передовую структуру. «Периферией» здесь выступала деревня,

а «ядром» служил город. Благодаря этому западная модель оказалась не только более безопасной, но и явно мобильной. С конца Средневековья — начала Нового времени городское «ядро» в прямом смысле повело сельскую «периферию» за собой по ступеням поступательного развития.

Особенности географического положения избавили Запад от страшного соседства кочевников. По сути, Запад не испытал последствий их нашествий, т.е. разорения экономики. Не знала Западная Европа и их завоеваний с установлением порядков азиатской деспотии и жестким попранием частного начала. Такое завоевание могло западное общество превратить в восточное, как это случилось с Русью. Для Европы русская трагедия явилась скорее исключением из правила, а для Востока — правилом, правда с рядом исключений (Япония, Юго-Восточная Азия). Кочевой фактор висел над Азией с древности и до Нового времени. На Западе уже развертывалась полоса буржуазных революций, а для Китая и Центральной Азии еще разворачивалось очередное завоевание такого рода — на этот раз маньчжурское. Наличие в средневековой Азии структуры «зрелофеодальный центр — раннефеодальная и дофеодальная периферия» резко усложняет выяснение степени отставания всей системы от позднефеодального Запада, где такой «периферии» просто не существовало. Если «центр» (или «центры») Востока к началу Нового времени отстал от Западной Европы на два-три столетия, то его «периферия» соответственно на четыре-пять и более веков. Если «ядро» и «периферия» средневекового Запада вышли на рубеж Нового времени без резкого стадийного разрыва между собой, то на Востоке этот разрыв оказался крайне глубоким, и не только стадийным, но и формационным. В силу такого отставания вехи Средневековья в «ядре» не стали таковыми для азиатской «периферии».

Западная Европа развивалась в сторону единообразия, унификации и стандартизации общественных форм и институтов. В этом смысле речь шла об однолинейности эволюции в общем ее русле. Восток же сохранял множественность форм, разнородность институтов, различные типы общества и цивилизаций, многоуровневый, разностадийный фактор исторического бытия. В этом смысле многолинейность эволюции стала в Азии доминирующим началом. Западное Средневековье демонстрировало консолидированность и однотипность стадийного, формационного и цивилизационного плана. На Востоке же сложилась иная ситуация. Здесь имела место крайняя мозаичность цивилизационных, формационных и стадийных характеристик. Тем самым исторической однотипности Западной Европы средневековая Азия противопоставила дробность, а местами даже калейдоскопич-

ность разнородных общественных форм. В Западной Европе укрепилась простая и четкая социальная структура — классовая и сословная. Ее практически не нарушали ни этнический, ни религиозный факторы. В средневековой же Азии сохранялась сложная социальная структура. Здесь помимо статусных категорий — сословий и кастового деления имелись этнические и религиозные барьеры. При всем том наряду с привилегированными этноконфессиональными общностями имелись и ущемленные, или неполноправные, религиозные и этнические группы населения.

На Западе в разных странах наблюдался один и тот же уровень развития феодальной государственности. Речь идет о высшей стадии ее эволюции, т.е. о централизующейся абсолютистской монархии. Однако Восток далеко отставал от этой ступени. Более того, сама государственность в Азии была представлена самыми разными уровнями. В «центре» этой системы господствовали централизованные деспотии с разветвленным бюрократическим аппаратом — военным и чиновным. Одновременно с этим на «периферии» системы все еще сохранялись отсталые политические структуры. Это были либо раннегосударственные образования, как в странах Юго-Восточной Азии и у кочевых народов, либо еще более примитивные формы, в том числе вождества горских этносов. К этому времени Восток уже прошел раннюю стадию феодальной государственности с быстрой сменой мелких государств и борющихся между собой этнических образований. Азия и Северная Африка прочно вошли во вторую стадию с характерной для нее консолидацией государственности. Это была эпоха становления больших государств и «лоскутных» империй — от Атлантического до Тихого океана. Основу этой системы составляли Османская империя, сефевидский Иран, могольская Индия и Минская, а затем Цинская империи. Внешне Запад выглядел конгломератом «мелких» с точки зрения Востока государств. Между тем эта внешняя мозаичность сочеталась с органическим единством внутри каждой европейской страны как моноэтнического образования. В противовес этому Восток демонстрировал внешнюю консолидированность огромных территорий в рамках больших империй. Зато внутри этих «сверхгосударств» наблюдалось предельное этническое многообразие.

Если Запад встал на путь создания национальных, т.е. моноэтнических и централизованных, государств, то на Востоке возобладала обратная тенденция. Здесь прочно обосновались полиэтнические, т.е. многонациональные, государства. Эти огромные «лоскутные» империи отличались либо явной, либо скрытой тягой к децентрализации. Если последняя как наследие Средневековья в Западной Европе быстро изживалась, то в восточных государствах она сохранялась как вполне

естественное и почти узаконенное явление. В Западной Европе чуть ли не каждый этнос с течением времени оформлял собственное государство. Здесь преобладали небольшие и малые моноэтнические государства. Устойчивые полиэтнические образования появились лишь на востоке региона — Речь Посполитая и владения австрийских Габсбургов. Для традиционного Востока, напротив, стали характерны огромные полиэтнические «лоскутные» державы — Византия, Халифат, государства Сельджукидов и Тимура, Могольская, Цинская и Османская империи. Все эти административные гиганты базировались на внутренней конгломератности, т.е. на этнической, религиозной, хозяйственной, социальной и культурной разнородности. Внутри этих великих, но «лоскутных» империй различные этносы и этнические группы находились на разных стадиях не только феодального, но и дофеодального развития. Этносы Востока, в свою очередь, распались на различные общности, религиозные течения и корпорации с различными устремлениями и доктринами. В одних случаях имело место мирное сосуществование этих этноконфессиональных общностей, в других последние отличались плохой совместимостью, а в третьих — кровавой враждой. В Западной Европе в общем пришли к фактическому признанию равноценности и равноправия западных этносов. В противовес этому на Востоке сохранялась своего рода «иерархия» этносов, т.е. их деление на «высших» и «низших», господствующих и подвластных, лояльных и потенциально враждебных. Такого рода иерархия, иногда многоступенчатая, являлась следствием завоевания и создания на его основе многоэтнических конгломератов. Неравноправие этносов и разного рода ущемление побежденных и завоеванных, особенно иноверцев, не стимулировали, а наоборот, тормозили создание органической общности внутри азиатских государств. Этническая дискриминация и национальная рознь не способствовали становлению в Азии крупных однородных экономических регионов, мешали развитию рынка как системы, становлению человека как личности, дальнейшему развитию имущественных прав — от частного владения к частной собственности.

Запад сложился как особая цивилизация и как регион одной религии — христианства. Несмотря на победное наступление ислама, Восток так и остался зоной поликонфессиональности. Здесь помимо ислама прочные позиции занимали индуизм и конфуцианство. Большое значение имели буддизм и ламаизм, сикхизм, синтоизм и даосизм, христианство и иудаизм. За спиной каждой из трех великих доктрин — ислама, индуизма и конфуцианства — стояла своя могучая цивилизация. Тем самым религиозный фактор усиливал дробность и мозаичность Востока, его деление на большие цивилизационные регионы. В противовес этому в Западной Европе сложилась система религиоз-

ной однотипности. При всех различиях между католицизмом и протестантизмом и борьбе между ними христианство как таковое в той или иной мере цементировало Запад перед лицом иноверческого Востока. Однако в Азии такое религиозное объединяющее начало отсутствовало. Более того, Восток был «поделен» между четырьмя мировыми религиями и учениями — исламом, индуизмом, конфуцианством и буддизмом. Наряду с ними функционировали даосизм, синтоизм и ламаизм. Такая поликонфессиональность сближала социумы внутри соответствующих регионов, но не на Востоке в целом.

Азиатский феодализм не представлял собой единую систему, ибо внутри него функционировали две разные системы — государственная и частная. Данный дуализм обусловил наличие двух различных классов феодалов — государственных и частных, а также двух особых форм изъятия и перераспределения прибавочного продукта — «ренты-налога» и частной земельной ренты. Тем самым восточный феодализм строился на сосуществовании и взаимодействии двух в известном смысле антиподных структур. Отсутствие здесь органического системного единства существенно снижало уровень и качество данной формации на просторах Азии. При всем том фактор неравномерности развития средневековой Азии действовал как на межстрановом, так и на внутристрановом уровне. В многонациональных государствах и особенно в «лоскутных» империях традиционного Востока как бюрократический «класс-государство», так и класс частных феодалов, в свою очередь, делились на различные градации и группы — статусные, сословные, этнические, религиозные и др. Специфика традиционного Востока включала в себя и такой серьезный фактор, как особая роль кровнородственных связей, отношений и структур. Причем этот фактор не только явно конкурировал с социальным, т.е. с сословным и классовым началами, но и усложнял этноконфессиональную дробность социума.

В отличие от консолидированных стран Запада, государства Востока характеризовались крайней мозаичностью — формационной, цивилизационной, социальной, этнической, религиозной, родо-племенной, административно-территориальной, корпоративной и иной. Такого рода специфически азиатская дробность резко контрастировала с относительным единообразием и отчасти даже унификацией феодальных форм на Западе. Если христианское общество средневекового Запада делилось в общем и целом по классовому и сословному признакам, то строение социума на Востоке оказалось намного сложнее. Здесь классовые, сословные, кастовые, религиозные, этнические, этноконфессиональные и кланово-родовые перегородки создавали чрезмерную дробность социума. Такая мозаичность мешала консоли-

дации социума как противовеса централизованной азиатской деспотии и затрудняла его превращение в общество западного типа. На Западе этническая, экономическая, социальная, религиозная и политическая однородность способствовала превращению каждого западного государства, каждой страны и всех их в сумме в среду, наиболее удобную для поступательного развития. Предельная мозаичность социума на Востоке, наоборот, создавала все условия для в той же степени предельного торможения общественного развития и сохранения обстановки комплексного застоя.

Исторически государственная власть раньше всего — в глубокой древности — возникла именно на Востоке. Здесь она сложилась раньше собственности. Затем азиатская деспотия подчинила себе институт собственности, сделала его не просто своим достоянием, а своей монополией. В этой ситуации собственность в Азии могла быть только государственной, но отнюдь не частной. По этой причине имущественные права частных лиц оказались отброшенными вниз — на горизонты владения и держания. Поэтому на традиционном Востоке власть всегда была первостепенным, а имущественный статус частных лиц и их права — второстепенным началом. Тем самым «частник» оказался существом второго сорта, изолированным или отстраненным от высшего имущественного статуса (собственность). На долю частных лиц остались лишь второсортный (владение) и третьесортный статусы (держание). На традиционном Востоке государство и его верховная собственность оставались выше всех и всяческих прав «частника». Институт частного владения всегда находился под жестким контролем и диктатом правящей бюрократии. В Западной Европе, наоборот, решающим фактором формирования позднесредневековых классов в конце концов стала частная собственность — сильная и независимая от короны. В Азии же таким фактором оставалась верховная собственность государства на землю в сочетании с властью, независимой от «частных» классов. Из слияния этих двух компонентов на Востоке родился своего рода гибрид, или «двуглавый» феномен, — «власть-собственность».

В западном варианте власть оказалась вторичной, проистекая из сферы сначала землевладения, а затем земельной собственности, т.е. из экономики. В восточном же варианте власть изначально оказалась первичной и самодостаточной, а землевладение и хозяйственная сфера остались на втором плане. Если на Западе власть была отделена от собственности и вторая доминировала над первой, то на Востоке они оказались неотделимы друг от друга при полном господстве власти над собственностью. На феодальном Западе власть все больше превращалась в функцию частной собственности, а сама собственность

столь же отделялась от власти. На Востоке все сохранялось по-старому. Собственность здесь оставалась функцией власти, а власть — неотрывной от собственности. При всем том оба эти статуса соединялись в самой персоне монарха как верховном начале. Такому свято-чтимому положению восточного государства Западная Европа противопоставляла священное право частной собственности. Поскольку собственность на Востоке оставалась функцией власти и ее монополией, оба эти начала здесь оказались слиты воедино в рамках образовавшейся амальгамы «власть-собственность», которая стала одним из феноменов традиционного Востока. При этом она служила основой азиатской деспотии с характерной для нее слитностью верховной земельной собственности и государственного суверенитета по отношению к подданным.

В феодальной Западной Европе слабая, по меркам Востока, королевская власть оказалась окруженной целым рядом противовесов, или альтернативных «центров силы». Здесь наряду с короной и зачастую против нее действовали «баронские лиги», создаваемые аристократией и дворянством. Сильными позициями обладала и независимая от монарха церковь со своей разветвленной структурой. Короне приходилось считаться с самоуправляющимися городами — своего рода «малыми республиками». Правовую сферу от произвола монарха охраняли независимые от него суды. В Западной Европе королевскую власть ограничивали органы сословного представительства — парламент, кортесы, Генеральные штаты, ландтаги. В Азии таких институтов просто-напросто не возникало. Более того, там даже не существовало самого понятия «сословное представительство», равно как и понятия «республика». Между тем феодальный Запад стал колыбелью республик и республиканизма. Речь идет о Швейцарском Союзе, о Нидерландах, о «городах-республиках» и «городах-государствах». Таковыми были Венеция, Генуя, Флоренция, Сиена, Лукка, Сан-Марино, Дубровник и др. Республиканское начало Запада выступало ярчайшим антиподом самодержавия азиатской деспотии. Таким образом, в Западной Европе сложилась целая система сдержек и противовесов верховной власти. На Востоке таковая система отсутствовала, что резко усиливало мощь азиатской деспотии. Феодальная раздробленность, в свою очередь, ослабляла власть европейских монархов.

В итоге в позднефеодальной Западной Европе сложилось государство, контролируемое «снизу». Эта образовавшаяся сфера сдерживала шедший «сверху» фактор насилия в системе многополюсного общества. Такого рода альтернативных «центров силы», сдержек и противовесов верховной власти, как все перечисленные выше, традиционный Восток не знал, ибо деспотия и сама система в целом не допустили их

возникновения. Тем самым азиатский феодализм остался средней монопольного господства в руках самого госаппарата. Сложилась не контролируемая «снизу» однополюсная зона неограниченного насилия «сверху» — со стороны бюрократического класса. Если на средневековом Западе до победы абсолютизма политическая власть оставалась раздробленной в рамках обособленных местных структур общества, то в традиционной Азии политическая власть оставалась централизованной в форме деспотии. В Европе общество оказалось выше и сильнее государства. Власть здесь подчинялась социуму и обслуживала его. На Востоке традиционно сохранялась иная ситуация. Там укрепилось верховенство сильного государства над приниженым и слабым социумом. В этих условиях не власть обслуживала общество, а наоборот, социум служил государству. Приоритет власти в такой системе привел к тому, что государственная машина не столько управляла делами, сколько царила над страной. Если на Западе система обратных связей, корректировавшая эволюцию и самопроизводство социума, выглядела как антитеза «сильное общество — слабое государство», то на Востоке сложилась дихотомия «могучее государство — бессильный социум».

На Западе преобладали горизонтальные связи — по сословию, классу, по социальной страте. Даже внутри господствующего класса — на «феодальной лестнице» не существовало прямого подчинения по вертикали («вассал моего вассала — не мой вассал»). В Азии же принцип вертикального соподчинения пронизывал сверху донизу весь социум. Как легитимность, так и практика передачи верховной власти на Востоке не исходили от правомочий социума, а находились вне компетенции общества. Верховная и всякая иная власть здесь рождалась над социумом и от него мало или почти не зависела. Если на Западе государство уже перешло к служению обществу, то на Востоке население, как и прежде, покорно обслуживало азиатскую деспотию. Здесь сохранялось абсолютное преобладание госаппарата над социумом. Причем азиатская бюрократия находилась не на службе общества, а наоборот — социум «поголовного рабства» прислуживал чиновникам и военным, составлявшим господствующий класс. Средневековый Восток демонстрировал монопольное положение правящей бюрократии в сочетании с «поголовным рабством» подданных азиатских деспотий. Господство бюрократического класса в Азии было лишено политических противовесов. Правда, ему имелись противовесы социальные (класс частных феодалов — землевладельцев) и экономические (частнофеодальный сектор хозяйства с его системой крестьянских держаний). Однако эти противовесы из-за своей слабости не могли служить угрозой политической гегемонии «класса-государства».

На средневековых Востоке и Западе различными оказались и господствующие классы. Европейское потомственное дворянство, как слой мало зависимый от верховной власти, выступало наследственным носителем личного начала, зачастую в его гипертрофированном виде. В отличие от этого, восточная бюрократия полностью зависела от верховной власти. Не имея потомственного наследственного статуса, военные и чиновные функционеры в условиях азиатской деспотии выступали как носители безличностного начала. В качестве всего лишь суммы «винтиков» государственного механизма бюрократия на Востоке представляла собой сугубо сервильную среду с рабско-холуйской психологией. Это были в прямом смысле слова слуги азиатского властелина. В отличие от Запада, средневековый Восток не создал иерархии частных феодалов и соответствующей «лестницы» титулов знатности, равно как и вообще института дворянства. Зато в Азии сложилась разветвленная и многоступенчатая бюрократическая иерархия чинов, должностей, званий и полномочий. На ступенях этой «лестницы», или властной пирамиды, укрепился перешедший в Средневековье из Древнего Востока государственно-феодальный класс функционеров азиатской деспотии. В рамках амальгамы «класс-государство» роль политической надстройки на Востоке, по сравнению с Западом, резко возрастала. Государство здесь оказалось ядром общественной системы, ее главным субъектом и поэтому могло оказывать едва ли не решающее воздействие на жизнь социума. Отсюда происходила огромная роль государства как регулятора общественных отношений на Востоке. Социальным носителем этого сверхстатуса выступал верховный класс правящей бюрократии, олицетворявший собой азиатскую деспотию во всех ее видах.

Поскольку на Западе власть оказалась отделена от собственности и первая стала функцией второй, западноевропейские феодалы — аристократия и дворянство — стали не государственным, а частным социальным образованием. В отличие от азиатской бюрократии, это был класс частных феодалов, сословие частного дворянства и среда частных собственников. В итоге амальгама «власть-собственность» здесь не сложилась. Тем самым западные феодалы так и не стали государственным социальным образованием. На Востоке изначально сложилась иная ситуация. Слитность власти и собственности породила здесь амальгаму «власть-собственность». В рамках этого феномена собственность стала монополией власти и одной из ее функций. На этой основе сформировался особый господствующий «класс-государство». Последний состоял из властных функционеров — чиновников и военных. Это была не управляющая, а именно правящая бюрократия. В отличие от частных феодалов Запада она полностью являлась государственным

социальным образованием. Последнее органически принадлежало восточной деспотии, а та, в свою очередь, в силу своей природы служила собственностью азиатской бюрократии. На средневековом Западе класс феодалов создавался на базе крупного наследственного землевладения, перешедшего со временем в частную земельную собственность. В отличие от этого на Востоке господствующий класс формировался не по земельному статусу, а по принципу причастности к государственному аппарату, по месту, занимаемому человеком в бюрократической — военной или чиновной — иерархии. Поэтому частные феодалы-землевладельцы на Востоке всячески стремились попасть в систему «класса-государства». Такое вхождение в высшие сферы давало человеку власть, почет, сословные привилегии, налоговые льготы и гарантию от произвола местных властей.

На Западе государство находилось в руках частных феодалов, а за спиной королевской власти стояло дворянство, т.е. частнофеодальное сословие. На Востоке же издавна сложилась иная конфигурация политической надстройки. Господствующий класс и сам госаппарат здесь были представлены одной и той же социальной силой — бюрократией в ее военном и штатском воплощении. Именно этот государственный класс, а не частные феодалы обладал властью на всех уровнях. В отличие от Запада бюрократия здесь не выступала служебным придатком господствующего класса, а сама являлась правящим классом и верховным сословием. Позднефеодальный Запад являл миру раздельное существование государства и господствующего класса как двух самостоятельных контрагентов. На средневековом же Востоке, напротив, имела место полная слитность верховного социального образования и самого бюрократического аппарата. Госаппарат и господствующий класс в Азии совпадали, выступая как нерасчленимый феномен — синтез институционального и социального начал. Таким образом, амальгама «класс-государство» служила **одной из основ** азиатской деспотии. **Второй** такой **основой** являлось слияние политического господства и экономической монополии на земельную собственность. На этой почве сложился второй продукт синтеза, т.е. «власть-собственность». Поскольку при такой специфической форме собственности земельная рента и поземельный налог совпадали, сложилась **третья основа** деспотии — амальгама «рента-налог».

Между тем амальгамы «власть-собственность» и «класс-государство» выглядели феноменами только с точки зрения Запада. Обе дихотомии стали для Востока не только привычной реальностью, но и правилом. В Азии эти амальгамы выступали в массовом порядке. Поэтому отсутствие таких дихотомий в Западной Европе для восточного человека в большей мере выглядело бы феноменом, ибо здесь наблю-

далось раздельное существование всех этих четырех компонентов — власти и собственности, государства и классов. При жесткой слитности этих начал азиатское государство само являлось, по сути, коллективной собственностью бюрократии. С этим политическим верховенством госаппарата, повторим еще раз, органически соединялось право верховной собственности на землю. Реальным носителем этого сплава, по сути, выступала одна и та же социальная сила. При всем том верховная собственность на землю выступала обратной стороной божественного происхождения власти и харизмы самого монарха, результатом слияния идеи государства и власти в одном лице. Фактически же азиатская бюрократия являлась силой, единой в трех лицах — как государство, как класс и как верховное сословие. В такой властной триаде состояла одна из особенностей восточной деспотии. На традиционном Востоке бюрократия представляла собой не просто слой чиновников, а верховный класс, практически независимый от социума. Тем самым государство в лице чиновного аппарата, правившего населением в Азии, проводило политику диктата особого рода — диктата не только господствующего, но и управляющего класса.

В итоге господствующей и правящей на традиционном Востоке стала общность государственных функционеров — либо чиновников, либо военных, либо тех и других вместе. В любом случае это были всего лишь разные варианты одного и того же бюрократического класса. В одних случаях военные командовали штатскими, в других — наоборот. При всем том в средневековой Азии государственный функционер всегда был сильнее любого частного феодала-землевладельца, ибо за спиной даже самого мелкого бюрократа стояли могущественный аппарат и «класс-государство» — неоспоримый гегемон восточного общества. Между тем амальгама «власть-собственность» отнюдь не сводилась к блоку «правитель-верховная собственность». Данная амальгама была, так сказать, многоярусным явлением, пронизывавшим весь бюрократический класс сверху донизу. Начиная от придворных сановников и кончая самым мелким функционером низового звена, все «люди государства» конвертировали отпущенную им долю власти в реальную недвижимость, захватывая или покупая землю и иное имущество за счет казнокрадства, взяток и спекуляции, а то и прямого грабежа. Богатство в Западной Европе чаще всего было производным от земельной собственности и места в иерархии дворянского сословия. На Востоке же богатство чаще всего порождалось самой властью и зависело от места функционера в бюрократической иерархии. Отсутствие потомственного дворянства на Востоке открывало дорогу вертикальной социальной мобильности. В ее русле господствующий «класс-государство» принимал в свою среду верхи частно-

феодалов класса крупных и средних землевладельцев. Тем самым правящий бюрократический класс укреплял самого себя и ослаблял своего основного антагониста — среду частных феодалов. То же самое происходило с верхушкой купечества. Такой механизм социальной мобильности закреплял застойный характер всей модели азиатского феодализма.

В период Средневековья основой основ всех имущественных отношений служили правомочия по поводу земли. Последние выступали в трех своих видах — собственность, владение и держание. Собственность выступала как средоточие абсолютно всех правомочий, т.е. владения, распоряжения и пользования, являлась высшим их видом. Полнота таких полномочий снижалась на уровне владения и резко падала на горизонте держания. При этом многое зависело от самого носителя правомочий. В этой роли выступали государство, должностные и частные лица, коллективы (семья, род, патронимия, община) и индивиды. Различные комбинации этих видов и носителей создавали тот или иной правовой климат для хозяйственной деятельности. Причем данный климат на позднесредневековых Западе и Востоке сложился по-разному. Помимо всего прочего большую роль здесь играл статус государственной власти — слабый в Европе и сильный в Азии. Слабость государства на Западе во многом объяснялась его позициями в сфере землевладения. Здесь абсолютно доминировала частная феодальная собственность аристократии и дворянства. Позиции же самой короны оставались более чем скромными. По-иному обстояло дело на Востоке. Здесь прочно главенствовало могучее государство, а роль частного начала оказалась приниженой. Правами собственников частные феодалы здесь не обладали и выступали только в качестве владельцев земли. Ее верховным собственником оставалось само государство. Кроме того, оно либо реально господствовало в сфере землевладения, либо непосредственно контролировало до половины всех пахотных площадей, соответственно оттеснив частных владельцев на второй план. Мощь азиатской деспотии базировалась, в том числе, на обладании и прямой эксплуатации (через налоги и повинности) огромного сектора землевладения. Последний обрабатывался податным крестьянством и создавал экономический фундамент господства бюрократического «класса-государства». Если частное начало на Западе упрочилось в сфере земельных отношений и власти («нет земли без сеньора»), то в противовес этому в Азии все земли, в том числе частновладельческие, оставались под жестким прессом государства.

На средневековом Западе все категории имущественных прав на землю, т.е. и собственность, и владение, и держание, были расплывлены между индивидами в масштабах всего общества. В отличие от этого на

феодалном Востоке распыленными в среде частного социума оставались только два вида имущественных прав на землю, а именно владение и держание. Что же касается права земельной собственности, то оно концентрировалось в государственных масштабах в руках самой деспотии. Восточная деспотия была несовместима с полноценной частной собственностью подданных азиатского властителя. Поскольку все они оставались его «рабами», то только он единственный мог быть хозяином всей земли. До уровня собственников его подданные дотянуться не имели возможности и права. Несвободные люди, т.е. не являвшиеся суверенными личностями, не могли выступать носителями права частной собственности. Титул земельной собственности на феодалном Востоке оставался прерогативой либо монарха, либо монополией самого государства. В условиях азиатской деспотии для частной собственности на землю просто не было места. Здесь она возникнуть и существовать не могла. Зато вместо нее могла доминировать верховная собственность, т.е. достояние государства, или казны. Государственная собственность представляла собой коллективное достояние господствующего и правящего «класса-государства». Сам институт земельной собственности являлся принадлежностью власти, привилегией самой восточной деспотии. Верховная собственность на землю здесь была достоянием и монополией азиатской бюрократии как специфической корпорации, особого класса и высшего сословия.

Если на Западе власть служила собственности, то на Востоке собственность была «служанкой» власти. Здесь собственность выступала как существенный признак власти, ее неотъемлемая принадлежность. Кто владел властью, получал право на собственность. Кроме того, такой функционер, по сути, получал право на захват чужого имущества — частного владения или держания. В Европе прогрессирующее обогащение происходило в сфере экономики и в лоне социума частных собственников. В Азии же подлинное обогащение могло иметь место только в лоне государства, т.е. в сфере правящего бюрократического класса. Кроме того, чиновная, военная власть или их комбинация служили наилучшей гарантией сохранения богатства, составленного за счет взяток, казнокрадства и ограбления «частника». Овладение властью или получение должности в госаппарате создавали возможность для захвата или покупки земли. Тем самым властитель, сановник, военачальник или рядовой чиновник как член «класса-государства» становился собственником в лоне амальгамы «власть-собственность». Поскольку частной земельной собственности на Востоке не существовало, собственником можно было стать только в лоне верховной собственности азиатской деспотии. Это была собственность всего правящего класса, т.е. коллективное имущество. Однако функционер—обла-

датель благоприобретенной земли здесь выступал как бы в двух ипостасях — как член наивысшего коллектива и как индивид, т.е. обладатель личного имущества. Пока он находился в рядах господствующего класса бюрократии, первая ипостась охраняла вторую, хотя и не устраняла двойственную природу такого «лендлорда» или «помещика». С потерей же власти или должности первая ипостась либо уценивалась, либо исчезала. Такой бывший, в том числе отставной, функционер либо ослаблял свой статус собственника, либо терял его вовсе. В данном случае он и его наследники постепенно опускались на уровень «частников». Тем самым они переходили на позиции уже не собственников, а обычных частных владельцев земли, хотя какое-то время могли сохранять привилегированное положение, сохраняя либо налоговый иммунитет, либо фискальные послабления.

Частнофеодальной ренте Запада Восток противопоставлял государственную «ренту-налог». В Азии все, кроме людей из «класса-государства», являлись налогоплательщиками — и крестьяне, и частные феодалы. В итоге на традиционном Востоке существовало два вида земельной ренты: централизованная рента-налог и децентрализованная частная рента. Все это создавало экономическую, социальную и политическую гегемонию верховного социального и институционального образования в лице правящей бюрократии. Не входившие в этот политически господствующий класс частные землевладельцы — крупные и средние — составляли «второй» феодальный эксплуататорский класс. Данная «помещичья» среда стояла ниже бюрократического класса самой деспотии. Такому разделу восточных феодалов на правящую бюрократию и частных «помещиков» (арендодателей и рентополучателей) соответствовало и деление крестьянства на две страты. Первая представляла собой владельческое и податное, т.е. платящее налоги со своей земли, крестьянство. Его непосредственным эксплуататором выступало само государство в лице бюрократии — военной и штатской. Вторая страта состояла из держателей (арендаторов) земель крупных и средних землевладельцев. Эта часть крестьянского населения эксплуатировалась «помещиками» — частными феодалами Востока. В параллельном существовании верховной земельной собственности и частного владения землей проявлялись одновременно единство и противоборство двух социально-экономических начал — казенного и частного, азиатской деспотии и непривилегированных рентополучателей.

Единому и монолитному классу феодалов на Западе традиционный Восток противопоставлял два эксплуататорских класса, а западному объединенному крестьянству — соответственно два разобщенных социальных образования. Наличие двух подсистем в Азии резко усиливало

роль власти и казны, т.е. самой деспотии и ее бюрократического «класса-государства». Такая ситуация, в свою очередь, предельно ослабляла частнофеодальное начало. Тем самым делался невозможным переход к западной модели развития. Закрывалась дорога к победе частного начала в экономике, к господству частной собственности, к верховенству закона, к суверенности индивида, к гарантиям предпринимательства и прибыли. Средневековый Запад демонстрировал монолитность классов — единую социальную общность феодалов и единое феодальное крестьянство. Нарушения данного принципа, конечно имевшие место, здесь отходили на второй план. По-другому складывалась ситуация в Азии. Наличие таких мощных факторов, как деспотия, «класс-государство» и «власть-собственность», создало на Востоке два господствующих класса — верховный и частнофеодальный и соответственно два типа крестьянства — податное и частнозависимое. Тем самым здесь имели место разобщенность, раздвоение тех социальных сил, которые на Западе выступали как монолитные образования — сословия и классы. Многообразие хозяйственных типов и социальных отношений на Востоке вело к разнородности частнофеодальных слоев и групп. Дробность и разнотипность в частнофеодальной среде ослабляли ее перед лицом единого господствующего «класса-государства». Такая ситуация играла на руку азиатской деспотии, укрепляя ее собственные позиции внутри феодальной системы.

В отличие от Европы, в Азии вне правящих династий не существовало системы наследственных аристократических титулов. Как одна из основ класса феодалов, эта система на Западе поддерживалась строго закрепленной иерархией земельной собственности, держаний и вассалитета. Здесь политический статус обычно совпадал с размерами и «титолом» земельной собственности, землевладения и держания. Такая земля и власть, как правило, соответствовали и дополняли друг друга в единой связке. В конечном счете земельная собственность оставалась в Европе основным источником политической власти. В Азии же частное феодальное землевладение само по себе не порождало властных полномочий. Феодалы-земельные собственники на средневековом Западе были организованы в рамках привилегированного сословия дворян. Здесь господствующий класс был оформлен в сословном плане и отделен от простолюдинов, или третьего сословия, куда входили и крестьяне. В Азии же частное землевладение не создавало особого социального статуса, подобного европейскому дворянству. В связи с этим социальная структура здесь отличалась нечеткостью классового и сословного деления. Между частными феодалами-землевладельцами и крестьянами не существовало жестких границ. В конфуцианских странах, например, нечиновные «помещики» и землевладельцы — не

шэньши — вообще объединялись вместе с крестьянами в одно общее сословие «земледельцев».

Несмотря на принадлежность к разным ярусам средневековой иерархии, западноевропейские феодалы в рамках своей страны или одного государства оставались едиными. Западное дворянство было единым по классу, сословию, религии, культуре, этнической принадлежности, по языку, обычаям и т.д. Такой однородности Азия противопоставила пеструю социальную мозаичность эксплуататорской среды. Последняя состояла из двух разных классов феодалов, из лиц верховного сословия и нижестоящих сословий простолюдинов, из среды господствующего этноса и подчиненных народностей, из представителей разных каст, религий, языковых групп и т.д. Такого рода пестрота и разнородность возрастали после завоевания данной страны иноземцами. Тогда к перечисленным выше градациям добавлялось деление на завоевателей и покоренных. Кроме того, дробность среди феодалов на порядок возрастала внутри «лоскутных» монархий Востока, т.е. в границах огромных многоэтнических империй. Если бюрократический «класс-государство» был возвышен и един, то частнофеодальный класс соответственно принижен и разобщен — по разным сословиям, кастам, этносам, религиям и т.д. Данная мозаичность еще более ослабляла его, делала второразрядной силой, второстепенной средой, усиливала его приниженность. Этот частнофеодальный социальный конгломерат не имел особого фиксированного статуса — ни политического, ни юридического. Это был не единый класс, а сочетание различных социальных слоев, прослоек и групп. С такого рода «псевдоклассом», или «квазиклассом», сверхцентрализованная азиатская деспотия могла считаться намного меньше, нежели с монолитным социальным образованием. Кроме того, верховный класс постоянно переманивал в свою привилегированную среду наиболее богатых, честолюбивых, динамичных и ранее непривилегированных частных феодалов. Тем самым ряды «частников» ослаблялись еще больше, а оставшихся можно было принимать во внимание еще меньше. Не имея своей собственной организации, частные землевладельцы на Востоке не могли контролировать бюрократический класс или же воздействовать на него. В Европе частные феодалы в лице своей аристократии окружали королевский трон и напрямую влияли на монарха. В Азии же люди из этого класса близко не подпускались к престолу, ибо это была монополия правящей бюрократии.

Не допустив появления института частной собственности и сделав право собственности своей монополией, государство на Востоке обеспечивало свое господство над социумом, заморозив это состояние на неограниченное время. Тем самым власть столкнула имущественные

права частных лиц на более низкую ступень — на уровень владения. Социум, базировавшийся на правах владения, не мог развиваться в общество частных собственников. Азиатский социум не мог стать равноправным партнером государства, а тем более его соперником в борьбе за системное лидерство. Борьба между частнохозяйственным и государственным типами феодализма прошла через всю средневековую историю Востока и закончилась явной победой «бюрократа» над «помещиком». В руках чиновного и военного «класса-государства» помимо политической надстройки оказалось и господство в сфере базиса, и социальное лидерство. Таким образом, сложилось коренное различие между средневековыми системами Западной Европы и Азии. Средневековый Запад покоился на господстве частных феодалов, частной земельной собственности и частной земельной ренте. В противовес этому феодальный Восток характеризовался господством бюрократии, верховной земельной собственности и «ренты-налога», т.е. государственного начала.

В Западной Европе право частной собственности на землю прежде всего означало отстранение других индивидов от распоряжения этой землей, от вмешательства со стороны других сил. На традиционном Востоке частный владелец земли уже в силу отсутствия у него статуса собственника не имел такой защиты. Поэтому иные носители права, в первую очередь коллективы, имели возможность вмешиваться в имущественные дела данного лица или семьи. Так, в исламском мире вся земля считалась принадлежащей Аллаху. Право распоряжения ею стало прерогативой пророка Мохаммеда, а затем перешло к его наместникам — халифам, султанам и шахам. По существу, государство признавало за подданными лишь право владения и пользования, а с ними и право купли-продажи, наследования, дарения и завещания. Все эти имущественные операции совершались не на уровне полномочий собственника, а на горизонте владельческих прав. Институт частной собственности на землю был несовместим с фундаментальными принципами восточного феодализма. Поэтому сама идея частной собственности воспринималась как нарушение системы, как возможность ее развала. Даже для частного владения на Востоке не существовало гарантий неприкосновенности. Частная земля могла быть отобрана в казну за недоимки, за необработку, по «государственной необходимости» и по произволу властей.

Согласно доктрине ислама, земля принадлежала Аллаху и через него служила коллективной собственностью всех мусульман, их религиозной общности (*уммы*). Пахотные земли, пастбища и водные источники не могли находиться в частной собственности, ибо принадлежали всем правоверным. Все это послужило основой для установления

верховой собственности государства на землю. Поэтому имущественный статус каждого мусульманина не мог подняться выше права на частное владение землей. Именно этот статус владельца и закрепился за «частником» законами шариата. Исламский мир строился на полном господстве коллективного начала над личностным. Все это поставило индивида в приниженное положение и в сфере имущественного права. Поскольку «земля и небо принадлежали Богу», то вся пахотная и годная к возделыванию земля являлась общим достоянием всех мусульман как высшей формы коллектива. Тем самым частной, т.е. личной, земельной собственности в исламском мире быть не могло. Вместо нее сложилось общественное право всей религиозной общины (*уммы*) на всю землю. Коллективная собственность *уммы* реализовывалась и в особых налогах с богатых в пользу бедных мусульман. Поскольку религия и государство в исламском мире были слиты воедино, коллективная собственность конфессиональной общины, по сути, являлась специфической формой верховной собственности государства. Все это привело к разделению поземельных прав на верховную собственность и частное владение. Таким образом, государство забрало себе высшее имущественное начало, т.е. титул собственника, а своим подданным оставило второстепенный и третьестепенный статусы, т.е. соответственно владение и держание. При всем том законы шариата четко и детально регламентировали права частного владения при отсутствии права частной собственности на землю. Сам же шариат был направлен против концентрации земли, имущества и богатства в руках меньшинства. Шариат не признавал ни майората, ни минората, насаждая максимально возможное дробление земли, имущества и богатства. Иначе говоря, ислам не допускал и противодействовал их концентрации в руках «частника».

Совершенно иная ситуация сложилась в Европе. На позднефеодальном Западе господство частной собственности сделало ее обладателя свободным в распоряжении ею и в выборе наследника. Здесь главенствовал принцип сохранения частной собственности в целостности на основе единонаследия и майората. Эти два принципа служили стабилизации и укреплению личностного, индивидуального, частного начала. В противовес этому на средневековом Востоке при отсутствии майората и единонаследия господствовал принцип максимально возможного и последовательного дробления владения — наследуемых земли, имущества и денег. Это, в свою очередь, препятствовало становлению частной собственности, прежде всего на землю. Между тем на Западе майорат служил одной из основ победы частной собственности над иными видами имущественных прав и статусов. Майорат концентрировал, а не дробил землю и иное имущество. Сохраняя их,

он становился базой для их приумножения. Тем самым майорат оказался одним из краеугольных камней в фундаменте будущего буржуазного общества. Отсутствие же майората на Востоке в целом как правового механизма вело к регулярному дроблению наследства и препятствовало становлению частной собственности и личностного начала, зато укрепляло верховную собственность государства и коллективный принцип построения социума. Если в Западной Европе в условиях майората благосостояние дворянской семьи чаще всего оставалось величиной более или менее постоянной, то в Азии сложилась иная ситуация. Периодические разделы земли и имущества в каждом следующем поколении вели богатую семью к падению — вплоть до уровня бедности. И наоборот, успешная чиновная карьера возносила семью среднего достатка к богатству и процветанию.

Итак, в Азии вместо частной земельной и иной собственности индивида установилась верховная собственность государства на все земли. В корпоративной системе Востока государство выступало как верховный коллектив, наивысшая корпорация. Поэтому государственная или верховная собственность, по сути, являлась коллективной собственностью правящего бюрократического класса. Именно его интересы защищало государство в противовес социуму «частников». Установив приоритет верховной собственности на землю, мощное государство тем самым лишило социум «частников» права на земельную собственность. На коллективных началах строилась вся иерархия земельных прав традиционного Востока. Ее верхний горизонт занимала верховная собственность, или коллективная собственность бюрократии. Ниже располагалось коллективное владение среднего уровня, т.е. владение общины, рода или клана. На следующем «этаже» находилось владение семьи, т.е. коллектива низшего уровня, но не лица, индивида. Тем самым личность была устранена как от собственности, так и от владения. Все эти коллективные формы служили базой деспотии. Личностное, индивидуальное начало возникало лишь на уровне держания, или аренды, т.е. в самом низу данной иерархии. На средневековом Востоке отсутствовало юридическое оформление имущественных прав индивида. В частной среде поземельные отношения во многом оставались неопределенными, не говоря уже об их защищенности. В отличие от Запада, здесь отсутствовало само юридическое представление о частной собственности как монополии данного индивида на распоряжение данным участком земли или иным объектом владения.

На Востоке все имели **свои** права на землю — и «класс-государство» (на правах собственности), и «помещики», и часть крестьянства (те и другие на правах наследственного владения), и остальное крестьянство (на правах наследственного держания). Данные имуществен-

ные права взаимно пересекались почти на каждом конкретном участке земли. Такого рода переплетение юридических норм порождало взаимные претензии, ибо право частной собственности отсутствовало, а все обделенные стремились повысить свой имущественный статус. Так, владельцы земли пытались явочным путем закрепить ее за собой как бы на правах собственности. При этом практика наследования, купли-продажи и иного частного распоряжения неизбежно толкала владельцев именно к этому. Точно так или по-иному к статусу владельцев земли стремились ее наследственные держатели, опираясь на свои права и на практику частных сделок на этом уровне. Таким образом, традиционная система имущественных прав на землю оставалась феодальной, смешанной и запутанной. В ней имелось все, кроме института частной собственности и приоритета личного начала, т.е. индивидуальных имущественных прав. Причем само право частного владения зачастую оставалось неполным — условным, частичным, легко пресекаемым, ненаследственным и т.д. Настоящим бичом права частного владения, например, в Китае служили параллельные права другого лица. Это было либо длительное и непрерываемое, либо бессрочное и неотменяемое, т.е. наследственное, держание той же самой земли, но другим лицом. Речь идет о симбиозе владения либо с долгосрочной, либо с «вечной» арендой, когда владелец не мог избавиться от таких «совладельцев». Такого рода «совладение», как длительное, так и особенно «вечное», предельно принижало правовой и имущественный статус владения, делая его еще более неполноценным и «второстепенным» по сравнению с частной собственностью. Само собой разумеется, что оба эти вида держания совершенно несовместимы со статусом частной собственности на землю. Практика и сами права таких «привилегированных» аренд являлись закономерным следствием приниженного статуса «частника» на традиционном Востоке и отсутствия там института частной собственности.

На Западе частная земельная собственность обладала особым статусом и защитой закона. У дворянина, а тем более знатного, нельзя было отобрать землю волевым актом, для этого требовалось решение суда. Частный же землевладелец на Востоке, по сути, не имел юридических гарантий прочности своего имущественного статуса. Частное владение в Азии не перерастало в частную собственность в силу необеспеченности имущественных прав частного лица. В условиях реального произвола и беззакония его землю и иную недвижимость захватывали как «люди государства», так и более сильные «частники». Вернуть же себе незаконно отнятое обычно не удавалось даже по суду. Дабы вернуть отнятое, надо было самому стать либо «человеком государства», либо более сильным «частником», нежели захватчик.

Кроме того, в ходе периодических политических катаклизмов — войн, нашествий, завоеваний, переворотов — права частного владения, зачастую с их носителями, просто сметались с лица земли либо происходил очередной передел владений. Последние становились добычей победителей, захвативших власть, т.е. нового правителя, его родни, окружения, соратников и соплеменников. Почти не защищенная от произвола и насилия сфера имущественных прав не могла породить столь «капризное» явление, как индивидуальная частная собственность, нуждавшаяся в своего рода тепличных условиях. В отличие от Запада, власть на Востоке не служила инструментом защиты частных имущественных прав. Более того, здесь власть являлась наиболее действенным средством захвата частных владений. В этом было одно из кардинальных отличий азиатской деспотии от монархий Западной Европы.

Самым могущественным врагом частновладельческой среды в Азии оказались не внешние завоеватели и разорители — кочевники и войска соседних стран, а свое собственное государство. После набегов, войн, вторжений и завоеваний чужеземцев или кочевников «частник» рано или поздно восстанавливал разоренную экономику, «побеждая» тем самым внешнего врага. Однако он так и не смог «победить» свою отечественную деспотию, не допускавшую его развитие до уровня частного собственника и противовеса государственной машине. Этот «внутренний враг» частновладельческого социума Востока оказался сильнее и устойчивее любого из внешних врагов. Слабость феодального государства в Западной Европе способствовала созданию института прочной частной собственности и сильного личностного общества частных собственников. В Азии все происходило по-другому. Мощь восточной деспотии не допустила создания института частной собственности, а тем более социума независимых от государства индивидов. Вместо этого сохранялся коллективистский социум с правами владельцев и держателей. Подданный восточной деспотии оказался носителем имущественного статуса второго либо даже третьего сорта. В результате этого в Азии социум не стал обществом частных собственников. Статусы же владельца или держателя земли как нельзя лучше гармонировали с приниженным положением человека, «частника» и общества в целом по отношению к казне. Столь ослабленный собственник, не имеющий защиты со стороны закона, не мог даже и мечтать, чтобы подчинить себе могучее государство и правящий бюрократический класс. В этих условиях частновладельческие земли на Востоке могли преобладать и преобладали количественно над казенными и общественными, однако это количество не переходило в качество, т.е. не создавало социального и политического господства част-

ных феодалов. Приниженное положение частного начала — в сословной и политической жизни, в экономике и в правовой сфере — сохранялось как величина постоянная и абсолютная. Более того, в Азии «частник» не обрел себе защиту ни в лице закона, ни в виде собственной политической организации, ни в персоне монарха. Защитить частного владельца и предпринимателя от своеволия азиатской деспотии и дать ему подняться с колен могло бы само общество, если оно было бы способно гарантировать неприкосновенность частного имущества, верховенство закона и права личности. Однако такого общества на Востоке так и не сложилось. Зато оно возникло в Западной Европе и сделало реальностью все перечисленные выше условия. В итоге частное владение здесь стало частной собственностью, независимой от государства и стоящей выше его.

На позднефеодальном Западе частная земельная собственность являлась источником власти высокого социального статуса. Независимая индивидуальная частная собственность стала активным созидательным началом. На традиционном Востоке частное земельное владение не было источником власти, ибо власть здесь всегда исходила от казны, от государства при бессилии частного землевладельца. Зависимая от других сил и находившаяся в поле притяжения коллективистского начала, среда частных землевладельцев в экономическом, социальном и политическом плане не могла стать активной созидательной силой общества. К началу Нового времени на Западе частная собственность уже выполняла роль первичного начала, основы основ общества и главной меры социальных отношений. Частнособственнические отношения развивались в сторону роли всеобщего эквивалента. Укреплялась разделенность власти и собственности, причем последняя все более становилась выше первой. На Востоке же власть оставалась первичным началом, мерой любых социальных отношений, основой основ системы. Слитность власти и собственности и монополия власти на собственность сохранили за властными отношениями статус всеобщего эквивалента. На этом фоне права частного владения поражали своей слабостью, что мешало вызреванию института частной собственности. Основами западного общества стали частная собственность, ее раздельное сосуществование с административной властью при доминировании первой над второй. Верховенство закона здесь выступало как мера любых социальных отношений при экономическом и политическом господстве частного начала в лице дворянского сословия. В противовес этому определяющими чертами восточных обществ оставались отсутствие частной собственности, слитность власти и собственности при доминировании первой над второй. Власть выступала и как мера любых социальных отношений при политическом и эконо-

мическом господстве бюрократии — либо военной, либо штатской, либо смешанной.

Феодальные Европа и Азия резко отличались друг от друга в рамках дихотомий «деревня—город», «земледелие — ремесло и торговля». На средневековом Западе город по основным показателям отделился от деревни. В Европе горожане стали социальной силой, оторвавшейся от феодальной системы. На Востоке этого не произошло. Город здесь остался поглощенным системой азиатского феодализма, а некое подобие городских цехов служило формой чиновного контроля и управления со стороны все той же казны. В позднефеодальной Западной Европе «локомотивом» общественной эволюции стал город, а на традиционном Востоке универсальной основой социума оставалась деревня. В первом варианте город начал подчинять себе сельскую местность, во втором — он продолжал быть «пленником» земледельческого социально-экономического и политического начала.

В Западной Европе прочно обосновались независимые, т.е. свободные от короны, города. В Азии же город оставался не только подавленной государством безгласной частью азиатско-деспотической системы, но и ее оплотом. Служа ставкой, или «штаб-квартирой», азиатской деспотии, он оказался полностью подчиненным казне и верховному «классу-государству». Городское производство подверглось частичному огосударствлению. Казна на Востоке изымала ремесленную продукцию не только через сферу обмена, но и путем прямого изъятия готовых изделий. В силу этих причин в средневековой Азии город не смог стать нефеодальной, а тем более антифеодальной силой. Здесь он не был антиподом и отрицанием традиционности. Если на Западе прочно утвердились городское самоуправление, особые права и статус горожан, то азиатский город был лишен всего этого. В правовом плане он оставался приравненным к сельской местности и тем самым как бы поглощенным ею. Отсюда проистекали политическое бесправие горожан и их неспособность занять независимые позиции по отношению к могучей восточной деспотии. Средневековый западноевропейский город не служил частью феодальной системы. Наоборот, он выступал как явление нефеодальное и в известной мере антифеодальное. Город здесь оказался антисистемным образованием. Противостоя деревенской и государственной системам, он и действовал как их отрицание. Поэтому в правовом и иных отношениях на Западе город отличался от сельской местности и противостоял деревне. Общественный статус горожанина радикально контрастировал с положением крестьянина. На Востоке в правовом и иных аспектах город не отличался от сельской округи, являясь как бы ее продолжением. Здесь не существовало особой разницы между горожанином и крестьянином. И тот и другой

в равной мере оказывались бесправными перед лицом всемогущего «класса-государства», т.е. правящей бюрократии.

Развитие частного типа феодализма и победа личностного начала создали в Западной Европе особый городской социум. Здесь, как известно, «воздух городов делал человека свободным». Произошло закрепление прав и свобод горожан, сложилось их самоуправление в рамках Магдебургского и иных систем особого городского права. Победа в городах личностного начала отделила горожан от деревни с ее отношениями феодальной зависимости и несвободы. Между тем о создании городской политической культуры западного типа на Востоке не могло быть и речи. За редким исключением в Азии не возникало самостоятельных городов. Здесь город не стал оппонентом монархии, не смог вырваться из-под гнета деспотии и не развился в особый субъект политического диалога. На Востоке город оказался прочно поглощенным общегосударственной и общесоциальной системой. Азиатский город фактически был как бы захлестнут массой сельского социума и придавлен им. Город здесь являлся «ставкой» азиатской деспотии, оплотом государства в деле подавления остального общества и прежде всего самих горожан. Гипертрофия военно-административного начала делала город цитаделью бюрократии. В этих условиях самоуправлению, выборности и республиканско-демократическим началам здесь просто не оставалось места. Воздух азиатских городов не делал человека свободным, но зато оставлял его «рабом» восточной деспотии. Социум позднефеодального Запада уже явственно разделился на две различные составляющие — на городское и сельское общества. Город как «локомотив» социума и горожанин как носитель новых общественных начал четко выделились из отстающего в своем развитии деревенского населения. На традиционном Востоке город и горожане так и остались слагаемыми единого аморфного слитного средневекового социума, являлась компонентами органически целостной системы. Если в Западной Европе город стал «локомотивом», тащившим за собой деревню и все общество вперед — к развитию и прогрессу, то в Азии город такого рода «тягачом» стать не смог и вместе с остальным обществом остался в состоянии застоя.

В той же мере радикально отличались друг от друга соотношения законности и власти, правовой и административной сфер в феодальной Европе и средневековой Азии. На Западе очень высоко стояло понятие законности и права. Европейские дворяне, церковь и города упорно отстаивали свои «старинные вольности» и привилегии, а все общество в целом охраняло приоритет закона по отношению к силе. Прочность западных монархий и самой королевской власти во многом обуславливалась именно соблюдением государством частного права, законов,

статуса и прерогатив отдельных лиц, корпораций, сословий. На Западе закон держал бюрократию в узде, а чиновник подчинялся правосудию. В этом, в частности, проявлялось верховенство права над властью. В Азии, наоборот, закон был бессилён перед лицом государственных функционеров. Последние сами и в своих интересах отправляли «правосудие» на грани беззакония. Здесь право служило власти, а не власть служила праву. Законы, право и суд являлись всего лишь орудиями господства бюрократии и не могли быть использованы против нее.

При господстве азиатской деспотии отношения между людьми во многом определялись не столько их личными интересами, сколько властными установлениями — правилами, законами, нормами и практикой. Именно это верховное, т.е. государственное, начало регулировало отношения внутри социума. В противовес этому в Западной Европе такие отношения регулировались частным правом и судом, т.е. самим обществом. Поскольку азиатская деспотия соединяла в своих руках и управление, и право, и суд, то наличие независимого суда и господство частного права исключались. Кроме того, в Европе и в странах Дальнего Востока государственное, уголовное и гражданское право не зависело от религии. Здесь законы издавались светской властью. В противовес этому мусульманский мир вплоть до конца XIX в., по существу, не знал других законодательных систем, кроме религиозных (шариата). В мире ислама система судопроизводства и наказаний, имущественное право и налоговая система, регулирование торговли, финансов и хозяйственной жизни целиком базировались на нормах шариата. Здесь религия подчинила себе не только духовную сферу, но и все остальные стороны жизни общества. Неограниченное право азиатских властителей на имущество своих подданных при отсутствии верховенства закона над произволом лишало частное лицо гарантий сохранности его имущества и богатства. Данная атмосфера мешала становлению института частной собственности, а затем и развитию экономики, росту общественного богатства и прогрессу. Отсутствие надежной правовой защиты «частника» от произвола со стороны азиатской бюрократии оборачивалось состоянием длительного общественного застоя.

Превращение позднесредневекового Запада в зону господства частной собственности и права постепенно привело европейское общество к закреплению юридических норм имущественных отношений. В этой обстановке личность становилась базовой единицей общественных отношений и политического процесса. Этому же изначально способствовала специфика частнофеодального типа средневековой системы на Западе. Последняя резко отличалась от государственного, т.е. корпоративно-коллективистского, азиатского феодализма. Частнофеодальная система Западной Европы базировалась на личностных

началах, т.е. на взаимных обязательствах индивидов по отношению друг к другу. Речь идет о связях аристократии как с королем, так и с рыцарством, об узах, соединявших дворянство как со знатью, так и с короной, о связях крестьянина с сеньором и т.д. Так, например, службу королю французская аристократия унаследовала от своего феодального прошлого. Аристократы считали себя вассалами и рассматривали службу короне как частное и добровольное дело. Король для них был лишь «первым среди равных». Их взаимоотношения с ним строились на основе обоюдных обязательств, диктуемых честью и верностью вассала своему сеньору. В то же время для знати и рядового дворянства чрезвычайно важны были сеньориальные отношения. Дворянин обычно добивался успеха в карьере, поступая на службу к другому, более влиятельному члену того же сословия. В любом случае имели место личностные отношения между двумя индивидами, двумя договорившимися сторонами: Это и характеризовало собой частнофеодальную модель Средневековья. Такого рода отношения зачастую страдали аффектацией, даже утрированным проявлением личной гордости, чести, достоинства и т.д. в ущерб общему делу. Так, настоящим несчастьем были дуэли между дворянами. Тем не менее и эта чрезмерность служила сохранению личностного начала.

По-иному строились отношения внутри системы государственного азиатского феодализма. Какой бы вариант госаппарата — военный, чиновный или смешанный — ни стоял во главе данной страны традиционного Востока, в любом случае здесь правила бал бюрократическая среда. Господствующий класс в феодальной Азии представлял собой корпорацию государственных функционеров и службистов. Это был социальный блок, спаянный «коллективизмом канцелярии», т.е. корпоративностью госаппарата. Здесь каждый его член был «растворен» или обезличен внутри данного механизма, ибо существовал лишь как его «шестеренка». Здесь господствовали не частные, личностные и договорные, а казенно-служебные, т.е. корпоративные и безусловные, отношения между начальством и подчиненными. При такой субординации были неизбежны карьеризм, лесть, низкопоклонство, лицемерие и угодничество. Пресмыкательство перед начальником и самоуничтожение сочетались с произволом по отношению к простому люду и с ограблением «частников». На этой почве сформировался особый человеческий тип. Вместо гордой самостоятельной личности здесь действовал покорный обезличенный «винтик» государственной машины, функционер-служитель. Все это сочеталось с коррупцией, казнокрадством, взяточничеством и вымогательством. В итоге в Азии сформировался хамско-холуйский тип «государственного феодала», служащего корпоративно-коллективистской системы. Это был безличностный анти-

под западноевропейской личности. Такому верхнему слою азиатского социума соответствовала рабская покорность низов. Как системная составляющая она соответствовала всесилию бюрократических верхов.

В этом же направлении действовала и специфика восточных религий. Западное христианство — католицизм и протестантство — способствовало становлению и укреплению индивидуального начала и личностной цивилизации. Зато на Востоке победила иная тенденция. Здесь религии либо не содействовали становлению личностного начала, либо просто не допустили его укрепления. Более того, ислам и конфуцианство открыто воспитывали человека как существо коллективное. Тем самым укреплялась корпоративность, идущая снизу вверх — вплоть до верховной общности. В этой роли в исламе выступала религиозная община — *умма*, а в конфуцианстве — государство.

Западная личность, в отличие от азиатского «коллективного» человека, выступала прежде всего как субъект частной собственности и частного права, как агент неконтролируемого рынка. Обществу личностного и частного начала традиционный Восток противопоставлял систему максимально возможного огосударствления жизни социума, «поголовное рабство» подданных азиатской деспотии, их политическое бесправие и произвол властей. Феодалный Запад пришел к господству частного права и частной собственности, т.е. к верховенству личностного начала. «Государственный феодализм» Востока на первый план вывел безличностное начало — бюрократическую систему в ее чиновном, военном и смешанном вариантах. Азиатской деспотии требовались не самостоятельные личности и индивиды, а безгласная, послушная и безлика масса. Именно в служении такому социуму, и прежде всего самому государству, восточная бюрократия видела свою провиденциальную миссию. При этом прочной опорой восточного деспотизма служили коллективистское начало и инертная общность верноподданных. На Западе постепенно формировался культ человека. На Востоке же сохранялось поклонение сверхколлективу, т.е. государству. Здесь оно оставалось верховным началом. Социум должен был, по-прежнему стоя на коленях, почитать его как святыню, спасителя, благодетеля и оплот нации. Почитание частного начала на Западе, с одной стороны, и культ государства на Востоке — с другой, сформировали два разных человеческих типа — соответственно самостоятельную личность и «раба азиатской деспотии».

Различными оказались и цивилизационные основы соотношения человека и общества, личности и государства. Если христианский Запад стал личностной индивидуалистической цивилизацией, то мусульманский мир строился на коллективистских началах. Последние были заложены еще в первой исламской общине — коммуне в Медине. Ме-

динская община стала затем фундаментом и примером организации исламского социума и государства в Азии и Африке. Если на христианском Западе государство и право оставались светскими, то на мусульманском Востоке сложилась иная ситуация. Здесь религия стала основой государственного строя и законодательства. Разным оказалось и отношение в Европе и в Азии к имущественным вопросам и материальному преуспеянию. Со временем христианство (за некоторыми исключениями) отказалось от апологии бедности и осуждения богатства как греховного начала. Ислам же упорно превозносил бедность и не одобрял богатство, ибо оно ослабляло любовь к Аллаху. Материальная нужда, наоборот, рассматривалась как верное средство для обуздания страстей, для предотвращения греховных и преступных дел, порождаемых толстой мошной. При этом осуждался богатый «частник», но отнюдь не роскошь монархов, вельмож и иных государственных функционеров. В мире ислама налоговая система рассматривалась как способ распределения материальных благ между членами мусульманской общины. Основные налоги толковались как милостыня, взимавшаяся с богатых в пользу бедных. Имущие должны были делиться своими доходами с неимущими братьями по вере, а те отвечать первым благодарностью, ибо «все мусульмане — братья». Такие порядки укрепляли коллективное начало в социуме. Последний как бы сам выступал всеобщей религиозной и социальной корпорацией всех правоверных.

На средневековом Востоке на первом плане стояли не частные, личностные, а коллективистские и корпоративные отношения. Речь идет о связях внутриаппаратных, кастовых, клановых, общинных, земляческих, племенных и внутрисемейных. На феодальном Западе коллективистское начало постепенно уступило место личностному. Здесь даже сельская община подчинялась своему индивидуальному господину — частному феодалу и помещику как патрону и защитнику. При всем том сельская община на Западе представляла собой чисто крестьянский институт. Это была организация одного класса и одного сословия — тружеников-земледельцев. На Востоке же сложилась иная община. Здесь она состояла из представителей различных сословий и классов, в том числе эксплуататорских. Такого рода межсословная и межклассовая корпорация отражала в себе, как в капле воды, по сути все общество, вплоть до ремесленников и торговцев. Это была не община в европейском понимании этого термина, а лишь стандартный «кирпичик» общества, типовой коллектив азиатско-деспотического толка, или «общество в миниатюре».

Западная община всегда была и до своего отмирания осталась крестьянской организацией. На Востоке же она из этого состояния в тече-

ние многовековой эволюции превратилась в корпорацию общесоциального типа. Внутри этой структуры обосновались и верховодили средние и мелкие землевладельцы — арендодатели, отставные бюрократы, представители привилегированных сословий, местные богатеи. В итоге крестьянская община переродилась в разносословную и разноклассовую корпорацию сельского типа, пронизанную фискальным и полицейским контролем местных властей. Местами такая корпорация приняла полугосударственный характер. Прочность общинно-коллективистских структур надежно охраняло господство патриархально-родовых и семейно-клановых организаций в деревне и всевозможных социальных корпораций в городе. Все это практически исключало на Востоке личностное, индивидуалистическое начало в жизни общества. Абсолютное господство коллективного принципа венчалось политической, экономической, социальной и идеологической мощью высшей корпорации, т.е. государства, в лице восточной деспотии и правящего бюрократического «класса-государства».

Корпоративные структуры на Западе быстро слабели. Средневековые цехи и гильдии теряли силу, отмирали и отменялись законодательно. На Востоке же обстановка всеобщей корпоративности прочно сохранялась. Если на Западе началось формирование общества свободных людей, то в Азии продолжалась консервация социального и политического рабства. Расхождение между этими двумя мирами все более увеличивалось, а его темпы ускорялись. Европейское Средневековье, Возрождение, Реформация, Просвещение и начавшееся с XVI–XVII вв. буржуазное развитие сформировали особый тип «западной» личности и индивидуалистического европейского общества. Все это резко контрастировало с восточным социумом поголовного рабства «подданных» азиатской деспотии, с типом «восточного» человека, подавленного мощью вездесущего государства. Позднесредневековый Запад становился для человека миром самостоятельности, действия, рациональности, правового самосознания и целесообразности. Феодальный Восток оставался миром созерцания, откровения, веры, инстинкта повиновения и пассивного следования традиционным нормам поведения и сознания. В первом варианте набирали силу дух новаторства, жажда перемен, открытий и изобретений. Во втором варианте все определяли традиция, обычай, привычка и «неписаный» закон бытования по-старому. Если в границах западных монархий вызрел личностный социум частных собственников, то внутри первых европейских республик он уже поднялся на более высокую ступень. Здесь этот социум становился, по сути, ранним гражданским обществом, а житель республики из верноподданного превращался в гражданина. Если на позднефеодальном Западе уже сложились предпосылки для становле-

ния гражданского общества, то на средневековом Востоке оставалась неизменной обстановка «поголовного рабства» подданных азиатской деспотии и всеилия «класса-государства».

В рамках европейского и азиатского феодализмов по-разному сложилось соотношение общества и государства, социума и власти. Раннесредневековые Европа и Азия начинали с общего для обоих континентов уровня — с нерасчлененности господствующего класса и государства, со слитности государства и общества. С переходом Запада к развитому и особенно к позднему феодализму господствующий класс, а затем и само общество высвободились из столь жесткой связи с государством. Началось их автономное развитие, приведшее затем к подчиненному положению государства. На Западе феодальная раздробленность резко ослабила верховную власть. Это не позволило государству задать частное начало внутри общества. Когда же наступил период централизации и абсолютизма, было уже поздно. Тогда государство уже не смогло поставить на колени крайне окрепшую частную стихию с ее собственностью, правами, накоплениями и влиянием на власть. В Азии не было таких условий. Даже в самые черные столетия правящая бюрократия «удержалась в седле». Она не позволяла стихии частных владельцев подняться с колен, окрепнуть, создать институт частной собственности и соперничать с «классом-государством» в борьбе за лидерство в обществе. При всех бедах феодальной раздробленности в период Средневековья в Западной Европе общество как таковое получило возможность развиваться быстрее, нежели государство, и в конце концов обогнало его в плане лидерства внутри системы. Этого не произошло в Азии, где государство усиливалось быстрее социума. Последний не имел возможности обогнать восточную деспотию ни по темпам эволюции, ни по реальной силе, ни в плане верховенства в самой системе.

В период Средневековья и на Востоке, и в Западной Европе сложились свои элиты, правда с различной природой. Независимая от государства западная элита — аристократия, потомственное дворянство и городской патрициат — выступала противовесом королевской власти. Восточная же элита — придворная, сановная, духовная, чиновная, шэньшиская — либо целиком, либо во многом зависела от государства. Такого рода элита как была, так и осталась либо служанкой, либо подпоркой верховной власти. В лице такой элиты азиатская деспотия обрела либо важный компонент военно-бюрократического аппарата, либо его приводной ремень к социуму. В том числе и по этой причине на средневековом земледельческом Востоке практически не существовало независимых от государства социальных сил. Здесь никто не обладал иммунитетом от чиновного контроля и произвола. Все тради-

ционное общество в Азии материально, социально и политически зависело от верховного бюрократического класса. На Востоке сохранялся социум бесправных подданных азиатской деспотии. Социум по-прежнему отличался неразвитой структурой — без многообразия социальных слоев и без плавных переходов от низших к высшим. Такая простая структура порождала и сохраняла не только свою внутреннюю жесткость, но и застой как естественную плату за свою неразвитость. В итоге общество оставалось статичным, т.е. строго традиционным. На этом поле сохранялись методы грубого государственного насилия, казенно-бюрократический диктат и общественный инфантилизм.

Между тем парадокс внутренней структуры социума традиционной Азии состоял в органическом сочетании отмеченной выше ее простоты со специфической сложностью. В отличие от западного общества, восточный социум был перегорожен и разобщен разного рода архаическими барьерами — статусными, этническими, религиозными, кастовыми, земляческими и др. Данные перегородки мешали не только созданию единого класса частных феодалов, но и образованию общества как некоего однородного и сильного начала. По этой причине азиатский социум не являлся полноценным обществом — в западном понимании этого термина. Такого рода слабость социума, в свою очередь, поднимала роль политической надстройки, укрепляла господствующие позиции государства по отношению к слабому обществу. Издавна в Азии верховная и всякая иная власть бюрократии была первична, а имущественные права социума вторичны. От государства здесь зависело установление, сохранение или ликвидация имущественного статуса подданного. Только сама азиатская деспотия определяла степень законности или незаконности его имущества. Именно отсюда на Востоке происходил произвол власти по отношению к «частнику». В Азии государство стало всесильным раньше, нежели мог сложиться социум «частников». Политическая надстройка изначально оказалась сильнее социума и сразу же подчинила его себе. Так сформировалась модель «сильное государство — слабое общество». Если на Западе господствующим классом стала совокупность «частных» феодалов, то на Востоке им оказалась совокупность «людей государства». Это была бюрократия — военная, штатская и совмещающая в себе обе эти ипостаси. На этой почве и возник мощный «класс-государство».

В Западной Европе бюрократии достались лишь функции «управляющего», а функции «правителя» прочно сохраняла частнофеодальная элита. В Азии бюрократия осталась не только управляющей, но и правящей силой. Руками этого военного и чиновного (или военно-

бюрократического) класса государство подмяло под себя социум «частников». При этом всеильная казна не позволила последним обрести статус частных собственников, т.е. социума полноправных личностей, как это было на Западе. Там частная собственность создавала личность, а индивид, в свою очередь, порождал статус частной собственности. Обе эти встречные тенденции оказались неотделимы друг от друга. Воздвигнув свою монополию на право собственности, «класс-государство» на Востоке как верховный собственник «опустил» социум «частника» на нижний горизонт имущественных прав. За «частником» в Азии остались лишь два статуса — либо владелец земли (в лучшем случае), либо ее держатель (в худшем случае). Поскольку только частная собственность могла породить самостоятельного индивида и полноценное личностное общество, частное владение и держание оказались всего лишь массовой базой для формирования восточного безличностного коллективистского социума. В итоге государство на Востоке оставалось сильнее общества, а господствующий бюрократический класс — чиновники и военные удерживали неполноценный в имущественном, правовом и политическом плане социум «частников» в подчиненном положении.

В противовес этому в Западной Европе сложилась иная ситуация. Имущественные права всего социума и каждого его члена не исходили от государства. В конце концов, они стали здесь первичными по отношению к власти. В итоге не частное владение стало зависимо от государства, а наоборот, власть оказалась вторичной по отношению к сфере частной собственности. Права последней и ее положение в общественной системе уже не зависели от королевской и иной власти. На Западе общество создало своего рода «завесу», защищавшую «частника» и его собственность от государства. Такого рода «щитом» стал целый комплекс общественных сил и институтов — элита, парламенты, церковь, городское самоуправление, закон и суд. В условиях азиатского деспотизма о создании такого «щита» не могло быть и речи. Здесь отсутствовали правовые традиции, работавшие на «частника», независимые от воли государства институты, защищавшие имущественные права индивида. В Европе господство закона и частной собственности создало полноценный социум частных лиц. Такой самодостаточный и сильный организм «взнуздal» государственную машину. Заставив правителей и бюрократию служить обществу, он не позволил чиновничеству стать господствующим классом. Частнособственнический Запад строился по принципу «сильное общество — слабое государство». На этой базе сложилась саморазвивающаяся, динамичная, личностная цивилизация. Здесь индивид стоял выше коллектива, а социум индивидов — выше главного и верховного коллектива, т.е.

государства. Благодаря этому не социум служил государству, а последнее обслуживало общество как его «менеджер». Полноценный социум обладателей частной собственности и носителей личностной самодостаточности держал государство «на коротком поводке». В Азии начиная с древности происходило обратное. Здесь мощное государство — верховный собственник всей земли — придавило слабый социум частных владельцев. Личностная цивилизация Западной Европы и коллективистские цивилизации Азии разошлись по совершенно разным направлениям. В итоге личностный западный социум частных собственников стал обществом в узком значении этого термина. В отличие от Запада, азиатский социум так и не превратился в полноценное и суверенное общество в европейском понимании этой реалии, т.е. силы, стоящей над государством.

В Западной Европе общество постепенно становилось сильнее и выше государства. Сильное общество начало подчинять себе не столь мощное, как восточная деспотия, европейское государство. Верховная власть постепенно переходила на роль «инструмента» в обслуживании интересов социума. На Востоке же государство оставалось повелителем общества, прочно подчиненного азиатской деспотии. Здесь не государство служило обществу, а наоборот, социум обслуживал верховную и всякую иную власть. Все это означало сохранение гегемонии военной, штатской или комбинированной бюрократии над обществом. В этой обстановке чиновный «класс-государство» по сути являлся классом-гегемоном со всеми вытекавшими отсюда последствиями. Если на Западе государство уже стало служить обществу, то на Востоке, наоборот, социум продолжал служить власти всех уровней. В Западной Европе даже в условиях абсолютизма частнофеодальный класс контролировал королевскую власть. В странах же Азии все оставалось по-иному. Здесь власть в лице верховного класса, как сказано, продолжала подминать под себя частных феодалов-землевладельцев. В Западной Европе постепенно создавалось гражданское общество с материально и социально независимыми от государства классами. Формировалось общество с развитой внутренней структурой, с множественностью социальных слоев, с плавным переходом от низших слоев к высшим. Сложная социальная структура создала свою внутреннюю гибкость и способность к развитию именно в силу своей сложности. Благодаря этому складывалось стабильное в своей поступательной эволюции общество. На этой почве укреплялись отношения частной собственности, рыночный экономический механизм и общественное развитие.

В противовес этому на феодальном Востоке сохранялся комплексный общественный застой. В создании такой тупиковой ситуации ог-

ромную и активную роль играла политическая надстройка азиатских стран. Еще в древности она захватила преобладающие позиции по отношению к базисным структурам и процессам. Верховенство азиатского государства над экономикой и социумом реализовалось в системе восточного деспотизма. Сам Восток не называл свою государственность «деспотией». Данный термин родился в Древней Греции. Так греки — свободные граждане оценивали положение в азиатских странах. Здесь царило «поголовное рабство» подданных перед лицом владыки — персидского царя и других монархов. Именно в такие уродливые формы отливалась чрезмерная самостоятельность власти по отношению к обществу, господство госаппарата над всеми остальными сферами жизни социума.

Азиатская деспотия представляла собой абсолютную власть бюрократии, тотальное превосходство чиновной и военной иерархии над богатыми простолюдными, т.е. частными крупными землевладельцами, не говоря уже о купцах, ростовщиках и др. Государство в Азии выступало господствующим субъектом экономических отношений и монопольным земельным собственником. В сфере имущественных, прежде всего земельных, правоотношений рядовым подданным государство оставило только два нижестоящих статуса, т.е. владение и держание земли и недвижимости. Тем самым политическое господство бюрократии соединялось с ее монопольной собственностью. На этой основе возник такой общественный сплав, как «власть-собственность». Благодаря этому земельная рента и поземельные налоги на Востоке совпадали, порождая еще одну амальгаму, а именно «ренту-налог». В этих условиях азиатская бюрократия оказалась не только управляющей, но и правящей силой. Будучи монополистом не только в сфере собственности, но и в сфере власти, она стала еще и господствующей социальной силой. На этой почве восточная бюрократия сложилась в особый правящий класс. Так сложился еще один специфический сплав — «класс-государство». Таким образом, «сверхвласть» породила «сверхсобственность», а на их слиянии возник сплав базисного, социального и надстроечного начал — системный феномен восточного деспотизма. Последний явился результатом соединения трех перечисленных выше амальгам, т.е. «власти-собственности», «ренты-налога» и «класса-государства».

По своей функциональной роли и природе азиатская деспотия резко отличалась от западного типа политической надстройки. Так, по-особому, нежели в Западной Европе, сложились отношения государства и религии на традиционном Востоке. Христианская конфессия оказалась на Западе отделенной от государства, независимой от него и в Средние века даже боролась с королевской и императорской властью

за господство над обществом. Наряду со светской феодальной иерархией здесь выстроилась духовная, рядом со светским действовало церковное (каноническое) право, сама церковь стала «государством в государстве». В противовес этому на феодальном Востоке сохранилось прочное слияние светской и духовной власти. Так, не санкционированная исламом власть рассматривалась как зло. В итоге сложилась специфическая модель «религиозная община — государство» при неразрывности общинного (*умма*) и государственного начал. Коран и шариат подчинили своей детальнейшей регламентации все стороны жизни и деятельности государства, общества и каждого мусульманина. Такого господства религии над обществом не было не только на христианском Западе, но и в иных конфессиональных цивилизациях Азии. Для мусульманского социума свободная от религиозного приоритета юриспруденция оказалась неприемлемой. В мире ислама не люди создавали законы, они лишь пользовались божественными установлениями. Поэтому здесь власть могла быть только исполнительной, но не законодательной. Исполнительная власть на мусульманском Востоке являлась всего лишь проводником божественных законов. Более того, принципы ислама охватывали все функции государства, сакрализуя, т.е. освящая, его основы. Власть и религия здесь оказались нераздельными при верховном контроле духовенства над правителями.

Единство религии и государства, неразделимость веры и общества поставили само восточное общество в полную зависимость от мощной амальгамы «религия-власть». Полное господство этой амальгамы над обществом сковало его поступательное развитие. В итоге к трем перечисленным выше основам азиатской деспотии («власть-собственность», «рента-налог» и «класс-государство») добавилась четвертая — «власть-религия». На этой почве в Азии имела место религиозная власть, или конфессиональное государство. Если на Западе общество постепенно уходило из-под власти религии, то на Востоке конфессии и заменявшие их этические доктрины, например конфуцианство, подмяли под себя социум, стали над обществом. При этом слабость юридической базы восточного социума «компенсировалась» силой идеологии, религии и морально-нравственных норм, прочностью вековых традиций «правильного» поведения человека. Государственные установления здесь были жестко спаяны с верой, этикой и культом всеобщей покорности по отношению к верхам системы. Все это органически сочеталось с политикой силового принуждения, нагнетания атмосферы страха перед властью, с практикой доносов и системой сыска.

Низовым воплощением деспотических начал и ее базовыми опорами служили первичные ячейки социума — «кирпичики» его фундамента. Ими служили малая (нуклеарная) и большая семья, а также

патронимия (клан). Масса этих «микродеспотий» представляла собой «деспотию по горизонтали». Выше патронимий шла уже сфера государства — волостной староста и уездная управа со своим чиновным и подсобным аппаратом. Здесь начиналась «макродеспотия», или «деспотия по вертикали». Соединение «микродеспотии» с «макродеспотией», или «деспотии по горизонтали» с «деспотией по вертикали», создавало целостную и органическую систему китайского деспотизма. В рамках «деспотии снизу» люди переносили на уровень государства свою семейную структуру. В свете этого монарх выглядел строгим, но заботливым отцом огромного семейства. Благодаря этому правитель воспринимался как «отец народа», его защитник от чиновного и военного произвола, как оплот высшей справедливости, как последняя надежда обиженных. В итоге страх перед деспотической властью сочетался с верой в ее главу и уравновешивался этой верой.

Деспотическая государственность выработала строгую систему управленческих, социальных, моральных и религиозных норм. Их главным носителем выступала бюрократия, каравшая всякого, кто либо нарушал эти установления, либо проявлял самостоятельность вне этих рамок. Такой контроль сверху за частнохозяйственной деятельностью ограничивал частные инициативу и предпринимательство. Практически во всех сферах человеческой деятельности деспотическая система не допускала права личности самостоятельно располагать самим собой, своей деятельностью и ее результатами. Миссия азиатской деспотии была двояка. Во-первых, государство стремилось максимально ограничивать рыночно-частновладельческий пласт экономики и социума, а во-вторых, всемерно укреплять сферу натурального распределения, т.е. то русло, в котором функционировал казенно-управленческий комплекс. Азиатская деспотия допускала строго контролируемую ею самой хозяйственную активность «частника» — в земледелии, торговле, ремесле и ростовщичестве. Эта сфера рассматривалась властями как объект налогообложения и частичного ограбления. Частное хозяйствование создавало товарооборот и некое подобие рынка. Однако без господства частной собственности, верховенства закона и личностной цивилизации такой «рынок» не мог стать структурообразующим началом для новой формации. Несмотря на обилие лавок, торговцев и товаров, такой «рынок» при всей его многолюдности оставался всего лишь «восточным базаром», обслуживавшим азиатский феодализм.

Восточная деспотия допускала и терпела рынок в узком значении этого слова, т.е. как торг, базар. Однако государство здесь всеми доступными ему средствами боролось против превращения рынка в системообразующее начало, способное стать основой иной системы, вра-

ждебной восточной бюрократии. В итоге в Азии власть по-прежнему успешно блокировала возможность такого варианта.

Между тем на Западе государство уже стало обслуживать рынок как все более крепнущее формационнообразующее начало и укреплялось на совершенно иных основах. Если Запад опирался на частную собственность, то Восток ее отрицал. Европа стала делать упор на частное товарное производство и саморазвитие рынка. В Азии же, как могли, боролись с этими двумя началами, по возможности ограничивая их, при этом делая упор на казенное производство, натуральное хозяйство и сферу распределения. Чем сильнее и активнее действовало государство в сфере экономики, тем слабее был развит рынок и тем менее свободен он был от чиновного контроля, диктата и ограбления. В условиях азиатского деспотизма повышенную роль играла политика государства — особенно в области экономики, межэтнических и межконфессиональных отношений. Особые испытания для стран Востока наступали с приходом к власти завоевателей — либо соседних монархов, либо династий кочевников. Последние были наихудшим вариантом, с откатом назад. Между тем завоевания не всегда приводили к регрессу. В ряде случаев включение данной страны или этноса в состав больших империй (Арабского халифата, империй Османской, Цинской, Великих Моголов и Сефевидов) создавало более благоприятные условия для экономики и социума, нежели разрушительная борьба между малыми государствами и этносами.

В контексте всемирной истории азиатская деспотия в силу своей всеохватности как явления и необычайно длительного господства не была историческим феноменом. Таковым стало западноевропейское общество, где зародился очаг нового и антипод восточного деспотизма. Азиатский деспотизм не сводился к произволу и волюнтаристским действиям правителя или к тирании как таковой. Данный тип государственности определялся не личностью монарха и произволом с его стороны. Суть восточной деспотии заключалась в самой системе азиатского феодализма, в особом соотношении государственного и частного начал в жизни общества.

В период Средневековья в Западной Европе и Азии по-разному складывалось соотношение государственного и частного секторов национального хозяйства. На Западе казенное начало в экономике было развито слабо из-за прочного господства здесь частного, в первую очередь частнофеодального, начала. В силу этого феодальная экономика выступала в известном смысле единым и монолитным целым без резкой разбивки на уклады. Здесь существовали сцементированные феодальный класс и дворянское сословие. В определенном смысле единым классом выступало и европейское крестьянство. На Востоке

издавна сложилась иная ситуация. Мощное государство в лице азиатской деспотии расщепило экономику на две подсистемы — государственную и частную. Во главе первой встал «класс-государство» во всех его разновидностях — чиновной, военной и смешанной военно-чиновной. Средневековая система Востока базировалась на противостоянии и сосуществовании двух начал — государственно-феодалного и частно-феодалного. Сложилось состояние раздвоенности и цельности системы, единства и относительной уравновешенности обоих ее начал. Их органический баланс обеспечивал общую зарегулированность и повышенную прочность традиционного общества. Баланс этих двух начал служил гарантией повышенной формационной устойчивости всей системы в целом.

На Западе же господство и саморазвитие частного сектора экономики лишали местный феодализм возможности сохранять эту формацию в роли неизменного начала и в устойчивом состоянии. Один из парадоксов традиционного Востока заключался в разрыве между правом собственности и его реализацией в сфере предпринимательства. Государство в лице азиатской деспотии не нуждалось в использовании своих особых имущественных возможностей для организации эффективного и жизнеспособного бизнеса. Поскольку налоговая эксплуатация подданных приносила баснословные доходы, казне просто не требовались чуждые ей по духу начинания. В этих условиях бюрократия как монопольный носитель права собственности не могла по своей природе стать настоящим предпринимателем. А между тем лишенный права собственности и правовой защиты, опущенный на горизонт владельческого статуса «частник» при всем желании не мог стать преуспевающим бизнесменом буржуазного толка.

Для «частника» как в Европе, так и в Азии крайне важны были гарантии устойчивости его материального положения. В отличие от Запада на Востоке отсутствовали узаконенные права «частника», гарантии частного владения и охранение частного предпринимательства. Более того, такое частное начало оставалось объектом притеснения со стороны государства, его бюрократии, которая имела возможность жестко контролировать, шантажировать, ущемлять в правах, требовать обильных подношений, облагать дополнительными поборами сверх налогов, ограничивать и разорять такого «частника» — вплоть до лишения его богатства и имущества. Последние традиционно являлись почти законной добычей азиатской деспотии и ее функционеров. На традиционном Востоке богатство и капитал чаще всего не выставлялись напоказ из-за опасения изъятия его тем или иным способом власть имущими. В целях самосохранения здесь было безопаснее выглядеть небогатым, а крупные операции либо проводить через подставных

лиц, либо осуществлять анонимно в рамках своего рода теневой экономики.

Богатство и имущество «частника» на Востоке было подвержено периодическим экспроприациям. Происходили они в ходе регулярных политических катаклизмов. Их создавали нашествия кочевников, завоевания стран соседними государствами, восстания и крестьянские войны, феодальные междоусобицы и мятежи военачальников, рвавшихся к овладению тронem. Во всех таких катаклизмах достояние «частника» чаще всего шло на поток и разграбление. По окончании всех смут азиатская деспотия всегда выходила победительницей. Позиции бюрократии восстанавливались и на время укреплялись. Происходило это, в том числе, и за счет в очередной раз ограбленного частного владельца земли, лавок, ломбардов и мастерских. Даже к началу Нового времени «частник» на Востоке во многом оставался беззащитным перед лицом всемогущей власти — чиновной или военной. Ограбление купца, ростовщика, предпринимателя под благовидным предлогом — явление здесь обычное и привычное. Поэтому не защищенное от такого бюрократического произвола богатство уходило в подполье, пряталось в кубышках и кладях. В результате происходило омертвление ранее функционировавшего капитала, превращение его в компактные сокровища. Тем самым капитал в прямом смысле слова зарывался в землю. Для сохранения нажитого и унаследованного богатому «частнику» необходимо было самому войти в ряды господствующего класса или сословия. Эта властная или окоlobюрократическая среда могла служить защитой ранее непривилегированному богатею. Таким способом он уходил из опасной сферы частного хозяйствования, ослабляя своим уходом предкапиталистические потенции и буржуазную перспективу эволюции общества. При этом он, наоборот, укреплял азиатскую деспотию и восточный феодализм. Такого рода восходящая социальная мобильность способствовала консервации старой и недопущению становления новой формации.

Средневековый Восток сотрясали постоянные политические катаклизмы — нашествия кочевников, иноземные завоевания, крестьянские войны, антиналоговые и религиозные восстания. В сравнении с их огромными масштабами и числом жертв феодальные междоусобицы и войны на Западе выглядели возней. В ходе этих катаклизмов в Азии частные владения становились объектом грабежа и постоянных переделов со сменой владельцев. В этом еще одна из причин, почему институт частного владения на Востоке был нестабилен и беззащитен перед властью и законом. Это, в свою очередь, не позволяло частному владению перерасти в институт частной собственности. В отличие от Запада, имущественные права на Востоке оставались нестабильными

даже в лоне верховной собственности. Бюрократическая собственность постоянно перераспределялась в ходе как массовых военных и социальных катаклизмов, так и рутинных «подвижек» власти — заговоров, переворотов, мятежей, борьбы кланов и группировок внутри правящего класса. Частые переделы верховной собственности при смене династий и монархов также мешали становлению института частной собственности на Востоке, равно как и регулярные захваты частных владений и держаний. Такая чехарда в сфере имущественных прав — как в правящей, так и в частновладельческой среде — резко отличалась от устойчивости частной собственности на Западе. С изживанием феодальной раздробленности и образованием абсолютистских монархий западные социумы обрели и политическую стабильность, еще более укрепившую частную собственность и верховенство закона. На Востоке же политическая нестабильность сохранялась и усугубляла незащищенность имущественных прав «частника». Между тем их ущербность, в свою очередь, продлевала обстановку политических неурядиц. В итоге повторялось бесконечное движение по замкнутому кругу цикличности вместо выхода на линейный вариант развития общества по восходящей кривой.

В лоне азиатского и европейского феодализма сложилось различное отношение к деятельности «частника» — помещика, купца, торговца, ростовщика и предпринимателя, т.е. хозяина мастерской или мануфактуры. В Западной Европе частное богатство не считалось антиобщественным началом и угрозой для государства. В Азии же оно рассматривалось как антипод казенного начала, как потенциальная угроза правящей элите, как подкоп под здание «класса-государства». В силу этого частное богатство здесь считалось предосудительным и аморальным, а богатый «частник» находился под подозрением. Частный сектор на Востоке служил как бы охотничьим угодьем, где власть могла и имела моральное право поймать богатую добычу. Частная экономика являлась потенциальным объектом натиска и ограбления со стороны государства, а богатый «частник» находился под угрозой разорения. Поэтому такой богач должен был либо постоянно откупаться от власти обильными подношениями, либо сам стать «человеком государства». Богатые люди стремились уйти из частной экономики в казенный сектор. Такие перебежчики покупали чины, должности, звания и покидали частный социум. Тем самым последний еще более ослаблялся перед лицом могучего государства, еще более беднел на фоне богатеющего верховного бюрократического класса. В итоге частное начало лишалось всякой надежды на превращение в ведущую силу общества. Средневековый Восток демонстрировал отсутствие частной собственности, неразвитость частного права, жесткий кон-

троль государства над экономикой, бесправие подданных и как результат всего этого — экономический застой. На Западе действовали совершенно противоположные начала, и как их результат появились явные стимулы к инновациям, экономическому развитию, предпринимательству и социальному обновлению.

Соотношение государственных и частных структур Востока и Запада было напрямую связано с наличием в обществах обоих регионов двух генеральных структурно-системных полей. Первое поле базировалось на таких факторах, как натуральное начало и отсутствие частной собственности (вместо нее частное владение и держание). Целью производства здесь являлась потребительская стоимость. Господство распределительных отношений порождало неравенство их участников и систему принудительных обязательств. Эксплуатация внеэкономическими методами, простое воспроизводство и застой вели к закрытости социальных страт, корпоративности и патриархальности. Второе структурно-системное поле основывалось на таких факторах, как товарно-денежное начало и частная собственность. Целью производства здесь была прибыль. Принцип равенства прав товаровладельцев и отношения свободного договора порождали эксплуатацию экономическими методами. Расширенное воспроизводство, динамичное развитие и высокая социальная мобильность опирались на личностное начало и индивидуализм. Все названные явления внутри обоих полей так или иначе, в той или иной степени были свойственны всем этапам истории как Востока, так и Запада. Конкретику определяли различные сочетания этих слагаемых. Господство того или иного структурно-системного поля и его соотношение с факторами иного поля породили разные пути исторического развития и его основные этапы. Таковыми стали общественно-экономические формации. Каждая из них отличалась преобладанием первого или второго поля. Однако во всех случаях в рамках единого, живого, реального социального организма — социума, общества — оба начала (в их различных проявлениях) уживались, переплетались при господстве либо одного, либо другого структурно-системного поля. Применительно к концу Средневековья и началу Нового времени в общественной эволюции Западной Европы и Азии сложилось явное различие в соотношении данных полей. Если в странах Азии сохранялось прочное господство первой системы, то на Западе началось бурное развитие второй. В Западной Европе вторая система явно превращалась в формационнообразующее начало. Такого рода перелом был обусловлен типологическими особенностями западноевропейского феодализма. В системе последнего факторы второго структурно-системного поля получали возможность интенсивно-

го поступательного развития. На Востоке же эта система играла подчиненную, сугубо служебную роль.

Укрепление частной собственности и ее охрана законом вели на Западе к развитию рынка и реально стимулировали производственные вложения частных средств. На этой почве началось развитие науки, техники и общественного прогресса. Благодаря этому второе генеральное структурно-системное поле одержало верх над первым. Тем временем на Востоке сохранялось прочное господство первого структурно-системного поля над вторым. Отсутствие частной собственности, правовая незащищенность частного владения, господство распределительных отношений, слабость рынка, отсутствие стимулов к росту производственных вложений — все это служило сохранению обстановки застоя и отсталости. В этих условиях победа второго структурно-системного поля над первым была невозможной. При господстве первого структурно-системного поля на Востоке экономический и социальный застой оборачивался воспроизводством массовой бедности. Дихотомия «сильная власть — слабый социум» своей обратной стороной имела дихотомию «богатое государство — бедное общество». Отсутствие стимулов к социально-экономическому развитию «снизу» компенсировалось в Азии повышенной значимостью силовых методов «сверху». При такой сверхактивности государства основной источник импульсов движения лежал не в базисе, а в надстройке. Именно поэтому властная сфера вместо устойчивости и гибкости была чревата политическими катаклизмами, переворотами, борьбой соперничавших группировок и клик. Коррупция бюрократии оборачивалась загниванием и ослаблением власти, ее периодической ломкой. Так воспроизводство бедности слабого социума оборачивалось воспроизводством политической нестабильности богатого сильного государства. В лоне господства первого структурно-системного поля и азиатской деспотии насильственное перераспределение частных, прежде всего земельных, владений стало обычным явлением. Такого рода имущественный передел регулярно осуществлялся либо в русле циклического движения общества, либо в ходе повторяющегося время от времени исторического сценария. Последний характеризовался вторжениями кочевников, иноземными завоеваниями, сменой династий, падением прежних государств и созданием на их месте других, внутренних междоусобицами и т.д.

С опорой на разделение власти и собственности, на неприкосновенность частной собственности, на товарно-денежные отношения Запад к началу Нового времени поставил во главу угла саморазвитие экономики на базе естественного функционирования рыночного механизма. К этому историческому рубежу Восток пришел с неизменным

набором традиционных основ — соединение власти и собственности в руках бюрократии, господство распределительных отношений. Важнейшим фактором здесь так и осталась политика, т.е. доминирование государства над обществом, в котором рыночные отношения выполняли сугубо служебные функции. В Западной Европе второе поле не только окончательно победило первое, но и сложилось в целостную частнорыночную систему. Последняя строилась на органическом единстве целого ряда системных компонентов. В их число входили частная собственность, ее правовая защищенность, господство закона и правосудия, поддержка и защита со стороны государства, верховенство частного и личного начала. На этой основе из средневекового торга выросла целостная рыночная система производства и обмена. Традиционный Восток не создал такого рода слагаемых, а тем более подобной системы. Его рынок так и остался всего лишь азиатским базаром — шумным, многолюдным и красочным. На просторах Азии имелось более или менее развитое товарное производство, но отсутствовало многое другое, а именно — право частной собственности и правовая защищенность «частника» от вымогательств, произвола и ограбления со стороны властей. Все это делало вложение средств в любое производство опасным и невыгодным. Поэтому на Востоке владелец свободных денежных сумм устремлялся в сферы быстроликвидного бизнеса — в торговлю и ростовщичество.

Для развития частного начала в Азии и Европе огромную роль играла политическая обстановка, а в ней самой — соотношение мирного времени и военных действий. Средневековью вообще были присущи такие политические потрясения, как межгосударственные и крестьянские войны, восстания, нашествия и иноземные завоевания, смуты и феодальные междоусобицы. Все эти беды Средневековья прочно сохранялись на Востоке. Между тем Запад от многих из них уже избавился. Так, уже давно он не знал нашествий и иноземных завоеваний. В прошлое отходили крестьянские войны и феодальные междоусобицы. Восстания и смуты резко измельчали. Оставались лишь масштабные межгосударственные войны. Зато началась полоса буржуазных революций. Такого очищения политической сферы от бедствий Средневековья Восток в отличие от Запада не получил. На Востоке же действовал иной механизм устранения излишнего потенциала конфликтности. Здесь общество периодически избавлялось от груза кризисности в русле циклического движения. Негативный потенциал в данной системе не накапливался, а сбрасывался в ходе политических катаклизмов. В этой роли выступали чужеземные завоевания, массовые крестьянские войны, завоевания кочевников, смуты и междоусобицы. Ценой такого снятия кризисности, как правило, была массовая разру-

ха. В данной ситуации системе восточного феодализма оставалось лишь одно — восстановление разрушенного силами государства, т.е. деспотии. Последнее означало неизбежное вхождение в новый цикл, т.е. движение вспять. Практически во всех сферах жизнедеятельности восточного общества на определенном отрезке времени в той или иной форме, в той или иной мере проявлялся фактор повторяемости. По сути, традиционный Восток жил в рамках типового сценария, заключавшего в себе хождение по кругу с переходом одного витка в другой. Такого рода циклический вариант движения означал воспроизведение в данном цикле того, что уже происходило в предшествующем цикле. С позиций мировой истории данная модель означала топтание на месте, или общественный застой.

В условиях полномасштабной цикличности на Востоке страна всякий раз проходила через четыре или пять последовательных фаз. Ими были разруха, восстановление, подъем, кризис и катастрофа. При усеченном или смазанном варианте не возникало столь четкого чередования этих пяти фаз. В этом случае общество переживало смену таких этапов, как регресс, рост, очередной упадок, новый подъем и т.д. В любом варианте для Востока было характерно волнообразное чередование развития и спада, движения вперед и отката вспять. Такое сочетание эволюции и инволюции оборачивалось в конечном счете топтанием на месте или хождением по кругу. Столетие за столетием протекали по данному сценарию, порождая общественную стагнацию. В отличие от Востока, Западная Европа при всех отклонениях и срывах держалась в рамках всего одной фазы — постепенного и неуклонного подъема. Здесь общество не испытывало сверхперегрузок в русле несуществующих фаз (кризис, катастрофа, разруха), хотя отрицательно чувствовались последствия разного рода войн. В результате Запад демонстрировал довольно ровное поступательное развитие и движение вперед по восходящей кривой, хотя и с разного рода помехами. В противовес этому на Востоке имело место не столько развитие, сколько движение во времени по синусоиде или пологой спирали с чередованием поступательности, торможения и регресса. При смене спадов подъемами последние зачастую начинались не с предкризисного, т.е. довольно высокого, уровня, а с низкого горизонта разрухи. Подобное волнообразное и прерывистое движение не вело общество к стадийной и формационной смене, а наоборот, отдаляло от нее.

На Западе дискретность, т.е. прерывание общего хода развития, выступала как частный случай, как попутное преходящее явление. Дискретность оказывалась неспособной остановить поступательное движение и прогресс Запада. Иная картина наблюдалась в Азии. Здесь дискретность стала постоянным и мощным фактором торможения, регресса

и застойности. Поступательное развитие линейного типа стало на Западе настолько устойчивым, что внутригосударственные и межгосударственные войны уже не могли остановить эту тенденцию и лишь тормозили ее. Восток между тем традиционно эволюционировал в русле цикличности, т.е. смены попятного и восстановительного движений. Здесь продолжалось устойчивое чередование политических, экономических и демографических катастроф большого масштаба. Войны, нашествия, завоевания, смуты, междоусобицы и восстания разрушали народное хозяйство. Здесь, в отличие от Запада, земледелие, городское ремесло и торговля не являлись стабильными сферами экономики. При таких испытаниях страдали не только города, но и ирригационные системы, а с ними и само орошаемое земледелие.

Если частное предпринимательство на Западе укреплялось в русле благоприятствующего ему линейного общественного развития, то в Азии сложилась иная ситуация. Частный сектор экономики на Востоке функционировал в обстановке цикличности. Отношение к нему со стороны государства менялось с переходом от одной фазы цикла к другой. В фазах разрухи и восстановления хозяйства усилия купца и предпринимателя были нужны властям для возрождения налогоплательщей сферы. В этих двух фазах бюрократия позволяла «частнику» хозяйствовать свободно. С восстановлением экономики и в фазе ее подъема частный капитал попадал под контроль, подозрение и испытывал скрытое противодействие казны. С ее точки зрения чрезмерное усиление «частника» становилось опасным для позиций бюрократического класса. В стадии же кризиса «частник» превращался в объект ограничения, притеснения и ограбления со стороны властей. С наступлением фазы катастрофы «дело», предприятие или хозяйство «частника» чаще всего в прямом или в переносном смысле разрушалось и разорялось повстанцами, воюющими между собой сепаратистами или иноземными завоевателями, в том числе кочевниками. Богатство купца и предпринимателя шло на поток и разграбление. Круг замыкался, и с выходом в стадию разрухи нового цикла все повторялось в очередной раз. Таким образом, частное предпринимательство на Востоке являло собой сизифов труд, а общество тем самым в исторической перспективе обрекалось на застой.

При всем том восточную систему отличала устойчивость, способность к быстрому восстановлению нарушенных связей, к воспроизводству прежних порядков и норм после социально-политических и иных катаклизмов. Такого рода устойчивость традиционного общества в Азии во многом объяснялась приоритетом кризисного начала над поступательным развитием. После каждого из периодических завоеваний и циклических кризисов исходный уровень Восток восстанавли-

вал с трудом. Тем самым система в целом вместо саморазвития все свои силы тратила для возврата на докризисный уровень и удержание его. В итоге особую значимость приобретало преобладание стагнации над поступательностью. Такая ситуация резко тормозила внутрiformационные, т.е. стадияльные, сдвиги, обуславливала отодвигание в будущее перехода от одной фазы средневековой формации к другой. Азиатское общество, по сути, оставалось прежним, создавая иллюзию устойчивости.

В Западной Европе развитие шло эволюционным путем за счет постепенных и необратимых изменений. Государству не было нужды решительно вмешиваться в этот естественный процесс. Поэтому вопрос о реформах как таковых здесь, как правило, либо не возникал, либо не приобретал особой остроты. Иное дело традиционный Восток, где вместо линейной поступательности доминировали циклическое буксование и топтание на месте. Поэтому в стадии кризиса очередного цикла у наиболее дальновидной части бюрократического класса возникало стремление искусственно оздоровить старую систему и мерами «сверху» остановить ее сползание к фазе катастрофы. На этой почве в той или иной форме начиналось движение за реформы, либо появлялась сильная личность, действовавшая в этом духе. Целью этих усилий становилось возрождение более ранних форм и методов с возвращением, по сути, в фазы восстановления и подъема. Речь шла об усилении государства, казенного сектора экономики и позиций бюрократического класса за счет изыскания дополнительных источников налоговых поступлений. Такого рода реформы были направлены не на создание нового и движение вперед, а на возрождение старого, на повторение пройденного, на дальнейшее круговращение в привычной традиционной системе. При обострении нового кризиса азиатской системы, на стадии разложения очередного поколения функционеров восточной деспотии бюрократия видела выход из данной ситуации в обновлении своего кадрового состава. Приход к власти энергичного монарха, новой династии, новой генерации функционеров или просто выдвигание на первый план нескольких честных чиновников становилось панацеей. И это повторялось с каждым очередным витком или циклом. Неудивительно, что на Западе история воспринималась как линейное и поступательное течение событий по восходящей кривой, как неуклонное обновление, как переход от старого к новому. Для населения Востока история виделась лишь как повторение прошлого, чередование привычных фаз, хождение по традиционному маршруту, где не возникало ничего принципиально нового. Как органический тип функционирования, он не являлся на Востоке чем-то чрезмерным и аномальным, ибо был нормой вплоть до реального столкновения с Западом.

Только тогда — при сравнении с европейским уровнем развития общества — ситуация в Азии стала приобретать такие самооценки, как «застой», «отставание» и «упадок».

И Запад, и Восток в Средневековье имели дело с давлением на их общество традиций, т.е. исторически сложившихся и передаваемых из поколения в поколение порядков и правил. Европейское общество не позволило подчинить себя целиком этим старым нормам. Здесь к ним сложилось активное и избирательное отношение. Все, что мешало поступательному движению Европы, отодвигалось в сторону или отмирало. Сохранялись традиции, либо не вредившие, либо способствовавшие общественному развитию. Подобный принцип возобладали и во взаимоотношениях традиций с христианской цивилизацией. В итоге Запад не стал традиционным обществом, т.е. социумом, где традиция является одним из системообразующих начал. На средневековом же Востоке очень рано сложился не только формационный, но и стадийный (внутриформационный) застой с затянувшимся периодом пребывания либо на стадии развитого, либо раннего феодализма. Отсутствие поступательного движения приводило к превращению сложившихся общественных форм, институтов и норм в традицию. Более того, в условиях политической нестабильности именно традиция стала здесь определяющим началом, универсальным регулятором и всеобщей нормой. Сковав общество, традиция превратилась в систему. В итоге сложился особый исторический тип общества, основанный на традиции, а средневековый Восток стал суммой традиционных обществ. Исторический застой на Востоке давно превратился в норму и принял форму общественной традиции. Традиция здесь стала определяющим началом, привычным регулятором и универсальной нормой. Если здесь наблюдалась некая общественная эволюция, то она происходила только лишь в рамках сложившейся традиции и в русле повторения ее принципов. В итоге в средневековой Азии установилось прочное господство традиционных систем и традиционных обществ. Их типичным представителем и эталоном служил императорский Китай. Однако имелось одно исключение из этого правила. Так, феодальная Япония не стала традиционным обществом. Здесь, в отличие от Китая и остальной Азии, традиция не победила, отойдя на второй план.

На всем остальном средневековом Востоке традиции считались священными и неколебимыми. Их соблюдали неукоснительно и целиком. Тем самым традиция возобладала над обществом и подмяла его под себя. Благодаря этому эволюция здесь определялась старым кодом, т.е. суммой неизменных установок, ценностей, норм, идей, обычаев и обрядов. Сохранение этой архаики считалось верхом добродетели.

тели и духовного здоровья социума. Огромную роль традиции играли в системе восточных цивилизаций, намертво спаянных с этой архаикой. Традиции здесь служили консервации отживших и реакционных общественных форм. В итоге Восток не только сложился как традиционное общество, но и в этом качестве дожил до рубежа новой истории. Между тем Запад не знал такого всестороннего застоя и поэтому не нуждался в господстве традиции. Переходя от одной стадии к другой в русле устойчивой эволюции, Западная Европа уже с XVI–XVII вв. стала зоной все ускоряющегося развития, т.е. явным антиподом традиционного Востока. С опорой на более гибкую общественную систему Запад перешел к ее обновлению — это был шаг от эволюции к развитию. На Востоке же прочно сохранялась жесткость и неподвижность старой системы с опорой на господство традиций, прежде всего традиционное господство над социумом.

Европейский и азиатский типы средневекового общества резко отличались друг от друга в системном плане. Западный феодализм оказался ущербным, ибо нес в себе несистемные и антисистемные начала. Речь идет о частной собственности, о господстве личностного начала, об особой природе самоуправляющегося города с его коммуной и цеховой организацией, об античном наследии, о частном римском праве и христианском протестантизме. Все эти явления по своей природе были антифеодальными. Данные несистемные элементы на определенном этапе стали антисистемными. Тем самым западная модель оказалась в системном плане изначально «больной», или ущербной, ибо несла в себе эти изъяны, а по сути начало ее отрицания. В конце концов эти чуждые системе компоненты взломали ее.

В итоге на Западе сложилась неоптимальная и неполноценная общественная система — лишенная саморегуляции, изменчивая, с наличием системных дефектов, с необходимостью постоянной коррекции. Между тем именно эти недостатки и дефекты делали западную незавершенную систему гибкой, ибо они не позволяли ей окостенеть и застыть в старых формах. Более того, такого рода ущербность и неполноценность делали невозможным ее постоянное самовосстановление в неизменном виде. Зато эти дефекты толкали систему к выходу из конфликтной ситуации в поиске новых форм и на путях поступательного движения саморазвития. Все это делало Западную Европу зоной динамичного исторического прогресса. Западная феодальная система характеризовалась постепенным накоплением кризисности. Данный потенциал конфликтности не сбрасывался, как это было на Востоке, в ходе кровавых и разрушительных катастроф. Такого рода негативный груз заставлял общество двигаться в сторону трансформации, изменения и развития — к обновлению экономики, социума, полити-

ческой надстройки, науки и культуры. Механизм снятия кризисности в рамках феодализма вел на Западе к постепенному переходу от одной стадии к другой, наконец, к изживанию старой формации с заменой ее новым общественным строем. Тем самым Европа уходила от ущербной системности к целостной и здоровой, от полусистемности к полной и законченной системе.

В этом отношении азиатское Средневековье было свободно от такого рода «недуга». Восточный феодализм, напротив, представлял собой целостную и «здоровую» систему, коей не грозило внутреннее пере рождение в иную формацию. Отсутствие взрывоопасных и разлагающих начал западного типа обеспечило азиатской средневековой системе защищенность от внутреннего распада и обусловило ее повышенную жизнеспособность. В противовес Западу традиционный Восток сложился как максимально уравновешенная, саморегулирующаяся, самодостаточная и оптимальная система. Будучи законченной и идеальной, она не нуждалась в изменениях, в обновлении и коррекции. Именно системные полноценность и завершенность делали ее жесткой, окостеневшей, не способной к новациям и саморазвитию. Вместо поступательной эволюции она могла лишь «ходить по кругу» или по пологой спирали. Осуществляя периодическую санацию после очередных кризисов, восточная система восстанавливала саму себя в прежнем качестве. По сути, происходило вращение в созданной ею же самой идеальной схеме — своего рода клетке — без возможности вырваться из нее. В конечном счете это означало комплексный исторический застой.

При всех кардинальных различиях между западным и восточным типами феодализма данная формация на обоих континентах развивалась по сходным ступеням эволюции. Тем не менее и здесь процессы феодализации протекали несинхронно. Шли они с отставанием Азии от Европы на два-три столетия, с общим замедлением темпов эволюции Востока. Это сочеталось с его чрезмерно длительным пребыванием на второй стадии формации (развитой феодализм) при невозможности самостоятельного перехода в третью стадию (поздний феодализм), а тем более вступления в капитализм. Тем самым специфика типов переплеталась с особой динамикой феодализма, т.е. с разницей в смене его стадий и в темпах эволюции. В связи с этим «застывание» Востока на второй стадии (развитой феодализм) означало достижение оптимально возможного горизонта. Выше него азиатские общества самостоятельно подняться не смогли. При этом речь идет прежде всего о «ядре» этих государств. Между тем их «периферия» либо оставалась на уровне первой стадии (ранний феодализм), либо еще не достигла его. Таким образом, если западноевропейский феодализм про-

шел все три заложенные в нем стадии, то его восточный «собрат» оказался всего лишь двухстадиальным. К XVII–XVIII вв. Азия полностью реализовала все возможности собственного (в отличие от Запада) варианта исторической эволюции. К этому времени материализовалось практически все, что было заложено в потенции азиатского типа самореализации. Речь идет как об особом коде, или генотипе, Востока в целом, так и о региональных и страновых моделях в отдельности.

Поскольку азиатские страны так и не вошли в фазу позднего феодализма, историческое отставание Востока от Запада в XV–XVI вв. составляло одну стадию. Азиатские страны оставались на стадии развитого феодализма. В XVII–XVIII вв. данный разрыв оказался уже равным целой формации (феодализм–капитализм). В итоге уровень развития, привычный и «нормальный» для азиатского Средневековья, при столкновении с Западом и при сопоставлении с его уровнем оказался олицетворением застоя и упадка. Иными словами, восточная модель проиграла историческое соревнование с Западом еще задолго до начала колониальной экспансии европейцев. При этом трехстадиальный западный феодализм полностью реализовал свои внутренние потенции и стадийно раскрылся полностью. Двухстадиальный восточный феодализм не смог войти в свою третью фазу, так и оставшуюся сугубо гипотетической. К началу Нового времени Восток так и не вышел из второй стадии феодализма, а многие его звенья застряли на первой фазе этой формации. В целом азиатские государства не досрости до стадии общего кризиса феодализма и повышенной формационной конфликтности.

Страны Востока как в формационном, так и в стадийном плане оказались не подготовлены к наступлению Нового времени. Сохраняя в неприкосновенности традиционные способы производства и живя по-старому, Восток не подозревал о наступлении Нового времени на часах общемировой истории. К тому же в Азии сохранялись весьма смутные представления о чуждом мире «западных варваров». Если Запад уже постепенно выходил из русла феодальной формации, то Восток прочно «увяз» в ней, и о выходе из нее здесь вопрос не стоял. Освобождаясь от последней, третьей стадии старой формации (поздний феодализм), Западная Европа постепенно вступала в новую формацию — капитализм. Однако на исходе Средневековья и на рубеже Нового времени Восток не просто «застрял» на различных с Западом этапах общеисторического процесса. Речь шла уже не о стадийных различиях в русле единой общемировой эволюции, а о принципиально иных, типологически различных путях движения, отличающих западный феодализм от восточного. При всем том восточный феодализм как формационное начало реализовался в русле азиатских цивилиза-

ций. Последние, в свою очередь, развивались в лоне феодального общества. Тем самым цивилизационное многообразие существовало в рамках формационного единства. И наоборот, формационная общность связывала воедино цивилизационную многоликость этих стран. В этом русле на традиционном Востоке сложилось системное единство двух указанных начал. Все это делало невозможным их отрыв, а тем более противопоставление друг другу в единой ткани исторического бытия азиатских обществ. К концу Средневековья Запад создал механизм саморазвития экономики и социума на базе частной собственности, личностного начала, частной инициативы, господства закона и постоянного роста общественного богатства. Там сложилась система, работавшая в известном смысле слова автоматически и в русле ускорившейся эволюции. Возникавшие при этом политические препятствия устранялись с помощью буржуазных революций. В противовес этому на Востоке сохранялась подконтрольная государству экономика с угнетением частной инициативы. Отсутствие механизма саморазвития здесь вело к воспроизведению одного и того же уровня экономики и общественного потребления. Поскольку в данной системе царила воля бюрократии, а не частная инициатива, такая зажатая «сверху» экономика крайне слабо развивалась «снизу». Результатами этого являлись общественный застой и преобладающая бедность. Ею слабое и неполноценное общество расплачивалось за всемерное усиление государства. Бедность населения здесь являлась обратной стороной богатства бюрократического класса. Между тем слабое и бедное общество служило источником периодических и мощных политических потрясений — крестьянских войн, восстаний, религиозных и сепаратистских движений. Тем самым задавленное «сверху» и неполноценное общество «мстило» богатому и сильному государству за насилие над социумом, за свой ущербный статус.

В конце Средневековья — начале Нового времени развитие Запада настолько ускорилось, что мирная эволюция в ряде случаев перестала устраивать общество. Понадобилось новое явление — насилие как «повивальная бабка истории» (К. Маркс). Бывшее до этого просто классово-мещинской местью, грабежом и разрушением, насилие стало одним из инструментов развития Запада. Речь идет об эпохе первоначального накопления, раннего колониализма, буржуазных революций и смены одной общественной формации другой. На средневековом же Востоке насилие осталось только в своей прежней разрушительной и грабительской ипостаси, т.е. фактором торможения исторической эволюции. Будучи зоной господства личностного начала, частной собственности и частной инициативы, Западная Европа стала регионом внутренних импульсов и инициатив, саморазвития и движения вперед и вверх —

к новым рубежам. В противовес этому на традиционном Востоке данные факторы просто-напросто отсутствовали. Поэтому азиатским социумам оставалось повторение старого, воспроизведение неизменного, хождение по кругу, т.е. комплексный общественный застой.

В силу этих причин в странах Азии накапливался негативный политический потенциал — коллективизм, корпоративность, сепаратизм, привычка к покорности и общественному застою. На этой почве произрастали консерватизм, враждебность к новациям и антиреформизм. Средневековая консервативность сочеталась с изоляционизмом, ксенофобией и явной реакционностью. В странах Дальнего Востока на почве ксенофобии это отлилось в политику внешней изоляции и «закрытия», что еще более укрепило обстановку застоя. Комплекс всех этих факторов послужил причиной отсталости, застоя и бедности Востока в сравнении с Западом, где происходило интенсивное разложение феодализма и становление капитализма. Восток в полной мере сохранял старую формацию, причем в отсталых средневековых формах. Противостояние Западной Европы и Азии все более становилось оппозицией «развитие и прогресс — стагнация и отсталость». Если на Востоке прочно сохранялись «культ слова» (или иероглифа) и гегемония гуманитарных наук, то Запад уже стартовал с этого средневекового плацдарма к «культу цифры» и развитию естествознания, точных и прикладных наук, т.е. к научно-техническому прогрессу.

**АЗИАТСКО-ДЕСПОТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА
ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА
(в свете антитезы «Восток–Запад»)**

Восточный деспотизм — крупное общественное явление, неотъемлемый компонент древней и средневековой истории практически всех стран Азии и Северной Африки. В данной главе они объединяются понятием «Восток». Исключение составляет Япония, где сложилась иная модель феодализма и азиатская деспотия отсутствовала. Как объект анализа восточный деспотизм давно привлекает внимание историков, социологов и политологов. Среди их работ выделяется исследование К.А. Виттфогеля — автора знаменитой монографии о восточном деспотизме. Данная проблема изучалась и в нашей стране. Здесь особое место занимает коллективная работа «Феномен восточного деспотизма: структура управления и власти» под редакцией Н.А. Иванова. В разработку этой проблематики большой вклад внес Л.С. Васильев. Автор данной главы взял на себя смелость продолжить данную линию в несколько ином плане, а именно в русле компаративистики, т.е. сравнительно-исторического метода. Речь идет о сопоставлении общественных реалий традиционного Востока и позднефеодальной Западной Европы, ассоциируемой нами с понятием «Запад». Формационную природу средневековой Азии историки, социологи, экономисты и политологи квалифицируют по-разному. Здесь имеют место такие оценки, как «восточный феодализм», «государственный способ производства», «традиционное общество» и др. Наиболее значимой антитезой «восточному феодализму» до сих пор остается «азиатский способ производства» с присущими этой позиции весьма основательными аргументами. При всем столь широком спектре формационных оценок единственным, т.е. принятым всеми, определением политической надстройки остается «азиатская деспотия». Восточный деспотизм — очень древний феномен, известный еще за два тысячелетия до н.э. В данной главе нет необходимости рассматривать генезис этого явления. Здесь анализируются лишь его давно сложившиеся формы в том их виде,

какими они сохранились к рубежу позднего европейского Средневековья и Нового времени. Причем начать сопоставление двух общественных моделей — западной и восточной — лучше всего с имущественно-правового аспекта. При этом здесь и в дальнейшем мы будем опираться на разработки отечественных востоковедов-историков.

На феодальном Западе поземельные отношения находились преимущественно в частнопровом поле. Что же касается средневекового Востока, то здесь они по традиции оставались в государственно-правовой системе. Верхний горизонт земельных отношений в Западной Европе базировался на правах частного феодала. Сначала это было правом его владения как сеньора и вотчинника, а затем — его правом собственника. Сидевшие на его земле крестьяне подпадали под действие частнофеодального права. Тем самым в правовом поле земельных отношений Запады действовало множество субъектов права. На средневековом Востоке подобного поля не существовало. Субъектом права здесь выступало только сверхмогущественное государство — как монополюный собственник. Частные же лица в Азии являлись скорее объектами, чем субъектами земельного права. Олицетворением земельной собственности здесь выступал не частный феодал, как это было в Европе, а само государство. Тем самым резко повышалась его роль в жизни общества в сравнении с Западом. В итоге азиатская деспотия господствовала не только в сфере политической надстройки, но и в самом социально-экономическом базисе. В Западной Европе земельная собственность в конце концов стала главным фактором существования класса частных феодалов. В частную собственность перешли не только поля, но и луга, леса. Кому принадлежала земля, у того была и власть. Таким образом, собственность являлась источником политического господства. На Востоке же классообразующим началом оказалась не земля, а верховная власть. Благодаря этому бюрократия стала правящим классом «государственных феодалов» или «государственным классом». Так возник один из феноменов традиционного Востока, а именно «класс-государство».

Основанная на частной собственности социально-экономическая система стала в Западной Европе первичным, а власть — вторичным началом. Противоположная ситуация сложилась на традиционном Востоке. Главным фактором здесь оказалась власть, т.е. государство, а экономика и социум — подчиненным горизонтом. На позднефеодальном Западе государство явилось производным от общества, а в Азии власть осталась силой самодостаточной и слабо зависимой от социума.

В западном варианте власть оказалась вторичным фактором и происходила из сферы земельных отношений. Земельная собственность здесь встала выше власти и оказалась сильнее ее. На Востоке все

выглядело иначе. В азиатском варианте первичной и самодостаточной оказалась именно власть, а поземельные отношения остались на втором плане.

Если в Европе власть и собственность оказались разделенными, то в Азии слитыми воедино. В истории Востока prerogatives правителя сложились раньше оформления частных имущественных прав. В силу этого право собственности стало добычей и монополией государства, оказалось прочно слито с ним. Поскольку собственником земли издавна выступала сама азиатская деспотия, ее подданным были оставлены лишь права владения и держания земли. В этой ситуации собственность являлась неотъемлемой принадлежностью власти. Сама же власть выступала в двух ипостасях — и как административно-политическое господство, и как монополия на право собственности. Тем самым государство в Азии захватило и сделало своей prerogative верхний горизонт имущественных прав. В итоге подданные восточной деспотии изначально оказались либо владельцами, либо держателями земли, т.е. обладателями имущественных прав второго и третьего сорта. Такое массовое поражение в правах предельно обессилило хозяйственную активность социума в сфере долгосрочного предпринимательства.

Слитность власти и собственности на Востоке выступала в двух ипостасях. Прежде всего, в условиях азиатского деспотизма государство не принадлежало обществу, как это было на Западе, а выступало в качестве «частной собственности» верховного класса бюрократии. Во-вторых, на традиционном Востоке имела место только одна форма земельной собственности, а именно верховная, как принадлежность самой деспотии в лице правящей бюрократии и военных. Особым вариантом этого являлась государственная собственность как непосредственно противостоящая частному владению землей. Собственность на Востоке стала достоянием государства, «добычей» и монополией правящей бюрократии. В Азии собственность оказалась одной из функций власти и ее принадлежностью. Создание на этой почве амальгамы «власть-собственность» явилось одним из феноменов традиционного Востока. При слитности верховной земельной собственности и государственного суверенитета по отношению к подданным данная амальгама служила основой азиатской деспотии.

Верховная собственность на землю проистекала из особого характера власти в Азии — власти, независимой от социума, поскольку власть здесь выступала первичной, а общество — вторичной субстанцией. В равной степени и в амальгаме «власть-собственность» первый ее компонент оставался ведущим, а второй — производным от первого.

При необеспеченности прав личности и при отсутствии частной собственности на землю в Азии верховным ее собственником выступало могущественное государство, т.е. верховный бюрократический «класс-государство», олицетворяемый монархом как главой восточной деспотии. Тем самым «класс-государство» стал вторым феноменом традиционного Востока. Верховная земельная собственность в Азии являлась источником всеобщего налогообложения подданных. Частное землевладение крестьян и феодалов выступало сферой податного служения государству как «верховному феодалу» — получателю налогов и доходов от разного рода трудовых и иных повинностей. Это были взаимоотношения между собственником и владельцем, между носителями власти и податным населением. «Если не частные земельные собственники, а государство непосредственно противостоит непосредственным производителям, как это наблюдается в Азии, в качестве земельного собственника и вместе с тем суверена, то рента и налог совпадают, или, вернее, тогда не существует никакого налога, который был бы отличен от этой формы земельной ренты», — писал К. Маркс¹. На этой основе сложилась такая специфическая реальность, как «рента-налог». Тем самым «рента-налог» явилась третьим феноменом восточного феодализма наряду с «властью-собственностью» и «классом-государством».

Таким образом, на средневековом Востоке государство выступало не только «главным управляющим» и верховным собственником всей земли, но и, по сути, «верховным феодалом». В этом плане такие феномены, как азиатская деспотия, «класс-государство», «власть-собственность» и «рента-налог», могут быть сведены к феномену «государство-феодал», олицетворяемому персоной самого восточного монарха. Если общества Западной Европы сформировались под эгидой частной феодальной собственности, то социумы Востока сложились в обстановке гегемонии верховной собственности государства, т.е. коллективного достояния правящей бюрократии. Само государство на средневековом Востоке в известном смысле являлось «коллективной собственностью» чиновно-военной среды, или бюрократии как таковой. В той же мере государственная собственность представляла собой общее достояние чиновного класса. Последний выступал не просто доминирующим, а именно монопольным собственником всех земель в пределах данной страны. «Государство здесь — верховный собственник земли. Суверенитет здесь — земельная собственность, сконцентрированная в национальном масштабе. Но зато в этом случае не существует никакой частной земельной собственности, хотя существ-

¹ Маркс К. Капитал. Критика политической экономии. Т. III. — Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Изд. 2. Т. 25, ч. 2, с. 354.

вует как частное, так и общинное владение и пользование землей», — писал К. Маркс².

Поскольку на Востоке власть была первичной по отношению к имущественным правам социума, т.е. сильнее и выше их, именно азиатская деспотия определяла, кто имеет право на статус собственника (его она сделала своей монополией), а кто должен довольствоваться положением владельца или держателя. Эти две последние категории имущественных прав восточное государство милостиво оставило за своими подданными. В Азии верхний этаж земельной системы был прочно занят бюрократией. Поэтому все, кто имел землю на правах владения или обрабатывал ее на правах держания, автоматически попадали под действие государственного права. Трехступенчатая пирамида земельных прав «верховная собственность — частное владение — частное держание» служила прочным фундаментом восточной деспотии, ибо все «частники», т.е. владельцы и держатели, так или иначе «сидели» на земельной собственности государства. Тем самым последнее выступало носителем монопольного права на земельную собственность. Данная монополия осуществлялась бюрократическим аппаратом — военными и чиновниками или функционерами, соединившими в себе обе ипостаси.

На феодальном Западе политическая власть оказалась в руках тех, кто сначала владел землей, а затем стал ее собственником. Управленческие функции здесь оказались придатком частной собственности. По-другому сложилась ситуация на Востоке, где землей владели одни, а властью обладали другие. По этой причине в Азии частное владение землей не вело к установлению власти над населением. На традиционном Востоке землевладение и политический статус чаще всего оставались не связанными друг с другом. Более того, власть и земля оказались разделенными верховной силой — государством. Политический статус здесь определялся не размерами наследственной или купленной земли, а местом в системе самой деспотии, т.е. ступенькой в чиновной иерархии. Для обретения власти частному землевладельцу надо было стать функционером госаппарата.

Привилегии и материальные блага распределялись на Востоке чаще всего через государство, т.е. через систему должностей, чинов, рангов и степеней. В Азии богатство приносило власть и обеспечивало политический статус лишь в случае обмена денег на власть, т.е. покупки должности, чина или ученой степени. В этом случае доходы от землевладения конвертировались во власть, т.е. место в госаппарате. Так экономические «частные» позиции открывали доступ в коридоры власти. Однако временность и превратности бюрократической карье-

² Там же.

ры обусловили неустойчивость этого ненаследственного статуса. Тем самым высокая социальная мобильность оборачивалась нестабильностью господствующего слоя, хотя в странах конфуцианского чиновничества — Китае, Корее и Вьетнаме — сыновья чиновников пользовались правом «тени», т.е. преимуществом перед другими претендентами на должность.

Азиатская деспотия своей мощью разъединила политический статус и землевладение. Соединить их можно было, только пойдя на поклон к бюрократии и отдав ей свои накопления от земельного владения, торговли и ростовщичества. Отсюда проистекала высокая социальная мобильность. Так, в Китае богач мог купить себе место в управляющей, а то и в правящей структуре. Тем самым богатый «выскачка» занимал новое — более выгодное — место в сословной иерархии, поднимаясь в среду «государственных мужей» и привилегированного сословия *шэньши*. Там, где происходило такого рода переманивание частных феодалов в государственную систему, верховный класс являлся «открытым». В него можно было войти «снизу» через механизм вертикальной мобильности — за деньги, за заслуги, за знания через экзамены и отбор, по протекции и т.д. Открытость сословия *шэньши* в традиционном Китае служила для перекачки всего лучшего из других сословий. Тем самым последние обезглавливались и обессиливались. Деспотия действовала как «вампир», отсасывая самую горячую и мобильную «кровь» из сферы экономики и социума простолюдинов. И в этом плане «класс-государство» жил «соками» остальных подданных Сына Неба. В итоге постоянно снижалась возможность восхождения социума к более высокой стадии, парализовалось его движение к иной формации. При этом самая мобильная верхушка частновладельческой среды вовлекалась в погоню за властью, т.е. втягивалась в систему самой деспотии и переходила на службу ей. Как следствие экономические отношения и частное начало заслонялись политическими отношениями и государством. Наиболее сильные из помещичьей среды уходили в лагерь бюрократии. Последняя ассимилировала этих «неофитов», ослабляя и обезглавливая своего возможного конкурента — класс частных землевладельцев-рентополучателей. То же самое происходило с верхушкой купеческой и ростовщической среды. Механизм такой социальной мобильности укреплял деспотию и гарантировал застойность всей модели общества в целом.

К концу Средневековья государство на Западе охраняло интересы и господство класса земельных собственников. Здесь оно выступало инструментом частных феодалов. Иная ситуация издавна сложилась на Востоке. В Азии государство не могло стать чьим-либо орудием, поскольку оно само в лице носителей власти являлось «правлящим

классом». Восточная деспотия и господствующий класс здесь совпадали, выступая как нерасчленимый феномен — синтез институционального и социального начал. Данный синтез материализовался в лице «класса-государства». Поскольку на традиционном Востоке власть и собственность оставались слитыми воедино, государство выступало доминирующим собственником и наиболее мощным субъектом экономических отношений. Поэтому вполне закономерно, что в Азии государство было превыше всего, благодаря чему удавалось держать частное начало в подавленном состоянии. Между тем именно слабость феодального государства в Западной Европе способствовала созданию там прочной частной собственности и сильного общества, опиравшегося на позиции частных феодалов. На Востоке же мощь деспотии обрекла своих подданных на приниженное положение частных владельцев, но не собственников. Такой статус «второго сорта» не позволил частной среде встать на ноги и обрести независимость от бюрократии. Ослабленному этим восточному социуму оставалось лишь покорно стоять на коленях и отбивать поклоны перед мощным госаппаратом.

Сверхразвитие восточного государства деформировало социум, не позволив ему развиваться в направлении, опасном для деспотии и ее бюрократии. Так, верховный «класс-государство» изначально парализовал возможность саморазвития среды частных крупных землевладельцев в господствующий класс. Правящая бюрократия не допустила превращения частного земельного владения в частную собственность. Тем самым оказалось прочно заблокированным становление частно-собственнического социума с совершенно иной социальной психологией. Азиатская деспотия не позволила статусу человека как «раба» коллектива и корпорации развиваться до уровня независимой самостоятельной личности. Государство не допустило развития частного права и верховенства закона, т.е. начал, стоявших бы выше своеволия чиновника или военного. Можно и далее расширять перечень направлений блокирования деспотией эволюции общества в иное русло, с переходом к иной модели. Таким образом, оказался перекрытым путь к созданию социума самостоятельных, охраняемых законом, частных собственников, личностного социума индивидов, независимых от воли бюрократии новых хозяев страны. В итоге сверхразвитие деспотической государственности парализовало способность восточного общества к саморазвитию с выходом в иной социум, иную надстройку, т.е. к созданию угрозы всевластию верховного «класса-государства».

В Западной Европе частная земельная собственность служила феодальному дворянству гарантией его независимого от государства положения. Данный статус для дворянства создавал такие преимущества, как осознание своей политической силы, право на свою организацию

в рамках провинции или «баронской лиги», экономическую самостоятельность, привилегированный сословный статус и престиж. А право самоорганизации, ношения оружия, вооружения своих вассалов и слуг позволяло бороться с короной и на поле боя. На Востоке частное земельное владение самой бюрократии ничего этого не гарантировало и лишь давало возможность ее потомкам — сыновьям и внукам в случае удачи вернуться в ряды верховного класса. Здесь это было напрямую зависимое от азиатской деспотии владение, т.е. антипод независимой от короны частной собственности феодалов Западной Европы. На средневековом Востоке частная земля не являлась источником власти, как это было с дворянской земельной собственностью в Западной Европе. Частновладельческая земля как таковая в Азии не только не порождала власти, но и не служила источником особых прав, прежде всего сословных и политических. Даже частная земля чиновника и его частное богатство отходили на второй план, уступая приоритет государственной службе с ее властными функциями. Азиатским чиновникам и военным, т.е. «классу-государству», частная земельная собственность была нужна только после отставки или потери власти. Однако введение частной собственности на землю означало бы фактически разрушение особого статуса верховного класса и ликвидацию феномена восточной деспотии. При сохранении же последней «класс-государство» имел нечто более важное, а именно слияние власти и собственности. В условиях средневекового Востока власть всегда оставалась намного предпочтительнее и надежнее, нежели частное начало, а тем более частная собственность как почти криминальное и противозаконное начало.

Азиатская деспотия как могла «угнетала» крупное частное землевладение, мешала его росту, ограничивала частных феодалов экономически, сословно и политически. Крупные частные землевладельцы в Азии встречали непреодолимые препятствия на пути своего так и несостоявшегося превращения в индивидуальных собственников и господствующий класс. Отсутствие майората на Востоке и раздел земли поровну между наследниками резко ослабляли частнофеодальное начало. Это способствовало механическому обессиливанию частнофеодального класса и одновременно усилению власти чиновного класса. Тем самым периодическое и массовое дробление частного землевладения наиболее полно соответствовало потребностям азиатской деспотии. Последняя старалась блокировать опасный для нее рост частного сектора, прежде всего крупного частного землевладения, поскольку данный сектор усиливал социальное расслоение и напряженность в обществе, вел к усилению «больших домов» и к политической нестабильности.

На средневековом Западе частные феодалы стали консолидированной силой, чего не произошло на Востоке. В Азии, напротив, консолидировалась бюрократия — военная и штатская — противовес частным крупным и средним землевладельцам. Последние так и не смогли организовать в особую политическую подсистему. В отличие от феодального Запада, государство на традиционном Востоке не позволило частным феодалам, т.е. крупным и средним землевладельцам, создать их собственную самостоятельную систему, автономную организацию, независимые объединения политического, военного и экономического характера. Такого рода организационная прерогатива осталась монополией всесилового государства. В одних регионах и странах частные крупные землевладельцы не боролись за социальное, а тем более политическое лидерство. В других частях Азии, например в Китае, такая борьба велась не одно столетие, но окончилась поражением частных феодалов и победой государства. «Класс-государство» на традиционном Востоке оказалось сильнее лидеров вооруженных отрядов, глав богатых и влиятельных кланов, вождей религиозных групп и других частнофеодальных сил. Захватив политическое и в значительной степени социальное лидерство, «государственный класс» препятствовал объединению «частных» феодалов-землевладельцев в независимую от казны силу. Бюрократия в конечном счете не допустила существования противостоящих ей организаций и неправительственных сил. И частные землевладельцы оказались лишены возможности не только обрести политическую власть, но и хотя бы уравновесить либо контролировать правящую чиновную среду и власть военных правителей.

Восточное государство извечно рассматривало частный сектор экономики и его лидеров как угрозу своему господству. Поэтому азиатская деспотия не защищала, а всячески ослабляла частный сектор во всех его видах — землевладении, торговле, ростовщичестве и предпринимательстве. На Западе личностная частнофеодальная система, построенная на главенстве частной собственности и закона, создала юридическую защищенность «частника». Насущной задачей здесь стала защита индивида от государства и частной собственности от произвола властей. При этом государство (в ходе длительной борьбы) уступило важные юридические функции независимым от него судам и даже частным силам в лице городских магистратов. На этой основе появились и укрепились тщательно проработанные судебные процедуры и независимые профессиональные юристы, оберегавшие свою самостоятельность, объективность и авторитет. В позднефеодальной Западной Европе с укреплением частной собственности и верховенства закона создавались гарантии частного имущества и безопасности личного богатства. На традиционном же Востоке частный владелец оставался

под постоянной угрозой грабительского налогообложения и конфискации имущества, под угрозой раздела накопленного богатства, при отсутствии майората, на много частей. Здесь не сложились гарантии сохранности частного имущества, отсутствовала безопасность для нажитого состояния. Поэтому в Азии было принято прятать богатство, не выставлять его напоказ и постоянно быть начеку в связи угрозой его возможного изъятия.

Восточное государство не выступало покровителем и защитником богатых «частников» как в сельской местности, так и в городе. Азиатская деспотия не давала купцам, ростовщикам и предпринимателям правовых и практических гарантий неприкосновенности нажитых ими состояний. Незащищенность личности и частного имущества вынуждала этих богачей ограничивать масштабы своих деловых операций. Те же причины заставляли превращать такие богатства не в функционирующий капитал, а в недвижимость и сокровища, укрытые от жадных глаз властей. Происходило омертвление потенциального капитала вкладах и кубышках.

В средневековой Западной Европе независимые от центральной власти частные собственники — феодалы и горожане — оказывали сильное влияние на государство, ибо у себя на местах они обладали юридической, экономической и военной властью. На традиционном Востоке частные феодалы такой власти не обрели. Наоборот, здесь имело место господствующее влияние могущественного государства на зависимых от него «коллективных» владельцев — феодалов, крестьян и горожан, «зажатых» силой своих коллективов — семьи, патриимии, корпорации (цеха, гильдии, землячества). Данное коллективное начало способствовало деспотии в ее борьбе с частным началом. Азиатская деспотия ограничивала свободу действий частного владельца не столько законами, сколько обычным правом и чиновным производом. Частновладельческая среда — помещики вне госаппарата, крестьяне, купцы, ремесленники, ростовщики и мелкие торговцы — всегда оставалась средой политически бессильной. На традиционном Востоке военная и штатская бюрократия как могла подавляла опасное для нее развитие частного капитала не только в сфере землевладения, но и в городах. По всем показателям — власть, доходы и престиж — государство было намного сильнее нечиновных землевладельцев и иных «частников» в городах и в сельской местности.

В Западной Европе слабое государство не могло остановить рост и влияние частной собственности в экономике, правовой сфере, в социуме и политике. В Азии мощное государство смогло удерживать частное владение в крайне подавленном состоянии. Тем самым деспотии удалось не допустить становления частной собственности. Силь-

ное государство прочно доминировало над слабым и зависимым от его воли частным владением. Власть здесь выступала как независимое от «частных феодалов» начало, как детерминирующий фактор классообразования. В этих условиях общество уступало государству главенствующую роль в сфере экономики, социума и политики. В лице могущественного госаппарата и все определяющей бюрократии в Азии постоянно воспроизводился абсолютный лидер общества, именуемый азиатской деспотией. В итоге на средневековом Востоке частная собственность как постоянно действующий (имманентный) юридический, социальный и экономический институт не сложилась. Ее отсутствие лишило историческое развитие азиатских стран присущих ей созидательных, преобразующих и мобилизаторских импульсов.

В отличие от Европы, на Востоке не существовало жесткой системы наследственных аристократических титулов как основы класса феодалов. На Западе эта феодальная система отливалась в строго закрепленную иерархию земельной собственности, держаний и вассалитета. Здесь политический статус обычно совпадал с размерами собственности и держания. Частная земля и власть на Западе, как правило, соответствовали друг другу и дополняли друг друга в единой «связке». В конечном счете земельная собственность оставалась в Европе основным источником власти. Европейской «частной» феодальной иерархии Восток противопоставил бюрократическую «табель о рангах». Государство и власть здесь служили основной матрицей общества, отодвинув на второй план частное начало и землевладение. Причем должностные доходы, получаемые прежде всего от злоупотребления властью, намного превышали прибыли от землевладения, торговли и ростовщичества. В Азии власть приносила богатство, а оно затем чаще всего трансформировалось в земельные владения. В итоге богатство на Востоке зависело от политического статуса, а последний — от государственной власти. Дабы обрести этот статус, надо было стать функционером азиатской деспотии. Средневековый Запад породил контролируемую короной и городами частичную власть дворянского сословия и частных феодалов. В противовес этому в Азии сохранялась неконтролируемая и абсолютная власть бюрократии, или государственных феодалов. Из этих «людей госаппарата» формировалось профессиональное чиновничество, в том числе военные должностные лица. Поскольку на средневековом Востоке не сложилось частного правящего класса — среды политически господствовавших феодалов-землевладельцев, то правящей силой оказались «люди казны», государственные функционеры.

Если на позднесредневековом Западе бюрократия осталась всегонавсего управляющей прослойкой, то на традиционном Востоке она

очень рано стала правящим классом и этой своей ключевой позиции не отдала никому другому. Гегемония «класса-государства» выступала как доминанта и константа традиционного азиатского общества. В средневековой Азии бюрократический класс по всем общественным показателям оказался сильнее частнофеодальной среды, не говоря уже о торгово-ростовщической прослойке в городах. Организованный в рамках жесткой иерархии и внутренне сплоченный «класс-государство» служил основой азиатского деспотизма — абсолютной власти госаппарата. В отличие от Запада, здесь не частнофеодальный класс опирался на «свое» государство, а чуждый ему класс — бюрократия — контролировал среду крупных и средних землевладельцев, стоявших вне правящего госаппарата. Власть последнего представляла в форме бюрократического контроля и чиновного управления социумом сверху донизу. На средневековом Востоке бюрократия не стала служилым слоем, управляющим за какой-то класс или для какого-то класса. Здесь она стала самостоятельным классом, правящим от собственного имени. Внутренняя структура этого социального образования отлилась в чиновную иерархию. Место в последней, т.е. степень приближенности к вершине этой пирамиды, служило главным фактором, определяющим статус каждого отдельного функционера. Что касается его частных доходов — земельной ренты и пр., то они имели второстепенное значение.

В условиях традиционного Востока власть требовала повышенной централизации госаппарата, строгой дисциплины всех его звеньев и особой действенности машины подавления, прежде всего вооруженной силы. Строго иерархизованный бюрократический класс на Востоке возглавлялся самим правителем. Здесь монарх выступал не первым из частных феодалов, как это было в Западной Европе, а как верховный бюрократ — глава всех государственных функционеров. В итоге «класс-государство» на Востоке выступал не только как особое социальное образование, противостоящее частным крупным землевладельцам, но и как некая организация, обладавшая неконтролируемой властью над населением. Тем самым сложился не просто госаппарат, а чиновная структура, конституировавшаяся как господствующий класс. Бюрократия здесь структурировалась в верховную социальную силу традиционного общества. Не только сам азиатский монарх, но и его двор по сути являлись слагаемыми бюрократического класса. В рамках последнего функционировало и ближайшее окружение властелина — его родня, визири, канцлеры, регенты, «первые министры», фавориты-временщики. На этой почве родилось, например, в Китае еще одно уникальное явление, а именно евнухи-временщики, в том числе военачальники и дипломаты. При этом неслыханная для средне-

вековой Европы роскошь и великолепие восточного двора маскировали бюрократическую сущность этой верхушки айсберга. Такая маскировка порождала ложную аналогию с ролью королей в Европе, с природой и функциями их дворов.

Восточная бюрократия резко отличалась от европейской и по своему составу. На Западе под бюрократией понимались только гражданские чиновники, ибо военными начальниками выступали дворяне и знать. В Азии господствующий класс включал в себя и штатских, и военных функционеров. Это были военачальники, полководцы-наместники, военные администраторы и «офицеры» с функциями чиновников. В одних случаях военных и штатских разделяла невидимая стена, в других «универсальная» общность совмещала в одном лице функции штатского и военного администрирования. Власть на Востоке зачастую была представлена военными функционерами и сановниками-военачальниками. Армейская бюрократия в данном случае становилась сильнее штатского чиновничества. В других случаях, наоборот, гражданские бюрократы командовали военными. При всем том и те и другие выступали всего лишь как разные слагаемые единого «класса-государства», как две фракции внутри бюрократического правящего сословия. В Западной Европе в роли командиров и офицеров выступали дворяне, служившие королю на определенных условиях. На Востоке это были государственные чиновники с военными функциями — либо военачальники, либо офицеры-администраторы. Все эти члены бюрократического класса несли безусловную службу правителю за жалованье, натуральное содержание или за доход от служебных земель. В силу особых условий военачальники на Востоке не могли не быть военными чиновниками. Волей-неволей полководец рано или поздно становился бюрократическим функционером. При такой слитности военного и штатского начала в системе азиатской деспотии армейские кадры являлись лишь частью бюрократии. Административные и военные функции госаппарата здесь взаимно переплетались. Глава местной власти, по сути, действовал и как воинский начальник, и как чиновник-управленец. Как высшее в данном случае должностное лицо, он соединял в своей персоне и войско, и канцелярию. Кто бы ни преваляровал в администрации — штатские, военные или функционеры смешанного типа, азиатская деспотия оставалась бюрократическим государством.

В конфуцианских странах с господством штатской бюрократии — Китай, Корея и Вьетнам — переход богатого простолюдина в правящий класс происходил не напрямую, а через промежуточную инстанцию в виде особого привилегированного «ученого сословия» (кит. *шэньши*). Из среды *шэньши* рекрутировались чиновные кадры — сначала

ла кандидаты на должность, а затем и сами функционеры. По сути дела, «ученое сословие» являлось своего рода суббюрократией. В средневековом Китае функциональная бюрократия выступала правящим классом, а суббюрократия, т.е. *шэньши*, вне госаппарата фактически служили его массовым основанием, или фундаментом. Иерархия чиновников и военных выполняла свои функции при помощи множества подручных. Последние, в свою очередь, представляли собой иерархию более низкого уровня. Это были секретари, писцы, служки, сборщики налогов, посыльные и охранники. Данный персонал в совокупности с чиновниками, военными и монархом образовывал сам госаппарат или государственный механизм. В этом плане азиатская деспотия являла собой триаду стандартного типа «правитель — бюрократия — низовые служители». Монарх, даже считаясь Сыном Неба, по сути был частью госаппарата и высшим среди государственных функционеров. При существовавшей на традиционном Востоке несовершенной системе и примитивной практике сбора налогов и пошлин непропорционально большая доля собранного оставалась в карманах самих сборщиков. Низовой, или «технический», персонал государственного аппарата утаивал, расхищал и превращал в свои частные доходы значительную часть фискальных поступлений. Хотя эти суммы поглощались самой государственной машиной, в бюджетные органы эти средства просто не поступали. Поскольку эта непомерно большая сокрытая масса шла мимо официального бюджета, сам государственный аппарат в средневековой Азии оказывался невероятно дорогостоящим.

Феномен азиатского деспотизма не исчерпывался только одной сферой государственности, т.е. типом верховной и нижестоящей власти. Восточный деспотизм не сводим лишь к аппарату управления и насилия. Вряд ли такой тип политической надстройки продержался бы не одну тысячу лет, если бы он не имел в самом обществе не только прочную опору, но и механизм своего воспроизводства. В целях противодействия могучему давлению «сверху» восточный «безличностный» социум не мог не создать «снизу» спасительные структуры защитного свойства — групповые, клановые, патронажные отношения личной зависимости внутри тех же коллективов, корпораций и общностей. Тем самым на традиционном Востоке деспотия насаждалась не только «сверху» — из центрального госаппарата, но и «снизу». Самой низкой ячейкой здесь была семья. В Китае семья и государство, власть главы семьи и Сына Неба оказались взаимосвязаны. Семья выступала как часть политической системы, как полугосударственный институт. Власть главы этой ячейки поддерживалась низовой бюрократией. Если члены семьи не подчинялись приказу ее главы, то они наказывались в административном порядке «сверху». Глава семьи по

отношению к ее членам по сути выступал в роли полуофициального полицейского. В рамках патронимии или клана насаждалось то же самое. Здесь глава патронимии считался полугосударственным уполномоченным, обладая соответствующей властью над данным коллективом. Политическая атмосфера «поголовного рабства» не только спускалась властью «сверху вниз», но и создавалась самим восточным социумом с передачей ее «снизу вверх». Деревенские старосты либо назначались властями, либо утверждались ими. В обоих случаях старосты были жестко привязаны к государству, обслуживая интересы бюрократии и деспотии, а не крестьян-односельчан. Таким образом, азиатская деспотия создавалась и укреплялась не только «сверху», но и «снизу». В этом заключались органическое единство системы и один из секретов ее поразительной устойчивости, ее большого запаса прочности.

Деспотический импульс из сферы надстройки переплетался с шедшими навстречу ему аналогичными импульсами из социума и базиса. Эти последние нуждались в такого рода политической надстройке, а она в той же мере — в них. Все эти три сферы общественной жизни, соответствуя друг другу, порождали взаимную поддержку внутри данной триады. Так, коллективистскому социуму Востока с его мощными вертикальными и слабыми горизонтальными связями идеально подходила политическая надстройка типа азиатской деспотии. Такого рода социум, со своей стороны, служил для нее надежным фундаментом, а она, в свою очередь, охраняла его антиличностную коллективистскую природу и корпоративную организацию нижних этажей общества. Поэтому неудивительно, что победители в очередной крестьянской войне или в очередном иноземном завоевании или же основатели новой династии начинали не со слома деспотии как таковой, а с ее оздоровления на основе привлечения новых управленческих кадров. Корни деспотии уходили глубоко вниз. Так, семья выступала как «микродеспотия» во главе со своим «правителем» в лице отца семейства. Из таких «микродеспотий» складывалась «малая деспотия», т.е. патронимия, или клан во главе со своим лидером. На уровне волости и уезда эти «малые деспотии» объединялись в «среднюю деспотию» во главе с начальником уезда и его аппаратом. Уездные деспотии складывались в окружные и областные, а те, в свою очередь, в провинциальные или наместнические деспотии с верховным звеном в столице государства. Так «деспотия снизу» органически переходила в «деспотию сверху». Последняя вырастала из первой и венчала собой всю структуру. Основополагающими принципами в этой системе выступали однотипность всех ее слагаемых сверху донизу и их иерархическое вертикальное соподчинение.

Как однотипные явления, деспотия, социум и базис находились в органическом системном единстве, подчиняясь общему системообразующему началу. В этой связке «деспотии сверху» соответствовала «деспотия снизу», и наоборот. Вместе они создавали комплексную систему. «Деспотия снизу» являлась в известной мере более прочным началом, нежели «деспотия сверху». Если последняя, как «одеяние», менялась с каждой очередной династией или новым завоеванием, то вторая, как само «тело» общества, либо оставалась все той же, либо изменения в ней самой не нарушали сущности восточного деспотизма как системы. Последняя обладала способностью самогенерации, самовосстановления и санации. У нее, как у сказочного дракона, вместо отрубленной головы поднималась другая, вместо погибших звеньев нарастали новые. Тем самым данный организм становился «вечным» и оставался неизменным.

Малопривлекательная сама по себе, феодальная раздробленность в Европе отнюдь не явилась «праздником народов». Однако, только лишь переболев этим недугом, западный социум смог стать здоровее верховной власти. Именно благодаря резкому ослаблению централизованной монархии в период феодальной раздробленности в Западной Европе в противовес государству сложились независимые от него силы — дворянство, церковь и города. К рыцарству во главе с аристократией добавились руководимые своим патрициатом горожане и организованное внутри собственной системы духовенство. Дворянство, города и церковь стали мощными противовесами и ограничителями королевской власти. На базе этих трех оппозиционных сил стал формироваться социум свободных людей. В итоге общество на Западе оказалось сильнее государства. По-другому шли исторические процессы в Азии. Здесь военно-бюрократический «класс-государство» сложился раньше, нежели возникли «частные» сословия и классы. Сама же восточная деспотия оказалась настолько мощной структурой, что временное ослабление ее центрального звена мало чем могло повлиять на ее целостность как законченной системы. Вместо феодальной раздробленности западного типа здесь происходило просто-напросто механическое дробление «класса-государства». Это было деление ранее единой деспотии на однородные куски разных размеров. При измельчании «большой деспотии» последняя делилась на «средние деспотии», а те, в свою очередь, — на «малые деспотии». В ходе такого рода децентрализации не могли возникнуть новые социальные силы, способные стать реальными противовесами государственному началу как монополю хозяину восточного социума.

Если на Востоке власть государства стала абсолютной, или неограниченной, то на Западе корона оказалась намного слабее. Королевская

власть в Европе носила не абсолютный, а частичный характер. Здесь она ограничивалась и контролировалась силой частнофеодального класса, а также другими субъектами власти — церковью, городами и судами. На феодальном Западе государство допустило существование негосударственных центров власти. В Европе имели место независимые от короны политические и социальные силы частного и оппозиционного характера. Таковыми были дворянские общности, «баронские лиги», бюргерские корпорации в гильдейских городах, независимые от короны церковные организации и судебные провинциальные инстанции — парламенты. Наличие нескольких центров власти такого рода создавало многополярность и сбалансированность власти. Активное взаимодействие между этими самостоятельными политическими корпорациями и инстанциями стимулировало поступательное развитие общества. В условиях своеобразной «феодальной демократии» на средневековом Западе монарх выступал по отношению к аристократии и рыцарям как «первый среди равных». В Германии государей выбирали сами крупные феодалы, и монарх просто зависел от них. Кому принадлежала земля, у того на Западе была и власть. В своих владениях герцоги и графы выглядели почти независимыми от короля властителями со своими собственными крепостями-замками, а также войском из вассалов-рыцарей и пехотинцев-простолюдинов. Аристократия и дворянство имели свои традиционные организации — местные «собрания», «баронские лиги», объединения вокруг могущественных лидеров, не говоря уже об открытых и тайных комплотах разного рода. Все эти организации могли выступать и как мирные, и как мятежные, т.е. воевать — либо между собой, либо против короны, либо под ее знаменем против внешнего врага.

Азиатская же государственная машина не допускала самостоятельной организации крупных, средних и мелких частных землевладельцев в любой форме и в любых масштабах. Создание такого рода особых сословных или территориальных объединений частных феодалов рассматривалось как враждебный государству акт, как начало вооруженного мятежа. В этом плане восточная деспотия была несовместима с независимыми от нее объединениями. Появление такого рода организаций было бы вопиющим нарушением политических и социальных устоев традиционного общества, они могли стать вызовом и угрозой для азиатского «класса-государства». Мощь азиатской деспотии и ее монополия на власть, ее исключительное положение в сфере политики были несовместимы с наличием частных объединений и самостоятельных союзов частных лиц. На Востоке сила деспотии, помимо всего прочего, заключалась и в слабости частных корпораций (цехов, гильдий, землячеств). В Западной Европе все было наоборот — сила част-

ных союзов и корпораций выступала обратной стороной слабости государства.

Существенно отличались друг от друга и вооруженные силы феодальной Европы и деспотической Азии. На Западе небольшое войско самого короля представляло собой лишь организационное «ядро». Вокруг него собирались «частные», т.е. независимые от государя, отряды «баронов» и их вассалов, городские отряды. «Бароны» как вассалы короля вставали под его знамя лишь на определенное время и на определенных условиях, согласно феодальному праву. Основу этой «армии» составляла не пехота из простолюдинов, а отборная рыцарская конница. Эта элитная и ударная сила отличалась высокой индивидуальной военной подготовкой. Однако господство здесь личноначало оборачивалось недисциплинированностью дворянской кавалерии. На средневековом Востоке в условиях азиатской деспотии не могло быть независимых от монарха «частных войск» и отрядов. Здесь все вооруженные силы государства полностью подчинялись властелину. Их командующие и командиры не обладали какими-то частными правами и автономией по отношению к трону, ибо на Востоке не могло быть никого хоть в чем-то равного монарху — главе деспотии. В этих условиях доминировали слепое повиновение власти, полное бесправие мобилизованной в армию массы пехотинцев и всадников. По уровню профессиональной подготовки и стойкости в бою она зачастую уступала войскам Запада, ибо напоминала скорее стадо, гонимое на убой, нежели гордых витязей.

Проблема сдержек и противовесов монархии связана с взаимоотношением светской и религиозной власти. Западный феодализм, помимо всего прочего, строился на их четком разделении. Католическая церковь сама стала носителем власти, сложившись в мощную организацию со своей собственной иерархией властителей и централизованным управлением остального клира. Церковь стала крупным собственником земли — ей принадлежало около трети всех возделывавшихся земель. У нее имелось множество укрепленных монастырей и подвластных крестьян. В итоге она стала крупнейшим феодалом и оказалась сильным противовесом королевской власти, имея свои собственные структуры внутри западных государств. Более того, весьма длительное время церковь даже вела борьбу со светской властью за лидерство в Европе. В противоположность западной модели для Азии были характерны не разделенность и противостояние, а слияние светской и религиозной властей. На феодальном Западе господствовавшая религия стала независимой от светской власти вообще и от монарха в частности. На средневековом Востоке господствовавшая конфессия не смогла структурироваться в независимую церковь, в организацию, само-

стоятельную по отношению к государству. Более того, в Азии государство, по сути, включило духовенство в бюрократическую систему власти. Религия здесь стала не противовесом восточной деспотии, а ее интегральной частью. Будучи жестко сцепленной со светской властью, господствующая конфессия осталась без организации, независимой от монарха и бюрократии, и не ставила себя вне государственного механизма. На Западе церковь была настолько независимой от королевской и императорской власти, что могла создавать собственные государственные образования. В первую очередь это были Папская область со столицей в Риме, церковные владения в Германии, орденовые земли и т.д. Объединенность и организованность духовенства, в свою очередь, укрепляли самостоятельность папского престола и церкви как особого общественного института.

Христианский Запад в Средние века не только породил автономию церкви от государства, но и допустил открытую борьбу светской и духовной власти за лидерство в общественной системе. По окончании открытой борьбы и с переходом ее в скрытую форму оба эти разительно несхожих типа политической организации сохранили независимость друг от друга. Уже само противостояние королевской и церковной властей, наличие этих двух альтернативных полюсов создавало элементы идеологического и политического плюрализма Западной Европы. Хотя многие режимы на средневековом Востоке были теократическими или квазитеократическими, мощная государственная машина оказалась несовместимой с политически и экономически независимой церковью. В итоге господствующая религия оказалась лишь частью государственной машины, фрагментом азиатской деспотии, интегральной составляющей системы власти. Тем самым такая конфессия была поглощена бюрократической машиной, стала ее функцией и «отделом» государственного аппарата. Так было при слитности светской и духовной власти в лице халифа или султана, так было и при узурпации монархом верховных жреческих функций и делегировании их вниз сановой бюрократии. Азиатские правители в лице халифов, султанов, шахов и т.д. соединяли в себе оба вида власти. В дальневосточных странах это слияние порождалось отсутствием церковной организации, противостоящей монархии. В итоге церковь на Востоке не стала противовесом светской власти.

Другим сильным оппонентом королевской власти в Западной Европе стали города. Как самостоятельная политическая организация город собирал собственные налоги, имел свой суд, казну, войско, крепостные стены и башни, свое правительство в лице городского совета, заседавшего в ратуше. Европейский город стал средоточием самоуправления, правосудия, самостоятельных корпораций, свободы хозяй-

ствования и социальной свободы. Поэтому «воздух города делал человека свободным». На средневековом Востоке город оказался иным. Здесь он выступал цитаделью бюрократии, оплотом и сосредоточением государственной власти. В этих условиях цехи, гильдии и землячества оказались как бы «в объятиях» деспотии и под ее неусыпным контролем. Всевластие «класса-государства» здесь — в городах — проявлялось наиболее ярко. На феодальном Западе городская гильдия находилась под властью самого магистрата, а не под контролем центрального правительства. В Европе государство почти не облагало налогами городские корпорации. В городах большое развитие получила власть гильдий, а их главы часто сами становились руководителями городов — вольных, самоуправляющихся и т.д. На Востоке такого рода частные союзы были крайне слабы и не представляли политической угрозы для деспотии. Их некоторая автономия во внутренних делах корпорации сопрягалась со служением казне. Глава или гильдии здесь, по сути, являлся налоговым агентом государства. Город на Западе стал полноправным субъектом исторического развития. Достаточно указать вольные и имперские города в Германии, города-республики в Италии, Ганзу, самоуправляющиеся города со своими «правительствами» в стенах ратуши, гильдейские города со множеством бюргерских ассоциаций. Ничего подобного Восток не знал. Азиатский город оставался объектом управления и насилия со стороны государственной бюрократии. Здесь он был полностью поглощен системой восточной деспотии.

На базе возобладавшего личностного начала в Западной Европе возродилась античная форма государства — республика, где высшая власть принадлежала выбранным на определенный срок органам и лицам. Так, в недрах западного Средневековья возникли первая как федеративная республика — Швейцарский союз, а также итальянские города-республики — Венеция, Генуя, Флоренция и др. В Германии такого рода республики были представлены вольными (Любек, Гамбург, Бремен) и имперскими городами со своими выборными магистратами. В этом же направлении развивались и городские коммуны. Во всех этих случаях самоуправление и выборность властей укрепляли республиканское и демократическое начала. Ничего подобного восточный тип феодализма не смог породить. Более того, мощь азиатской деспотии и абсолютное господство монархической формы правления в сочетании с безличностным типом социума не оставляли места для зачатков республиканизма. В противовес этому позднефеодальный Запад развивал республиканское начало и дальше, с укреплением его в итальянских городах-государствах и с созданием Республики Соединенных провинций — Нидерландов. Став колы-

белью республиканизма, Запад выступил антиподом сенатского самодержавия.

Деспотическая власть на средневековом Востоке не знала, что такое законодательные и общественные ограничители. Кроме самого государства, в Азии не возникло ни одного конкурирующего и независимого от власти политического органа с реальным влиянием на социум. Помимо таких независимых «центров власти» здесь не существовало и общественных сил, способных ограничить всеислие бюрократии. Со стороны «частника», т.е. землевладельца, купца и мануфактуриста, такого рода поползновения были невозможны. Законных средств сопротивления государственному произволу не существовало. Возможна была лишь вооруженная борьба — особенно характерная для Азии. Восстания, бунты и крестьянские войны оставались единственным средством воздействия социума на власть. В противовес этому Западная Европа породила выборные органы, сословное представительство и сословные учреждения. Таковыми стали парламент в Англии, Генеральные штаты во Франции, кортесы в Испании, рейхстаг и ландтаги в Германии и т.д. Эти органы ограничивали королевскую власть в целом ряде общественных сфер. Таких институтов в Азии просто-напросто не существовало. Более того, там даже отсутствовало само понятие «сословное представительство».

Монарха в Западной Европе ограничивали юридические статусы других субъектов политической системы. Речь идет о законности — феодальном праве вообще и о его слагаемых, т.е. правах дворянства и духовенства, правах провинций и земель, правах городов. Здесь большую роль играли судебные инстанции, в том числе парламенты. Важным ограничителем королевской и императорской власти являлось само благородное сословие — аристократия и потомственное дворянство со своими правами и привилегиями. При всем том феодальное право и традиции переплетались между собой. В Западной Европе частные права, обязанности, привилегии и ограничения в частнофеодальной системе были зафиксированы либо в законах, либо закреплены обычаями, что ограничивало произвол. На страже Закона стояли независимые от королевской власти суды, например парламенты во Франции, а также независимые от короны профессиональные юристы (легисты), опиравшиеся на различные виды права — римское, церковное (каноническое) и салическое (обычное право).

Все это напрочь отсутствовало в судебной практике традиционного Востока. В равной мере отсутствовали эффективные законодательные ограничения власти. Азиатское законодательство не давало гарантий защищенности индивида от бюрократического произвола. Последний был сильнее юридической справедливости судебного разбирательства.

Тем самым для властей не существовало законодательных преград для произвольного изъятия всего «лишнего» капитала и богатства «частника». На долю последнего, чтобы защититься, оставались лишь регулярная дача взяток, обильные подношения власть имущим, сокрытие доходов и общего состояния в виде закопанных в землю сокровищ.

Кодифицированное право на традиционном Востоке не играло такой большой роли, как в феодальной Западной Европе. Так, в Китае испокон веков действующим законам придавалось гораздо меньше значимости, нежели традициям, обычаям или морально-этическим нормам. В средневековой Азии не существовало частного права как такового. Все судопроизводство, равно как и законотворчество, целиком находилось в руках правящей бюрократии. На Востоке власть государства над подданными и налогоплательщиками не была строго ограничена законом. По сути, это означало возможность произвола по отношению к податному населению. В условиях восточной деспотии власть монарха и его воля стояли выше писаных установлений и законов. Как дарованная свыше — небесами, божьим промыслом, провидением — власть азиатского деспота не зависела от общества. Здесь ее юридические обоснования были совершенно излишними. В той же мере и верховная собственность монарха на все земли в государстве происходила из того же священного источника. Поэтому и данный институт также не нуждался в правовом оформлении. На Востоке монарх при желании мог обходиться с мешающим ему законом как заблагорассудится. Правитель мог его изменить, отменить, трактовать по-своему, т.е. в нужном для себя смысле, либо, не аннулируя закон, просто не замечать его. В любом случае словесная ограниченность восточного деспота законом оказывалась показной. За этой ширмой скрывалась неограниченность властелина строгими юридическими нормами. Все это порождало либо откровенный произвол, либо тайные акции в сочетании с непредсказуемостью решений монарха. Буква закона и решения судебных инстанций для азиатской деспотии мало что значили. Все это позволяло властям беспрепятственно использовать аппарат контроля, слежки и подавления с широким применением телесных наказаний, пыток и казней.

В Западной Европе имело место стихийное и сознательное разделение власти и противостояние ее различных ветвей. Монополия на власть здесь исчезла. Власть оказалась разделенной между несколькими ее носителями и уравновешенной целой системой сдержек, противовесов и контроля. В итоге сложилась властная система, сбалансированная самим обществом. Тем самым стало невозможным образование власти всеохватывающей и монопольной, монолитной и неразделенной, универсальной и бесконтрольной со стороны общества. Помимо

«первичного» центра силы и власти, т.е. самой короны и госаппарата, на феодальном Западе действовали «вторичные» и негосударственные силы и «центры власти». В этой роли выступали земельная знать, господствующий частнофеодальный класс, независимое духовенство, городские корпорации и суды. Все они являлись носителями прежде всего частного начала как альтернативы или противовеса государству. В итоге монарх и его аппарат на Западе были ограничены аристократией, организованным дворянством, церковью, самоуправляющимися городами и автономным от короны правовым механизмом. Тем самым верховная власть на феодальном Западе находилась под контролирующим воздействием других институтов, независимых от короны. Все эти автономные политические силы, будучи ее конкурентами, осуществляли надзор за верховной властью и оказывали давление на нее. В результате в Западной Европе не возникло монополии на власть, не было бесконтрольного носителя абсолютной и произвольно действующей власти.

На средневековом Западе сложилось «многополюсное общество», т.е. система с целым рядом взаимоуравновешивающих и контролирующих друг друга «центров власти». Так сложилось контролируемое «снизу» государство, или сфера сдерживаемого насилия в системе «многополюсного общества». Наличие целой системы таких сильных сдержек и противовесов государству в Западной Европе способствовало становлению частной собственности и личностного начала. Тем самым «многополюсное общество» создало условия для дальнейшей модернизации своего экономического базиса, социума и политической надстройки. В средневековой Азии такого рода независимых от власти и «внешних» по отношению к ней сил просто не существовало. Так, в Китае, например, аристократия находилась в самой системе государства, дворянство отсутствовало, а *шэньши* выступали в роли суббюрократии или «резерва» всемогущественного чиновничьего класса. Церкви как таковой здесь не сложилось, города оказались полностью подчинены деспотии, право во многом выступало как воля последней, а частное начало было эффективно задавлено ею. Частный социум — землевладельцы, купцы, крестьяне не стали противовесом государству и не могли бороться с верховным классом бюрократии за лидерство в обществе и за власть. На традиционном Востоке государство не допускало никакой «разногласицы» и жестко блокировало появление оппозиционных сил и институтов. Вместо них имелся единственный субъект власти. Этим монопольным источником политических импульсов служило само государство, т.е. монарх и госаппарат. Здесь существовал только один «центр власти» — цитадель бюрократии. В этой однополярной системе создавалась предельная концентрация власти,

ее централизация и абсолютизация. В такой всеобщности и универсальности была заложена ее бесконтрольность со стороны социума, монополия бюрократии на власть увековечивала строй азиатской деспотии.

Отсутствие здесь западной многополюсной системы с ее разнородными импульсами и инициативами, механизмом сдержек и противовесов создавало особую обстановку общественного застоя. Подконтрольность власти обществу заменялась контролем деспотии над социумом. При отсутствии политических конкурентов верховный «класс-государство» выступал монополистом во властной сфере. Азиатская деспотия была несовместима с конкурентной силой или независимой от нее военной структурой. В Азии власть уничтожала в зародыше все, что могло ей угрожать или спорить с ней на общенациональном уровне. Здесь неизменным оставался запрет на создание каких бы то ни было политических, особенно оппозиционных или самостоятельных, организаций вне государственной структуры. На Востоке сохранялось жестокое господство унитарного однополюсного порядка во главе с азиатской деспотией. В итоге данная ситуация сделала невозможным развитие по европейскому образцу с переходом к комплексной модернизации всей общественной системы. Такого рода монополярная сила не могла не тормозить поступательное развитие общества и в конце концов привела его в состояние комплексного застоя. Таким образом, полицентризм средневековой Западной Европы «работал» на линейный тип эволюции и поступательное развитие. В противовес этому моноцентризм традиционного Востока укреплял циклический тип эволюции, с его очищающим систему механизмом, с реставрацией старого. Подобное самовоспроизводство базовой структуры в ее оздоровленном виде оборачивалось «хождением по кругу», стагнацией и общественным застоём. Запад получил возможность постепенно обгонять Восток, хотя это движение для Европы началось с ужасающе низкого материального и культурного уровня. Решающую роль стал играть фактор поступательного развития, хотя до начала Нового времени Азия была богаче полуницей Западной Европы, и масса драгоценных металлов в виде монет перетекала с Запада на Восток в качестве платы за товары.

У западного и азиатского государства был различный генезис. На Древнем Востоке верховная власть возникла раньше общества как такового. В последующем государство в Азии подмяло социум под себя и заставило народ служить себе. В античном мире Запада общество сложилось если не раньше государства, то наравне и одновременно с ним. Здесь верховная власть оказалась как бы мягко встроенной в социум, а не жестко стоящей над ним. В такой связке скорее общество

держало государство в узде, а не наоборот, хотя периоды доминирования второго над первым встречались и на Западе. Феодалная раздробленность и связанное с этим ослабление государства явились тяжелым испытанием для Западной Европы. Тем не менее они послужили здесь делу укрепления частного начала. «Децентрализованным» феодалам средневековой Европы традиционный Восток противопоставил централизованную бюрократию — военную и штатскую. Сильное своей организованностью, азиатское чиновничество оказалось особым классом, опасным для дела поступательного развития общества. Столь мощная централизованная власть не позволила перейти к частной феодализации. А это, в свою очередь, не допустило превращения условных частных владений в полноценную частную собственность на землю. Сила азиатской деспотии надежно перекрыла дорогу к такой возможности. Благодаря этому бюрократический «класс-государство» остался монополистом в сфере земельной собственности, т.е. господствующей социальной силой в сфере экономики. Тем самым традиционный Восток не только избежал частной феодализации, но и неизбежного при этом ослабления государства и бюрократии. В итоге азиатские общества лишились важной предпосылки возникновения системы, основанной на базе частной собственности, личностного начала и господства закона над волей чиновника.

В Западной Европе экономический базис и социум оказались сильнее политической надстройки. По этой причине они заставляли ее служить им и могли изменять ее по своей надобности — в русле их эволюции. Изменяясь сами, они в том же духе трансформировали и обновляли государственную власть. Иная ситуация сложилась в Азии. Здесь надстройка изначально оказалась сильнее базиса. Восточная деспотия практически подчинила себе экономику и социум, превратив их в свое «продолжение». Такого рода господство государства над обществом в ряду других причин резко затормозило эволюцию общества и перекрыло дорогу комплексному развитию. Азиатская деспотия не дала возможности сформироваться многому из того, что на Западе легло в основу саморазвивающегося общества, т.е. частной собственности, самостоятельной личности, гарантиям ее защищенности и др. Своим мощным давлением на подданных восточное государство не позволило создать разветвленную структуру социума, не допустило его превращения в самостоятельный субъект эволюции. На традиционном Востоке чрезмерное самоусиление государства происходило не только в ущерб обществу, но и за счет неполноценности азиатского социума. В этом последнем явно проступали неразвитость и политическое бессилие «частных» классов, слоев и сословий в отличие от их государственных антиподов и противовесов, прежде всего от господ-

ствующего класса бюрократии — «класса-государства». На Западе возобладали саморазвитие общества, а не государства. На Востоке главным оставалось самообновление механизма власти, а не социума. Неостановимое самовозрастание азиатского государства, по сути, являлось постоянным расширением его социального персонификатора, т.е. бюрократии. Самоусиление аппарата власти подавляло импульсы социума к своему укреплению. Жесткий контроль государства «сверху» гарантировал недопущение саморазвития социума «снизу», держал подданных азиатской деспотии в крепкой узде. В итоге на Западе государство стало «службой» общества, а на Востоке — его «хозяином». В первом случае социум оказался выше и сильнее власти, во втором — ниже ее и слабее. По этой причине насилие власти над населением в Азии оказалось в порядке вещей, тогда как в Европе такого рода действия выглядели как отклонение от нормы, деспотизм и тирания.

В Западной Европе верх взяли общественные силы, опиравшиеся на нерушимую частную собственность. На Востоке же сохранялось господство бюрократического класса, опиравшегося на государственную власть и казну при слабом частновладельческом социуме. В первом случае общество оказалось сильнее государства, во втором — азиатская деспотия прочно подмяла под себя весь остальной социум с его постоянно дробимыми при разделе наследства частными земельными владениями. Правивший в Азии бюрократический класс по своей мощи и роли намного превосходил класс частных феодалов — крупных и средних землевладельцев Востока. Правя всем социумом, верховный «класс-государство» помыкал и этими подчиненными ему богатыми «частниками». Усиление восточной деспотии происходило здесь обратно пропорционально ослаблению общества. Чем мощнее и активнее становилось государство, тем пассивней и слабее оказывался социум.

Власть деспотии над «частными» классами и сословиями, становясь все жестче, приобретала не только функции контроля, но и запретительства. Здесь уже не общество формировало государство, а власть держала социум в нужных для нее параметрах. Историческая инициатива прочно оказалась в руках госаппарата. Верховный бюрократический класс возглавил социальную иерархию и сословную пирамиду. При всем том азиатская деспотия жила не интересами подданных, а своими собственными. Речь идет о нуждах госаппарата вообще, т.е. чиновничества, военных, полицейского и фискального персонала, придворных кругов и т.д. Как главенствующее начало здесь выступали потребности и воля «класса-государства». Тем самым нужды и интересы социума, его возможная в иных условиях эволюция приносились

в жертву интересам правящей бюрократии — штатской и военной. Если на Западе государство служило обществу, то на Востоке социум обслуживал азиатскую деспотию. В первом случае общество стояло выше государства, а во втором — институциональный пласт политической надстройки доминировал над «частными» классами, слоями, сословиями и их социальными интересами. Находясь в такого рода условиях не одну тысячу лет, восточное общество само формировалось в азиатско-деспотическом духе. В результате столь длительного и интенсивного воздействия «сверху» социум во многом не только стал отражением столь специфической надстройки, но и был вынужден подстраиваться под ее принципы и требования. Такого рода аналогичный деспотии социум и сама она выступали компонентами целостной структуры и поэтому находились в системном единстве друг с другом. Каждое из этих двух слагаемых, со своей стороны, действовало в целях укрепления существующего порядка вещей. И в этом отношении азиатский социум работал не только на самого себя, но и на «свою» деспотию. Так сложилось одно из коренных отличий феодальной Азии; если на Западе действовал принцип «каково общество, таково и государство», то здесь — «какова власть, таков и социум».

В отличие от Западе на Востоке не началось формирование гражданского, т.е. правового, общества. Вместо него в Азии укреплялась обстановка восточного деспотизма. Население было устранено от принятия либо оказания влияния на принятие решений по политическим, социальным и экономическим вопросам. Уделом азиатского социума остались выплата налогов, отбытие повинностей и беспрекословное подчинение указаниям властей. Это другое, нежели на Западе, общество, т.е. социум азиатского деспотизма, можно лишь весьма условно считать обществом. Точнее назвать его народом или массой населения в системе «поголовного рабства подданных восточной деспотии». На Западе функционирование государства в основном зависело от общества. В Европе верховная власть жила по воле общества и по его «сценарию». На Востоке государство давно возникло и сложилось как самодовлеющее начало, мало зависимое от социума. Такого рода машина власти жила по своим собственным законам, по правилам самого госаппарата. В Азии крайне большая часть прибавочного продукта в масштабе страны шла на поддержание, укрепление и расширение сверхмогучего военно-бюрократического механизма. Здесь социум работал не столько на самого себя, сколько на этот надстроечный феномен с его массой чиновников, военных, сборщиков налогов, делопроизводителей и стражей порядка. В Западной Европе победило частнофеодальное начало, и королевской власти осталось лишь обслуживать такого рода частную систему. В Азии же, напротив, сложи-

лось неколебимое господство государственного типа феодализма. Здесь восточная деспотия своей мощью фактически подавила социум, сделала его своим «придатком». Тем самым она не допустила развития частного начала в противовес господствующему на Востоке коллективистскому корпоративному принципу построения социума и всей политической системы.

В позднесредневековой Западной Европе общество укреплялось и обновлялось при помощи государства, в том числе за его счет. В Азии же, наоборот, аппарат управления и насилия питался соками общества. Государство здесь продолжало расти и наращивать силы за счет ослабления социума и недопущения «сверху» его саморазвития «снизу». На Западе саморазвитие общества создало его сложную структуру с защитными механизмами, предохранявшими социум от произвола властей. В Азии самодовлеющее государство породило разветвленный управленческий аппарат и не допустило саморазвития социума до уровня его равноправия, а тем более превосходства над позициями бюрократии. На Западе слабое государство в конце концов стало частью сильного общества. В Азии же, напротив, слабое общество как бы стало частью могучего государства. В Западной Европе окрепший и динамичный социум лидировал и «тащил» за собой верховную власть. По-иному сложилась ситуация на Востоке. Здесь азиатская деспотия вела за собой «на поводу» застывший в своей эволюции и поэтому слабый социум. Специфический исторический код эволюции Европы позволил обществу выйти на путь автономного и самостоятельного по отношению к государству развития. Восточный код эволюции этого не допустил. В средневековой Западной Европе государство стало подчиненной функцией феодального общества и жило по его «закону». В Азии же само общество оказалось низведенным до уровня служения всемогущей деспотии. Здесь функции социума определялись волей бюрократического «класса-государства» или военного правителя.

Поскольку на феодальном Западе общество оказалось сильнее государства, последнее служило первому — обслуживало его, управляло, но не правило. В силу того, что на средневековом Востоке государство было мощнее социума, госаппарат не только управлял делами, но и в полном смысле слова правил народом. Таким образом, если на Западе сложилась дихотомия «сильное общество — слабое государство», то в Азии имела место совершенно иная оппозиция, а именно «могучее государство — слабый социум». Дихотомия Запада «сильное общество — слабое государство» открывала дорогу к всестороннему прогрессу. На Востоке же оппозиция «слабый социум — мощное государство» тиражировала застой во всех сферах жизни, ибо общест-

во было придавлено и сковано в своих потенциях тяжестью азиатской деспотии. Чем сильнее в данной стране Востока оказалось государство, тем больше жизненных соков общества тратилось на поддержание этой машины подавления. Чем мощнее была здесь бюрократия или ее военный аналог, тем слабее становились «частные» классы, слои и сословия. Чем выше была власть чиновничества и военных, тем ниже оказывалось частное право, тем очевиднее было отрицание личности, размывался статус индивида. Чем сильнее и активнее становилось государство в сфере экономики, тем слабее было развито рыночное начало и тем менее свободным оно оказывалось от чиновных контроля и диктата. На этой основе складывались стандартные формулы азиатской деспотии — «сильное государство — слабый народ», «богатая казна — бедное население» и «сакральная державность — коленопреклоненный социум».

На средневековом Востоке власть осталась монолитной и нераздельной, оказавшись прерогативой только одной силы — государства. Здесь власть сохранялась как абсолютное начало, бесконтрольное со стороны социума. При этом госаппарат обрел всеохватывающий характер, подчинив своему влиянию и контролю все сферы общественного бытия. Всепроникающий госаппарат такого рода предельно соответствовал фундаментальным основам азиатского деспотизма. Все это создавало политическую монополию восточной бюрократии, ее абсолютное верховенство над социумом. Более того, в условиях азиатского деспотизма как бы стиралась грань между обществом и государством. Понятие «общество» на деле поглощалось понятием «государство». Соответственно эволюция социума выглядела как процесс возрастания роли властных структур. Степень огосударствления жизни общества в каждом конкретном случае зависела на Востоке не только от силы государства, но и от слабости самого социума — «общества поголовного рабства» подданных. В любом случае азиатская деспотия означала решающую роль государства во всей общественной жизни данной страны. В условиях восточного деспотизма именно само государство являлось наиболее мощным общественным фактором. Именно верховная власть быстрее и сильнее всего воздействовала на верхи и низы социума. Централизованное иерархизированное государство в лице бюрократии выступало на традиционном Востоке как общественный гегемон. Все прочие политические, социальные и экономические силы неизменно оставались слабее из-за своей раздробленности. Стать серьезными оппонентами этой консолидированной силе они не могли.

Азиатская деспотия прежде всего выступала как абсолютная монархия, автократия, или самодержавие. Если в Западной Европе закон

стоял выше короля, то в Азии монарх в конечном счете был выше закона. Над государством или рядом с ним не существовало контрольного или органического начала. Восточная деспотия в первую очередь представляла собой крайний авторитаризм, т.е. безграничную власть. На традиционном Востоке отсутствовало разделение власти на законодательную, исполнительную и судебную, на гражданскую и военную, на светскую и духовную. Носитель власти чаще всего соединял в своем лице все ее виды. Глава местной администрации не только содержал их в своих руках, но и делегировал такого рода комплексную, а точнее, самодержавную власть во всей ее полноте нижестоящему государственному функционеру. Следовательно, восточная деспотия выступала как всеобъемлющая власть, по своей полноте близкая к тотальной. При этом в административной, фискальной и судебной сферах деспотическое начало на Востоке находилось на грани произвола и насилия, приближаясь (местами и временами) к уровню террора.

Для азиатского «класса-государства» была характерна нерасчлененность эксплуататорских и управленческих, военных и идеологических функций. В отличие от Запада, слишком многие, и притом ключевые, хозяйственные, социальные, культурные и иные функции стали на Востоке прерогативой не самого социума как такового, не частного класса, а государства с его мощным военно-чиновным и фискальным аппаратом. В Китае, например, деспотия стала монопольно распоряжаться в ряде экономических сфер — в добывающей промышленности, в крупном строительстве, в изготовлении денег и оружия, в лицензионной торговле, например солью и чаем. Вводя в этих сферах экономически монопольное лицензирование, государство допускало в них только «своих людей» — привилегированных купцов, доверенных скупщиков и агентов, получавших особые права. Аналогичный режим казна временами вводила во внешней торговле и производстве некоторых предметов роскоши. Азиатской деспотии, в отличие от западных монархий, просто не у кого было спрашивать разрешения на введение новых налогов и повинностей, и делала она это без согласия общества. Унаследовав от эпохи древности практику самовольного налогообложения и сгона податного населения на выполнение трудовых повинностей, казна демонстрировала бесконтрольность и властный произвол в фискальной сфере, равно как и в области судебного разбирательства. В этом русле ограбление богатого «частника» становилось обыденной практикой.

Силовые возможности госаппарата и его независимость от социума были в Азии чрезвычайными и действенными. Благодаря этому во главе восточной деспотии надолго вставали иноземцы-завоеватели. Очень часто это были кочевники и полукочевники, т.е. представители

другого этноса, носители иной религии, чужого языка и культуры. Именно сама природа азиатского деспотизма позволяла иноземцам крайне долго властвовать над «частными» феодалами и массой населения покоренной страны. Все это резко контрастировало с практикой феодального Запада.

Набеги кочевников и их завоевания всякий раз наносили главный урон не государственному началу пострадавшей страны, а ее обществу как таковому. При ослаблении социума государство как аппарат подавления общественного начала, наоборот, укреплялось, а восточная деспотия как якобы универсальный «защитник» от всех угроз усиливалась. После каждого кочевого завоевания государство вновь набирало особую силу за счет ослабления разоренного номадами социума. Тем самым от активности степняков всякий раз в выигрыше оказывалась политическая надстройка. Номады по сути «работали» на деспотическую систему. Данный трагический парадокс стал одной из закономерностей истории Востока. Крайне опасное соседство с воинственными кочевниками требовало от стран средневекового Востока особой мобилизационной готовности, собранности и оборонных усилий. А это, в свою очередь, повышало роль государства, централизованной бюрократии и сверхсильной власти монарха. Западная Европа не знала внешней опасности такого рода. Здесь не нуждались в экстраординарной централизации и мобилизационной готовности. Западные государства, в том числе мелкие и мельчайшие, могли спокойно заниматься междоусобной борьбой в обстановке феодальной раздробленности.

При всем том азиатская деспотия как универсальное начало имела свои различные модели, типы и варианты. Бюрократический деспотизм земледельческих обществ отличался от военного деспотизма кочевых этносов. В самих земледельческих государствах существовали как чиновная штатская, так и военно-феодальная его модели. Кроме того, имел место и их смешанный, т.е. военно-чиновный или штатско-военный, вариант. Здесь существовали как условно светские, так и явно теократические деспотии.

Монопольное положение правящей бюрократии в сфере политической надстройки сочеталось с «поголовным рабством» подданных восточной деспотии, для которой практически не существовало политических и социальных противовесов. Что же касается «частных» феодалов-землевладельцев, то они на средневековом Востоке уже давно не угрожали политической гегемонии «класса-государства». После многих веков взаимной борьбы верховная власть, различные сословия, классы, слои и организации в позднесредневековой Западной Европе пришли к взаимному учету чужих интересов и создали

некий баланс взаимных договоренностей — писанных и неписанных. На Востоке изначально господствовавший «класс-государство» навязал свою непререкаемую волю остальному социуму, заставил его молчать и подчиняться. Здесь просто не осталось места для взаимных договоренностей западного типа и для учета чужих интересов. Возобладав над обществом, государство на Востоке резко затруднило консолидацию неправительственных сил и предотвратило организационное оформление оппозиционных групп. В лучшем случае внесударственные силы смогли сохранить автономное существование лишь в сфере экономики и социума, т.е. без выхода на уровень политического влияния.

Азиатская деспотия была несовместима с созданием параллельных или конкурентных ей организаций и сил, ей неподконтрольных. Их возникновение просто не допускалось, а появлявшиеся либо уничтожались, либо низводились до безопасного уровня или состояния. В итоге организационная деятельность на Востоке была монополией бюрократического класса. Лишь он обладал монополией на все виды власти, а также на все общественные инициативы. Не только крупные «частные» землевладельцы, но даже суббюрократия, например *шэньши* в Китае, не имели права на не санкционированные «сверху» собрания и организационные действия, не говоря уже о создании своих особых объединений «снизу». В отличие от Западной Европы, на средневековом Востоке не существовало общественных сил и институтов, способных контролировать государственную власть извне. Вместо внешнего контроля в Китае, например, существовал Цензорат (Палата контролеров). Тем самым азиатская деспотия контролировала сама себя с целью собственного оздоровления.

Государство в Западной Европе стало «комитетом по управлению» делами частных феодалов и их орудием подавления эксплуатируемых низов. На Востоке верховная власть и государство возникли и укрепились как самодовлеющая сила, независимая от частнофеодального класса, от среды крупных землевладельцев и частных рентополучателей. В итоге на Западе государство играло служебную роль, а в Азии стало определяющим фактором в социально-политической сфере. В средневековой Западной Европе стало постепенно складываться государство нового плана, т.е. с преобладанием учета интересов различных сословий, классов и социальных слоев. На традиционном Востоке законсервировался традиционный тип государства, т.е. с приоритетом методов принуждения и охранения господства бюрократического класса как единственно привилегированной элиты, стоящей над социумом. Специфические отношения между обществом и государством в Западной Европе вели свое начало от греко-римской античной традиции. Разви-

тие этого политического и культурного наследия нашло свое выражение в таких этапах, как Возрождение, Реформация и Просвещение. В русле этого процесса средневековый Запад выработал сугубо практическое и рациональное отношение к государству как рабочему механизму для служения интересам общества.

По-другому государство выглядело в Азии. Идея государства и государственническая идеология относились к высшим ценностям восточных цивилизаций. Здесь государственное начало облекалось в одежды сакральности. Ему придавался надчеловеческий ореол иррациональности и духовности. В итоге государство на Востоке практически стало объектом поклонения, близкого к религиозному, т.е. предметом особого культа. К какой бы цивилизации ни принадлежала страна в средневековой Азии, главным культом в ней по сути оставалась не конфессия как таковая, а великий культ государственничества. Универсальной «религией» Востока оставалось обожествление верховной власти, принципов азиатского деспотизма. Это было по существу религиозное почитание провиденциальной миссии Великого Государства по отношению к коленапоклоненному социуму и безгласному обществу. Все это резко отличало Восток от Запада, где на первом месте оставалось само общество. В этой специфической идеологической атмосфере на Востоке сложилось почти религиозное отношение к вездесущему государству. Так, конфуцианство в этом отношении являлось почти государственным культом, своего рода «чиновничьей религией». Даже если та или иная власть в Азии и не была теократией, то государство в любом случае оставалось сакральным. Верховный класс всегда выступал носителем особой религии государственничества. Азиатская деспотия всячески преподносила себя как защитника своих подданных от жадности и насилия со стороны «частников» — землевладельцев, купцов и ростовщиков. Здесь наряду с явным лицемерием имело место и глубокое убеждение в том, что народ без попечительства государства обойтись просто не может и погибнет от лап корыстных «частников». Его естественным спасителем мог быть только «честный чиновник» и «праведный государь». При всем том «поголовное рабство», т.е. юридическое бесправие социума, маскировалось принципом равенства всех подданных перед лицом государя. Последний по отношению к ним не был связан какими-либо законодательными ограничениями. Зато монарх должен был выполнять по отношению к населению функции «отца», «благодетеля» и «опекуна». Государь считался «защитником» бедных и слабых от произвола богатых «частников» и нечестных чиновников. Восточная деспотия пропагандировала саму себя в качестве «опекунского», или патерналистского, института. На щит поднимался идеал честного и деятельного чиновни-

ка — «защитника народа» и его «радетеля». Служение «народному благу» в рамках официальной морали становилось идеологическим знаменем оздоровления деспотической системы.

Средневековой раздробленности в Европе Азия противопоставила смену одних централизованных империй другими. В русле западной феодальной раздробленности шло вызревание суверенной личности и индивидуалистического социума. В постоянной смене одной азиатской деспотии другой, наоборот, укреплялся безличностный социум с господством коллективного начала — в рамках общины, клана, касты, конфессиональной общности и т.д. Так, в традиционном Китае понятие о правах отдельной личности, о соблюдении ее интересов практически отсутствовало. На самом нижнем общественном уровне прочно установился приоритет семейных и клановых интересов над личностными. Сама являясь порождением коллективного начала, азиатская деспотия была кровно заинтересована в поддержании его на всех уровнях — в семье, в патронимии, в общине, в городской цехогильдии и землячестве. Государство здесь претендовало на роль «верховой общины» и единой для всех подданных «семьи», частично выполняя эту функцию. Правовой статус человека как личности не был на Востоке закреплен юридическими нормами, не фиксировался в писаных законах, не имел реальных гарантий и защиты в сфере обычаев. Бесправие подданного по отношению к всеильному государству полностью отдавало первого в руки второго. Азиатской деспотии требовались не самостоятельные личности и индивиды, а безгласная, безликая и послушная общность подданных. Именно в служении такому социуму и такому государственному началу восточная бюрократия видела свою провиденциальную миссию.

На феодальном Западе аристократия и дворянство, рыцари и горожане в условиях господства личностного начала выступали как самостоятельные индивиды, независимые в выборе действий. Как суверенные личности они добровольно объединялись против своих врагов — либо против короля, либо против другой «баронской лиги». Их самоорганизация являлась их правом — как частных феодалов, как свободных граждан. В деле создания своих союзов, организаций и корпораций люди Запада не были обязаны получать разрешения свыше, т.е. от казны и короны. По отношению к центральной власти они могли выступать как самодеятельная сила, что было в порядке вещей. Иное дело феодальный Восток, где господствовало коллективистское начало. Здесь сановник, чиновник и военный функционер не были самостоятельными, независимыми индивидами. Все они были централизованы в рамках госаппарата, подчинялись единой дисциплине и по сути оставались поглощенными бюрократической машиной. В рамках

этой безличностной коллективистской среды ее функционеры выступали как организованное и послушное целое. Организация здесь оставалась привилегией самой азиатской деспотии и ее «класса-государства». В Азии легальная политическая организация могла быть только в форме бюрократической иерархии — чиновной, военной или военно-чиновной. В личностной средневековой Европе верх взяли договорные отношения. С установлением взаимных прав и обязательств договаривавшихся сторон феодальный договор между сюзереном и вассалом, между короной и городом заключался на заранее установленных условиях. Такого рода договорные отношения были неотделимы от победивших на Западе личностного и правового начал. В средневековой Азии обстановка деспотизма была несовместима с договорными отношениями. Здесь царили смирение подданных, их слепая покорность, «благоразумное» повинование и холопское восхищение властью.

Если на Западе очень рано на первый план стал выходить человек — личность и индивид, частное начало, то на Востоке прочно сохранялся культ безличностного государственничества. В азиатской системе все подчинялось идее всеобщего служения государству. Последнее осталось высшим, священным и универсальным началом. Служение ему охватывало весь социум — от монарха до крестьянина. Именно эта стезя считалась источником морали, долга и престижа. Государственно ориентированная система на Востоке выше всего ставила именно эти безличностные властные отношения по вертикали. Им подчинялись отношения личной взаимозависимости внутри госаппарата, сословий и традиционных низовых коллективов, т.е. связи, неизбежно возникавшие по горизонтали. Вертикальные отношения прочно доминировали над горизонтальными во всех сферах жизни государства и социума. Если Западная Европа превозносила службу вассала своему сеньору, т.е. одной личности другой, то Восток культивировал обезличенное служение чиновника безличностной системе — государству. На Западе бароны как носители личностного начала служили другой личности — королю. Причем и для низших вассалов, и для знати эта служба была ограничена временем и определенными взаимными условиями, т.е. носила форму двустороннего соглашения. На Востоке в бюрократической иерархии не было ни ограничений, ни условий, ни договорных отношений.

В отличие от феодальной Западной Европы, восточная деспотия знала лишь безусловное повинование нижестоящего функционера вышестоящему, а того, в свою очередь, монарху. В этой бюрократической субординации и чиновной иерархии не оставалось места вассалитету, т.е. частному договорному началу. Между вассалами королей в Запад-

ной Европе и сановниками, правившими отдельными территориями в Азии, существовало то же различие, что и между европейскими дворянами и восточными чиновниками. В первом случае имели место договорные отношения, во втором — абсолютное подчинение, ибо все азиаты-сановники являлись «рабами» своего повелителя. Личностный феодализм Запада культивировал достоинство аристократа и рыцаря. Здесь дворянину было достаточно отвесить монарху поклон или на худой конец встать перед государем на одно колено. На безличностном же Востоке перед властителем следовало пасть ниц — на оба колена, коснувшись лбом пола, а затем отползти. Таковую же рабскую позу полагалось принять и перед наместником восточного владыки. Данный церемониал точно характеризовал разницу природы власти в Европе и в Азии.

Отсутствие прав личности, гражданского достоинства, кодекса дворянской чести и верховенства закона оборачивалось для восточного общества застоём и «равенством рабов-подданных» перед лицом властелина. На рубеже Средневековья и Нового времени между застывшим в старых формах социумом Востока и саморазвивающимся обществом Западной Европы пролегла глубокая пропасть. Если люди Запада постепенно становились полноправными гражданами, то азиатское население все еще оставалось юридически незащищенным — «рабами» восточной деспотии. На позднефеодальном Западе на базе личностного начала и частной собственности, развития самостоятельности, собственного достоинства и личной инициативы постепенно формировалось гражданское общество. Между тем на традиционном Востоке сохранялось господство деспотии и обстановка поголовного рабства ее подданных. В этой коллективистской среде царили сервиллизм, раболепие, приниженность и подавленность человека властью. В противовес европейской высокой социальной мобильности Средневековья Азия воспроизводила традиционный тип социального застоя.

Ограниченная законом, а также балансом социальных и политических сил, верховная власть в Западной Европе в позднее средневековье способствовала созданию условий для поступательного движения, саморазвития общества и отсюда — для его стабильности. На традиционном Востоке уже в силу своей самодержавности неограниченная власть изначально не была предназначена для приведения социума к его саморазвитию, т.е. к стабильности и процветанию. Отсутствие внутренних стимулов к саморазвитию по сути отдавало исторические судьбы восточного общества в руки могучего государства. Однако оно не могло предложить обществу ничего, кроме периодического оздоровления самого правящего бюрократического класса. Речь идет об усложнении и расширении госаппарата, смене монархов и династий,

замене одних правящих группировок и придворных клик на другие. Выше такого избавления от старых властителей и кадров восточное государство подняться было не в состоянии. Кроме этой перетасовки все той же колоды карт, азиатская деспотия ничего другого не могла предложить. Такого рода «оздоровление» государства и смена кадров давали некоторый эффект лишь первое время. Новые чиновники и военные снова шли по пути своих предшественников. Госаппарат вновь начинали разъедать казнокрадство, коррупция и произвол в отношении «частника». Обогащение бюрократического класса шло в ущерб интересам самого государства. Разложение чиновных и военных кадров разъедало государственную машину изнутри, делая ее слабой и вызывая необходимость очередной смены правящей верхушки. Тем самым и в этом плане в самой системе были заложены цикличность, хождение по кругу и повторяемость традиционного сценария — «разложение — оздоровление — очередное разложение — очередное оздоровление». Если на Западе на первый план все более выходила сфера экономики и хозяйственная активность индивида, то на Востоке главными прочно оставались властная сфера и бюрократическая корпоративность. Именно место в госаппарате создавало здесь наилучшие возможности для обогащения, для захвата чужой недвижимости и богатства, для передела в свою пользу казенной собственности и владений «частника», для успешной карьеры и защиты нажитого такими способами от поползновений других функционеров деспотии.

В позднесредневековой Западной Европе абсолютистское, т.е. централизованное, государство выросло из обновленного в ходе феодальной раздробленности общества. В Азии социум остался прежним — подавленным и неподвижным, а азиатская деспотия своей мощью продолжала охранять эту застойную ситуацию. Сила и долговечность самой деспотии во многом базировались на застойности экономических и социальных структур, незыблемости политических традиций и идеологических основ. Если на Западе окрепла сословная или сословно-представительская монархия, то Восток так и не смог выбраться из деспотического болота.

Все сказанное выше свидетельствует о том, что восточная деспотия представляла собой отнюдь не форму, а именно тип государственности. Деспотия в Азии в той же мере несводима лишь к самовластию, самодержавию или к произволу и тирании как таковым. В равной степени деспотия не ограничивалась сферой политической надстройки. Корнями этого феномена в той или иной мере было пронизано все традиционное общество, и наоборот — вся специфика данной социально-экономической системы воплотилась в азиатской деспотии.

ИСТОРИЧЕСКАЯ ДИНАМИКА ЗАПАДА И КИТАЯ

Все многообразие выстраивания моделей — страновых, региональных, цивилизационных — можно свести к двум основным типам: западная, европейская, и восточная, азиатская. Остальные — либо переходные, либо комбинаторные, смешанные, так сказать смазанные, специфические модели и не имеют первостепенного значения. В данной работе мы берем западную модель как нечто целое. Под восточной, азиатской, подразумеваем только один из ее вариантов — китайский с его конфуцианской цивилизацией. Естественно, возникает очень сложный вопрос о соотношении китайской модели и китайской цивилизации. Бесспорно, что они связаны, что работают в паре, взаимопроникают, что китайский материковый социум (КНР) не выпал из азиатской модели. Периферийный китайский социум — имеется в виду Тайвань и диаспора (*хуацяо*) — перешел в другую историческую модель (западную). Цивилизация сильнее и жизнеспособнее, нежели историческая модель, не говоря уже о формациях. Формация — еще более зыбкая и меняющаяся фактура исторического развития.

Каково же соотношение китайской и конфуцианской цивилизации? В первом случае речь идет о страновом варианте, во втором — о региональном. Имеется в виду блок «конфуцианских стран» — Китай, Корея, Вьетнам, отчасти Япония (в чисто культурном аспекте). Перед нами «конфуцианская суперсистема» — это и «мир-экономика», и «мир-культура», и «цивилизационный регион».

Для западноевропейской цивилизации (от античности до наших дней) был характерен по сути лишь один крупный и длительный спад (раннее Средневековье), а затем (начиная с развитого феодализма) отмечался постоянный и комплексный цивилизационный подъем. В конфуцианской цивилизации картина иная. Ее эволюция шла через следующие фазы: становление — спад — расцвет — спад — стагнация — спад — синтезация — спад — новый этап синтеза. Эту последовательность можно проследить на примере эволюции китайской философии

и идеологии. Здесь прослеживаются такие этапы: период становления («канонический», IX–VIII вв. до н.э.) — «золотой век» философии и идеологии (VI–III вв. до н.э.) — застой (II в. до н.э. — VII в. н.э.) — упадок (VIII–XI вв.) — подъем (расцвет сунского идеализма, XII–XIII вв.) — застой (XIV–XIX вв.). Такого рода чередование подъемов и спадов наблюдается и в других сферах. Так, в художественной литературе каждый род литературы и жанр проходил через эту череду и имел свои взлеты и падения. Отметим «золотой век» танской поэзии (VII–IX вв.), «век прозы» (романов) с XIV по XVII в. и упадок в этот период поэзии, «век драматургии» (Юань, Мин, Цин) и одновременного эпигонства в сфере поэзии. К началу XX в. во всех этих сферах наблюдался явный спад и застой. Китайская цивилизация является великой, даже несмотря на ее архаичность и застылость XVIII–XIX вв., она находилась в жесткой связи с исторической моделью развития китайского общества. Это восточная, азиатско-деспотическая модель, являющаяся *contra versa* западноевропейской модели. Можно ли жестко приковывать цивилизацию к исторической модели или же это разные вещи? Культура любой азиатской страны находится в системе восточной модели, выскочить из нее не может, поскольку это невозможно физически и исторически. Поэтому историческая модель в известной степени держит цивилизацию на коротком поводке. Есть обратное взаимодействие, когда цивилизация влияет на историческую модель. Эти два начала идут в определенной связке, питая друг друга, помогая друг другу, мешая друг другу, иногда игнорируя друг друга.

Азиатско-деспотическая модель — не самый лучший вариант социально-политического, экономического, культурного и всякого другого развития, как показала беспощадная история. Ее основная специфика — это цикличность. Это очень жесткий, разрушительный механизм, который находится внутри китайской модели, и он, разумеется, не может не влиять на судьбы китайской цивилизации. Фактор цикличности наложил свой отпечаток на развитие китайской цивилизации. После прохождения пика цивилизационного развития циклический фактор стал работать наиболее негативно, подводя китайскую цивилизацию к комплексному застою, к системной стагнации, к цивилизационному тупику.

Говоря о китайской модели истории, нельзя абстрагироваться от такого фактора, влияющего на развитие китайской цивилизации, как азиатская — в данном случае китайская — деспотия. Может быть множество оценок и определений самой деспотии, но независимо от них этот фактор не способствовал развитию на цивилизационном поле Китая.

Китайская цивилизация является цивилизацией традиционного, но развитого общества, которое стало таковым очень рано — допустим, в отличие от отсталой, в то время варварской Западной Европы, после падения Римской империи. Однако мы видим, что эта вот развитая традиционность идет не только по восходящей, но и по нисходящей. И здесь, вероятно, коренное различие между цивилизационными маршрутами западной и китайской модели. Западная цивилизация прошла только через один спад, глубокую яму, которая возникла после варварского завоевания Западной Европы, после падения Римской империи и ранней христианизации. Где-то в Средние века начинается подъем. Резких цивилизационных спадов западная модель более не дает. Бывали временные, частичные, региональные, страновые сползания, но движение — только вперед, по восходящей и т.д.

Что касается китайской цивилизационной модели, то мы видим совершенно другую картину. Возьмем ее со стадии расцвета. Передовая — с точки зрения компаративистики — цивилизация достигает очень высокого развития, наступает стадия оптимизации, затем — длительный период стагнации, фаза отставания и переход к кризису, жесткому застою, который является одним из крупнейших исторических феноменов общемирового плана.

Да и сама эволюция китайской цивилизации явно контрастирует с западноевропейским вариантом. Дело в том, что все составляющие западноевропейского цивилизационного комплекса идут синхронно по восходящей, от низшего к высшему. Китайская модель выдает несколько другой вариант. В культурологическом плане различные составляющие этой модели имеют собственную динамику развития. Что бы мы ни брали — поэзия, проза, драма, живопись, скульптура, театральное искусство, архитектура, музыка и т.д., — движение здесь весьма капризно, весьма специфично. Это разнотемповое биение внутри данной динамики мы видим по всем слагаемым культурного комплекса китайской цивилизации. Допустим, поэзия развивается по своему графику, проза — по другому и т.д. Достаточно упомянуть «золотой век» китайской философии (VII–III вв. до н.э.) — а потом спад, а затем стагнация, за ней застой, компиляция. Отметим «золотой век» китайской поэзии, это танская эпоха (VII–X вв.); что-то продолжается в сунский период (X–XIII вв.), а потом снова начинается компиляция, «средневековье», подражательство, — и все сходит на нет. Эти биения имеет практически каждый культурный пласт цивилизации, каждая ее составляющая.

Развитие китайской цивилизации по своему закономерному ступенчатому пути приводит ее (и такой ее нашли европейцы, пришедшие в Китай в XIX в.) к состоянию застоя, упадка, кризиса, стагнации

и отсталости. Приведем два самых хрестоматийных, «школьных» примера. Вспомним восторги Марко Поло, который пришел по Шелковому пути из нищей, грязной Европы в великое, процветающее, культурное Срединное государство — а Китай действительно был тогда центром Вселенной. И возьмем конец XVIII в., когда люди из дипломатической миссии лорда Маккартни были поражены, увидев явный застой и отсталость.

Цикличность и деспотия характерны для стран традиционного Востока, как развитых, так и отсталых, находившихся на пути выхода из ранней стадии традиционности. Циклы в Азии — вещь не новая, в том числе, как мы знаем, и в истории России. И конечно, каждая из азиатских стран переживает эту цикличность по-своему. Те же, кто вырвался из рамок восточноазиатской модели, например Япония, и резко перешел на западноевропейские феодальные рельсы (в полукитайском цивилизационном облачении), не знал ни цикличности, ни деспотии. Чем отличается китайская цикличность от цикличности в других азиатских странах? Невероятно высокой ценой прохождения стадии катастрофы и вступления в очередной династийный цикл (миллионы погибших, заброшенные поля, разрушенные города). Каков же цивилизационный результат этой цикличности? Способствовали ли такие катастрофы развитию китайской цивилизации во времени, в пространстве, с точки зрения количественного и качественного, стадийного плана? Вряд ли можно дать на эти вопросы однозначный ответ, ибо только через гекатомбы жертв китайская модель могла переходить от одного цикла к другому, т.е. продолжать движение во времени.

Китайская цивилизация родилась и долгое время эволюционировала вне русла цикличности. Смена циклов началась со II в. до н.э. Вся предшествующая эпоха (периоды Шан-Инь, Западное Чжоу, Чуньцю и Чжаньго) протекала без смены циклов. Первыми двумя циклами явились Ранний Ханьский (206 г. до н.э. — 9 г. н.э.), и после правления Ван Мана наступил Поздний Ханьский (25–220). Затем последовал внециклический этап (220–618). Это были периоды Троецарствия, Цзинь, Северных и Южных династий, а также период Суй. Вслед за Танским циклом (618–907) наступил перерыв цикличности — краткий период Пяти династий (907–960). Следующим династийным циклом был Сунский (960–1279), после чего наступила фаза катастрофы — монгольское завоевание Китая (династия Юань, 1271–1368). Далее циклическое начало практически не прерывалось. За Минским циклом (1368–1644) последовал Цинский цикл (1644–1870), за ним Тайпинский цикл (1870–1949), после чего Китай вступил в Маоистский цикл, или цикл КНР, который продолжается и в наши дни. Таким образом, из более чем 2200 лет, прошедших с начала эпохи Хань (206 г. до н.э.),

в русле цикличности Китай прожил более 1740 лет, а вне ее — примерно 460 лет. Возникает вопрос — каковы хронологические рамки циклов? Бывало, что циклическая модель работала в китайской истории без внешних помех (т.е. при смуте «сверху», когда князья и полководцы делят страну на куски, княжества, которые преобразуются в государства); но в других случаях в Поднебесную вторгались кочевники, и тогда отсчетом цикла принято считать воцарение новой династии, а сам циклический механизм тут работает в чистом виде — с падением династии наступает конец цикла. Между тем Цинский цикл не покончил с Цинской династией. В данном случае произошел исторический сбой — столкновение нового и старого, линейного и циклического, традиционного и современного, внутренний механизм развития Китая был нарушен грубым внешним вмешательством Запада.

Из китайской цикличности нельзя делать универсалию, всеобщий закон развития. Это начало пробивало себе дорогу сквозь живую историю, а история искажает тот цивилизационный код модели, который сама же и задала. Реальная история перебивает цикличность китайской цивилизации — ее негативную специфику — эпохами смуты, периодами децентрализации, кочевых нашествий и т.д. Но как только они стихают, нивелируются или сходят на нет, жестко работает циклическая схема. Ее никто не отменял — ни те ваны, которые делили средневековый Китай на отдельные государства, ни кочевники, которые захватывали Китай либо частично, либо целиком.

Цикличность работает и после окончания гигантской смуты середины XIX в. (Великая крестьянская война тайпинов). Если считать, что фаза катастрофы Цинского цикла кончилась где-то в 70-х годах XIX в., то следующий цикл идет до победы Великой крестьянской войны под руководством Мао Цзэдуна в 1949 г. Здесь кончается Тайпинский цикл, и все слагаемые цикла налицо. С воцарением великого крестьянского вождя Мао Цзэдуна начинается следующий цикл (Маоистский), длящийся до сих пор. О том, что это цикл, говорят все известные данные. То, что механизм цикличности работает при коммунистах точно так же, как при маньчжурских богдоханах, милитаристах, гоминьдановцах, — объективная реальность, игнорировать ее не удастся. Она проявила себя как в XIX, так и в XX в. Будет она работать и дальше.

В китайской истории действует сильнейший закон повторяемости. Последний по сути действует на всех горизонтах и во всех сферах — в экономике, социуме, политике и культуре. Притом сама повторяемость существует в двух своих видах. Первый — повторяемость от одного цикла к другому — это своего рода стандартное межциклическое чередование, передаваемое по «эстафете» от цикла к циклу. Вто-

рой — это движение внутри цикла. Речь идет о неуклонном чередовании его пяти стандартных фаз — разруха, восстановление, стабилизация, кризис и катастрофа. С учетом этих обоих видов можно говорить о «двойной повторяемости» китайской истории при переходе ее от нециклических эпох к циклическим с повторением ее в каждом цикле.

Оба вида динамики — как внутрицикловая, так и межцикловая — сливались в общем русле китайской истории, взаимовлияя и сковывая друг друга. Так сформировался весьма специфический вид исторической динамики данной цивилизации, став идеальным механизмом сохранения и воспроизведения старого (архаического и традиционного начал). Однако он менее всего подходил для рождения нового и укрепления поступательного развития. Главными центрами китайской цивилизации являлись города с их школами, книгопечатными мануфактурами, частными библиотеками, книжными и антикварными лавками, кружками поэтов и философов. Цивилизационный горизонт социума создавался в городах и достигал своего наивысшего уровня в фазе стабилизации каждого цикла. Фаза кризиса не только не снижала этот уровень, но и укрепляла его. Из беспокойной деревни под защиту городских стен и гарнизонов переселялись богатые землевладельцы, тратившие большие деньги на предметы искусства, книги, образование и т.д. Зато фаза катастрофы наиболее губительно сказывалась именно на городах. Их осады, штурмы, разграбление и разрушение наносили огромный урон цивилизационному потенциалу Китая. С приходом нового цикла его фазы восстановления и стабилизации, а также первые стадии кризисности вызвали бурное развитие городов. Как бы китайская цивилизация ни третировала город — ибо центр ее и в материальном, и в идейном плане всегда находился в деревне, — фаза катастрофы, вновь разрушая городскую цивилизацию, всякий раз отбрасывала культурный пласт Китая на кровавые рубежи.

Китайская традиционная и современная цивилизация стоит на двух китах: государстве и стабильности. Китайская деспотия — это цивилизационный пласт, высочайший компонент китайской цивилизации, ее ведущее начало. Здесь под термином «государство» скрывается азиатская деспотия, власть бюрократии, господствующий класс чиновничества, аппарат. Он меняет мундир, меняет знамена, идеологию, но остается господствующим классом. Причем этот господствующий класс организован в государство. И второй «кит», на котором держится китайская цивилизация, — это стабильность. Речь идет не о моральных ценностях, не об идеологических нюансах и компонентах. В китайском понимании стабильность — это застой. Когда китайская (или любая азиатская) бюрократия ставит вопрос о стабильности, всякий раз используя в политической, экономической, военной, идеологической,

социальной сферах конфуцианские каноны, она имеет в виду сохранение того общества, которым господствующий класс владеет. В этом плане и надо понимать «сяокан», «датун» и прочие лозунги. Ничего нет выше власти в цивилизации, которая имеет своей главной ценностью государство. Ничто не может быть выше власти в том государстве, которое выше всего ставит стабильность, сиречь застой. Все движение в рамках цикличности было направлено на сохранение особого статуса государства и «власти — стабильности». Различие цивилизационной динамики Запада и Китая во многом определялось антиподностью исторических моделей Европы и Среднего государства. В первом варианте было господство частной собственности, общества, личности и права с превращением государства в слугу общества. Во втором варианте все строилось на верховной собственности государства на землю, всеобщем коллективизме, отсутствии частной собственности, статуса независимой личности и правовой защищенности человека. Все это превращало социум в слугу великого государства и создавало всецелое китайской деспотии. В итоге государственно-деспотическое начало становилось основой цивилизации. Вершиной цивилизационной пирамиды Китая с древности до наших дней является культ государственности. В этой системе не было ничего более весомого и священного, чем централизованное властное начало. Культ верховной власти и идея великого государства как священный компонент конфуцианской цивилизации пронизывает ее от древности до наших дней. В этом плане Запад выступает как «общественная цивилизация», ибо здесь общество выше государства. Китай же всегда был и остается «государственной цивилизацией», где государство выше социума, выступая демиургом как традиционной, так и переходной систем.

Если на Западе государство сложилось, выступая как арбитр между укладами, классами, сословиями, слоями, регионами, этносами и конфессиями, то в традиционном Китае оно утвердилось как господин над всем социумом без различия между его компонентами — горизонтальными и вертикальными слагаемыми. В итоге на Западе цивилизация создавалась обществом, снизу вверх, на базе индивидуалистического начала. В Китае государство как демиург и воспитатель социума стало главным началом в формировании цивилизации сверху вниз, на коллективистских началах. В истории китайской цивилизации наблюдался лишь один коренной перелом — переход от доконфуцианского к конфуцианскому состоянию. Культ государства как одна из высших ценностей китайской цивилизации существовал в русле традиционной цикличности и подвергался воздействию смены фаз в рамках каждого отдельного цикла. В фазе разрухи происходило восстановление этого

верховного начала. Культ великого государства набирал силу в фазе восстановления и достигал своего апогея в фазе стабилизации. В фазе кризиса государственное начало слабело, а в фазе катастрофы опускалось на уровень самораспада в обстановке хаоса, децентрализации, восстаний, крестьянских войн, стихийных бедствий и нашествий «варваров». Таким образом, культ государства как цивилизационная составляющая оказывался намертво связан со сменой фаз внутри цикла. В первой половине каждого цикла сохраняется фактический или формальный «порядок». Последнее означает сохранение традиционных норм поведения верхов и низов, а также соблюдение обычного статуса тех и других. Здесь господствует «порядок» в конфуцианском его понимании. С одной стороны, это порядок, свойственный азиатской деспотии, с другой — с его установлением создается наиболее благоприятная из реально возможных обстановок для функционирования конфуцианской цивилизации. Последней необходим порядок — продукт первых трех фаз (разруха, восстановление и стабилизация) каждого очередного цикла китайской истории. Следовательно, для нормального функционирования конфуцианской цивилизации необходима новая династия, новая империя, новый чиновный аппарат.

В начале каждого цикла восстановление централизованной верховной власти начинается с возрождения разрушенной перед этим политической и административной системы. Данная работа осуществляется каждой новой династией. Таким образом, возрождение властной вертикали происходит раньше восстановления экономики и возрождения того, что было разрушено в сфере культуры. Цивилизационный пласт социума приводится в нормальное состояние в фазе восстановления. В фазе стабилизации он достигает наибольшего развития, расширения и укрепления. Однако уже в фазе кризиса все достижения в сфере материальной и отчасти духовной культуры ставятся под удар со стороны экономической, социальной и политической напряженности, чреватой надвигающимися военными действиями. Их развязывают либо местные властители, отделяющиеся от центральной власти, либо полководцы, устанавливающие свою власть на периферии и воюющие между собой за власть и территории. Военные действия сопровождаются разорением крестьян, созданием их повстанческих отрядов, чья борьба перерастает в масштабные крестьянские войны. Эстафету войны от крестьянских вождей принимают каратели — правительственные или самостоятельные военачальники, топящие восстания в крови, а затем берущие власть на местах. Войну и разорение несут вторгающиеся с севера «варвары» и китайские военачальники, сражающиеся с этими завоевателями. Все эти виды военных действий, которые зачастую идут не одно десятилетие, крайне разоряют страну в целом или

ее значительную часть. При всем том более всего страдают города — главные средоточия материальной и духовной культуры. В итоге каждая фаза катастрофы очередного цикла наносит страшный урон цивилизационному пласту традиционного Китая. В следующем цикле все отмеченное выше повторяется. В фазе катастрофы и в фазе разрухи следующего цикла цивилизационный потенциал оказывается в плачевном состоянии. Таким образом, функционирование циклического механизма создает модель белычьего колеса, из которого китайская цивилизация выскочить не может. Тем самым фазы кризиса и катастрофы предшествующего цикла и фазы разрухи и восстановления последующего цикла являлись сменой двух тенденций — спада политической культуры и ее последующей реставрации. Последняя не была ознаменована созданием нового, а являла собой возрождение старого, т.е. того, что уже существовало в фазе стабилизации предшествующего цикла. Вместо движения вверх и вперед происходил возврат назад и на тот же уровень. Имела место очередная санация системы без ее модернизации, т.е. возврат к созданию условий очередного кризиса с выходом в очередную катастрофу. Если в цивилизационном коде Запада значилось верховенство закона, то цивилизация Китая обходилась лозунгом наведения и сохранения «порядка» в конфуцианско-легистском понимании этого принципа. В первой половине каждого цикла наблюдалось фактическое или формальное сохранение такого рода «порядка». Во второй половине цикла дело шло к сползанию в сторону чиновного произвола. Затем в конце цикла все переходило к откровенному беспределу. Это было насилие со стороны местных властей, военных, озверевших солдатни, бандитов и повстанцев. Таким образом, смена циклов несла с собой чередование «порядка» и насилия, соблюдения «законов» — административного и уголовного права — и полного забвения их. Регулярная смена «порядка» хаосом в рамках движения от цикла к циклу являлась неотъемлемой составляющей правового компонента цивилизационного багажа Китая.

В начале и в середине каждого цикла доминирует централизованное начало — территориальное, политическое, экономическое единство страны под эгидой очередной династии. Здесь один император, одно правительство и иерархия местной бюрократии в рамках единой властной вертикали. С переходом от фазы стабилизации к фазе кризиса данная структура ослабевает. В противовес ей растет фактическая автономность местных властей при сохранении формального единства империи. В фазе катастрофы происходит реальная децентрализация, сопровождаемая тем или иным видом военизации местной власти и различных звеньев социума. Такого рода смена централизации децентрализацией непосредственно сказывалась на колебаниях в сфере куль-

туры. Первая половина и середина цикла, шедшие под эгидой централизации и стабильности, характеризовались ростом частных школ, просвещения, книгопечатания, казенных и частных академий, интеллигенции, экзаменационной системы, расцветом художественного творчества, искусства, ремесел, архитектуры. Фаза кризиса снижала этот потенциал, тормозила его рост. С приходом фазы катастрофы, децентрализации и военных невзгод культурный пласт Китая погружался в пучину застоя и разрушения.

Цивилизационный горизонт традиционной системы в русле смены фаз каждого цикла терпел постоянный урон. Духовная и материальная культура, сфера образования, литература и искусство регулярно несли потери, когда на смену конфуцианской монархии в конце цикла приходила власть местных диктаторов — полководцев. Переход от императорской власти и властной вертикали к «феодальной вольнице» с ее междоусобицей, войнами и насилием всякий раз отбрасывал цивилизационный пласт традиционной системы назад и вниз. Возврат на прежний уровень происходил с началом следующего цикла и установлением власти новой династии.

В ранние фазы каждого цикла — разруха, восстановление и стабилизация — набирает силу и господствует присущая китайской модели триада социального взаимодействия и поведенческого кода — иерархичность, этикетность и коллективизм. В фазе кризиса эти начала ослабевают и девальвируются, а в фазе катастрофы либо низводятся до жалкого состояния, либо разрушаются. Все они постепенно восстанавливаются в первых фазах следующего цикла, а в последующих его фазах вновь становятся доминирующими. Таким образом, смена отмеченных выше состояний от цикла к циклу идет по кругу, отражая в специфической форме циклическую динамику.

В рамках циклической модели эволюции всемогущее государство не могло предложить населению ничего, кроме периодического «оздоровления» периодически загнивающего самого правящего бюрократического класса. Речь идет об усложнении и расширении госаппарата, смене монархов и династий, замене одних властных группировок и придворных клик на другие, т.е. о перетасовке все той же колоды карт. Такого рода «оздоровление» власти и смена кадров давали некоторый эффект лишь первое время. Новые лидеры, сановники, чиновники и военные снова шли по пути своих предшественников. Госаппарат вновь начинали разъедать казнокрадство, коррупция и произвол в отношении «частника». Обогащение бюрократического класса опять шло в ущерб интересам самого государства. Разложение чиновных и военных кадров подтачивало государственную машину изнутри, что приводило к очередной смене правящей верхушки. В самой системе были

заложены цикличность, хождение по кругу и повторяемость традиционного сценария: «разложение — оздоровление — очередная деградация — новая санация». Таким образом, восстановление работоспособности и жизнестойкости традиционной системы происходило в каждом цикле.

⋮ Важнейшим компонентом китайской цивилизации был культ учености. Последний включал в себя многое. Здесь был и культ древних канонов, ученых степеней и ученого сословия (*шэньши*), образованности, культ туши и кисти для письма, культ поэзии и живописи. Именно весь этот комплекс цивилизационной значимости набирал силу и становился полностью господствующим в фазах первой половины каждого цикла. С переходом к фазам второй его половины на первый план выступал культ военной силы, власти полководцев, боевых искусств, воинской доблести и культ оружия. Эта вторая тенденция в фазе катастрофы достигала своего апогея и подавляла собой культ конфуцианской учености и книги.

⋮ Главным носителем ценностей китайской цивилизации выступала конфуцианская интеллигенция. Это была сугубо штатская среда — обладатели ученых степеней, преподаватели, чиновники, поэты, писатели и ученые. Их усилиями под эгидой государства в начале каждого цикла происходило восстановление цивилизационного горизонта, существенно либо частично пострадавшего в конце каждого прошедшего цикла. В фазах кризиса и особенно катастрофы на смену этой среде приходила другая — ее антипод. Это были военные — полководцы, командиры, воины разного рода и их ставленники. Конфуцианское образование сменялось изучением боевых искусств. Вместо книгопечатания росло массовое изготовление оружия. Культ рукописи сменялся культом меча. Государственные и частные академии уступали место боевому братству полководцев, командиров и удальцов. Приоритет конфуцианской морали вытеснялся культом силы. На смену экзаменационной системе и чиновной иерархии приходила военная карьера. Административное и уголовное право сменялось произволом военных. Вместо конфуцианского этикета выступала армейская грубость. Таким образом, регулярная смена штатского начала военным означала замену конфуцианской культуры армейским бескультурьем. В рамках каждого цикла при смене ранних фаз поздними происходило периодическое ослабление цивилизационного пласта. Степень его временной деградации в разных циклах могла быть различной. Здесь все зависело от того, чем кончался сам цикл, а таковой была фаза катастрофы. Варианты, впрочем, могли быть разные — междоусобица на фоне децентрализации, крестьянские восстания и крестьянская война, нашествие «северных варваров», война за изгнание кочевых за-

воевателей. В любом случае фаза катастрофы несла в себе временное разрушение цивилизационного слоя.

Фаза кризиса почти каждого цикла ставила перед политической элитой Китая проблему поиска выхода из опасной ситуации. Перед сановниками, обладающими государственным мышлением, вставала необходимость проведения неотложных реформ для устранения нараставшего негатива. Здесь, если отвлечься от сугубо конкретных задач и чисто практических решений, имелись три теоретических варианта — либо возвращение к идеалам и стандартам древности, либо санация существующей системы, либо сочетание первого и второго. Даже если предполагались какие-то скромные новации, то их необходимость или желательность всегда обосновывались примерами из прошлого. Если «верхи» не хотели или не могли пойти на проведение реформ, то их предлагали «низы», т.е. передовые по тогдашним меркам ученые. В этой роли выступали конфуцианские авторитеты — прославленные лидеры казенных или частных академий либо рядовые наиболее инициативные *шэньши*, т.е. обладатели ученых степеней и кандидаты на занятие чиновных должностей. Ни реформы «сверху», ни их требование «снизу» не выходили в своих лозунгах и задачах за рамки традиционности. Тем самым политическая мысль воспроизводила лишь то, что уже существовало в недрах системы. В любом случае это был возврат назад — либо в доконфуцианскую древность, либо в более раннюю стадию господства конфуцианской традиции. Таким образом, идеологический и политический возврат к старому не мог быть ничем иным, как специфическим отражением повторяемости и цикличности китайской истории. Можно сказать, что вторая половина каждого цикла знаменуется повышенной активностью в сфере политики и идеологии, приводит конфуцианскую элиту к поиску выхода из осложнения общей ситуации. На этой стадии либо выдвигаются планы реформ, либо проводится их осуществление. Их необходимость поднимается на щит оппозиционными *шэньши*, учеными и частью чиновничества. В дальнейшей фазе катастрофы происходит девальвация конфуцианства, актуальными становятся даосизм и буддизм. Под знамена даосских и буддийских сект собираются доведенные до крайности разоренные крестьяне, пауперы и люмпены. Эти еретические учения и их лозунги становятся идейным знаменем крестьянских восстаний и войн.

Господство государственного начала и иссушающее воздействие конфуцианства с его тотальным идеологизированием привели общественные науки Китая к состоянию застоя. Здесь господствовали догматизм, ортодоксия и схоластика. Во главу угла ставилось изучение древних текстов, толкование классики, комментирование канонов и фор-

мально-логический анализ текста. На этой почве процветало компиляторство, начетничество при отсутствии критического подхода к древним текстам и средневековым комментариям. Выше всего ставилось священность канонического текста, и чем древнее он был, тем священнее считался.

В сфере общественных наук по сути была установлена негласная конфуцианская идеологическая цензура. Из текстов, противоречащих установленным стандартам, изымалось все нежелательное по принципу «наложить прямое на кривое и [лишнее] отсечь». На этой почве наряду с цензурой и самоцензурой обычными стали фальсификации, переписывание и исправление текстов. Главным считалась не истина, а мораль, т.е. индоктринация. В итоге здесь царили стандарт, штампы, предвзятость, подгонка под установки свыше. Полное господство шаблона исключало научный анализ, критический подход и творческое начало. Все это порождало скованность мысли и отсутствие новых идей.

Весьма показательное состояние китайского историописания и историографии. Полное господство государственного начала и конфуцианского идеологического прессинга привели к забюрократизированности и тотальной идеологизации этой сферы. Отсутствие творческого начала и слабость частного, т.е. незаконного, историописания еще более укрепляли обстановку единомыслия и следования древней традиции. Все историки следовали образцам, созданным Сыма Цянем (145–86 гг. до н.э.) и Бань Гу (32–92). Копирование этих стандартов привело китайскую историографию к состоянию застоя. Здесь вплоть до начала XX в. отсутствовали новые идеи, новые формы, жанры и концепции. Ситуация была такой, как если бы историческая наука Запада оставалась по всем параметрам на уровне Геродота, Тацита и Тита Ливия. Процветали бездумное комментирование канонических произведений, цитирование их к месту и просто так, компиляторство и начетничество. Все это открывало дорогу к победе на экзаменах на получение ученых степеней и к чиновной карьере.

В таком же состоянии находилась и сфера образования. При абсолютной конфуцианской идеологизированности она служила средством категорической индоктринации этого учения. Здесь царили зубрежка, заучивание текстов наизусть, не допускалось самостоятельное, а тем более критическое мышление. Идеологизированное образование ставило своей целью воспитание коллективистского человека, послушного подданного как исходного материала для создания безличностного социума рабов во главе с императором — Сыном Неба. В итоге цивилизация Китая стала заложником двухтысячелетнего пребывания (IV в. до н.э. — XIX в.) на стадии азиатской формации. Ей пришлось

эволюционировать в рамках восточной (азиатской) модели, т.е. худшего варианта исторического бытования — под пятой азиатской деспотии в ее китайской, т.е. конфуцианской, модификации. Тем самым цивилизация Китая была вынуждена существовать в тесных идеологических объятиях конфуцианской доктрины, а последняя не только не приветствовала какие-либо новации, но и приняла за образец стандарты седой древности. В этих условиях цивилизация Китая была вынуждена смотреть не вперед и в будущее, а назад — в прошлое.

Циклическая динамика китайской цивилизации осложнялась фактором кочевых нашествий и завоеваний. В одних случаях кочевники захватывали только Северный Китай («Пять северных племен», IV–VI вв.), в другую эпоху (X–XII вв.) север страны завоевали кидане, тангуты и чжурчжэни. В XIII в. весь Китай завоевали монголы, а в XVII в. — маньчжуры. Каждое из этих четырех завоеваний приносило огромный урон материальной и духовной культуре Китая, всякий раз отбрасывая назад цивилизационный пласт традиционной системы. После изгнания или ассимиляции захватчиков китайской цивилизации нужно было затратить немалое время и усилия для восстановления культурного фонда. Если в истории Европы имело место только одно варварское завоевание Римской империи и последующее падение в Раннее Средневековье, то Китай переживал подобное четыре раза. Столько же раз в истории китайской цивилизации происходили многовековые сбои, обозначенные дихотомиями «ханьская культура — кочевое варварство», «земледельческая и городская культура — кочевая или полукочевая дикость животноводческого этноса». Тем самым в истории китайской цивилизации четыре раза происходила смена состояний, которые можно определить как «ханьская культура — кочевое (или полукочевое) варварство — ханьская культура». На эти смены ушло не одно столетие, были загублены огромные ценности материальной культуры, и тормозилось поступательное начало в недрах конфуцианской цивилизации. Смена циклической динамики такого рода «завоевательной динамикой» не была столь регулярной и последовательной, как при движении от цикла к циклу. Тем не менее оба вида исторической динамики китайской цивилизации в чем-то походили друг на друга и перемежались друг с другом. В итоге каждое завоевание Китая кочевниками и полукочевыми этносами воспроизводило некое подобие перехода от фазы катастрофы предыдущего цикла к фазе разрухи, а затем к фазе восстановления следующего цикла. Таким образом, в исторической динамике китайской цивилизации четыре раза возникал стандартный сценарий «катастрофа — разруха — восстановление», связанный с иноземными завоевателями. Огромный урон, приносимый этим фактором китайской культуре, был страшной платой за

территориальное соседство с Великой степью, периодически выбрасывавшей в Срединное царство лавины воинственных номадов.

Специфика цивилизационной динамики Китая во многом связана со спецификой формационной эволюции. Если в Западной Европе имела место последовательная смена формаций (первобытно-общинная, рабовладельческая, феодальная, капиталистическая), то в Китае первобытно-общинная формация, минуя феодализм, плавно перетекла в азиатский способ производства, ставший основой традиционной системы, сохранившейся вплоть до конца XIX в. Таким образом, вместо последовательной смены общественных формаций Китай погрузился в формационный застой, что менее всего способствовало цивилизационной динамике.

Цивилизация Запада, или «большая цивилизация», сложилась как сумма «малых цивилизаций», т.е. страновых и региональных. Каждая из них в свое время приносила что-то свое — специфический вклад в общую копилку. Тем самым в течение веков складывалось единство в многообразии. Это был своего рода механизм синтеза, где каждый его компонент стимулировал развитие других участников и обогащал их «малые цивилизации». Здесь имели место не только переход количества в качество, но и поступательное развитие. Такого механизма взаимодействия и взаимообогащения у Китая не существовало. Корея, Япония и Вьетнам перенимали китайскую культуру, но сам Китай почти ничего не перенимал из их культурного багажа. Правда, Китай принял буддизм из Индии с последующей его китаизацией. Китайская цивилизация, как центр «дочерних» соседних, близких по сути и форме культур дальневосточного региона, пребывала в гордом одиночестве своего рода гегемона, эталона и духовной Мекки. Китай выступал «ведущим», но по сути ничего не перенимал у «ведомых». На Западе цивилизация развивалась также в связке «ведущий — ведомый», однако с двумя коренными различиями. Во-первых, здесь ведущий постоянно менялся. Сначала это была античная Греция, затем Рим, варварские королевства, Византия, Италия Возрождения, абсолютистская Франция, затем буржуазные Нидерланды и Англия. Во-вторых, здесь все — и ведущие, и ведомые — перенимали друг у друга самое передовое и лучшее, обогащая культуру — как свою, так и соседа.

После выхода из Средневековья Запад начал движение по восходящей линии — Возрождение, Реформация, Просвещение, буржуазные революции, промышленный переворот. Все это время — с XIV по середину XIX в. — Китай оставался в традиционном застое и в рамках циклического движения, что сказалось и на состоянии китайской цивилизации. В цивилизации Запада шло развитие и движение по восходящей. Одним из показателей прогресса стала смена стилей в европей-

ском искусстве — романский, готический, барокко, классицизм, рококо, романтизм и реализм. Эта смена стала ступенями поступательного развития. В этот период (X—XIX вв.) в искусстве и архитектуре Китая по сути царил застой, соблюдение традиционных канонов. Каноническое начало играло свою роль в динамике цивилизаций и Запада и Китая. В Европе христианские каноны не стали началом развития, а всего лишь этапом в ее истории, ибо истоки лежали в наследии античности. На Западе христианские каноны, не являясь началом, не стали и концом духовного развития. В Китае сложилась совершенно иная ситуация. Здесь древние каноны — доконфуцианские, конфуцианские, даосские и иные — стали не только отправной точкой духовной эволюции, но и ее конечным рубежом. Более того, классические каноны древности и комментарии к ним стали альфой и омегой в цивилизационной системе Китая, ее основой и сутью. Все начиналось с них и ими кончалось в виде их перепевов и комментариев к ним.

Цивилизационная динамика Запада несла с собой расширение сфер культурного созидания в области естественных и общественных наук при постоянной смене видов и этапов развития литературы и искусства. Китайская модель характеризовалась очень ранним и бурным становлением. Однако затем этот впечатляющий старт сменился формированием традиционного стандарта во всех сферах цивилизационной системы, затуханием динамики, переходом в застойное состояние. Вместо поступательной смены цивилизационных этапов, стадий роста и качественно новых ступеней эволюция китайской культуры пошла по пути смены жанров, форм, видов, трактовок внутри уже сложившихся стандартов. Это было постоянное вращение вокруг старых эталонов, следование застывшим нормам, диверсификация в рамках традиции с подчеркиванием верности либо ей, либо древним образцам.

В итоге образовалась оппозиция «Запад—Китай», где в рамках противостояния двух цивилизаций сложились совершенно разные основные ценности этих культур. Европейскому динамизму Китай противопоставил застой, ориентации на новизну — подражание древности, индивидуализму — коллективизм. Вместо автономности западной личности Китай создал поглощенность человека общностью. Идеалу свободы здесь противостояло поголовное рабство подданных, требование покорности. Идеал равенства понимался как тотальная подчиненность всех и вся верховной власти. Личное достоинство понималось как снискание человеком уважения в своем коллективе и в окружающей среде. Вместо уважения к частной собственности насаждалась враждебность к частному богатству как нечистому. Верховенство права в Китае заменялось господством морали. Линейный тип развития духовного пласта цивилизации на Западе привел к подъему ее матери-

ального горизонта — естественных наук, техники и реализации их достижений в различных сферах жизни общества. Циклическое буксование китайской цивилизации породило духовный застой в жизни социума, а духовная стагнация, в свою очередь, привела к застою материальной составляющей цивилизации. Неразвитость естественных наук и техники оказалась вопиющей к середине XIX в., когда Китай столкнулся с Западом в боях на море и на суше. Архаичность вооруженных сил Цинской империи в период «опиумных» войн стала адекватным отражением итогов многовекового циклического движения.

Все изложенное выше свидетельствует о резком отличии цивилизационной динамики традиционного Китая от западноевропейского варианта культурной эволюции. Последняя стала результатом линейного и поступательного развития. Цивилизация Китая начиная с древности и до конца XIX в. эволюционировала по циклическому сценарию, что обрекло ее на длительную стагнацию и обусловило ее ригидность.

Одержав победу во всех основных сферах социально-экономической и идейно-политической жизни Китая, циклическая динамика стала системным началом, в том числе одним из цивилизационных механизмов. Циклическая динамика стала функционировать как универсальное начало, как всеобщая закономерность, работавшая на всех горизонтах системы, в том числе в политике, идеологии и культуре. В итоге циклический характер исторической динамики китайской цивилизации вел сам цивилизационный пласт, как и всю традиционную систему в целом, к постоянной и ненужной растрате материальных и духовных сил, при столь же нерациональных затратах времени на регулярное восстановление разрушенного. Такого рода движение по принципу беличьего колеса менее всего было нацелено на обновление системы и ее саморазвитие. Вместо явного движения вперед и вверх цивилизационный потенциал буксует в колее циклической модели. В то же самое время западная цивилизация, или сумма европейских цивилизаций, пройдя средневековый спад пошла по пути поступательного и прогрессивного самообновления с движением по восходящей кривой. Конечным результатом циклического типа цивилизационной динамики Китая явилась ее завершенность, т.е. выход на уровень самодостаточности — своего рода идеальное состояние с явным преобладанием негибкости и оцепенелости. Такого рода ригидность оказалась обратной стороной завершенности традиционной системы. Для нее уже ничего не требовалось сверх древнего наследия и средневекового багажа. В итоге самодостаточность породила страх и неприязнь ко всему внешнему и новому, т.е. враждебному конфуцианской цивилизации. Все это привело к периодам «закрытия» Китая от «западных

варваров» в правление династий Мин и Цин в условиях экономической, технической и военной отсталости.

Тот багаж, с которым китайская цивилизация пришла к периоду модернизации, вызывает сожаление. Если лозунг западной цивилизации — личность и развитие, то китайской — государство и стабильность. Запад пошел по пути реального прогресса, познания окружающего мира и природы, достижения технических высот, а Китай остался на тропе малых подвижек, замкнулся на диверсификации моральных ценностей, достижений на уровне книжной схоластики. Исторический застой дополнялся унаследованным от прошлого стремлением к стабильности, порядку, неизменности, боязнью перемен, тягой к поискам «золотой середины», к сохранению традиционности. Конфуцианская цивилизация к началу эпохи модернизации во многом исчерпала свой внутренний ресурс развития, а ее многогранный и богатый исторический багаж оказался в фазе длительной стагнации. Циклический тип развития привел ее в тупик. К XIX в. традиционный Китай подошел на пике своих цивилизационных возможностей. Все, что было изначально заложено в генах и генотипе конфуцианской цивилизации, уже было давно — к XVIII в. — реализовано. Китайская цивилизация достигла своего максимума и «идеального» (относительно ее самой) системного состояния, поэтому дальнейшая эволюция ей уже была не нужна. До начала Нового времени она считала себя совершенной, идеальной и абсолютно развитой, т.е. передовой, уникальной и самодостаточной.

Традиционному китайцу и в голову не приходило думать об ущербности своей цивилизации, ибо все накопленное за три тысячи лет духовное богатство никуда не делось. Здесь и китайская философия с ее канонами, и танская поэзия, и юаньская драма, и цинская проза.

С началом Нового времени произошел переход конфуцианской цивилизации в разряд «отставших и догоняющих». В этих условиях импульс к модернизации мог быть дан только извне, а сам этот процесс стал экзогенным. Вестернизация рассматривалась как угроза, как экспансия чуждого враждебного начала, как дерзкий вызов великой цивилизации со стороны очередных «варваров». Само же встраивание традиционной системы в мировой рынок неизбежно шло через конфликты, борьбу и откаты в процессе модернизации (ихэтуани, тайпины, маоисты), демодернизации («культурная революция»), возвраты назад («движение за новую культуру») и т.п.

В процессе модернизации и в условиях глобализации по-новому встал вопрос о связи цивилизации и исторической модели. До определенного времени связь конфуцианской цивилизации с азиатской (восточной) моделью Средневековья оставалась предельно жесткой. Как

известно, в XI–XII вв. Япония фактически рассталась этой моделью и перешла на рельсы западного феодализма, хотя и сохранив очень многое из арсенала конфуцианства. В XX в. на западную (в японском варианте) модель перешли Южная Корея, Тайвань и Сингапур. У этих «драконов» сложился своеобразный синтез: цивилизация конфуцианская, а историческая модель развития — западная. В связи с этим возникает ряд вопросов о соотношении цивилизации (статика) и модернизации (движение). Выпадение «драконов» из азиатской исторической модели при сохранении ими основ конфуцианской цивилизации служит доказательством того, что цивилизация «сильнее и прочнее» модели. Вместе с тем в материковом Китае, Северной Корее и Вьетнаме модель «сильнее» цивилизации. В этом плане связка модели и цивилизации в этих трех государствах оказалась наиболее органичной и прочной.

В процессе модернизации крайне важна направленность самой цивилизации либо вперед — в будущее, либо назад — в прошлое. В отличие от западной цивилизации конфуцианство было по преимуществу ориентировано даже не столько в прошлое, сколько в древность. В этой последней лежали все идеалы, нормы, парадигмы и постулаты. В известном смысле слова у конфуцианской цивилизации «глаза на затылке», т.е. были, есть и долгое время будут обращены назад. В данном случае модернизация либо нежелательна, либо воспринимается как досадное отклонение от нормы, дань времени и неизбежная повинность чисто материального свойства. Цивилизация с такого рода «ядром», да еще и существенно опоздавшая со вступлением на путь модернизации, имеет не только низкие стартовые позиции, но и неважные перспективы, не самые лучшие возможности вхождения в междивизиционное взаимодействие. Эта цивилизационная специфика конфуцианской «мир-системы» жестко проявила себя в XIX и XX столетиях и дает себя знать и в настоящее время. Для того чтобы ввести какую-нибудь общественную новацию, ее следует обосновать либо примерами из древности, либо подвести под такого рода традиционную парадигму.

Модернизация традиционного общества во многом зависит от того, где лежит «центр» его цивилизации — в городе или в деревне. Западная цивилизация базировалась в городе, т.е. в сфере мануфактур, мастерских, ремесла, торговли, ростовщичества и транспорта, школ и университетов. Тем самым европейское общество создало себе лучшую «стартовую площадку» для броска в русло модернизации. В противовес этому «центр» конфуцианской цивилизации лежал в деревне. «Земледелие — ствол, ремесло и торговля — ветви» — такова была конфуцианская экономическая доктрина. Конфуцианская деспотия про-

водила политику: «укреплять ствол, обрубать ветви». В такой специфической атмосфере промышленная, коммерческая, банковская и близкие к ним сферы деятельности считались «низкими», «корыстными» и «недостойными» для истинного конфуцианца. Почетными объявлялись лишь земледелие и туоводство. Все это соответственно отражалось на социальных слоях и сословиях, занятых в этих производствах — городских и сельских. В итоге страны конфуцианской цивилизации (Китай, Корея, Вьетнам) вошли в русло межцивилизационного взаимодействия с Западом весьма слабо подготовленными с точки зрения цивилизационных ценностей, норм и институтов.

Начавшаяся модернизация в цивилизационном плане столкнулась с такой особенностью конфуцианского «ядра», как жесткий принцип неизменности существующих порядков и неизменяемость общества. Возникло противостояние модернизации и доктрины всеобщего застоя. Данный принцип неизменности в его теоретическом и практическом аспекте, как одна из основ конфуцианской цивилизации, являл собой ее сильную сторону. Однако в условиях XIX и XX вв. он выявил ее слабость, т.е. неподготовленность к вызовам Нового и Новейшего времени. В этом противостоянии цивилизационное величие и цивилизационная ущербность стали действовать одновременно. Накануне эпохи модернизации произошло «закрытие» Китая и стран — его соседей по «конфуцианскому блоку» от внешнего, т.е. западного, мира. Этот кажущийся признак силы конфуцианской цивилизации на самом деле признание, хотя и невольное, своей слабости. Вполне можно расценивать «закрытость» как неосознанное ощущение собственной ущербности и стагнации. Есть все основания оценивать «закрытость» тогдашнего Китая как самозащиту больного «организма». Сильные и здоровые цивилизации в такой защитной мере не нуждаются и делают упор именно на свою открытость межцивилизационному взаимодействию. В связи с этим можно рассматривать «закрытость» как признак окончания поступательного саморазвития конфуцианской цивилизации. Следует ли оценивать этот шаг как фиксацию исчерпания потенций к цивилизационному восхождению во времени, как переход от качественного совершенствования к количественному тиражированию уже созданного? Не в этом ли одна из причин феномена «самодостаточности» конфуцианской цивилизации? В тоже время здесь коренится одна из причин неподготовленности конфуцианской цивилизации в XIX в. к межцивилизационному диалогу.

Войдя в эпоху модернизации, Китай принес с собой циклическую природу своей эволюции, т.е. смену династийно-демографических социально-политических циклов, хотя в этом традиционном социуме были и задатки модернизации, были пласты, которые могли быть за-

действованы и нуждались в такой модернизации. Это городские пласты (торгово-ремесленные, купеческие, ростовщические, банковские), которые на стадии развития и кризиса в очередном цикле всегда нуждались именно в том, что Запад принес в Китай силой штыков (во время «опиумных» войн, империалистических захватов и т.д.). Насилие Запада открыло перед ними хоть какие-то перспективы, но эти перспективы указанных выше городских пластов были только внутри цикла. Выйти из циклической обреченности на западную линейность, можно было только при взаимодействии с внешней силой, при явном насилии над традиционной системой. Вряд ли надо оправдывать гнусность этого насилия и методов, какими закрытое общество «открывалось» для модернизации, для глобализации, для мирового рынка. Если западное современное начало несло в Китай линейный тип развития, то конфуцианская цивилизация не смогла вырваться из своей цикличности. Так вовлечение Китая в систему мирового рынка совпало со стадией кризиса и катастрофы внутри Цинского цикла (50–70-е годы XIX в.). Далее модернизация конфуцианской системы протекала параллельно с развертыванием Тайпинского цикла (1870–1949). С установлением партийной диктатуры КПК модернизация проходила в связке с Маоистским циклом. Модернизации не дано «отменить» цикличность, ибо эти два реально существующих начала работают в связке. Они развиваются не только параллельно друг другу, но и взаимно воздействуя друг на друга. В итоге китайская модернизация оказалась процессом, протекавшим в двух измерениях — линейном и циклическом. Взаимодействуют оба эти начала специфически — противодействуют друг другу, идут в разных плоскостях, хотя и влияя на своего «соседа». Процесс модернизации Китая являет собой синтез этих двух начал. В значительной мере это сказывается на темпах, качестве, направленности и результатах модернизации. Явно ощущается роль цивилизационного фактора (груза традиционности) в процессе взаимодействия линейной и циклической направляющих. Эта специфическая линейно-циклическая модернизация воздействует на саму конфуцианскую (может быть, постконфуцианскую) цивилизацию. Для нее как таковой вестернизация — просто излишняя и нежелательная «нагрузка», нужная (и то частично) самим носителям конфуцианской системы ценностей.

Как известно, для модернизации наиболее полно открыты цивилизации с линейной моделью исторического развития, т.е. западноевропейская и японская. Цивилизации с циклическим кодом исторической эволюции, прежде всего конфуцианская, обречены на движение в двух разных и причем противоположных плоскостях. Захваченная модернизацией конфуцианская цивилизация вынуждена идти вперед линей-

ным маршрутом. Между тем циклический характер традиционного типа никто не отменял. Поэтому страны конфуцианского блока (кроме «четырех драконов») вынуждены проходить каждый виток очередного демографического («династийного», социально-экономического и политического) цикла. В итоге создается одновременное движение в разных плоскостях, причем линейное движение осложняет циклическое, а последнее тормозит первое. До тех пор, пока КНР не порвала с восточной моделью исторической эволюции (т.е. с топтанием внутри циклов и между ними), циклический фактор продолжает служить жестким тормозом линейной модернизации по принципу «мертвые хватают живых». В связи с этим встает вопрос: смогут ли материковый Китай, Северная Корея и Вьетнам в XXI столетии порвать с циклическостью?

Модернизация в КНР тормозится наследием прошлого. Так, конфуцианские моральные нормы строились на приоритете государственного начала над частным, коллективного — над личностным. «Частное» богатство, независимое от казны, предосудительно, аморально и враждебно обществу, а богатый частник (купец, ростовщик, предприниматель) — враг конфуцианской системы. Такого рода этические нормы изначально создавали неподходящие условия и плохой общественный климат при вступлении конфуцианской цивилизации в русло модернизации в XIX–XX вв.

В чем же сильные и слабые (с точки зрения модернизации) стороны конфуцианской цивилизации, каково их соотношение и что превалировало при этом? (Вряд ли можно говорить о балансе позитивного и негативного в цивилизационном «багаже» конфуцианского блока стран.)

Вполне уместно считать слабую подготовленность к переменам, а то и явную враждебность всяким новациям со стороны конфуцианской цивилизации источником «социального безумия» ее носителей. Это «безумие» проявлялось в плане разрушения как всего иносцивилизационного (*ихэтуани*), так и всего конфуцианского (тайпины, маоисты). Во втором варианте отрицание идей, норм, институтов данной цивилизации, замена их на тайпинизированное христианство и китаизированный марксизм вряд ли были явлениями модернизации, т.е. движением вперед, являясь на самом деле откатом, т.е. регрессом.

Китайская государственность как конфуцианско-легистское оформление модели исторического развития обусловила специфику инициатора модернизации. Если на Западе она начиналась снизу — от личности, от человека, от частного начала — и восходила вверх, к государству, к обществу, то в Китае мы видим ее противоположное направление. Инициатором модернизации в китайской модели является государство, и сама модернизация идет не снизу вверх, а сверху вниз, от

государства (надстройки) к социуму, к населению (к традиционному конфуцианскому китайскому социуму европейское понятие «общество» неприложимо), и лишь затем это подхватывается «низами». Цели модернизации в западной и в китайской моделях тоже разные. На Западе это — построение нового общества, постоянное его совершенствование. Цель модернизации в китайской модели совершенно иная. Никакого построения нового общества, модернизация касается только надстройки, только государства. Это — главная задача. Параллельно идет модернизация сферы образования (а также армии, полиции, госаппарата, идеологии государственного толка), может быть, не всех, но некоторых пластов китайской цивилизованности, но государство остается хозяином этого процесса.

Поскольку на Западе «гегемоном» выступало само общество (как сумма личностей, индивидов), то и сам процесс постоянного обновления принял общественный характер, т.е. захватил все стороны, горизонты и сферы, став всеобщим и комплексным. Сказанное в той или иной мере справедливо для «четырех драконов» из конфуцианской «мир-системы». В материковом Китае, Северной Корее и Вьетнаме главным «модернизатором» было и осталось государство. Инициатором здесь выступала казна, «класс-государство», т.е. бюрократический класс и сама азиатская деспотия. Главная цель китайской модернизации очень долго — вплоть до сегодняшнего дня — заключалась в обновлении китайской деспотии, в укреплении политического господства правящего класса, бюрократии. Вместо комплексного, фронтального, системного обновления имело место фрагментарное, целенаправленное, частичное, заранее запланированное и т.д. Здесь раньше всего модернизировалось само государство, но отнюдь не социум. Тем самым процесс обновления принимал не комплексный и системный, а избирательный и фрагментарный характер. Модернизировались армия, военная промышленность и госаппарат. Таким образом, главной целью модернизации было сохранение максимума традиционности, а не создание нового общества. Здесь китайская цивилизация и китайская деспотия боролись за выживание в новых условиях.

Китайская (а также корейская и вьетнамская) деспотия, являясь по своему типу конфуцианско-легистской, есть фундамент конфуцианской цивилизации, и такого рода цивилизационный «багаж» был привнесен в русло начавшейся модернизации. Тем самым государство (казна) становилось пионером вестернизации, а последняя происходила по «династическому сценарию» (когда на очередном ее этапе требовалось появление нового «Великого вождя»). Эта особенность конфуцианского цивилизационного блока являлась изъяном данной «мир-системы» и «мир-экономики».

В условиях начавшейся модернизации в Китае абсолютизация государственного начала и традиционная слитность всех видов (ветвей) власти логически вела или же создавала все условия для возникновения авторитарного (гоминьдановского), а затем и тоталитарного (маоистского) режимов. В связи с этим можно говорить о конфуцианско-легистской деспотии как о цивилизационной предтече и стартовой площадке для военно-партийного тоталитаризма суньятсенистского и марксистского типов. Особая роль конфуцианской цивилизационной традиции сказалась и в становлении «полуимператорской» власти «крестьянского императора» Мао.

При всем том трансформация конфуцианско-легистской деспотии явилась важным слагаемым модернизации этой цивилизации. Данный процесс прошел через ряд фаз (цинская монархия традиционного типа, переходная бэйянская республика, гоминьдановская военно-партийная диктатура, маоистская партийная тоталитарность, последующая «реформированная» система). На всех этих стадиях деспотия теряла свои конфуцианские одежды и обретала новые («змея меняет кожу») в русле своего оздоровления и укрепления. При этом модернизация носит не только цивилизационный, но и в какой-то мере межцивилизационный характер. В традиционном Китае конфуцианская цивилизация в рамках азиатской модели исторического бытования была неотделима от восточной деспотии как политической системы откровенно авторитарного типа. Между тем конфуцианская цивилизация научилась избегать открытой тирании, личной диктатуры, неограниченной власти правителя и иных крайностей. Китайская политическая традиция осуждает примеры Цинь Шихуанди, Цао Цао, Ян-ди и других тиранов. В то же время модернизация принесла в практику конфуцианской страны откровенную диктатуру и явный тоталитаризм Мао. С одной стороны, это вызов цивилизационным нормам конфуцианства, а с другой — это та же китайская деспотия, только в партийном варианте и под знаменем марксизма. Это можно рассматривать и как откат назад, и как шаг вперед по сравнению с прошлым, т.е. с Цинской империей, господством милитаристов или гоминьдановской диктатурой. Это продукт политической модернизации, т.е. исторического синтеза традиционности (азиатская деспотия) и современности (партия, марксизм). Такая «социалистическая деспотия» весьма специфически соотносится с конфуцианской цивилизацией. При всем том она родственна ей и нейтральна по отношению к традиционному «обществу поголовного рабства». В этом случае имеет место доведение идей конфуцианской деспотии до логического, до истинного, т.е. идеального, воплощения. Если обновляется китайская деспотия, то в этом есть элемент обновления и китайской цивилизации и даже обновление модели историче-

ского развития. Этой закономерности подчинены и сами фазы модернизации. Она сталкивается с обществом не открытым, а сознательно «закрытым», которое встречает модернизацию как моллюск, захлопнувший свою ракушку. Сильные, здоровые цивилизации обычно не закрываются. Закрытость — это признак нездорового состояния, боязни того, что внешняя сила не получит от данной системы соответствующий достойный отпор.

Китайской модели пришлось открыться; закрытое общество модернизироваться не может. Тем самым модернизация в китайском варианте была насильственной (а не естественной, как на Западе; там силовой фактор хотя и присутствовал, но шел изнутри). Китайский вариант модернизации — это «модернизация извне», принесенная «из-за моря».

В XIX–XX вв. модернизация Китая прошла несколько фаз. Сначала конфуцианская цивилизация увидела в натиске Запада лишь угрозу своего разрушения. Затем конфуцианский комплекс приобрел некоторый опыт полезных для себя заимствований. Далее началось сознательное оздоровление системы на базе нового. Так модернизация во многом оказалась средством сохранения и «омоложения» конфуцианской цивилизации при мобилизации всей оставшейся еще потенциальной защитной реакции. При этом такие начала, как деструктивность и конструктивность, переплетались здесь между собой в весьма причудливых вариантах.

Поскольку модернизация началась как процесс насильственный, идущий извне и с большим историческим запозданием, преобразование старого в новое не имело комплексного, системного и органического характера, а стало избирательным, частичным и искусственным. В первую очередь модернизировались приморские города как анклав нового. Сложилась дихотомия «современные анклав — традиционный материк», а сама вестернизация оказалась «анклавной». Противопоставив побережье глубинке, модернизация разбилась по другим дихотомиям: «города–деревня», «элита–массы», «материк — Тайвань (плюс диаспора)».

С точки зрения динамики формационности бросается в глаза смена формаций, политических систем и фундамента социума при сохранении основ прежней цивилизации. Можно говорить, что формации и исторические модели «приходят и уходят», а конфуцианская цивилизация «остается». В то же время вряд ли можно считать, что старая цивилизация «остается» в своем прежнем облике. Речь идет о переходе от традиционной «цивилизации-монолита» к «цивилизационному синтезу», т.е. комбинированному образованию типа «традиционное — современное». Это характерно для КНР, Северной Кореи и Вьетнама (хотя и в разной степени).

Тем самым модернизация в конфуцианской «мир-системе» стала в цивилизационном плане ареной конфликтов между обновлением и консервацией, между новациями и традициями, т.е. суммой антагонизмов. Сила цивилизационного сопротивления укрепляет избирательный принцип такой модернизации в ущерб комплексному идеалу современного прогресса. Отсюда происходит раскол цивилизационных пластов на сопротивляющиеся (закрывшиеся изнутри) и подчиняющиеся вестернизации (открытые воздействию извне). В периоды «социального безумия» (тайпины, ихэтуани, «культурная революция») цивилизационный блок раскалывается на «наше» (хорошее) и «чужое» (плохое). С одной стороны, конфуцианская цивилизация пришла в XX в. с богатейшим наследием древней и средневековой культуры. С другой стороны, эта великая цивилизация утратила внутренний импульс саморазвития, израсходовала свой исторический потенциал. К началу эпохи модернизации эта цивилизация и выглядела, и была в действительности достаточно архаичной и консервативной. Ее нормы, ценности и институты смотрели не вперед, а назад, имея своим эталоном и идеалом не настоящее, а прошлое, не движение вперед, а воспроизведение всего старого. Это не самый лучший фундамент для эпохи модернизации.

Более того, не все виды современного движения конфуцианских стран являются модернизацией, ибо здесь более сильным выступает фактор торможения. Речь идет о правлении «крестьянского императора» Мао (особенно о «культурной революции»), о господстве «династии» Кимов в Северной Корее и т.д. С одной стороны, это откаты в традиционность в русле модернизации, с другой стороны, обновление повторяющейся традиционности, хотя и в иных одеждах. Это — «модернизационные откаты», или «возвратное обновление», попытка двигаться в линейном духе и неизбежная «дань» циклической закономерности. Данный процесс идет по принципу: современности — свое, а традиционности — свое, причем одновременно.

Конфуцианская цивилизация не одну тысячу лет гордилась своей «национальной идеей» культурного и политического превосходства над окружавшими ее «варварами». Такая «цивилизационная идея» служила духовной броней против насилия кочевников над Поднебесной. Однако в XIX в. комплекс цивилизационного высокомерия сменился на состояние недоумения и обиды на «заморских дьяволов». С утерей комплекса превосходства появились признаки ощущения неполноценности. Отсюда метания из крайности в крайность, забегающие вперед и отскоки назад в поисках новой цивилизационной идеи в качестве защитной брони и наступательного оружия.

Перед функционерами модернизации стоял вопрос: как оценивать конфуцианскую доктрину цивилизационного превосходства Китая над

«варварами»? В период поступательного развития данной цивилизации доктрина превосходства имела под собой явные достижения в сфере просветительства своего и соседних народов. В стадии же цивилизационной стагнации эта доктрина приобрела защитные, оборонительные функции, став одним из слагаемых цивилизационной «закрытости» от остального мира. Вместе с тем и другие слагаемые «ядра» и «периферии» конфуцианской цивилизации с переходом от ее ранней фазы к поздней меняли свою природу.

С началом процесса модернизации в той же мере проявилась острая потребность в новом идеологическом знамени (христианство, суньятсенизм, марксизм) и в харизматической личности — своего рода «спасителе» (Сунь Ятсен, Чан Кайши, Мао Цзедун, Дэн Сяопин). Так в традиционном прошлом требовалась новая династия, мудрый и справедливый государь с подтверждением принципов гуманности и порядка. Теперь требовался новый великий вождь.

В этих условиях происходило вытеснение старого идеологического пласта конфуцианской цивилизации внутри ее «ядра» своего рода «импортным замещением» (христианство тайпинов, маоистский сталинизм). В этой смене «религиозных основ» данной цивилизации появились тенденции ее деформации или явной деструкции. Такую замену «идеологического знамени» следует оценивать в русле синтеза традиционной модели с современным началом. В настоящее время идет создание переходного образования, т.е. гибрида конфуцианства и марксизма. Тем самым возникает нечто среднее между цивилизационным прогрессом и регрессом.

Сменился верхний горизонт носителей китайской цивилизации. Взлом конфуцианской «мир-системы» принес явные цивилизационные сдвиги — уход с исторической сцены конфуцианской духовной элиты и замена ее новой интеллигенцией. С одной стороны, это урон для конфуцианской цивилизации, а с другой — способ ее выживания с приспособлением к процессу глобализации и к новой форме деспотии. В цивилизационном плане это не было плавным движением вперед, ибо сопровождалось откатом назад — к бескультурию маоизма («культурная революция»).

Принцип избирательности заимствований всегда служил орудием борьбы конфуцианской цивилизации за сохранение своего «ядра» в ходе модернизации. Новации вводятся здесь лишь в том случае, если они не угрожают целостности «ядра». Так, конфуцианская «мир-система» упорно и последовательно отторгает все, что отрицает нормы, ценности и институты этой цивилизации. Вся «материковая» система КНР жестко борется и не допускает укоренения таких институтов и принципов, как права личности, независимая судебная власть, разде-

ление властей, демократия и гражданское общество. Таким образом, речь здесь идет о фрагментарной модернизации, но не о комплексной системной вестернизации. Дальше, чем формальный отход от традиционной сословной системы, конфуцианский «материк» не продвинулся. Относительно легко этот «материк» идет на использование средств самоусиления азиатско-деспотической системы — распространение европейских форм образования, развитие науки и техники, пропаганда рациональных форм знания, складывание по-новому индоктринированной интеллигенции. Между тем эти культурные сдвиги не стыкуются с омертвлением правовой и политической сфер. С этими окостеневшими сферами не стыкуются хозяйственные и социальные сдвиги на конфуцианском «материке» — оплоте азиатской деспотии. Здесь «восточный базар» переходит в рыночную систему, но бесправие массы населения не заменяется правовыми гарантиями личности. При всем том государство одновременно выступает как фактор модернизации и как фактор ее торможения, сужая ее задачи и сферу до уровня коренных интересов китайской (корейской, вьетнамской) деспотии и оттесняя массу подданных от сферы политической вестернизации.

Мобилизация всей консервативной мощи конфуцианской цивилизации в целях самосохранения наблюдается не только в полосе «закрытости». Завершение эпохи саморазвития, переход от стадии застоя и окоченения к межцивилизационному взаимодействию усилили «оборонеспособность» конфуцианской цивилизации. В известной мере цель модернизации в материковом Китае, Северной Корее и во Вьетнаме заключалась в сохранении основ старого в синтезе с новым, но отнюдь не в создании современного, т.е. общества западного образца, и не в переходе к западной цивилизации. Здесь речь идет о принятии нового для защиты и сохранения старого. Поскольку модернизация «конфуцианского материка» вылилась в синтез старого и нового, возникает вопрос о месте конфуцианской цивилизации внутри этой переходной смешанной системы. Вначале, с наступлением эпохи модернизации цивилизационный блок находился внутри традиционного компонента. С ростом модернизации он оказался между традиционным и современным горизонтом. Конфуцианская цивилизация, постепенно становясь компонентом синтеза как такового, перестает быть только аналогом традиционного наследия. Взаимодействие традиционного и современного начал не сводится теперь только к взаимной борьбе. Здесь новое **способствует** сохранению и тиражированию традиционного культурного пласта. Радио, кинематограф, компьютеризация в невиданных ранее масштабах служат распространению китайской традиционной литературы и искусства среди конфуцианского и посткон-

фуцианского социума. Тем самым модернизация активно «работает» для нужд конфуцианской цивилизации.

В общем-то модернизация принесла в китайскую цивилизацию не только блага, но и жесткое сопротивление. Когда новация сталкивается с традицией, а западное противостоит китайскому и наоборот, китайская цивилизация выступает не только стороной, принимающей новации, но и отторгающей их и защищающейся. В КНР понимают, что только та цивилизация достойна существования, которая умеет себя защитить. Поэтому китайская цивилизация и защищается, как только может.

На знамени китайской цивилизации написаны слова Конфуция: «Люблю древность и повторяю ее». И даже сейчас, когда говорится о каких-то предельно современных новациях, любой цивилизованный китаец ищет опоры для них, соответствующие парадигмы, аналоги, обоснование в древности. Способствует ли это модернизации? К чести великой китайской цивилизации нужно сказать то, что она — когда это нужно — забывает, что надо смотреть только назад. Это очень прагматичная, деловая и разумная система, которая берет из современности то, что ей выгодно, что она может взять без ущерба для своего «ядра». Ради этого она способна пожертвовать периферийными блоками.

Модернизация поставила китайскую цивилизацию в очень сложные условия. Она принесла линейное начало, хотя в Китае было только циклическое. Сейчас мы видим сочетание и того и другого. Китайская цивилизация находится между двумя горизонтами. При всем том на линейный горизонт она выходит только тогда, когда ей это выгодно, когда это продуктивно.

Пройдя первую фазу модернизации (будем считать, что она сейчас завершается), китайская цивилизация сохранила главное. Это — приоритет государства над массой подданных, коллектива над личностью, традиции над правом и т.д. Все то, что китайская цивилизация несла в себе более двух тысяч лет, на материке сохранилось. То, что отпало от материка, — большой остров Тайвань, «драконы» (кроме Японии) — другой разговор. Китайская цивилизация сохранила свое внутреннее традиционное «ядро» — и через избирательное заимствование ради сохранения старого и оздоровления азиатской деспотии, и через инстинкт самосохранения, и через практику самооздоровления.

При всем том китайская деспотия вынуждена менять идеологическое знамя. Были попытки идти под христианским знаменем (вспомним тайпинов), попытки идти под знаменем сталинизма. Идет такое «импортное замещение» тех блоков китайской цивилизации, которые или не работают, или работают очень плохо, уже не могут обслужи-

вать обороноспособность и самосохранение китайской цивилизации. В этой связке новое работает и на старое. Кинематограф, компьютер, телевидение — все это работает и на старое. Если китайский крестьянин в глухой деревне за всю свою жизнь ни разу не попадал в город и не видел представления городских театральных трупп, а лишь только бродячих актеров, видел какие-то отрывки в дешевом исполнении, — то здесь он видит великолепный сериал, яркий, красочный, блистательно поставленный...

Китайская цивилизация попала в колею синтеза. Это та ситуация, когда старое не просто сочетается с новым, но временами «мертвые хватают живых», а живые пытаются потеснить мертвых.

Модернизация так или иначе затронула сферу политических и общественных (в первую очередь в городах) отношений в Китае.

Одной из сторон этого было использование традиционных форм и методов для достижения современных целей. Борьба за введение европейской конституции и парламента велась в форме петиционных кампаний, т.е. типичных «посланий к трону» (*яньлу*), хотя и в несколько модернизированном виде. Против иностранной конкуренции буржуазные слои использовали старый цехогильдейский прием — бойкот товаров, фирм и т.д. Противодействие империалистической экспансии частично шло в русле местной модификации луддизма. Современную технику в различных ее видах (железные дороги, телеграф, станки, оборудование, здания фабрик и т.п.) уничтожали не только ихэтуани, но и рабочие на начальной стадии становления китайского пролетариата. И в дальнейшем массовые городские движения (например, «4 мая») представляли собой сложное смешение старокитайских и западных форм политической и экономической борьбы.

Особенно причудливо модернизация протекала на раннем этапе действий китайских революционеров. Так, руководители неудавшегося восстания «Союза возрождения Китая» в конце 1902 г. планировали сочетать восстановление Минской династии с учреждением конституционной монархии во главе с президентом. Многие из революционеров, получивших европейское образование, были членами тайных обществ либо имели с ними связь. Наконец, заправилами некоторых тайных обществ в городах (особенно это относится к Цинбану и Хунбану — «Синему» и «Красному» кланам — в Шанхае) выступали политики, коммерсанты, влиятельные лица, тесно связанные с предпринимателями, полицией, с иностранными секретными службами. Эти общества использовались гоминьдановской охранкой для борьбы с революционно настроенными рабочими.

В деревне новая революционная форма организации крестьян — крестьянский союз — весьма часто напоминала либо тайное общест-

во, либо традиционное объединение самообороны. В 1925–1927 гг. некоторые деревенские тайные общества чисто формальными актами «преобразовывались» в крестьянские союзы.

В целом во всех вариантах «политического» аспекта модернизации четко вырисовывалось преобладание традиционного, старокитайского, конфуцианского начала. Под его сковывающим и разлагающим воздействием все новое, «западное» в сфере надстройки оказалось неразвитым, во многом формальным, стертým. Республика служила ширмой привычному для традиционного Китая авторитарному правлению, парламент стал игрушкой в руках генералов и политиканов, «буржуазные» партии — прикрытием влиятельных клик, узких политиканствующих группировок. Гоминьдан во многом воспроизвел традиционный антидемократизм, механическое послушание рядовых членов, групповщину и стереотипы мышления традиционного общества. Профсоюзы зачастую служили формальным прикрытием традиционных цехов, гильдий и землячеств. Политическая деятельность во многом строилась на старокитайских доктринах и принципах, маскируясь современной фразеологией. Современные юридические нормы и новые суды в городах были лишь декоративным фасадом господствующего в деревне обычного и кодифицированного средневекового права с традиционным арбитражем *шэньши*. Управленческий деспотизм оставался обычной нормой во внутривполитической сфере. Традиционное массовое сознание сочеталось с уродливой модернизацией старокитайских учений на почве механического заимствования и эклектического восприятия современного. Во внешней политике вынужденное признание реальностей XX в. сочеталось с сохранением мечты об имперском величии Китая.

Китайское общество в переходный период было не в состоянии не только породить буржуазную и социалистическую идеологии, но и воспринять их в развитых и чистых формах. Чтобы привиться в китайском социуме, западные концепции должны были чем-то поступиться в пользу азиатского, как в количественном, так и в качественном отношении. Для преодоления формационного, цивилизационного, мировоззренческого, психологического, понятийного и иных барьеров передовой идеологии Запада XIX–XX вв. необходим был хотя бы частичный синтез с традиционными воззрениями. Это предопределило основной путь и метод вращивания западной идеологии в китайскую реальность — возникновение синтезированных, симбиозных, эклектических воззрений, что достигалось за счет как избирательного извлечения «нужных» компонентов или адаптированных, усеченных основ европейских теорий, идей, институтов, так и реактуализации канонов конфуцианской классики.

Европейская идеология и наука рассматривались в Китае в основном как прикладное начало, своего рода «добавка» к китайской мудрости, как инструмент, с помощью которого можно подновить и оздоровить Среднее государство, вернув ему былое величие. Китайские идеологи утилитарно «перебирали» духовное наследие Запада, ища в нем, с их точки зрения, наиболее подходящие для Китая и наиболее действенные компоненты для восстановления великодержавия.

Сыграла свою роль и естественная в сложившихся условиях неподготовленность Китая к восприятию западного понятийного аппарата и инструментария общественно-политических наук. В итоге при переводе книг современной буржуазной и социалистической мысли часто использовались старые понятийные клише, традиционные категории конфуцианской классики с неизбежной при этом (осознанной или бессознательной) подменой понятий. Такого рода «понятийная» модернизация наряду с явно неадекватным пониманием переводимого играла большую роль в китаизации европейского и модернизации староконфуцианского начал.

Процесс модернизации мировоззренческой и социопсихологической сфер затронул в первую очередь область деятельности интеллигенции: литературу (новый стиль), искусство (живопись, *гохуа*), архитектуру, прессу и издательское дело, сферу письменного языка (сочетание *байхуа* с *вэньянем*). Массовая же социальная психология крайне слабо охватывалась модернизацией. Старые нравственные, религиозные и иные нормы поведения, стереотипы массового сознания традиционного социума демонстрировали чрезвычайную устойчивость, уживаясь с частично и медленно изменявшимися нормами поведения *шэньши* и купечества.

В модернизации данной сферы наметились две тенденции. Часть буржуазной и мелкобуржуазной интеллигенции боролась за внедрение западных начал в традиционную систему с целью «возрождения нации». В противовес этому шло «возрождение» конфуцианства и распространение «модернизированного» буддизма на фоне увлечения идеалистической философией, различного рода буржуазными и мелкобуржуазными политическими учениями (позитивизм, социальный дарвинизм, махизм, прагматизм, «философия жизни», анархизм и т.д.). Иначе говоря, реакционные формы модернизации теснили прогрессивные на фоне активизации всех реакционных сил и объективных трудностей адекватного восприятия в переходном Китае сложного духовного багажа Запада.

В силу более быстрого и широкого «импорта» идеологических компонентов темпы модернизации мировоззренческой сферы обгоняли соответствующие показатели в институциональной и хозяйствен-

ной областях. Это вело помимо всего прочего к усилению относительной самостоятельности передового мировоззренческого пласта надстройки в условиях неполного ее соответствия отстающему в своем развитии национальному базису. В таких условиях поступательный ход идеологической и политической модернизации был связан не столько с вызреванием соответствующих базисных сдвигов (рост капитализма, укрепление национальной буржуазии и т.д.), сколько с воздействием капиталистической системы, в том числе негативным (идея «самоусиления» была подстегнута позором «опиумных» войн, программа реформ — поражением в японо-китайской войне 1894—1895 гг., идея парламента и конституции — ихэтуаньской катастрофой).

Насилие капиталистического Запада над Китаем в не меньшей мере, чем становление местной буржуазии и околобуржуазной среды, способствовало появлению наряду с традиционным великоханьским шовинизмом и старой ксенофобией конфуцианско-имперского толка нового явления — буржуазного национализма угнетенной империализмом китайской нации. В русле синтеза этих двух начал старый антиманьчжурский и новый антиимпериалистический национализм органически сочетались с борьбой за «возрождение Китая», за возвращение ему былого величия.

Особая роль надстроечного фактора объективно материализовалась не только в модернизации, но и в сознательном отражении идеи такой трансформации как на институциональном, так и на мировоззренческом уровне. Такого рода целенаправленный, «установочный» подход верхов общества или его политически активных мыслителей неизбежно порождал своеобразные теории и психологию восприятия модернизации.

Проблема инкорпорации отдельных элементов нового, «западного» полностью доминировала в идеологической жизни Китая рассматриваемого времени. Сама необходимость заимствований практически ни одним теоретиком (а с начала XX в. — и ни одним политическим деятелем) под сомнение не ставилась. Идейные споры вращались вокруг вопросов: что брать и в каких количествах.

Подобный подход определялся двумя капитальными моментами. С одной стороны, было ясно, что сохранение старого в нетронутом виде невозможно (гибельно для Китая). С другой стороны, западное общество никогда не было идеалом китайских теоретиков (кроме, пожалуй, Ху Ши — видного философа первой половины XX в.) и политических деятелей. Все они — от лидеров «самоусиления» до Сунь Ятсена, Чан Кайши, Дай Цзитао и Ху Ханьминя — рассматривали подобное положение как измену национальному духу. Соответственно не ставилась и задача создания его аналога в Китае. Более того, и модернизация как

таковая считалась средством, а не целью, ибо исходной идеей была не устремленность в современность и в будущее, а возврат к величественному прошлому в несколько иной форме, восстановление могущества Китая, новое утверждение исключительности его традиционных ценностей. Все это стало психологической и целевой основой практически всех ступеней «политического» и идеологического компонентов модернизации.

В обстановке постепенного заимствования западного ущемление национальной гордости компенсировалось превозношением «морального превосходства» традиционной системы, ее «реабилитацией» как универсального начала, обоснованием исторического «приоритета» Китая во всех сферах. Все западные достижения и институты стали объявляться плодами китайской цивилизации, все европейское — «забытым» китайским (Ван Чжичунь и Чжан Цзыму). Утверждалось, например, что тайпины не заимствовали христианство у Запада, а лишь восстановили исконно китайскую религию, поскольку христианский бог Хун Сюцюаня и Ян Сюцина есть не что иное, как древнекитайское верховное божество (*шанди*); что в основе всех западных наук лежит китайское начало, перенятое и развитое европейцами; что вся культура, наука, машинная техника и политические институты заимствованы «западными варварами» у мудрецов Китая. Китай был объявлен «родиной» не только христианства, но и республиканского строя, социализма, парламентской системы, огнестрельного оружия, машинной техники, всех точных наук. Поэтому он без ущерба для своего достоинства может использовать эти достижения (Цзэн Цициэ), так как возвращение своего не есть подражание «варварскому» (Чжан Цзыму и Ван Чжичунь).

Модернизация воспринималась как своего рода ренессанс, возрождение былого, восстановительный акт. Такого рода оправдательно-компенсаторное начало стало неотделимым компонентом психологии восприятия и теории модернизации в Китае. В такой интерпретации синтез современного и традиционного представлялся как дихотомия «старокитайское — новокитайское», поскольку все европейское представлялось лишь забытым китайским, а Китай, даже побежденный «грубой силой», оставался морально-этическим «центром», на который, как и прежде, возложена особая миссия — ответственность за чистоту конфуцианской этики, высочайшей ценности мира (Чжан Чжидун).

Подобный подход создавал своего рода идейную базу для господствовавших (в разных формах) в течение всего периода модернизации представлений, согласно которым западное рассматривалось второстепенным, чисто «техническим» и служебным началом, а основой

модернизированного Китая объявлялась конфуцианская традиционность.

Так, вся теория и практика «самоусиления» представляли синтез ксенофобии и избирательного заимствования «варварского», сочетание средневекового обскурантизма и стремления использовать готовые результаты научно-технического прогресса («варварские ремесла»), желание сохранить незыблемость конфуцианского общества путем вынужденного включения в него инородных компонентов (Фэн Гуйфэнь).

Равным образом реформаторы конца XIX в. исходили из бесспорного приоритета традиционного и вторичности современного («сущность китайская, а форма европейская», «основа китайская, а дополнение европейское»). Их лидер Кан Ювэй не мыслил модернизации без «обновления» конфуцианства, которое в таком виде должно было сохранять от разложения мораль, этику и иные основы традиционной системы. Иными словами, модернизация мыслилась как защитная мера для сохранения старого.

Признание традиционной основы, инструментальный подход к западному были в менее очевидной (Сунь Ятсен) и более откровенной форме (Чан Кайши, Чэнь Лифу) присущи и взглядам лидеров Гоминьдана.

Специфической чертой подхода к модернизации в Китае было стремление компенсировать утрату тех или иных традиционных компонентов и инкорпорацию современного либо резкой активизацией традиционного — вплоть до регенерации архаики, либо оздоровлением старокитайского (как предлагал Кан Ювэй). Выдвигались требования заимствования западного (в частности, местных представительных учреждений) «уравновесить» возвратом к древним принципам управления (Фэн Гуйфэнь), разделением страны на удельные княжества с аристократией во главе (Чэнь Цю), восстановлением стародавних государственных институтов (эпохи Чжоу и Хань) и т.п.

Одной из форм компенсаторности было особое внимание к японскому варианту модернизации в расчете постепенно заменить «западные» элементы «восточными», т.е. японскими (Ван Тао, Кан Ювэй, Лян Цичао, Тан Цайчан). Японская конституция, реформы Мэйдзи, японский опыт модернизации конкретных сфер общественной жизни объявлялись эталонами современного. Японское, т.е. азиатское и отчасти конфуцианское, представлялось более предпочтительным, нежели европейское (Сунь Ятсен, Дай Цзитао). В таком подходе сочетались и восточный шовинизм, и расовые мотивы, и надежды на сближение с Японией, престиж которой на Дальнем Востоке после японско-русской войны (1904–1905) резко возрос.

Таким образом, в целом можно констатировать, что модернизация как таковая в Китае с начала XX в. по строгим меркам формальной логики (но только по ним!) ею не была. Для всех поколений идеологов и политиков — лидеров «самоусиления», реформаторов конца XIX в., либеральных монархистов, революционеров-демократов, бэйянских и гоминьдановских руководителей — сама модернизация была не самоцелью, а игравшим служебную роль средством восстановления могущества Китая на базе оздоровленной (за счет инкорпорирования нового) традиционности.

В Китае гигантские масштабы «массива» традиционности, большие регенерационные возможности традиционной общественно-экономической системы обусловили повышенную устойчивость старого. Натиск же нового начала не носил характера решительного, стремительного штурма, скорее это была тягучая осада, когда годами ведутся бои за холмик, укрепленный пункт и т.п. В общей обстановке длительного противоборства, сосуществования старого и нового отступление первого часто выливалось в приспособление, в мимикрию. «Чистота» традиционного при этом терялась, но суть оставалась. Тем же путем приспособления, ухудшения своего «качества» шло вперед новое. Иными словами, обеим составляющим модернизации в Китае было свойственно снижение их формационного и цивилизационного уровня. В результате старое было не в состоянии удерживать все свои позиции, и новое не могло одержать решительной победы.

Весь этот сложный комплекс переплетающихся, взаимосвязанных явлений и процессов (в котором не так просто выделить причины и следствия) обусловил устойчивость ситуации синтеза, т.е. утверждение застойно-переходного состояния без четко просматриваемой перспективы. Невозможность дать позитивную формационную характеристику (очевидна только негативная — не капитализм, не традиционность) логически ведет к любопытному выводу: в определенных условиях общество, находящееся в состоянии застойной переходности, теряет старые и не приобретает новые черты и попадает в ситуацию достаточно длительной межформационной и межцивилизационной паузы.

Возникнув под влиянием (идейным и организационным) революции в России и будучи изначально продуктом гетерогенного синтеза (лежащего скорее в межцивилизационном, чем в межформационном русле), КПК с первых своих шагов превратилась в поле борьбы и синтеза социалистических идей, привнесенных извне, выросших на иной, европейской почве (уже потерявших свою первоначальную научную ценность и чистоту), с традиционными народными смутными эгалитаристско-уравнительными представлениями. Воздействие этих компо-

нентов идеологии китайских коммунистов явственно сказывалось на всей их деятельности. В советских районах преобладало влияние традиционных элементов, в крупных городах — догматизированных социалистических. Попытка преодолеть эту дихотомию, предпринятая Ван Мином, окончилась его поражением, и к своей победе в 1949 г. КПК пришла под официальным знаменем синтезированного, «китайзированного» марксизма Мао Цзэдуна.

С таким идейным багажом и под мощным воздействием сталинистской Москвы КПК, сокрушив Гоминьдан и получив в свое управление социум застойного варианта модернизации, долго не могла найти путей поступательного выхода из него. Более того, в маоистский период качество общественной модернизации последовательно ухудшалось, в ней рывками, с отступлениями (но в целом неуклонно) усиливались элементы азиатской деспотии.

Сдвиг в социально-экономической и общественно-политической природе модернизации коснулся ее современной составляющей: традиционная база (видоизмененная азиатская деспотия) начала сочетаться со сталинской моделью общественного устройства (которую привычно именуют социализмом). Последняя же, с нашей точки зрения, представляет собой синтез элементов той же азиатской деспотии, реакционных уравнилельных, утопических представлений и революционного порыва к «светлому будущему».

В результате удельный вес традиционности в материковом Китае резко возрос. Реальным проявлением этого стало быстрое уничтожение всего частновладельческого сектора. Сначала (1949–1954) был ликвидирован класс помещиков и проведено полное огосударствление промышленности и ремесла. Тем самым «частник», извечный противник азиатской деспотии, с которым она тысячелетиями вынуждена была делиться плодами эксплуатации непосредственных производителей, был устранен. Затем в ходе кооперирования у крестьян отобрали землю, уничтожив таким образом самый многочисленный класс мелких «частников». Такое «преодоление» вековой китайской дуальности «казна — частник» привело к резкому даже по сравнению с императорским Китаем расширению структуры «класса-государства».

Следующим шагом стала сначала коллективизация, а затем и коммунизация деревни, сделавшая сельских тружеников по существу крепостными государства. Под контроль последнего перешли практически все производительные силы страны, ставшие верховной собственностью класса бюрократии. Возрастание удельного веса элементов натурального ряда нашло свое выражение в полном преобладании разных форм распределения в быту и хозяйственной жизни. Слабые ростки идеи «общества», привнесенные революционно-демократической

интеллигенцией, были полностью вытеснены идеей «государства» (с ее модификациями — идеями «великого кормчего» и «партии»), подчинившей себе и без того примитивизированную и тотально подконтрольную духовную жизнь народа.

В условиях абсолютного господства «класса-государства» возникла необходимость обеспечить быстрое приращение могущества, что выродилось в имперские амбиции. Эта тенденция совпала с резкими шагами по усилению внутривластной власти государственной машины — «класса-государства», выливающимися в трагические кампании («большой скачок», «культурная революция»), которые поставили Китай на грань полной катастрофы. Главная же суть этих (и ряда иных, менее значительных) кампаний заключалась в стремлении не допустить изменений в сложившемся соотношении элементов традиционного и современного. Вынужденное ослабление контроля «класса-государства» (сразу после победы революции — по сравнению с январским периодом, после провала «большого скачка» — период «урегулирования») перекрывалось резким усилением централизаторских тенденций — от тотального контроля над социумом к контролю над личной жизнью каждого человека.

Маоистский курс привел к преодолению ситуации синтеза, но на рельсах возвратного движения — почти к полному восстановлению господства азиатской деспотии, сделавшей при этом завершающий шаг на пути своего совершенствования и достигшей наконец логической законченности. Такое не удавалось ни в древности, ни в Средневековье. Подобный зигзаг истории на первый взгляд никак не соответствует реалиям второй половины XX в. Но скорее всего ими-то он и был обусловлен. Стремление выжить, противостоя давлению этих реалий (намного более сильному, нежели во второй половине XIX в.), и заставило азиатскую деспотию не только отсекай максимально возможно другие составляющие модернизации, но и довести свою систему почти до совершенства.

Неизбежный крах этой линии (проявлением которого стало устранение с политической арены «банды четырех») перевел синтез КНР на постмаоистскую стадию. При сохранении принципиальной сути модернизированной системы был сделан шаг назад — к ситуации, сходной с той, что была в гоиньдановский период, когда «класс-государство» вынужден был мириться с существованием мелкого и среднего «частника».

Зримые черты гоиньдановского синтеза просматриваются и в имевшей хождение во второй половине 70-х годов идее раздела промышленности на два сектора (по организации управления и финансирования) — узкий современный (сконцентрировавшийся в приморских

районах) и обширный традиционный и полутрадиционный. Именно таким было деление дореволюционной промышленности. Сдвиги последних десятилетий (частичный возврат крестьянам земли, развитие рыночных отношений и т.п.) фактически вернули Китай в состояние переходности без четко определенной формационной перспективы. Вызывает, в частности, сомнение, что произошло существенное уменьшение доли традиционной составляющей модернизации. Так, деспотия не вернула крестьянам их владельческие права на отобранную у них землю, а лишь разрешила ее держание на очень жестких условиях (семейный подряд). Не менее ясно также, что дальнейшие позитивные изменения в политико-идеологической области, распространение рыночных отношений на сферу рабочей силы блокируются государством, по-прежнему стремящимся сохранить ситуацию, обеспечивающую незыблемость позиций «класса-государства».

Модернизация Китая не пошла по пути постепенной эволюции в восточный вариант буржуазного общества (как Южная Корея и Тайвань). Предпринята попытка построить некий вариант социализма «с человеческим лицом», базирующийся на многоукладной экономике (как это явствует из официальных установок нынешнего руководства КНР), т.е. новый вариант синтеза.

История Китая последних полутора веков демонстрирует весьма значительную устойчивость отношений общественного синтеза в русле модернизации. Прогрессивные на первых порах, они становятся затем тормозом исторического прогресса. Опыт Китая (и ряда других стран, например Южной Кореи) показал, какую огромную роль в судьбах модернизации играет государство. На первой, прогрессивной стадии межформационного и межцивилизационного синтеза оно выступает «повивальной бабкой» и гарантом дальнейшей модернизации. На второй стадии (когда синтез начинает сковывать общественный прогресс) стремление государства законсервировать ситуацию превращает дальнейшую модернизацию в длительный, болезненный процесс без ясных перспектив. И наоборот, мощное целенаправленное воздействие государства позволяет относительно быстро преодолеть состояние синтеза и вывести общество на интегральный формационный и цивилизационный горизонт.

Говоря о выделении цивилизационных черт в развитии материкового Китая и оценке маоистского периода, нельзя смешивать всякое «традиционное» с «цивилизационным». Тем не менее можно заметить, что маоизм ворвался в китайскую историю и социум под знаменем традиционного, фактически означал не «пролетарскую революцию», а победу многолетней крестьянской войны. Крестьянский вождь Мао Цзэдун, «новый император», бросил кость крестьянству — уничтожил

«помещиков», т.е. крупных и средних землевладельцев. Этот пласт частного начала в деревне был ликвидирован под одобрение крестьян, но затем уничтожено было и частное начало в самом крестьянстве, загнанном в коллективные хозяйства и коммуны. Крестьянский «царь» смог так жестоко обойтись со «своим» классом. В этом парадокс азиатской деспотии: она иначе не может, это в ее крови, генах, программе. Крестьянство доверяется «царю», «императору», будучи наполювину владельческим классом, доверие оборачивается гибелью мелких и мельчайших землевладельцев или их прав. Получили ли крестьяне землю обратно от наследников Мао Цзэдуна — при всех восторгах по поводу реформ? Даже владельческих прав у них пока нет, не говоря уже о собственности, которая в азиатской деспотии остается верховной, государственной и т.д. Вместо владельческих прав крестьянству даровали право держания, т.е. аренды. Любой историк скажет, что это надельная система с наделом по дворам, т.е. практика, похожая на ту, что была в III–VIII вв. Тем самым восстановлена система раннего средневековья. Восточная деспотия сохранилась. Действует формула К. Маркса о «поголовном рабстве» перед ликом деспотии, но уже в XX — начале XXI в. С одной стороны, раннее средневековье, с другой — неоновое-компьютерные шанхай и гонконги. Многое остается традиционно-конфуцианским — массовая индоктринация, примат политики над экономикой, культ чиновника и т.д. При всем том маоизм внес свою лепту в поступательное развитие — создание независимого державного государства, резкое снижение неграмотности, создание мощного пласта технической интеллигенции, модернизация армии, промышленности и пр.

В КНР господствующий «класс-государство» является высшим носителем сословного принципа организации социума, ибо класс бюрократии (кадровые и номенклатурные работники — *ганьбу*) оформлен как высшее сословие со строгим средневековым делением на разряды. Как и в традиционном Китае, сейчас в КНР этот класс пребывает наверху, а внизу — остальной этнос, народ, подданные. Эту «массу» и Сунь Ятсен, и Мао Цзэдун, и Дэн Сяопин пренебрежительно сравнивали с мешком песка. Материковый Китай был и остался страной, где господствует средневековый традиционный коллективизм — отсюда разделение на землячества, кланы (патронимии), корпоративность (*данвай*). Все это характерно и для настоящего времени, когда постепенно не только восстанавливаются, но и укрепляются нормы прошлого.

ЦИВИЛИЗАЦИИ ВОСТОКА И ЗАПАДА НА РУБЕЖЕ НОВОГО ВРЕМЕНИ

На рубеже Нового времени Восток был наиболее богатой и населенной частью мира. В 1500 г. в странах региона (Азия и Северная Африка) проживало около 288 млн. человек¹, или приблизительно 68% всего населения Земли. Вплоть до промышленной революции в Европе на него приходилось примерно 77% мирового промышленного (мануфактурно-ремесленного) производства. Здесь были наиболее плодородные почвы, дававшие сравнительно высокие урожаи. В могольской Индии, например, при Акбаре (1556–1605) средняя урожайность пшеницы составляла 12,6 ц с гектара, ячменя — 13,1 ц, тогда как в странах Западной Европы — 7–8 ц с гектара. В 1500 г. из 31 наиболее крупного города мира с населением свыше 100 тыс. каждый 25 находились на Востоке и только 4 — в Европе (2 — в Африке). Вплоть до XVII в. европейцев, побывавших на Востоке, поражало обилие и высокое качество товаров, особенно тканей, большие густонаселенные города, мастерство ремесленников, богатство и могущество правителей. До промышленной революции, практически до начала XIX в., страны Востока экспортировали в Европу в основном потребительские товары и другую готовую продукцию. Они были поставщиками медикаментов, пряностей, затем кофе, сахара, чая, а также тонких хлопчатобумажных тканей, кашемира, шелка и других предметов роскоши.

По сравнению с Западом Восток был лучше обеспечен продовольствием, особенно хлебом. Ибрахим-паша, великий везир османского султана Сулеймана Великолепного (1520–1566), хвастливо заявил посланцу из Вены, что только одна османская провинция (Верхняя Месопотамия) производила зерна больше и лучшего качества, чем все немецкие земли императора. В Алжире хлеба было больше, и он стоил в 4–5 раз дешевле, чем в Испании Филиппа II. В большинстве стран Востока в XVI в. наблюдался мощный экономический подъем, сопро-

¹ Здесь и далее все расчеты, связанные с оценкой численности населения, основаны на данных: *McEvedy C., Jones R. Atlas of World Population History. L., 1978.*

вождавшийся значительным демографическим ростом. Прирост населения в Азии в XVI в. составил 35%. Положение народных масс было достаточно стабильным. По утверждению современников, крестьяне балканских провинций Османской империи в XVI в. жили значительно лучше, в XVII в. — несколько лучше, чем крестьяне сопредельных стран Запада.

По сравнению с Востоком Европа выглядела более бедной и отсталой. Особенно низким был уровень материального производства. В 1500 г. в странах Запада (католические страны Европы) было 68 млн. жителей, или 16% всего населения Земли. На Европу (без России) приходилось приблизительно 18% мирового промышленного производства; в расчете на душу населения это было несколько меньше, чем на Востоке. Недоедание и бедность были уделом большей части жителей. Прирост населения, составивший 25% в XVI в., хотя и повысился по сравнению с предыдущим периодом, но был ниже, чем в Азии.

Лишь страны Южной Европы, и прежде всего Италия и Испания, находились на уровне Востока. Постепенно, в процессе «итальянизации», к ним подтягивались менее развитые страны, в первую очередь Фландрия, Франция, Англия и другие земли на северо-западе Европы. Несмотря на это, а также на относительную слабость и неравномерность развития, Запад оказывал всё возрастающее влияние на ход мировых событий. Его динамизм и в конечном счете его роль в мировой истории совершенно не соответствовали и не вытекали из численности его населения, богатств и других условий жизни. Совершенно очевидно, что роль Запада определялась факторами иного порядка, прежде всего так называемым человеческим фактором, «культурой человека», вытекавшей из особенностей западной цивилизации.

Эта новая цивилизация сложилась на Западе в X–XI вв. на базе античных традиций и учения западнохристианской (католической) церкви. Ее основу составлял свободный человек, самостоятельный и независимый индивид, обладавший личными правами и привилегиями. В отличие от Востока, на Западе преобладало личностное начало, примат частных интересов перед общественными. Чисто христианская идея богочеловечности всемерно укрепляла это начало и требовала от каждого человека бесконечного самосовершенствования, «соратничества» с Богом. В сочетании с вековыми традициями частной собственности это способствовало созданию социальных и ментальных структур, обладавших огромным потенциалом саморазвития. Именно на базе этих структур развился совершенно особый тип личности, обрекавший западного человека на бесконечные поиски нового.

В течение всей жизни человек Запада стремился отличиться, выделиться из массы себе подобных и занять особое, лишь ему присущее положение. На Западе моды менялись с постоянством закона природы. Не было ничего неизменного, и неважно, что многие новшества приходили извне. Известно, что значительная часть технических изобретений, например огнестрельного оружия, бумаги, водяного колеса, ветряных мельниц, книгопечатания и многого другого, была сделана на Востоке. Но на Западе они быстро доводились до совершенства и давали импульс для новых открытий. Невозможно перечислить все то новое, что появилось в Европе на рубеже Нового времени. Менялось все — политика, понимание любви, философия, финансы, искусство и технология. Все эти перемены отражали своеобразную духовную атмосферу, царившую на Западе, были проявлениями того духовного настроения, того «духа Фауста», который заставлял западного человека ради собственного удовольствия проникать в тайны природы и уходить в далекие страны. Европейцы оставили сотни записок о своих путешествиях за морями. Но мы не знаем ни одного описания Европы, сделанного китайским или индийским путешественником. Да и мусульмане выезжали на Запад только в силу крайней необходимости, главным образом по делам, связанным с государственными интересами.

По сравнению с Западом Восток был неподвижен. Моды не менялись здесь в течение нескольких поколений. Приданое бабушки ветшало, но не старело. На Востоке преобладало общее начало, конформизм, исходивший из убеждения, что существуют общие закономерности, с которыми каждый человек должен соотносить свою жизнь. Эта идея о вечных и объективных законах, а также преобладание общего начала над частным, коллектива над личностью предопределяли инерционность жизни и мысли. Масса подавляла единицу и не давала ей возможности проявить себя. Верность прошлому, прежде всего заветам великих предков, открывших законы правильной жизни, доминировала в системе восточных ценностей. Лишь их действительное или мнимое нарушение заставляло восточных людей искать новые пути и решения, призванные в конечном счете восстановить привычный порядок вещей.

Динамизм Запада, превосходство его ценностей выявились далеко не сразу, а главное, не во всех сферах человеческой деятельности. Вплоть до середины XVII в. у Запада не было преимущества в области военного дела, он по-прежнему отставал от Востока в сфере материального производства и уровня жизни, т.е. в сопоставимых и легко устанавливаемых областях человеческого общежития. Лишь в конце XVII в. превосходство Запада стало очевидным. Тогда же стало отме-

чатся отставание Востока. Вместе с тем хотелось бы подчеркнуть, что это отставание, как и опережающее развитие Европы, было не более чем внешним проявлением, видимым следствием их предшествующей истории. На рубеже Нового времени в Западной Европе не произошло и не происходило ничего сверхъестественного. «Европейское чудо» XVI–XVII вв. было естественным накоплением результатов, которые неожиданно для других приобрели новое качество. Отставание Востока — это также результат его собственного развития. Вплоть до XIX в. его никто не прерывал и не останавливал. Но в отличие от Европы оно происходило другими путями, на базе иных социальных и религиозных ценностей.

При общей противоположности Западу Восток был далеко не един. Его отдельные части различались между собой почти так же, как каждая из них отличалась от Запада. К тому же вплоть до Великих географических открытий эти отдельные части человечества развивались довольно изолированно, не будучи связаны между собой постоянными и взаимообусловленными процессами. Универсальность мира и человека существовала скорее в сознании людей, чем в реальном жизненном опыте. В лучшем случае происходили контакты между сопредельными ойкуменами, каковыми являлись эти отдельные части. В каждой из них доминировала своя цивилизация со своим видением мира, со своими мирохозяйственными связями и культурно-историческими ценностями. На рубеже Нового времени каждая из этих цивилизаций выступала как своего рода «центр силы», в поле притяжения которой разворачивался всемирно-исторический процесс.

Обычно цивилизацию (культурно-исторический тип) определяют как способ, или стиль, жизни, свойственный крупной человеческой популяции, которая руководствуется своим комплексом знаний и признает авторитет определенной системы ценностей. В соответствии с ним и страны, и народы, входящие в цивилизацию, стремятся строить свою жизнь, свои социальные и политические институты. При этом каждая цивилизация опиралась на собственную мифологию и культурно-историческую традицию. Каждой из них был присущ особый тип культуры с собственной концепцией жизни и человека, со своей этикой и моралью.

Каждая цивилизация выступала как целостная система. Как таковая она являлась детерминантом своих частей, подчиняла или преобразовывала их в соответствии со своей собственной природой. Экономика не является исключением. Поэтому каждой цивилизации был присущ свой собственный способ производства, вытекающий из характера ее экономических структур, т.е. совокупности социальных условий, в которых осуществлялась хозяйственная деятельность человека. Поэто-

му с экономической точки зрения цивилизации, находившиеся на одинаковой стадии развития, отличались не характером орудий и средств производства, а формами организации труда. Они были органически присущи цивилизации и вследствие этого отличались необычайной прочностью. Неслучайно К. Маркс в «Капитале» отмечал, что внутренняя устойчивость и структура докапиталистических национальных способов производства в Китае и Индии являлись непреодолимым препятствием для разлагающего влияния торговли и не поддавались разрушению без помощи политической власти.

Роль и значение отдельных цивилизаций были далеко не одинаковы. Они во многом не зависели ни от численности населения, ни от величины ресурсов или территории, находившихся в их распоряжении. Определяющим моментом были уровень развития, динамизм и жизненная сила отдельных цивилизаций. Однако сравнительный анализ уровней развития, тем более динамизма, встречает немалые трудности. Нет объективных критериев, нет базы для сравнения. В марксистской историографии, исходящей из гегельянских представлений об однолинейности всемирно-исторического процесса, в течение длительного времени господствовал формационный подход и соответственно уровень развития определялся степенью формационной лестницы, достигнутой каждым данным обществом. При всей простоте и кажущейся объективности здесь нет главного — самой возможности сопоставлять то, что на самом деле несопоставимо. В результате уровень развития отдельных стран и регионов, прежде всего Европы, как правило, не совпадал с оценкой их формационной зрелости, к тому же выставлявшейся довольно произвольно, нередко со значительной долей национально-политического пристрастия.

Вследствие этого сравнительный анализ цивилизаций неизбежно несет в себе элементы субъективизма. Как представляется, наибольшие шансы имеет прямое сопоставление взаимных оценок и самооценок, которые делались представителями различных цивилизаций. В принципе их можно корректировать на основе сравнения военно-политической мощи, выявлявшейся путем пробы сил, а также технологии и общественной производительности труда, точнее, эффективности господствующей системы производства материальных благ.

Опираясь на эти показатели, можно утверждать, что на рубеже Нового времени все ведущие цивилизации Старого Света — китайско-конфуцианская, индусская, мусульманская, западнохристианская и примыкавшие к ним русско-православная, японская и ламаистская — находились на примерно одинаковой стадии развития. Некоторые различия в технико-экономических показателях, например отставание Западной Европы или Ближнего Востока в области производительности

сельского хозяйства, не имели принципиального значения и компенсировались в других сферах материальной жизни.

От этих культурно-исторических сообществ значительно отставал ряд других цивилизаций, остановившихся в своем развитии. Будучи реликтовыми, по определению А.Тойнби, такие цивилизации, как, например, полинезийская, эскимосская и аналогичные им популяции Сибири, находились в состоянии глубокого упадка. Задолго до Нового времени они остановились на уровне неолитических культур, не имели ни развитых религий, ни социальных институтов. Уровень развития их хозяйства и корпус знаний зачастую были даже ниже, чем в предшествующие времена. К началу XVI в. они полностью исчерпали свой потенциал развития и, по сути дела, являлись пассивными объектами мировой истории. При исключительно малой численности населения (в Сибири, например, в 1500 г. оно оценивалось в 200 тыс. человек) их территории представляли как пустые, незанятые пространства, где, по мнению других народов, не было никакой цивилизованной жизни.

К началу XVI в. наиболее населенной и богатой частью мира были Китай и другие страны китайско-конфуцианской цивилизации (Корея, Вьетнам). В 1500 г. в ее ареале проживало около 106 млн. человек, т.е. 22,3% всего населения земного шара. В своих основных чертах эта новая дальневосточная цивилизация сложилась в середине I тысячелетия христианской эры на базе социокультурного наследия древнего Китая и учения Конфуция (551–479 гг. до н.э.).

Холодный материализм и бездуховность этой дальневосточной цивилизации сформировали особый тип личности. Она была прочно встроена в незыблемый и вечный порядок — основу основ конфуцианского образа жизни. Он целиком покоился на убеждении, что в мире существуют объективные закономерности, не зависящие от воли отдельных людей. Конфуцианское Пятикнижие давало картину вечной и неизменной жизни, которая движется по твердо установленным законам и в которой нет и не может быть ничего нового. В конфуцианстве нет Бога, нет личности творца, не говоря уже об идее богочеловечности. От человека требовалось не развитие свободного творческого начала, а соблюдение раз и навсегда установленных правил, вытекающих из четко осознанной необходимости.

Высшей социальной ценностью конфуцианства было государство. Оно одно, руководствуясь единственно правильным учением, было призвано устраивать жизнь общества и человека. Государство пронизывало все, подчиняло себе все стороны человеческой деятельности. Конфуцианское государство объединяло функции правителя, судьи и духовного наставника народа и в этом смысле представляло, по словам Б.Н. Чичерина, наиболее «полное осуществление теократии, осно-

ванной на господстве религиозно-нравственного закона и его блюстителей». В служении государству, отождествлявшемуся с общественным благом, чиновники видели высший смысл своей жизни. Нигде в мире, даже в России, не было такого культа государственной власти. Нигде в мире, чтобы стать чиновником, люди не кастрировали себя ради служения государству, без которого китайцы не мыслили справедливости и порядка.

Конфуцианское общество было враждебно по отношению к индивиду и его стремлениям. Здесь не было свободы, даже самого понятия о свободе как праве личности самостоятельно располагать собой и своей деятельностью. Каждый был частью огромного общественного механизма и служил ему в меру своих сил и способностей. Чувство долга на конфуцианской шкале ценностей превалировало над всеми другими. От человека требовалось послушание, прежде всего родителям и начальникам. В течение веков конфуцианство воспитывало в человеке аккуратность и обязательность, породившие ту высочайшую культуру труда, которая вызывала неподдельное восхищение у иностранцев. Все было расписано, регламентировано вплоть до мелочей. В течение всей жизни китаец был пленником ритуала — своего рода научно обоснованных правил поведения, тех знаменитых «китайских церемоний», которые в совокупности составляли довольно жесткую систему повседневного этикета, сковывавшую человека по рукам и ногам.

Конфуцианское общество формально было демократичным. Каждый мог стать Яо (легендарный герой и правитель древнего Китая). Для этого требовались труд и прилежание, прежде всего в приобретении знаний. Конфуций призывал всю жизнь учиться, постигать истину. На деле это означало изучение конфуцианской науки — огромного и крайне догматизированного свода знаний, имевшего ясные и четкие ответы на все случаи жизни. В 1403–1407 гг. эти знания были собраны в 22 877 книгах, составлявших 11 095 томов конфуцианской энциклопедии. Результаты, с точки зрения европейцев, были ужасающими. «Давно замечено, — писал в середине XIX в. О.И. Сенковский, — что китаец при всей своей природной смысленности тем ограниченнее умом, чем он учнее». Система конфуцианской науки и образования, по его словам, — это «страшнейшее иго, какое где-либо и когда-либо душило за горло ум человеческий».

Догматизм и незыблемость конфуцианского знания предопределили интеллектуальный застой общества. Мысль человека была постоянно обращена назад, в безмерно идеализированное прошлое. Она вращалась в традиционном круге конфуцианских идей и представлений и была совершенно неспособна давать что-либо новое. Вследствие

этого при довольно высоком уровне материально-технического развития в духовном отношении она оказалась бесплодной. При этом надо иметь в виду, что китайско-конфуцианская цивилизация имела сугубо оборонительный, даже изоляционистский характер. Активный прозелитизм был ей совершенно чужд. Она в буквальном смысле слова отгородилась от мира Великой Китайской стеной. Даже военная доктрина несла на себе печать охранительного начала. Конфуцианство исключало внешнюю агрессивность, стремление к экспансии, к триумфальному распространению и утверждению своих ценностей. Военное дело считалось занятием, недостойным образованных людей. Антипатия мандаринов к военщине была сравнима лишь с их неприязнью к духу торгашества и наживы. Война, как и торговля, воспринималась как неизбежное зло, как печальная необходимость, диктуемая заботой о высшем благе государства.

Весь мир китайско-конфуцианской цивилизации был обращен вовнутрь. Его целиком пронизывали идея самодостаточности, убеждение в ненужности и даже вредности внешних контактов. Это стремление к изоляции сочеталось в конфуцианском сознании с уверенностью в неизмеримом превосходстве своих ценностей. Китайцы рассматривали себя как центр мира, как Срединное царство, вершину и светоч мировой цивилизации. Они снисходительно соглашались, чтобы иноземные варвары учились у них, но сами не испытывали в этом ни малейшей потребности. Одним из наиболее болезненных проявлений конфуцианского нарциссизма было нежелание иметь какие-либо внешние связи, заимствовать чужой опыт и знания.

Всю прелесть китайско-конфуцианского подхода к внешнему миру передает послание императора Цяньлуна (1736–1796) английскому королю Георгу III.

«Король, — писал Цяньлун в 1793 г., — ты живешь за многими морями и, несмотря на это, снедаемый смиренным желанием приобщиться к благам нашей цивилизации, отправил к нам посольство, почтительно доставившее нам твою записку... Я внимательно изучил твою записку; серьезный тон изложения свидетельствует о почтительном смирении с твоей стороны, что в высшей степени похвально... Что касается твоей просьбы послать одного из твоих подданных, чтобы он был поверенным при моем Небесном Дворе и осуществлял надзор за торговлей твоей страны с Китаем, то это ходатайство противоречит обычаям моих Отцов и не может быть удовлетворено... Хотя ты заявляешь, что благоговение перед Нашими Небесными Отцами переполняет тебя желанием приобщиться к нашей цивилизации, к нашим правилам и законам, они столь отличаются от твоих собственных, что, даже если твоему послу удалось бы познать начатки нашей цивилиза-

ции, ты не смог бы перенести наши нравы и обычаи к себе, на чужую почву. Как бы твой посол ни старался, из этого ничего не может получиться.

Властвуя во всем мире, я преследую одну-единственную цель, а именно безупречно осуществлять власть и исполнять долг перед государством. Диковинки и драгоценности меня не интересуют. Если я распорядился принять даннические дары, отправленные тобой, о король, то исключительно из уважения к тому духу, который побудил тебя послать их из такой далекой страны. Величие наших Отцов не обошло ни одной земли под небесами, и цари всех народов шлют по морю и по суше драгоценную дань. Как мог убедиться твой посол, у меня есть всё. Я не ценю искусных и диковинных вещей и не буду пользоваться изделиями твоей страны».

Этот беспримерный эгоцентризм привел к самоустранению стран китайско-конфуцианской цивилизации из мировой истории. Их роль, если не считать заимствований их опыта другими, была сведена к самому минимуму, никак не соответствующему их огромному человеческому и материальному потенциалу. Фактически весь ареал китайско-конфуцианской цивилизации остался в стороне от решающих событий международной жизни.

Совершенно иной характер имела японская цивилизация. Она многое заимствовала у Китая, в том числе систему письменности и значительную часть материальной культуры. Нередко ее рассматривают даже как ответвление китайско-конфуцианской цивилизации. На деле она была совершенно другой, во многом даже противоположной. Здесь не было подавления личности, не было культа надчеловеческого государства, этатизированного и эгалитарного сознания.

Японская цивилизация возникла в IX–XI вв. Ареал ее распространения никогда не выходил за пределы собственно Страны восходящего солнца, население в 1500 г. составляло 17 млн. человек, или всего 4% жителей Земли. Эта небольшая, но исключительно динамичная цивилизация сложилась на базе синтоизма (культа древних японских богов и духов) под сильным влиянием буддизма махаяны. Он проник в Японию в середине VI в. и в IX в. стал государственной религией. В отличие от китайско-конфуцианского общества, японская цивилизация обладала исключительной способностью к мимесису — подражательству, восприятию чужого опыта и знаний. В этом отношении она напоминала Западную Европу. Ничто чужое ей не было чуждо. Она легко и естественно интегрировала заимствования, органически включая их в систему собственных ценностей и идеалов. Даже древние японские божества и духи со временем стали восприниматься как *аватары* (ипостаси) различных будд и бодхисаттв.

В отличие от Китая, в японском обществе не было отрицания индивида и его права на свободный выбор. Еще до распространения христианства в религиозном сознании японцев не было столь резкого противопоставления человеческого и божественного (детерминирующего) начала, какое мы наблюдаем в других обществах Востока. Истинно конфуцианская культура труда сочеталась здесь с чувством глубокой личной ответственности и высоким престижем ратного подвига. Япония была единственной страной Востока, где существовало благородное сословие рыцарей (самураев) и князей (*даймё*) — ближайший аналог европейского дворянства. *Даймё* и самураи как аристократы пользовались особыми правами и привилегиями. Подобно европейским дворянам, они являлись носителями сословной чести, нашедшей свое выражение в моральном кодексе самураев — *бусидо* («путь воина»). Наличие дворянства, сословных прав и привилегий, а также возникновение свободных городов, торгово-ремесленных цехов и хозяйственно самостоятельного крестьянства свидетельствовали о значительном сходстве социальных структур Японии и Западной Европы и во многом предопределили успех амидаизма и дзэн-буддизма (культуры Будды Амида) в XIII в., проповеди монаха Нитирэна (1222–1282), а в конце XVI в. — католичества.

Распространение указанных восточных учений, их эстетики и рыцарской морали, культивировавших чувство личной чести, вассальной преданности и беспримерной ответственности за свое слово, не только завершило формирование самурайского типа личности, но и наложило глубокий отпечаток на национальный характер всего японского народа. Именно с распространением учений Нитирэна и дзен-буддизма, в конечном счете совершенно особого синто-буддийского комплекса, нередко связывают невиданный подъем экономики и культуры, который переживала Япония в XIV–XVI вв. Население страны возросло с 9,7 млн. в 1300 г. до 22 млн. в 1600 г. Высокие темпы развития, достигнутые в этот период, свидетельствовали об исключительной жизнеспособности и динамизме японской цивилизации. Вплоть до начала XIX в. они нигде и никем не были превзойдены. И лишь гонения на христиан, «закрытие» страны и установление режима Токугава (1603–1868), ориентировавшегося на китайские порядки, затормозили развитие японского общества и на время выключили его из активного международного обмена.

Полной противоположностью дальневосточных цивилизаций, особенно китайско-конфуцианской, являлась великая индусская цивилизация. Она получила распространение в огромном регионе, охватывавшем весь Индийский субконтинент и страны Юго-Восточной Азии. В 1500 г. в нем проживало около 116 млн. человек, или 24,1% всего

населения Земли. В своем современном виде индусская цивилизация сложилась в середине I тысячелетия н.э. на основе древней индоарийской цивилизации, впитавшей в себя различные культурно-исторические традиции Южной Азии. Решающую роль в ее становлении, по мнению некоторых историков, сыграло учение Шанкары (788–820). Этот великий мыслитель коренным образом переосмыслил религиозно-философскую систему веданты, восходящую к древним арийским ведам, и придал ей универсальный характер. На ее основе произошел синтез верований и традиций различных народов Индии, каждый из которых нашел свою нишу в индусском религиозно-культурном социуме. На базе более древних культов сложились многоликий пантеон антропоморфных индуистских богов (Шива, Вишну, его аватары Рама и Кришна, а также Дурга, Кали и др.), общность религиозной жизни и мифологической традиции, предопределившей социальные и морально-этические ценности индусской цивилизации.

В отличие от прагматического материализма, китайского конфуцианства индуизм имел глубоко эмоциональный идеалистический характер. Из древнеарийского наследия он сохранил представление о духовной суверенности человека и его индивидуальном отношении к Богу. Однако резкое разграничение материального и духовного начал в человеке и представление о самостоятельном существовании души, доходящее до идеи о метемпсихозе (учение о переселении душ), предопределили коренное отличие индусского типа личности от западноевропейского. Индусу было совершенно чуждо сознание единственности и неповторимости земной жизни, чужда идея богочеловечности. В веданте весь мир материальных вещей, даже земная сущность человека, его тело и мысль имеют иллюзорный характер. Жизнь человека лишена конкретного исторического смысла. Индуистское сознание внеисторично: все повторяется и исчезает без следа. Вследствие этого все материальные, земные интересы человека отступали на второй план. Да и духовный мир индуса, при всем его богатстве, был обращен вовнутрь и никак не сопрягался с активным творческим вторжением во все сущее на Земле.

В отличие от конфуцианства, индуизму были чужды представления об изначальном равенстве людей. Религиозный идеал, аскеза, интеллектуальная утонченность и другие формы сублимации духа никогда не являлись общим требованием, обращенным к массе. Ее уделом было соблюдение *дхармы* — элементарных правил благочестия и пристойной жизни, что позволяло надеяться на следующее, более высокое рождение. В настоящей же жизни место человека определялось унаследованной им *кармой* — духовным качеством, уровень которого зависел от соотношения грехов и добродетелей, имевших место при

прежних рожденьях. Чем больше зла было совершено в прошлом, тем тяжелее карма и, следовательно, ниже социальный статус в настоящем.

Таким образом, положение человека в обществе определялось в первую очередь фактом его рождения, практически — социальным статусом его родителей. Наиболее полно это принципиальное отрицание равенства выражалось в системе каст — замкнутых эндогамных коллективов, связанных общностью крови и возможных занятий. Еще в глубокой древности сложилась четкая иерархия каст — от высших, прежде всего брахманских, восходящих к трем арийским варнам (сословиям), до низших, относящихся к четвертой сословно-варновой категории (*шудра*), включавшей в себя потомков доарийского населения и различного рода метисов. Каждая каста имела свои обычаи, законы и ритуалы, свой суд и органы самоуправления.

Обладая широкой автономией, даже правом защищать своих членов с оружием в руках, каста направляла и контролировала всю их деятельность. Фактически она определяла место человека в обществе. Она обеспечивала ему социальную защищенность, в случае необходимости оказывала моральную и материальную поддержку. Вместе с тем каста лишала человека индивидуальной свободы, сковывала его личную инициативу и ответственность. На деле она полностью блокировала возможность самореализации индивида, препятствовала самостоятельному раскрытию его творческого потенциала и в конечном счете превращала в раба, подчиненного закону суровой необходимости.

Каста являлась ключевым и наиболее устойчивым элементом индусской социальной структуры. Даже религиозные общины и течения (джайны, христиане, мусульмане, сикхи и т.п.), в принципе не признававшие кастовую систему и даже боровшиеся с ней, в конечном счете превращались в замкнутые группировки, вынужденные жить по законам кастового строя. Сам он как таковой не нуждался ни в какой внешней опоре. Для его поддержания не требовалось ни насилия со стороны государственной власти, ни кары религиозных институтов. Одним словом, кастовое общество являлось саморегулируемой системой, не зависевшей от государства и в известной мере даже противостоявшей ему. Вследствие этого индусское государство всегда выступало как «надстройка», как эфемерная суперструктура, оказывавшая минимальное влияние на жизнь отдельного человека и общества в целом. В индусском правосознании политическая власть вообще (*радж*) выступала прежде всего как защитник и покровитель своих подданных, как третейский судья. Такая трактовка была ближе всего к западноевропейской концепции государства. Однако, в отличие от людей Запада,

заинтересованных в существовании своих государственных структур, индусы были к ним совершенно безразличны. Лояльность к касте и общине превалировала у них над лояльностью к государству. Жизнь индуса протекала в рамках общинно-кастовых институтов и регулировалась нормами кастового права, а не законами государства, имевшими ограниченное значение.

Если индуизм был самодовлеющей системой, безразличной к внешнему миру, то индусская цивилизация в целом несла в себе большой культурно-цивилизаторский потенциал. Она обладала огромной притягательной силой и оказала немалое влияние на духовное развитие человечества. Правда, это относится в основном не к средневековому индуизму, а к более древней культуре Индии. В какой-то мере это было связано с распространением буддизма, выросшего на индийской почве и впитавшего в себя общее наследие индоарийского мира.

Эта общность исторического наследия предопределила некоторое сходство между буддизмом и индуизмом. Вместе с тем буддийские идеи о равенстве людей проложили между ними четкую грань и во многом способствовали распространению буддизма среди неарийских народов Индии, а затем и Юго-Восточной Азии. Буддизм отрицал кастовый строй. Вытекающее отсюда своеобразие социальных и морально-этических ценностей дает основание рассматривать буддийские страны как особый субрегион индусской цивилизации или даже выделять их в отдельную цивилизационную общность, лишь генетически связанную с индусским культурно-историческим типом.

Тем не менее цивилизационная близость Индии и стран Юго-Восточной Азии не подлежит никакому сомнению. В начале I тысячелетия н.э. все страны этого региона подверглись сильной индианизации. Помимо религиозных культов они восприняли многие индийские обычаи и различные элементы материальной культуры, а главное, письменность, концепцию мироздания и государственности. Даже буддизм, который утвердился здесь в качестве ведущей религиозной системы, был воспринят в его южной индийской форме — в форме *хинаяны* (или *тхеравады* — «учения старейшин»), в отличие от *махаяны*, распространившейся главным образом к северу от Индии.

На рубеже Нового времени религиозно-культурным центром *тхеравады* была Ланка (Цейлон). После исчезновения буддизма в Индии она выступала как главный хранитель истины и чистоты раннего буддизма. С XIII в. помимо Ланки хинаянистский индо-буддизм стал глубоко народной религией в Бирме, среди шанских и тайских народов, в Камбодже, Малайе и на западе Зондского архипелага. Он был государственной религией таких крупных государств Позднего Средневековья, как Сукотаи (1238–1438), Аютия (1350–1569) и Маджапа-

хит (1293–1528). Пустив глубокие корни, буддизм противостоял здесь другим цивилизационным влияниям и способствовал сохранению индийского характера культуры народов Юго-Восточной Азии. Вместе с тем консерватизм *тхеравады* ослабил темпы социально-политического развития и в конечном счете лишил страны этого региона широкой исторической перспективы.

Значительно большим динамизмом отличалось другое направление буддизма — *махаяна*. Оно сложилось на севере Индии и в первые века христианской эры распространилось в Средней и Центральной Азии, а затем проникло в Китай, Корею и Японию. Несколько позже буддизм проник в Непал и Тибет, где в VIII в. утвердился в форме *ваджраяны* — третьего направления в этой религии, оформившегося в то же время. *Махаяна* и *ваджраяна* стали, по сути дела, самостоятельными учениями. Они были ближе к мирянам, к простому человеку, имевшему широкие возможности для самосовершенствования. Махаянисты считали, что сущность будды заложена в каждом человеке, надо лишь выявить ее и развить. Помимо этого *махаяну* сближало с христианством наличие концепции рая и ада, пребывание в которых, хотя и временное, было уготовано для всех обладателей *кармы* и зависело только от соотношения грехов и добродетелей. Это сходство с учением Христа нередко объясняют значительным влиянием, которое Иран, в частности культ Митры, оказал на развитие как северного буддизма, так и первоначального христианства.

Ни *махаяна*, ни *ваджраяна* никогда не были единими религиозными доктринами. В них всегда было много различных школ и течений. Каждое из них внесло свой вклад в духовное развитие Китая, Японии и других стран Дальнего Востока. Но только в Центральной Азии они приобрели характер господствующего мировоззрения, в значительной мере определившего цивилизационный облик региона. Это относится прежде всего к *ламаизму* — особой форме буддизма, возникшей в средневековом Тибете. Его основателем был буддийский монах Цзонххапа (1357–1419), положивший начало учению *гэлукпа* («добродетель»). Переосмыслив традиционное наследие буддизма, он придал ему новую форму. Особый упор был сделан на соблюдение этических норм и ритуалов. *Гэлукпа* требовала от каждого человека беспрекословного повиновения своему наставнику и учителю. Это само по себе исключало возможность свободного выбора, не говоря уже о личной свободе. По существу это была новая религия. Из-за желтого цвета головного убора ее последователей стали называть «желтошапочниками», а сам ламаизм — «желтой религией» в противовес «красной религии» и «красношапочникам» — приверженцам старотибетской школы буддизма.

В *эдука* сложились пантеон почитаемых будд, бодхисаттв и различного рода духов, собственный канон, свои праздники и обряды. Было построено много монастырей, храмов и кумирен. Мало-помалу образовалось профессиональное духовенство, объединявшееся в строго иерархическую структуру, своего рода ламаистскую церковь, во главе с *далай-ламой*. Церковь осуществляла функции как духовного, так и светского руководства, придав ламаистскому обществу и государству чисто теократический характер.

Религиозным центром ламаизма была Лхаса — столица Тибета, где находилась резиденция *далай-ламы*. Тибетский язык приобрел статус священного языка ламаистской церкви. Его изучали в Монголии и других странах «желтой религии». В целом все они составляли особый культурно-исторический регион. Его цивилизация несла печать индo-буддийских и древнеиранских влияний, органически вошедших в систему ценностей, сложившихся на базе более древних культур народов Центральной Азии.

В 1500 г. население ламаистских стран оценивалось в 3,6 млн. человек. Его удельный вес был невелик, менее 0,8% жителей Земли. Тем не менее на рубеже Нового времени ламаизм стал быстро распространяться, особенно среди монгольских народов. Вслед за собственно монголами его приняли буряты, ойраты, калмыки; к нему тяготели урянхайцы и маньчжуры. Последние вместе с монголами давали убежище буддистам, спасавшимся от репрессий минского правительства Китая. Современные историки не склонны давать однозначный ответ на вопрос, было ли у правителей Лхасы стремление к созданию обширного панламаистского государства. Во всяком случае, технико-экономическая отсталость ламаистского мира и слабость социально-политических структур обрекали такого рода планы на неудачу. Экспансия ламаизма остановилась на границах Китая и России. В 1581 г. Ермак завоевал Сибирское ханство и открыл путь на восток для русских землепроходцев, которые в 1637 г. вышли к берегам Тихого океана. Дальнейшие успехи ламаизма, таким образом, замкнулись на зоне Центральной Азии, волей-неволей придав ему сравнительно локальный характер.

В центре мировых событий по-прежнему была конфронтация ислама с западным христианством. С самого начала ислам обладал необычайной силой динамизмом. Он противопоставлял себя всем другим религиозно-философским системам и видел свою историческую миссию в утверждении на Земле нового порядка.

Подобно иудаизму и христианству, ислам опирался на библейскую традицию строгого единобожия. Она получила в нем наиболее полное и последовательное воплощение. Догматы и обряды ислама были про-

сты и доступны, особенно для простых людей, и быстро завоевывали у них широкое признание. По своему духу ислам был консервативен. Мохаммед рассматривал свою проповедь не как новую ступень в развитии религиозного сознания, а как восстановление древней истины, искаженной еврейскими и христианскими пророками. В исламе нет идеи прогресса, нет представлений о богочеловечности и соратничестве и, следовательно, нет требования продолжать дело Творца. Наоборот, сама мысль о «сотовариществе» с Богом рассматривалась как страшная ересь. Мусульманин обязан был повиноваться Богу (само слово «ислам» означает «покорность») и жить в соответствии с объективными законами, установленными свыше.

Учение ислама наложило глубокую печать на характер общества и государства, его принявшего. Как образ жизни, как особый культурно-исторический тип исламская цивилизация сформировалась в XI–XIII вв. Она сложилась на базе синтеза ирано-тюркских традиций и арабосирийской цивилизации, постепенно изживавшей в эпоху Халифата духовное наследие эллинизма. Религиозным центром ислама на протяжении всей его истории была Мекка, культурно-политическим на рубеже Нового времени был Каир, после падения мамлюкского султана в 1517 г. — Стамбул, столица Османской империи. В начале XVI в. образовались еще две крупные мусульманские империи: держава Сефевидов и государство Великого Могола. К этим трем великим державам ислама так или иначе примыкало множество более мелких мусульманских государств, расположенных как в Азии и Африке, так и на востоке Европы. Всего в ареале исламской цивилизации в 1500 г. проживало 47,5 млн. человек (11,2% всего населения Земли), а с учетом мусульман Поволжья, Индии и Юго-Восточной Азии — и того больше.

Притягательная сила ислама, во многом определявшая его успехи, заключалась прежде всего в глубоком чувстве коллективизма и равенства людей. Для ислама был характерен крайний антииндивидуализм. В нем не было места для особых прав и интересов личности. Он был враждебен самому принципу частной собственности и признавал лишь то, что было сделано или заработано самим человеком. В исламе все люди считались одинаковыми от рождения. Они не должны были иметь никаких преимуществ, связанных с их происхождением, даже фамилий. В идеале все мусульмане являлись рабами Аллаха, одинаковыми, как зубья одного гребня.

Исламское общество имело глубоко теократический авторитарный характер. Теоретически мусульмане составляли одну братскую общину — *умму*, в которой все было подчинено принципам соборности (*шурра*) и товарищества. При такого рода коллективистском идеале со-

циальное равновесие достигалось за счет полного отказа от свободы личности и ее подчинения теократической идее всеобщего счастья. Ислам всегда проявлял заботу о людях вообще, но никогда — об интересах отдельного человека. Последний всегда выступал как член коллектива. Он мог жаловаться на неприменение к нему общего закона, но никогда — на ущемление своих личных прав и привилегий.

Социальные ценности ислама были исключительно привлекательны для человека массы, особенно для социально обездоленных людей, принадлежавших к индусской, западноевропейской и другим плюралистичным цивилизациям. Все они являлись прямыми антиподами ислама и вызывали в нем чувство протеста. На рубеже Нового времени мусульманская мысль неизменно подчеркивала превосходство ислама как религиозно-философской системы. Ей были свойственны самые крайние формы социально-политического нарциссизма, сравнимые лишь с эгоцентризмом китайско-конфуцианской цивилизации. Это предопределяло, с одной стороны, закрытый характер общества, догматизацию и замкнутость мысли, с другой — враждебность к окружающему миру, ко всему, что не относилось и не вытекало из сущности ислама.

Для мусульманского сознания было характерно биполярное видение мира. Оно делило все страны и народы на две части: *дар аль-ислам* («земля ислама»), т.е. земли, находящиеся под властью мусульман, и *дар аль-харб* («земля войны»), т.е. вражеские территории. Соответственно весь мир предстал как арена постоянной борьбы между силами добра и правды, олицетворявшимися самим исламом, и сатанинскими силами зла, которые стремились погубить ислам и не допустить создания царства Божия на земле. В этой борьбе мусульмане, тем более мусульманские государства, не могли оставаться в стороне. В отличие от политической индифферентности индусов и пассивного выскомерия конфуцианцев, приверженцам ислама был присущ дух активного прозелитизма. Религиозный долг повелевал им вести *джихад*, т.е. прилагать максимум усилий для торжества правого дела. Это являлось одной из основных заповедей ислама, его «столпом веры».

Учение о *джихаде* лежало в основе неукротимой экспансии ислама. Оно логически вытекало из пророческой миссии Мухаммада, но само по себе не являлось доктриной агрессии. Более того, предпочитались — по крайней мере теоретически — мирные формы *джихада*. Ислам, как и христианство, никогда не проповедовал насилия как средства реализации своих ценностей. И конфликт между исламом и христианством вытекал не из сущности их учений, не из их идеалов, а из их несовместимости. Еще Н.А. Бердяев отмечал, что трагизм мировой истории заключается не в борьбе между силами добра и зла, а в

конфликте положительных ценностей. Ни одно религиозное учение никогда не отождествляло себя со злом. Напротив, каждое из них призывало к добру и искоренению зла как причины всех бед и несчастий человечества. Однако несовпадение самих понятий о добре и зле в конечном счете являлось источником конфликта. Каждая цивилизация, опираясь на собственную мифологию, стремилась утвердить свои ценности и идеалы, а главное, защитить их от посягательств извне. Ни ислам, ни христианство не составляли в данном случае исключения. Но, защищая себя, они вступали на путь борьбы, которая имела свою логику и свои законы.

На рубеже Нового времени ислам значительно расширил свои позиции. Это происходило двояко: путем миссионерской деятельности, шедшей обычно параллельно торговле, и путем священной войны за веру (*газават*, или «*джихад меча*»). Оба канала были одинаково действенны, причем война велась не ради обращения иноверцев в ислам. Ее непосредственной целью было сокрушение врага и установление власти ислама, т.е. нового порядка, основанного на шариате. Он допускал снисхождение к неверным, сложившим оружие, и как следствие этого — широкую веротерпимость, практиковавшуюся почти во всех мусульманских государствах. При этом процесс исламизации происходил постепенно, путем индивидуальных обращений и растягивался на довольно длительный период.

На рубеже Нового времени этот процесс завершился лишь в колыбели ислама, в его коренных землях, прежде всего в арабских странах Ближнего Востока и Северной Африки, а также в Иране и Средней Азии с прилегающими к ним территориями. Здесь по крайней мере с XI–XIII вв. мусульмане стали составлять большинство населения. В XV в. аналогичная ситуация сложилась в Малой Азии и некоторых странах Африки. В остальных частях *дар аль-ислам* процесс исламизации был далек от своего завершения и протекал крайне неравномерно.

Более успешно шло территориальное расширение мусульманского мира. Особенно значительным оно было в Южной и Юго-Восточной Азии. Основание Малаккского султаната (1414), рост мусульманских общин в Южном Индокитае, подъем власти ачехских султанов на Суматре, падение державы Маджапахит (1528) на Яве, создание мусульманских государств на Молуккских островах (1486) и островах Кей (близ Новой Гвинеи), на Калимантане, затем на архипелаге Суду, на Южных Филиппинах (о-в Минданао) и Сулавеси (1605), а также образование империи Великого Могола (1526 г.), воспринявшей наследие Делийского султаната, и разгром Виджаянагара (1565) — самого крупного индусского государства в Индостане — серьезно укрепили позиции ислама; в конце XVII в. под его властью находилась уже поч-

ти вся Индия, за исключением ее южной оконечности. Правда, мусульмане оставались здесь в меньшинстве. Они тонким слоем располагались над основной массой населения, сохранившей свои религиозные верования, обычаи и язык — одним словом, свой цивилизационный облик. Не менее прочными выглядели позиции мусульман в Евразии и Китае (провинции Юньнань, Ганьсу). Правда, приход к власти династии Мин (1368) и распад Золотой Орды (1502) несколько ослабили позиции ислама. К тому же мусульмане столкнулись здесь со встречной экспансией ламаизма и московского православия.

Еще более широкие перспективы открывались перед исламом в Европе и Африке. В 1453 г. турки-османы взяли Константинополь и сделали его столицей своей империи — нового халифата, приковывавшего взоры мусульман всего мира. В его состав вошли земли бывшей Византии, т.е. Малая Азия и страны Балканского полуострова. В XVI в. к нему были присоединены страны арабского мира, за исключением Марокко. На южных границах этой обширной империи, по площади равной Европе без Московской Руси, росли и крепились африканские султанаты: уже упоминавшееся Марокко, а также Сонгай, Кацина, Кано, Борну, Дарфур, Фунг и Адал. Они охватывали всю территорию Африки к северу от зоны тропических лесов. К югу от экватора под контролем мусульман находились земли, тянувшиеся вдоль побережья Восточной Африки, где у них были такие крупные центры, как Момбаса, Занзибар, Килва, Мозамбик и Софала. Таким образом, почти весь Черный континент, за исключением его южной оконечности, бассейна Конго и Гвиней, находился во власти ислама. К этому можно добавить, что транссахарская торговля, Великий шелковый путь и все торговые коммуникации в бассейне Индийского океана — от Мадагаскара до Китая — находились в руках мусульман. На картах османских *рейсов* в начале XVI в. были помечены берега южнополярного материка, еще неизвестного европейским капитанам.

Не будет большим преувеличением сказать, что на рубеже Нового времени ислам выступал как главный претендент на мировое господство. В 1526 г., одновременно со сражением при Панипате, положившим Индию к ногам Бабур, произошла битва при Мохаче (Венгрия), которая открыла туркам путь на Запад. Угрозы Мехмеда II, пообещавшего дать овса своему коню на престоле Св. Петра, приобретали вполне реальные очертания. Несмотря на неожиданное поражение под Веной в 1529 г., опасность мусульманского завоевания была тем сильнее, что в военно-техническом отношении мир ислама не уступал Европе. У турок была лучшая в мире артиллерия, хорошо обученная профессиональная армия и маневренный флот, который

вплоть до 1571 г. господствовал на Средиземном море и в водах Восточной Атлантики.

Запад тем не менее принял вызов. В отличие от Индии и ряда восточных стран он нашел в себе силы для организованного отпора. По инициативе Святого престола, призвавшего христианские «нации» и «государства» объединить усилия перед лицом общей угрозы, была создана широкая коалиция католических стран. Несмотря на внутренние противоречия, она вступила в ожесточенную борьбу, во многом определившую дальнейший ход мировой истории. Суть этого великого противостояния, его исторический смысл сознавались далеко не всеми. Как на Западе, так и на Востоке этот крупнейший конфликт цивилизаций воспринимался прежде всего как борьба креста и полумесяца. Во главе лагеря христиан стоял блок наиболее развитых европейских стран, окончательно сформировавшийся во времена Карла V (1519–1556), который объединил под своим скипетром Италию, Испанию, Бургундию, Нидерланды, Австрию, Чехию и ряд других стран с общим населением около 33,5 млн. человек (1500). На Востоке этому блоку противостоял единый фронт мусульманских стран Средиземноморья, признававших верховную власть Порты и насчитывавших в общей сложности около 32 млн. человек. В середине XVI в. каждая из сторон могла выставить примерно по 150 тыс. солдат и несколько сот военных кораблей.

Борьба этих двух лагерей значительно осложнилась глубокими внутренними противоречиями. На Западе Реформация и последовавший за ней длительный период религиозных войн 1534–1648 гг. поставили европейскую цивилизацию на грань гибели. Лишь раскол в лагере мусульман спас положение. Создание шиитской державы Сефевидов, противопоставившей себя всему суннитскому исламу, последовавшие за этим ирано-турецкие войны, шедшие с небольшими перерывами с 1514 по 1639 г., и особенно джелалийская смута 1596–1658 гг. практически парализовали наступательный порыв турок. Им пришлось неоднократно откладывать и наконец полностью отказаться от завоевательных планов в Европе. В конце XVI в., примерно с 1581 г., здесь установилось стратегическое равновесие, которое лишь столетие спустя изменилось в пользу Запада.

Внутренние противоречия и примерное равенство сторон предопределили длительный и затяжной характер борьбы. Она происходила как на суше, так и на море. Поворотным моментом, в конечном счете определившим ее исход, была экспедиция Колумба и открытие Америки в 1492 г. Запад постепенно начал утверждать свое господство на морях, прежде всего в Атлантике и бассейне Индийского океана, где проходило большинство водных коммуникаций мусульман. В 1498 г.

португальцы обогнули мыс Доброй Надежды и появились у берегов Индии. В 1509 г. в сражении при Диу они уничтожили египетский флот и установили контроль над всей акваторией Индийского океана, в 1514 г. достигли Китая, в 1542 г. — Японии.

Появление европейцев резко изменило ситуацию на Востоке. В его истории началась новая эпоха. Возник новый фактор, новый центр силы, само присутствие которого, не говоря уже о прямом вмешательстве, нарушило существовавшее соотношение сил, а вместе с ним всю систему традиционных ценностей и политических приоритетов.

**УПАДОК ВОСТОКА
И ПЕРЕХОД МИРОВОЙ ГЕГЕМОНИИ
К СТРАНАМ ЗАПАДНОЙ ЕВРОПЫ**

В конце XVII в. военная конфронтация ислама и западного христианства закончилась поражением мусульманского мира. Сражение под Веной 12 сентября 1683 г. и Карловицкий мир 1699 г. означали не только прекращение османской экспансии в Европе. Это был отказ ислама от претензий на мировое господство. В глобальном противостоянии двух миров победителем вышел Запад. Это в решающей степени предопределило дальнейший ход мировой истории. Весь второй период Нового времени (1683–1918) проходил под знаком бесспорного интеллектуального, военно-технического и культурного превосходства Запада. Его социальные и духовные ценности, его стиль жизни приобрели всеобщее значение, став образцовой моделью «цивилизации», своего рода эталоном, на который стали равняться во всех частях земного шара.

Переломным моментом, отметившим переход мировой гегемонии к странам Западной Европы, были 1683–1739 годы. С наибольшей очевидностью это проявилось в области военного дела. Ранее Запад не имел явного военного преимущества. Как уже отмечалось, по крайней мере до 1683 г. в Европе существовал стратегический паритет Восток–Запад, причем лучшие армии Европы находились в состоянии обороны, отбиваясь от угрозы военного нашествия с Востока. В Азии у европейцев также не было уверенности в своем превосходстве. Они всячески избегали сколько-нибудь значительных столкновений с армиями Китая и могольской Индии. И дело не только в дальности коммуникаций. В отличие от Америки, европейцы воздерживались там от крупных колониальных завоеваний. В течение двух с лишним столетий они ограничивались на Востоке захватом отдельных пунктов на побережье, где под защитой флота устраивали свои базы и торговые фактории. В 1750 г. на эти колониальные анклавыв приходилось не более 1% всего населения Азии и Африки.

Положение коренным образом изменилось в середине XVIII в. После 1739 г. ни одна армия Востока не одержала ни одной крупной победы над регулярными войсками Запада. После русско-турецкой войны 1768–1774 гг. население Османской империи вообще утратило веру в возможность противостоять Западу силой оружия. С середины XVIII в. (по мнению ряда историков — со времен сражения при Плесси в 1757 г. в Бенгалии) военные действия европейских стран на Востоке все более приобретали характер репрессалий и карательных экспедиций. Можно сказать, что с этого времени армии Востока были обречены на поражения, и Бонапарт имел все основания заявить, что если «два мамлюка безусловно превосходили трех французов; 100 мамлюков были равноценны 100 французам; 300 французов обыкновенно одерживали верх над 300 мамлюками, то 1 тысяча французов уже всегда разбивала 1500 мамлюков».

Одновременно с этим на Западе начали забываться существовавшие ранее представления об обеспеченной и спокойной жизни на Востоке, о его богатстве, силе и величии. На рубеже XVII–XVIII вв. Восток стал восприниматься не только как царство зла и произвола, но также как плохо управляемые страны с нищим и грубым населением. Пребывание на Востоке стало вызывать у европейцев ностальгически обостренное чувство о более зажиточной и благоустроенной жизни на Западе. «Куда девались бы [в случае принятия восточных порядков], — писал в 1670 г. Ф. Бернье, — все эти князья, прелаты, дворянство, богатые буржуа, крупные купцы и славные ремесленники таких городов, как Париж, Лион, Тулуза, Руан и, если хотите, Лондон и многих других? Где были бы эти бесчисленные местечки и села, все эти чудные деревенские усадьбы, все эти поля и холмы, возделанные и поддерживаемые с таким старанием, заботливостью и усердием?»

Действительно, после Вестфальского мира (1648 г.) Европа быстро двинулась вперед. Росло ее благосостояние. По уровню общественной производительности труда, а следовательно, и по уровню потребления Европа к середине XVIII в. догнала страны Востока. А еще через полвека превзошла их в экономическом отношении. По расчетам П. Бэрока, в 1750 г. ВВП на душу населения составлял в Западной Европе 190 долл. США (в ценах 1960 г.), в 1800 г. — 213; в Азии — 190 и 195 долл. соответственно. На Западе самой богатой страной была Франция Людовика XVI (250–290 долл. в 1781 г.), на Востоке — цинский Китай (228 долл. в 1800 г.).

Растущая уверенность Европы в своих силах привела к резкому изменению взгляда на Восток. В 1683–1739 гг. исчез комплекс страха, постепенно уступив место комплексу превосходства. Если в массах еще

господствовали представления о богатствах и легкой жизни на Востоке, если Д. Дефо еще в 1720 г. старался доказать англичанам несостоятельность их низкопоклонства и преклонения перед Китаем, то в правящих кругах преобладал уже более реалистический подход, особенно в отношении Османской империи. Даже в России в окружении Петра I ни у кого не было сомнения в отсталости турецкой армии, боялись лишь возможного проведения там реформ и приглашения военных инструкторов из Европы. В середине XVIII в. представления об отсталости Востока стали получать на Западе все более широкое распространение, а к концу века уже явно преобладали. В отличие от предшествующих времен восточные порядки стали восприниматься как модель не альтернативного социально-политического устройства, а некоего отсталого общества, остановившегося на каких-то более ранних ступенях исторического развития. «Глубокий сон» и «дряхлость» «недвижного» Востока стали самыми распространенными метафорами в Европе. Наиболее четко эти взгляды нашли свое отражение в историко-философской концепции Г. Гегеля (1770–1831), который рассматривал Восток как некую «первоначальную» форму человеческой цивилизации, которая лишь на Западе двинулась по пути прогресса. С того времени Восток стал представлять в массовом сознании Европы как олицетворение «варварства», как воплощение грубости, бескультурья, жестокости и лени, органичной неспособности к интеллектуальному и нравственному развитию.

Соответственно жители Востока утрачивали уверенность в своих силах. На первых порах там предпочитали говорить об «упадке» своих стран, о бездарности и неспособности правителей, затем, особенно во второй половине XVIII в., об «отсталости», прежде всего в военно-техническом отношении. Подобного рода настроения постепенно охватывали все страны Востока, сначала верхи общества, города, лимитрофные и приморские районы, затем низы народа и более глубинные области. Параллельно менялся взгляд на европейцев. Высокомерное, пренебрежительное отношение, едва прикрывавшееся дипломатической учтивостью, в XVIII в. (в Китае позже) уступило место неподдельному интересу, доброжелательности и даже стремлению в чем-то походить на европейцев. Если в XV в. византийцы (в Индии и Китае европейцев практически не знали) смотрели на жителей Запада как на людей, стоящих ниже них в культурном отношении, то в XVIII в. положение коренным образом изменилось. Люди Запада стали восприниматься как носители хотя и чуждой, но достаточно высокой культуры, особенно в области науки, техники и образования.

Таким образом, к концу XVIII в. изменившееся соотношение сил стало фактом, признанным как на Западе, так и на Востоке. В чем же причины выявившегося отставания Востока? Кто и в чем виноват? Ответ на этот, казалось бы, простой вопрос вызывает тем большие затруднения, что с позиций сегодняшнего дня трудно себе представить, что относительная бедность и слабость Запада до 1683 г. создавали для него постоянную угрозу завоевания с Востока. Это тем более трудно, писал А. Тойнби, что, «хотя господство Запада было установлено совсем недавно, его рассматривают как если бы оно было всегда».

На рубеже Нового времени все ведущие цивилизации Старого Света находились на примерно одинаковом уровне развития. Европа даже несколько отставала в экономическом и военном отношении. Так что же произошло? Что вывело Европу вперед, обеспечило ее господство во всем мире? Или, иначе, в чем причины отставания Востока? Почему он занял подчиненное положение, стал объектом мировой истории?

Явно не заслуживают внимания весьма простые и наивные представления, объясняющие отставание Востока вторжениями кочевников или иноземными нашествиями. Они действительно имели место и приводили к разрушению производительных сил, к крупным опустошениям и депопуляции, соответственно задерживая и даже отбрасывая назад развитие целых стран и регионов. Но нашествия и разрушительные войны никогда не были особенностью Востока. Достаточно вспомнить ужасы Реформации и религиозных войн в Европе. Только в результате Тридцатилетней войны (1618–1648) население Германии сократилось с 20 млн. до 7 млн. человек. По своим масштабам подобного рода бедствия вполне сопоставимы с завоеваниями Тимура или джелалийской смуты, опустошившей целые страны Ближнего Востока.

Еще более надуманной является теория об ограблении колониальных и зависимых стран, некогда распространенная в советской и вообще марксистской историографии. Суть ее сводится к тому, что «невиданный до тех пор по своим масштабам систематический грабеж» неевропейских стран привел, с одной стороны, к разорению и обнищанию Востока, затормозив его «нормальное» развитие, с другой — позволил Европе в ходе так называемого первоначального накопления аккумулировать «громоздкие денежные суммы», необходимые для развития промышленности. В конечном счете, по мнению авторов этой теории, это обрекло страны Востока на «длительную консервацию феодализма и колониального рабства», а на Западе ускорило процесс развития капитализма, который в силу своей «прогрессивности» обеспечил Европе господствующее положение в мире.

Во-первых, несмотря на многочисленные попытки, не удалось выявить ни масштабы «невиданного грабежа», ни соответственно суммы «первоначального накопления». Более того, оценки баланса «платежей» Восток–Запад, произведенные историками, показали, что ничего подобного в истории не происходило. Конечно, отдельным европейским авантюристам удалось сколотить на Востоке довольно крупные личные состояния. Но в целом общий итог взаимных грабежей, военных авантур и мирной торговли, своего рода «платежный баланс» Восток–Запад, в течение XVI–XVIII вв. неизменно складывался в пользу первого. Богатства, захваченные испанскими и португальскими конкистадорами, голландскими и английскими пиратами, более чем уравновешивались призами варварийских, оманских и малайских пиратов, а также монопольно высокими ценами, которые восточные правители устанавливали на свои экспортные товары.

Хронический дефицит Запада в торговле с Востоком покрывался массивными поставками драгоценных металлов. Около $\frac{1}{3}$ серебра, добывавшегося в Америке в XVII–XVIII вв., осело в Азии, покрыв 80–90% европейского импорта оттуда. И это не считая доходов от войн в Европе и пиратства. Одним словом, золотые миллионы текли не с Востока на Запад, а с Запада на Восток. И в свете бухгалтерской отчетности рассуждения об «ограблении» народов Азии и Африки как одном из каналов «первоначального накопления» исчезают как мираж, как чисто идеологическое наваждение.

С экономической точки зрения все многообразие контактов Восток–Запад в XVI–XVIII вв. (торговый обмен, грабежи, войны) имело своим следствием отток драгоценных металлов из Европы на Восток и способствовало росту сокровищ, находившихся в руках азиатских набобов, мандаринов и пашей. Возникает совершенно другой вопрос, который еще в 1957 г. сформулировал шведский историк И. Хаммарстрем: «Почему Западной Европе американское золото было нужно не для накопления сокровищ и не для украшения святилищ (как это было в Азии и у туземцев Америки), а для пополнения находящейся в обращении денежной массы, т.е. как средство платежа?»

Во-вторых, вызывает сомнение реальность самого «первоначального накопления» как исторического феномена. Не касаясь всех аспектов этой проблемы, в том числе связанных с аграрной историей Европы, хотелось бы все же подчеркнуть, что Восток при этом не играл никакой роли, как если бы его вообще не существовало. Ни торгово-колониальная экспансия европейских стран, ни все золото Востока не имели никакого значения в ускорении научно-технического и экономического прогресса Европы в XVII–XVIII вв. и тем более не являлись «основой» индустриализации Запада.

Как показал анализ биографий британских промышленников и их бухгалтерских книг, промышленная революция в Европе, во всяком случае на ее раннем этапе (1760–1815), происходила без участия торгового и банковского капитала. Почти все основатели новых промышленных предприятий были людьми довольно скромного состояния, в большинстве своем выходцами из деревни. Они, конечно, использовали сложившуюся до них инфраструктуру свободного рыночного хозяйства. Но в целом промышленное грюндерство было совершенно особой сферой деловой активности и осуществлялось за счет собственных источников финансирования. Бухгалтерские книги первых британских фабрикантов не фиксируют ни ссуд, ни кредитов, полученных из сферы торговли или банковского дела. Другими словами, если в ходе колониальных авантур создавались отдельные личные состояния, как, например, во время массового расхищения индийских сокровищ в 1751–1774 гг., то они не направлялись в сферу промышленного производства и, следовательно, не были и не могли быть источником инвестиций в индустриальное развитие Запада.

Наконец, П. Бэрк заметил следующую любопытную закономерность: страны-колонизаторы развивались более медленно, чем страны, не имевшие колоний, — чем больше колоний, тем меньше развития. Следует также подчеркнуть, что общественное мнение европейских стран в XVII–XVIII вв. было настроено резко отрицательно по отношению к колониальной политике. Оно осуждало разорительные заморские авантюры, которые, по мнению европейцев, не окупали связанные с ними расходы и лишь вели к непомерному обогащению самых беззащитных дельцов. Последние, как тогда считали, в конечном счете наживались за счет соотечественников как налогоплательщиков, которые покрывали все убытки, связанные с колониальной политикой. Да и в современной историографии существует влиятельное направление, которое полагает, что колониальная политика диктовалась военно-политическими и даже идеологическими соображениями, не имевшими ничего общего с реальными экономическими интересами.

Вытекающий из этого вывод о непричастности Запада к отставанию Востока никак не устраивал сторонников революционных теорий, которые, подобно К. Марксу, рассматривали историю человечества как смену категорий эксплуататоров, как непрерывную цепь насилий, войн и экспроприации. К ним примыкали поборники традиционных ценностей, для которых сама мысль о непричастности Запада к бедствиям Востока была совершенно невыносима. Признание такого факта неизбежно вело к необходимости искать внутренние причины отставания

азиатских деспотий и соответственно требовало пересмотра всей системы традиционных ценностей, которые лежали в их основе. Реабилитировать последние можно было, лишь выявив внешние факторы упадка, одним словом, найдя внешнего врага, который закрыл перед Востоком путь к богатому и процветающему обществу. Именно на это была нацелена теория «зависимого развития» («периферийная школа»), которая возникла в середине XX в. и получила распространение в неомарксистских и национал-патриотических кругах.

Суть данной теории, пришедшей на смену археомарксизму, сводится к тому, что в процессе образования «современной мировой системы» (по Э. Валлерштейну, в два этапа: 1450–1640 и 1640–1815 гг.) возникли новые формы присвоения. Они заключались в присвоении при посредстве мирового рынка результатов прироста сельскохозяйственного, а затем и промышленного производства. Оно происходило путем «неэквивалентного обмена», основанного на разнице региональных цен и различной покупательной способности золота и серебра. Положительные результаты подобной валютно-ценовой игры накапливались — правда, неизвестно почему — исключительно на Западе, позволив ему, первому и единственному в мире, встать на путь самостоятельного капиталистического развития, осуществить индустриализацию и модернизацию общества.

В результате Запад занял господствующее положение в международной торговле и стал «центром» мирового развития. Страны Востока соответственно оказались «периферией», а их развитие стало зависеть от интересов и потребностей «центра». По мере включения в «международное разделение труда» и подчинения экономики афро-азиатских стран законам мирового рынка — в конечном счете европейскому капиталу — росла зависимость Востока от «центра» и, как следствие, падало значение внутренних, эндогенных, факторов развития. В каждом конкретном случае оно стало определяться не собственным потенциалом страны, а ее местом в иерархии «современной мировой системы». Другими словами, в процессе «неэквивалентного обмена» природные и человеческие ресурсы «периферийных» стран стали объектом присвоения со стороны «центра», который, подобно вампиру, питался чужой кровью. Таким образом, отставание Востока, по мнению сторонников «периферийной школы», явилось результатом формирования мирового рынка и представляло как бы оборотную сторону процветания Запада.

Действительно, в XVI–XVIII вв. наблюдалось значительное увеличение мировой торговли. В частности, объем внешнеторгового оборота Европы, по оценке П. Бэрока, вырос в 1500–1700 гг. в 15 раз. Началось

формирование мирового рынка. В конце XVII — начале XVIII в. обозначились его основные очертания, а к 1815 г. он стал реальным фактом истории. Страны Востока к тому времени действительно превратились в поставщиков сельскохозяйственного сырья и полуфабрикатов. Росли «ножницы» цен. Готовые изделия из Европы оплачивались все возрастающими объемами сырого материала из стран Востока.

Однако выявить здесь элементы «неэквивалентного обмена» практически невозможно. Ведь необработанный продукт всегда дешевле готовых изделий, тем более товаров высокого качества, которые включают в себе неизмеримо большее количество знаний, интеллекта и труда. Тем не менее факт остается фактом: к 1815 г. Восток предстает на мировом рынке как отсталая «периферия». Это очевидно и совершенно бесспорно. Дискуссионным является другое: что было причиной, а что — следствием. Иначе говоря, не является ли отставание Востока не следствием, а причиной его неравноправного положения в «современной мировой системе»?

И в самом деле, историко-статистические расчеты свидетельствуют, что вплоть до середины XIX в. Запад просто не мог оказывать сколько-нибудь заметного влияния на экономическое развитие восточных обществ, за исключением, быть может, некоторых прибрежных анклавов. О каком подчинении законам мирового рынка может идти речь, если торговля с Западной Европой нигде не имела первостепенного значения, да и по своему объему стояла в одном ряду с товарооборотом с другими торговыми контрагентами. Например, в 1776–1781 гг. на долю всех стран Западной Европы приходилось $\frac{2}{7}$ объема внешней торговли Египта, т.е. примерно столько же, сколько на долю Восточной Африки. Остальные $\frac{5}{7}$ падали на долю Индии, Турции, Ирана, Сирии и других восточных стран. О каком деформирующем влиянии можно говорить, если стоимость индийского экспорта в Европу в 1760 г. составляла 0,03–0,04% всего ВВП Индии? Все это ничтожно малые величины, которые не отражались, да и не могли отражаться на социально-экономическом развитии Востока.

Другими словами, крупные страны и мирохозяйственные регионы Азии и Северной Африки вплоть до середины XIX в. сохраняли полную автономию, развивались по своим внутренним законам и самостоятельно удовлетворяли свои главные потребности. Не следует также забывать, что в XVI–XVIII вв. страны Востока по-прежнему оставались поставщиками на Запад готовых изделий, по преимуществу тканей, и товаров по тем временам высокой роскоши (сахар, пряности, кофе и т.п.), имея при этом положительное сальдо торгового баланса.

Даже Англия, проявлявшая в международной торговле наибольшую изобретательность, 75% своего импорта из Индии в 1708–1760 гг. оплачивала поставками драгоценных металлов.

Более того, вплоть до середины XIX в. Восток диктовал свои условия торговли. В течение трех с лишним веков обмен товарами между Европой и Азией происходил в соответствии с правилами, которые устанавливались правителями Востока. Китай, например, во время ежегодных ярмарок в Макао (с 1550 г.) и Кантоне (с 1757 г.) сам определял цены и объем товаров, отпускаемых «заморским варварам». Сходная ситуация существовала в мусульманских странах. *Кадии* (судебные чиновники с иными широкими полномочиями. — *Ред.*) выдавали экспортные лицензии, осуществляли надзор или вообще запрещали вывоз тех или иных товаров. Без их разрешения иностранные суда не могли покидать мусульманские порты. Лишь в порядке особой милости турецкие султаны предоставляли своим европейским союзникам более благоприятный режим торговли — так называемый режим капитуляций (букв.: перечень «глав», статей). В соответствии с ним европейским купцам позволялось селиться в особых кварталах некоторых османских городов и заниматься там торговыми операциями при соблюдении установленных правил.

Следует подчеркнуть, что жесткие условия торговли не были случайным капризом восточных владык. Это была борьба, меры защиты. В правящих кругах Востока довольно рано осознали опасность торговой экспансии Европы. Около 1580 г. автор «Тарих аль-Хинд аль-Гарби» («История Восточной Индии») предупреждал Мурада III об угрозе, нависшей над мусульманской торговлей вследствие появления европейцев на берегах Америки, Индии и Персидского залива. Б. Льюис нашел на полях этой рукописи пометки, которые в 1625 г. сделал некто Омер Талиб: «Теперь европейцы открыли для себя весь мир; они всюду посылают свои корабли... Раньше товары из Индии, Синда и Китая обычно прибывали в Суэц и распространялись мусульманами по всему миру. Теперь же эти товары перевозятся на португальских, голландских и английских судах во Франкистан (Страну франков. — *Н.И.*) и отсюда распространяются по всему свету... Османская держава должна захватить берега Йемена и торговлю, идущую этим путем; иначе европейцы в скором времени установят свою власть над землями ислама».

После Лепанто (1571) и Вены (1683) военные победы отошли в область истории. Борьба с европейским флотом, «захватывать» берега и брать торговлю в свои руки было уже невозможно. Океан стал продолжением Европы. Тем не менее правители Востока пытались от-

стоять свои прежние позиции, действуя всеми доступными им средствами, прежде всего мерами внеэкономического принуждения, запретами и контролем. Однако ни одно правительство Востока не проявило достаточной гибкости и дальновидности, чтобы приспособить свою политику к изменяющейся ситуации в мировой торговле. Более того, ни одно из них не устояло перед искушением до конца использовать положение единственных производителей и поставщиков. Все они проводили политику монопольно высоких цен и запрещали свободную торговлю. Но вместо закрепления исторически сложившихся преимуществ это привело к прямо противоположным результатам.

Малая доступность и дороговизна восточных товаров стимулировали их производство в Европе, а затем и в других частях света, оказавшихся под контролем европейцев. На мировом рынке один за другим начали появляться альтернативные поставщики, которые стали производить восточные товары лучше и по более дешевым ценам. Тенденция была не нова, но с каждым годом приобретала все большее значение. Бумага была изобретена в Китае; в VIII–X вв. ее производство было налажено в мусульманских странах, в XII в. — в Испании, в XIII в. — в Италии. В XV в. Европа начала экспортировать бумагу на Восток. Такая же судьба была у сирийского стекла, шелковых тканей, огнестрельного оружия и многого другого. Пушки были изобретены в Китае и впервые применены монголами при завоевании Сунской империи (1251–1279). В начале XVI в., по мнению одного китайского чиновника, португальские пушки были значительно совершеннее и наносили более тяжелый урон, чем китайские.

Более того, в результате монополизации производства и сбыта страны Востока утратили даже те преимущества, которые вытекали из чисто природного фактора: более высокого плодородия почв, теплого климата и т.п. В XVI в. бразильский сахар вытеснил с европейских рынков сахар из Сирии и Египта, «балтийская» пшеница — зерно из арабских стран. К концу XVII в. арабский лен, хлопок и рис утратили свое значение как экспортные культуры и даже на внутреннем рынке были потеснены импортом. Кофе и чай европейских плантаторов подорвали монополию Южной Аравии и Китая. В XVIII в. сахар, кофе и рис из Вест-Индии почти полностью заменили на Ближнем Востоке продукцию местного производства.

Постепенное нарастание этих тенденций, действовавших по крайней мере с эпохи Крестовых походов, имело необратимые последствия. В конечном счете оно привело к коренному изменению в характере и структуре европейско-азиатской торговли. К концу XVIII в. она при-

обрела все наиболее типичные черты «периферийности», чему в немалой степени содействовали сами восточные правители. В погоне за монопольно высокими прибылями, за европейским золотом и серебром они растеряли преимущества, созданные историей и природой, утратили положение ведущих производителей и в конце концов уступили свои позиции на мировом рынке альтернативным поставщикам. Другими словами, Восток проиграл в экономическом соревновании, как он потерпел поражение в открытом военно-политическом противостоянии Западу.

В настоящее время большинство историков придерживаются концепции «опережающего развития» Европы. С этой точки зрения отставание Востока было относительным. Его можно представить себе лишь на фоне европейской жизни, по контрасту с Западом. К концу XVIII в. Европа как бы оставила позади страны Востока, в развитии которых не произошло и не происходило никаких принципиальных изменений. Никаких катаклизмов не было. И лишь в сравнении с Западом Восток действительно стал восприниматься как резерват отсталости и застоя.

Феномен отставания Востока требует дальнейшего изучения. Но уже сейчас ясно, что, за исключением отдельных стран, в целом на Востоке не было абсолютного хозяйственного регресса. Даже темпы экономического развития принципиально не отличались от того, что было в Европе. Если обратиться к динамике демографического роста как суммарному отражению экономического развития, то перед нами предстанет следующая картина (оценки Мак-Эйведи и Джонса):

Год	Европа		Азия	
	Численность населения, млн. человек	Прирост за предшествующий период, %	Численность населения, млн. человек	Прирост за предшествующий период, %
1500	81	—	280	—
1600	100	25	375	35
1650	105	5	370	-1
1700	120	14	415	12
1800	180	50	625	50

После Вестфальского мира население Европы выросло за полтора века (к 1800 г.) на 71%, в Китае — на 146, в Индии — на 27%. В начале XVIII в. Китай, а затем и Европа догнали в экономическом отношении

Индию, где после беспрецедентного подъема 1526–1605 гг. наблюдалось постепенное замедление темпов хозяйственного развития. Такой же характер имела динамика экономического и демографического роста в XVII–XVIII вв. в Японии, которая тем не менее не застыла на мертвой точке. И лишь в ареале арабо-мусульманской цивилизации по-прежнему отмечался упадок производства, сопровождавшийся сокращением численности населения. Эта тенденция, прерванная было в 1500–1580 гг., в XVII в. набрала новую силу и предопределила дальнейший хозяйственный регресс мусульманских стран, несколько смягченный в середине XVIII в.

В сфере духовной жизни Востока также не произошло никаких принципиальных изменений. Если не считать элитарных форм, то нигде, даже в мусульманском мире, не было упадка культуры. Она продолжала развиваться в русле традиционных ценностей. Сравнительно высоким был уровень элементарной грамотности, школьного образования и традиционных знаний. По-прежнему интенсивной была религиозная жизнь. Повсюду в периоды мира и социальной стабильности наблюдался достаточно высокий уровень морали и нормативного поведения. Единственное, что в исторической ретроспективе может быть отнесено к элементам культурного застоя или даже отставанию, — это сохранение традиционного характера культуры и ее самобытности; другими словами — отсутствие инноваций, сопоставимых с интеллектуальными и культурными достижениями Европы, продемонстрировавшей в тот период безусловное превосходство своих традиционных ценностей и социально-политических институтов.

В настоящее время большинство историков склонны считать, что ключ к процветанию Европы, к знаменитому «европейскому чуду» XVI–XVII вв. находился в самой Европе. Очень многие из них, особенно приверженцы «европоцентристских» концепций однолинейного прогрессивного («линейного») развития, в частности ученые-марксисты, связывают этот подъем Европы с возникновением и утверждением капитализма, а представители сталинской школы — даже с совершением «буржуазных революций», которые якобы сметали все препоны на пути капитализма, упраздняли силой старые порядки в области производственных отношений, тем самым «отменяли» крепостничество и утверждали новый буржуазный строй, открывавший простор для дальнейшего развития производительных сил.

Действительно, в XVI–XVIII вв. на Востоке не было ни «буржуазных революций», ни «вызревания» капиталистических отношений в

недрах «крепостничества». Возникает вопрос: почему? Ведь Восток в то время не был отсталым регионом, а в Средние века значительно превосходил Европу в технико-экономическом отношении. Почему же Запад, а не Восток стал колыбелью более «прогрессивного» способа производства? Ведь по логике исторического материализма, требующего для перехода к более высокой «формации» наиболее полного развития производительных сил в недрах старого общества, именно Восток был наиболее подходящим регионом для возникновения буржуазно-капиталистических отношений. Именно Восток, прежде всего Индия и Китай, имел до середины XVIII в. более высокий уровень экономического развития, более развитую систему товарно-денежных отношений и более глубокие традиции торговли и ростовщичества. Наконец, там были огромные массы обезземеленных, пролетаризированных трудящихся, а также крупные денежные накопления, аккумулярованные в виде несметных сокровищ.

Исходя из подобного рода показателей, особенно связанных с ростом торгово-ростовщического капитала, некоторые советские историки-востоковеды действительно находили на Востоке «предбуржуазные» или «раннебуржуазные» отношения, рассматривая их как эмбрион самозарождающегося вселенского капитализма. Индийские историки-марксисты И. Хабиб и Х. Алави, отмечая довольно быстрое развитие в Индии начиная с XIII в. товарно-денежных отношений, проникновение торгового капитала в сферу ремесленного производства, применение наемного труда, ориентацию ремесла на внешний рынок и удовлетворение потребностей городского населения, имели отнюдь не меньше оснований рассматривать эти явления как предпосылки «автономного капиталистического развития» и даже как начальную ступень «капиталистической трансформации» общества.

Решающее значение марксизм отводит развитию производительных сил, прежде всего орудий и средств производства. Исторический материализм рассматривает их как основное условие, подготавливающее помимо воли людей переворот во всей системе производственных отношений. В соответствии с этим почти все историки-марксисты уделяют самое пристальное внимание научно-техническим инновациям Европы, в первую очередь открытиям и изобретениям эпохи Возрождения. Но ведь Европа не была здесь исключением. Она отнюдь не имела монополии на естественно-научные знания и технический прогресс.

Историки не без иронии отмечают, что «порох, компас, книгопечатание — три великих изобретения, предворяющих буржуазное обще-

ство» (К. Маркс), были сделаны в Китае. Сотни других новинок, включая механические часы и ряд металлургических технологий, в частности изготовление вольфрамовой стали (освоенной в Европе только в XIX в.), обязаны своим рождением тому же Китаю, в немалой степени они стимулировали рост европейского экономического шпионажа. В первой половине XV в. эскадры Чжэн Хэ и Генриха Мореплавателя практически одновременно двинулись осваивать африканские берега. Да и научно-технические инновации самой Европы не были чем-то неведомым Востоку. В 1485 г. султан Баязид II уже запретил книгопечатание (по европейской технологии) на арабском, турецком и персидском языках. В 1513 г. Пири Реис составил «Карту семи морей». Помимо арабских источников он использовал карту Колумба 1498 г. и португальские лоции Индийского океана, пометив при этом контуры Южнополярного материка, который тогда был неизвестен европейцам. В 1580 г. янычары разрушили обсерваторию в Галате (район Стамбула), оснащенную примерно такими же инструментами, какие были в обсерватории Тихо Браге, считавшейся лучшей в Европе. В 1685 г. в Дамаске появилось сочинение, содержащее перевод или подробное изложение гелиоцентрической системы Коперника.

Но все эти знания и технические новинки не оказали никакого влияния на социально-экономическое развитие Востока. Более того, они отторгались восточным обществом. К концу XVI в., например, прекратили существование мануфактуры, которые были построены в Сирии и Палестине с использованием в качестве двигателя водяного колеса (технология, завезенная из Северной Испании). Такая же судьба постигла фарфоровые мануфактуры Египта, копировавшие китайские образцы. Никакого капитализма не возникло также в результате развития торговли и мануфактурно-ремесленного производства. Ни в могольской Индии, ни в Китае бурный рост товарно-денежных отношений, торгового капитала и ростовщичества, не говоря уже об усовершенствовании различных форм частного присвоения (и даже владения), не порождал «ничего, — как остроумно заметил К. Маркс, — кроме экономического упадка и политической коррупции».

Да и в самой Европе не капитализм с его культом денег, не господство буржуазии, тем более не «буржуазные революции» были причиной «европейского чуда» XVI–XVII вв. Не купцы и не ростовщики-банкиры изменили лицо Запада, раскрыли его интеллектуальный и художественный потенциал. Не они произвели революцию в сознании, которая преобразила Запад в эпоху Возрождения и привела к созданию

индивидуализированного общества, рационально перестроенного на принципах свободы. Сам капитализм как система свободной рыночной экономики был следствием тех перемен, которые произошли в Европе на рубеже Нового времени. Еще в 1973 г. Д. Норт в своем «Подъеме западного мира» отмечал, что научно-технические инновации, рыночные структуры, просвещение, накопление капитала и т.п. были не причиной подъема, а самим подъемом, его проявлением в различных сферах экономической и социальной жизни. Одним словом, капитализм был одним из результатов прогресса Запада, раскрытием в области экономики тех потенций, которые заключались в его социальных и духовных ценностях. Это был чисто западный способ производства. Он вытекал из самого характера социальных структур, присущих Европе с глубокой древности.

В эпоху Средневековья, особенно в XI–XIV вв., под влиянием католической церкви и рыцарства эти ценности получили дальнейшее развитие, приведя к возникновению новой этики и морали. В сфере хозяйственной жизни особое значение имело введение обязательной исповеди, а также претворение на практике принципов «трудолюбия», воспринимавшегося как своего рода религиозная аскеза. Труд стал самоцелью. Из проклятия, удела слуг и рабов он стал высшим религиозно-нравственным идеалом. Концепция труда как долга перед собой и перед Богом, сама идея «соратничества», рационализация всякой деятельности в сочетании с развитием правового сознания, самоконтроля и личной ответственности создали на Западе ту социально-нравственную атмосферу, которую М.Вебер не совсем удачно определил как «дух капитализма».

Религиозно-нравственные идеалы Востока имели прямо противоположный характер. Аскеза связывалась прежде всего с уходом от мира. В миру же господствовали коллективистские начала, которые лежали в основе всех цивилизаций Востока. Более того, большинству из них была присуща установка на равенство и социальную справедливость. По-прежнему в системе приоритетов преобладало распределительное начало, ориентация на уравнилельное и гарантированное удовлетворение материальных потребностей, связанное не с индивидуальными, а с коллективными усилиями. Отсюда вытекало отношение к труду. При всех различиях в его культуре и религиозно-нравственной основе он нигде на Востоке не являлся самоцелью, не имел того глубоко личного и в идеале нестяжательного характера, который он приобрел в странах Запада. Во всех цивилизациях Востока труд представлял прежде всего как источник благосостояния и имел общественное значение. Труд одного был трудом для всех, и в идеале все трудились как

один. На практике это порождало стремление «не переработать за другого», в лучшем случае быть наравне с другими. Нигде на Востоке человек не отвечал за результаты своего труда перед собой, всегда — перед обществом, кастой или кланом. Соответственно нигде не сложилось той социально-нравственной атмосферы, той культуры духа, в лоне которой происходило экономическое развитие Запада, непротиворечиво совмещавшееся с рациональным расчетом и даже меркантильностью.

Следует также учитывать, что экономические структуры, сложившиеся в различных цивилизациях Востока, были абсолютно несовместимы с развитием свободной рыночной экономики. Отсутствие таких фундаментальных институтов, как гарантия собственности и свобода, отрицание самооценности индивида и его стремлений, зависимость человека и его деятельности от коллектива — все это не давало иных альтернатив, кроме нерыночных форм организации труда. С развитием капитализма были несовместимы также экономические взгляды восточных правителей и правительств, исходивших, по определению А. Смита, из «земледельческих систем политической экономии». Все они считали физический труд, прежде всего в сельском хозяйстве, единственным источником вновь производимого продукта, а крестьян — единственными кормильцами общества. Наконец, возникновению свободных рыночных отношений препятствовала государственная политика. При всех различиях идеологического порядка везде считались необходимыми вмешательство государства в хозяйственную деятельность людей и концентрация богатства в руках казны. Основной заботой госаппарата была проблема учета, распределения и перераспределения, одним словом — механизм редистрибуции, помимо прочего открывавший перед правящими классами поистине неограниченные возможности для собственного обогащения, к тому же не отягощенного ни личной ответственностью, ни императивами морального порядка. Невероятно, но факт: по утверждению О.И. Сенковского (1800–1858) со ссылкой на «знатоков дела», в цинском Китае начальники и их подчиненные расхищали не менее 60–70% казенных денег, в Османской империи и того больше — 75%.

Восток шел своим путем. Он не повторял и не собирался повторять путь развития Запада. На протяжении всего рассматриваемого периода он отставал свои идеалы, противопоставляя их социальным и духовным ценностям Европы. В его общественном сознании, по крайней мере на официальном уровне, Запад неизменно предстал как царство зла, как очаг тьмы и рабства. Люди Запада — все эти «папешники» и «заморские дьяволы» — олицетворяли самые мрачные потусторонние

силы, являлись носителями грубых материалистических инстинктов, были бездуховны, морально распушены и нечистоплотны. Ненависть к Западу пронизывала всю полемическую литературу Востока. Власти и официальная пропаганда на корню пресекали всякий интерес к Западу. Заимствование европейского опыта изображалось как смертельная опасность, как «путь, — если верить „Отеческому наставлению“ одного из иерархов восточной церкви, — ведущий к обнищанию, убийствам, хищениям, всякому несчастью». Населению внушалось, что само общение с людьми Запада опасно. Есть с ними из одного блюда не следует, утверждали поборники традиционных устоев, ибо одно это грозило заразою и скверной.

Правители Востока всячески препятствовали проникновению западных идей. Они отчетливо сознавали, что их распространение грозило опрокинуть все здание традиционного общества. Наиболее опасными, по их мнению, даже более опасными, чем купцы и завоеватели, были миссионеры (по большей части католические), сознательно занимавшиеся «экспортом» западноевропейской цивилизации. Повсюду на Востоке деятельность миссионеров вызывала негативную реакцию, а в случае ее успеха — просто запрещалась, как это произошло в Японии (в 1587 г.) и некоторых других странах Дальнего Востока. В цинском Китае ко всем религиям относились терпимо, кроме христианства. В Османской империи ни одна конфессия не подвергалась гонениям, за исключением римско-католической церкви. В XVII в. Япония, Китай, Сиам были закрыты для иностранцев, в других странах контакты с ними строго контролировались. До 1793 г. азиатские государства не имели постоянных посольств в Европе, ни один житель Востока не выезжал на Запад в частное путешествие.

Лишь очевидное неравенство сил вынудило Восток изменить позицию. От противостояния и изоляции он перешел к постепенному открытию цивилизационных границ. Более того, осознание «отсталости» породило стремление «догнать» Европу, прежде всего в тех областях, где западное превосходство было очевидно, осязаемо. В XVIII в. такой областью являлось военное дело. И не случайно все правители Востока начинали «догонять» Европу с реорганизации своих вооруженных сил. При этом они проявляли интерес исключительно к материальным достижениям западноевропейской цивилизации, в первую очередь к технике и естественно-научным знаниям. Но даже такой односторонний интерес пробил первую брешь в культурно-историческом сознании Востока и заложил основы процесса европеизации и реформ. Начавшись в России и Турции, он постепенно стал распространяться на другие страны, прежде всего на их лимитрофные и приморские районы,

находившиеся в более близком контакте с Европой и ее колониальными анклавами. Это был переломный момент, означавший вольное или невольное признание странами Востока превосходства западноевропейской цивилизации и в целом роли Запада как гегемона новой моноцентрической системы мира.

Часть II

*Сравнительный
анализ азиатских
моделей*



АРАБО-ОСМАНСКАЯ МОДЕЛЬ ТРАДИЦИОННОГО ОБЩЕСТВА

В исторической науке выявлено несколько форм организации доколониального, или так называемого традиционного, общества в странах Азии, Африки и доколумбовой Америки. С точки зрения производительных сил многие из них находились на примерно одинаковом уровне стадийного развития, вполне сравнимом с феодальным обществом средневековой Европы. Само многообразие форм социальной организации традиционных обществ является вполне естественным.

Многообразие конкретно-исторических обстоятельств, выражавшееся, в частности, в длительном и устойчивом существовании различного рода докапиталистических обществ Востока, значительно отличавшихся от европейских моделей, породило многочисленные споры о характере и природе этих обществ. Возникали теории об азиатском способе производства, едином и универсальном рентном способе производства, кочевой формации, сельско-общинном производстве, архаизме и даже многоукладности, понимаемой как особый тип общества. Ряд западных историков просто-напросто отрицают наличие общих закономерностей в историческом развитии Востока и Запада. Им противостоят взгляды тех, кто вообще не видит существенных различий между докапиталистическими обществами Западной Европы и мусульманского мира. Такие историки отрицают наличие восточной модели феодализма и, по сути дела, исходят из того, что страны Востока лишь в различных вариантах повторяли путь, который был пройден Европой и завершился эндогенным развитием буржуазно-капиталистических отношений. Несостоятельность этих позиций выявляется при сопоставлении их с конкретно-историческим материалом, особенно с моральными, социальными и юридическими нормами ислама. Ни теории об азиатском способе производства, ни концепции «европеизированного» феодализма не дают адекватной модели традиционного мусульманского общества.

Так, социальные структуры Магриба османской эпохи не совпадают ни с характерными чертами европейского феодализма, ни с азиатским способом производства, типичным, по мнению ряда ученых, для Китая.

Историки, стремящиеся мыслить общеисторическими категориями, все чаще останавливаются на понятии восточного феодализма. В качестве его главных особенностей они отмечают чрезвычайно централизованный характер государства, отсутствие собственности на землю и наследственных прав феодалов.

В историографии все еще не сложилось общего мнения о природе и характере традиционного восточного общества. Более того, по существу нет единства взглядов и по вопросу о принципах и критериях типологизации феодализма, в частности в применении к странам Востока. Сама эта проблема все еще носит дискуссионный и постановочный характер.

В отечественной и зарубежной литературе господствует мнение, согласно которому во всемирно-историческом масштабе можно выделить два универсально противоположных в смысле социологической модели типа феодализма — западный и восточный. По своим основным критериям первый характеризуется преимущественно как основанный на частновладельческих (сеньориально-вотчинных) отношениях, второй — на феодально-государственных.

Деление на западный и восточный феодализм не исключает своеобразия отдельных стран и регионов в рамках этого всеобщего противопоставления. При этой типологизации обществ историки исходят из того факта, что на средневековом Востоке при присвоении неоплаченного прибавочного труда непосредственным производителям противостоят не частные земельные собственники, а государство.

Сам термин «восточный феодализм» представляется как наиболее пригодный для характеристики арабо-османского общества XVI — начала XIX в. Он адекватно выражает как социальную реальность доколониального арабского мира, так и ее отражение в общественном сознании современных арабских стран. Термин «феодализм» (*иктаийя*) широко используется в политической лексике всех арабских народов для обозначения существовавшего здесь докапиталистического строя, а также его пережитков. Вместе с тем этот термин создает наиболее точное представление о стадийном соответствии докапиталистических обществ Востока вполне определенному уровню развития производительных сил и производственных отношений. Определение же «восточный» должно снимать любые недоразумения, связанные с попытками отождествлять или просто сблизить социальную реальность средневекового мусульманского мира с конкретными институ-

тами, понятиями и категориями различных феодальных обществ Европы.

Современники, особенно авторы XVI–XVII вв., воспринимали западно-европейское и османское общества как полярные типы социальной организации, где отдельная человеческая личность была поставлена в прямо противоположные условия. Католический философ и путешественник Франсуа Бернье (1620–1688) был отправлен министром Людовика XIV Кольбером со специальной миссией на Восток. В своей знаменитой книге «История последних политических переворотов в государстве Великого Могола» Фр. Бернье без лишних слов характеризует порядки, существовавшие в Османской империи, державе Сефевидов и государстве Великого Могола, как «тиранию, рабство, несправедливость, мошенничество, варварство», где отсутствуют частная собственность на землю и вообще понятие «мое» и «твое», где нет гарантий справедливого судебного разбирательства, где люди скрывают свой достаток и не хотят работать. Посланец Кольбера с ужасом думает о чисто теоретической возможности перехода всех земель в королевский домен и об установлении в Европе восточных порядков.

В отличие от католических князей и прелатов, крайнее крыло деятелей Реформации, Томмазо Кампанелла (1568–1639), нидерландские гёзы и вообще все те, кто считал, что «лучше турки, чем папа», видели в идеализированном Востоке отрицание социальных зол феодальной Европы. Многие среди европейцев XVI в. не только без ужаса помышляли о грозящей возможности турецкого нашествия и завоевания, но даже прямо желали этого. Им верилось, что приход османов должен реформировать Европу, настрадавшуюся от гнета папства и средневекового социального строя. Либо социальная революция, либо турецкая реформация, — ставил вопрос немецкий публицист XVI в. Ульрих фон Гуттен (1488–1523). При этом фон Гуттен, Кампанелла и другие «убежденные поклонники турок» воспринимали османскую общественную и государственную систему как образец социальной справедливости и «народолюбия».

В России аналогичные идеи развивал Иван Пересветов. Этот беспощадный обличитель боярства с нескрываемым восторгом писал о турецких порядках и ставил их в пример царю Ивану Грозному. В «Сказании о Магомет-салтане» (ок. 1547 г.) он восхищался мудростью этого правителя, который учредил правый суд, отменил кормления, разогнал «ленивых богатинов» и приказал собирать в казну все доходы государства. «Эх, есть ли к той истинной вере христианской да правда турецкая, — восклицает И.С. Пересветов, — ино бы с ними (подданными царя московского. — *Н.И.*) аггели (т.е. ангелы. — *Н.И.*) беседовали».

Главной отличительной чертой османской социальной системы было абсолютное преобладание государства над обществом. При этом само государство, формировавшее общественные идеалы, вкусы и отношения, выступало как тотальное и «универсальное государство» (как его называл английский историк Арнольд Тойнби), созданное навечно как воплощение на земле предполагаемо высших человеческих идеалов и стремлений, в данном случае теократических принципов ислама. Как и во всякой теократии, государство и общество были нераздельны. Общественная, государственная и религиозная сферы фактически совпадали. Здесь не было и не могло быть принципа: Богу — Богово, кесарю — кесарево. В Османской империи не было разделения светской и духовной власти и даже четкого размежевания между религиозными и административными функциями. Они взаимно проникали и дополняли друг друга. При этом в отличие от западноевропейских обществ, как подчеркивает Арнольд Тойнби, религия, право и управление находились здесь в одних руках.

Османское общество было совершенно немисливо без веры и вне веры. Все стороны государственной, общественной и личной жизни подлежали единой религиозной регламентации. *Фетва* — заключение религиозных экспертов о соответствии того или иного акта принципам ислама — должна была санкционировать любое действие власти, вплоть до решений самого падишаха, а также поступки отдельных людей, выходящие за рамки общепринятых норм и традиций. При этом ислам предстал не только как религия, этика и мораль, но и как система человеческих отношений и социального управления. Здесь не было и не могло быть никаких источников права, не признанных исламом и не вытекающих из его сущности. На Востоке не было никакой системы права или прав, отличных от религиозного закона и канонических предписаний.

В Османской империи все многообразие человеческих отношений — будь то в семье, обществе или государстве — регулировалось принципами шариата. Последний представлял собой совокупность юридических и религиозных норм, основанных на Коране, т.е. мусульманское право. Здесь оно выступало в интерпретации знатоков ханифитского *мазхаба* (религиозно-юридической школы, основанной Абу Ханифой в VIII в.). Религиозный закон по самой своей природе был выше людей и не зависел от их воли. Даже султан не имел права изменять или отменять какую-либо часть шариата, являвшегося своего рода «конституцией» Османской империи. Султан выступал лишь как хранитель, толкователь и исполнитель священного закона. Если он преступал закон, то мусульманский народ имел право на восстание и избрание нового имама. Все указы (*фирманы*), регламенты (*канун-наме*,

досл.: книги правил), устные повеления падишаха и другие распорядительные акты правительства должны были вытекать из принципов шариата и полностью ему соответствовать.

Мусульманское право имело казуальный характер и вплоть до последней трети XIX в. практически не кодифицировалось. Каждый случай *кадий* (должностное лицо с судебными и широкими административными функциями) решал отдельно, по аналогии с прецедентами, руководствуясь только своим правосознанием, опирающимся на дух и традиции избранного им *мазхаба*. Теоретически *кадии* были свободны при отправлении правосудия и материально самостоятельны. Помимо злоупотреблений, это создавало широкие возможности для различного рода отклонений и просто несоблюдения существовавших правовых норм. Выступая против этого, османское правительство стремилось к максимальной унификации права и, насколько возможно, к единообразному истолкованию шариата. С этой целью издавались религиозно-юридические наставления и сборники фетв, т.е. официальных суждений по правовым вопросам, выносимых верхами мусульманского духовенства. Все эти сочинения служили в качестве практических руководств при отправлении правосудия. При этом *кадиям* рекомендовалось отдавать предпочтение новейшим комментариям и последним сборникам *фетв*, хотя предыдущие формально никогда не отменялись.

Унификация общеосманского права и судопроизводства не исключала свободы совести для иноверцев и мусульман, принадлежавших к другим *мазхабам* и направлениям. В целом ряде второстепенных вопросов, в частности личного благочестия, семейно-брачных отношений и пр., мусульманам разрешалось поступать в соответствии с предписаниями своих религиозных наставников. Лишь в таких сферах, как уголовное, общегражданское и государственное право, военное законодательство, а также при отправлении общественного культа надлежало соотноситься с положениями ханифитского *мазхаба*. В судопроизводстве безраздельно господствовал ханифизм, и мнение неханифитских имамов было «решительно недопустимо». Что касается обычного права (*адат*) отдельных городов и местностей, а также канонического права *зиммиев* — покровительствуемых иноверческих общин (евреев и восточных христиан), то сфера их действия была весьма ограничена и ни в коей мере не затрагивала основ общеимперского правопорядка.

Проблема законности в Османской империи, как, впрочем, и в большинстве других средневековых мусульманских государств, приобретала совершенно особое значение. Многочисленные отклонения от действующих правовых норм, зачастую приобретавшие характер сис-

тематического нарушения закона, нередко искажали картину социальной жизни и создавали неправильное представление о самой природе османского общества. Во всех сферах общественной жизни, в том числе в области личных, поземельных и деловых отношений, широкое распространение имела практика противозаконных действий, основанная либо на застарелых доисламских традициях, либо на «импортных» образцах. Она не имела какой-либо легальной санкции и ничем не регламентировалась, кроме общественного конформизма, сохраняя свое влияние на протяжении всего периода существования османского государства. Однако в эпоху упадка она приобрела настолько широкий размах, что дала основание целому ряду европейских востоковедов отрицать практическую значимость шариата и всей системы «теологического» права. Вот образец их рассуждений: «То, что мы называем исламским (мухаммеданским) правом, есть не что иное, как идеальное право, теоретическая система, ученое схоластическое право. Последнее лишь отражает мысли благочестивых теологов относительно устройства исламского общества, но как целое вряд ли когда-либо могло быть реальной практической нормой государственной жизни».

Данный ошибочный тезис не только отражает реальное противоречие жизни, но и подчеркивает такую особенность османского права, как его «высокий», «идеальный» характер. Правовые нормы османского общества не вытекали из естественной эволюции человеческих отношений и не строились на договорной основе. Они были навязаны сверху в порядке реализации абстрактных представлений о «правде» и никогда не получали всеобщего признания на основе внутреннего волеизъявления отдельных людей.

Вследствие этого возникала острейшая проблема соблюдения законности. Эти страны, как отмечал Ф. Бернье, «не совсем лишены хороших законов, и, если бы их законы соблюдались как следует, там можно было бы жить не хуже, чем в других местах; но к чему эти законы, если их не соблюдают и если нельзя так устроить, чтобы они соблюдались?» Единственным выходом из этого положения османские правители считали усиление репрессий. В назидание другим они проводились с нарочитой жестокостью и бесчеловечностью. «Без таковые грозы не мочно в царство правды ввести», — писал И.С. Пересветов. Но поскольку противозаконные деяния имели массовый, если не всеобщий характер, то репрессии против отдельных лиц неизбежно выглядели как проявления самого дикого и необузданного произвола, как тирания и деспотизм.

Поддержание единой законности на Земле ислама требовало единства воли и власти. Все османские правители стремились к централизации и усилению авторитарной власти как главного условия реализа-

ции теократических принципов ислама. Даже в XVIII в., в период фактического распада Османской империи, правящие круги всячески подчеркивали принцип единства халифата и неделимости верховной власти.

При этом во все периоды османской истории единство и централизация государства имели в значительной мере поверхностный и даже фиктивный характер. Они охватывали главным образом сферу идеологии, политики и права. Что касается экономической жизни, то здесь господствовали полная децентрализация и хозяйственная автаркия. Такого рода центробежные тенденции лишь частично ослаблялись государственным регулированием и системой монополий, о чем речь пойдет ниже. Как и для всякого феодального общества, для Османской империи была характерна чрезвычайная экономическая разобщенность ее отдельных частей, хозяйственная самостоятельность и даже замкнутость отдельных экономических центров, очень слабо связанных между собой. В империи не существовало единого рынка; не было его и в масштабе отдельных *вилайетов*, затем мелких деспотий, на которые распалась Османская империя в XVIII в. В Северной Африке, Египте, Сирии и Ираке, не говоря уже об аравийских землях, существовали внутренние таможи, различные системы мер и весов, местные налоги, деньги и пр. Единство османского государства воспринималось и понималось лишь как единство *уммы* — мусульманской общины, имевшей единые идеалы, законы и стремления, во главе с общим халифом — имамом своего времени, который поддерживал целостность и единство *Дар uly-ислам* (Земли ислама) и которому были обязаны повиноваться все правоверные мусульмане.

Экономическим базисом этой унитарной османской теократии была государственная собственность на землю и другие важнейшие средства производства. Положение изменилось только в результате введения нового земельного законодательства 1858 г. Однако сам принцип государственной собственности на землю просуществовал в Турции вплоть до 1926 г., до появления Гражданского кодекса Ататюрка. В большинстве арабских стран этот принцип соблюдался до колониального завоевания, в Египте — до 1858 г. В ряде случаев дело доходило до почти полного запрещения частнопредпринимательской деятельности. В качестве примеров можно привести мероприятия Селима I (1470–1520) в Египте, ряда янычарских правительств на рубеже XVII–XVIII вв., Захира аль Омара (1769–1849) в Палестине, Ахмеда Джеззара (1735–1800) в Палестине и Сирии, Мухаммеда Али (1769–1849) в Египте, Ахмед-бея (1806–1855) в Тунисе и т.п. В основе этого лежали эгалитаристские принципы ислама. Примеры, взятые из образа действий пророка Мухаммеда, вместе с некоторыми местами Корана послужили основанием учения ханифитов, стремящегося к полному

отрицанию даже самого принципа частной, личной собственности. Все земли, недра и другие источники богатств, которые могли считаться причиной угнетения человека человеком, рассматривались как общественное достояние, как собственность мусульманской общины. От ее имени они управлялись государством, ибо верховная власть одна есть распорядительница и хранительница имуществ, могущих быть предметом собственности.

Из этого важнейшего тезиса мусульманского права вытекало значительное ограничение частной собственности и личных имущественных прав. В частной собственности могли находиться лишь имущества, созданные личным трудом и вообще личными усилиями индивида (охотничьи трофеи, прибыль от неспекулятивной торговли и т.п.), а также законно созданные имущества, полученные по наследству. Впрочем, в этом последнем случае существовали многочисленные, порою непреодолимые трудности. В исламе практически не было неоспоримых прав на наследование. Это была самая сложная и запутанная часть мусульманского права. В Османской империи вплоть до 1826 г. единственным наследником всех крупных сановников, военачальников и других должностных лиц, кроме *улемов* (духовенства), т.е. наиболее богатой и обеспеченной части населения, было государство. В порядке исключения оно могло оставлять часть имущества (обычно небольшую) в качестве пенсии для членов семьи умершего в знак признания его особых заслуг. Однако в случаях опалы, что было гораздо чаще, пенсии не назначались и имущество целиком переходило в казну.

Объектом частной собственности, передаваемой по наследству, кроме сокровищ могли быть дома, хозяйственные и производственные постройки, а также втуне лежащие земли (*мават*), «оживленные» в результате «применения личных сил индивидуума». Фактически это были садово-огородные участки, оливковые, шелковичные и пальмовые насаждения в пригородах, оазисах и горных районах. В вопросах *мавата*, как и в наследственном праве, царила большая неопределенность. В шариае не было достаточно точного и общепризнанного определения того, что считать *маватом* и, следовательно, что понимать под «оживлением» земли, дававшим основание для установления частновладельческих прав.

В результате юридической неопределенности имущественных прав индивида, всегда рассматривавшихся как нечто особенное, всякая частная собственность зависела от снисходительности власти и в любой момент могла перейти в руки государства. В конце XIX в. профессор И.Г. Нофаль в своей книге «Курс мусульманского права. О собственности» резюмировал это положение следующим образом:

«1) Всюду, где господствует мусульманское законодательство, нет и не может быть другой личной собственности, как только в виде известного, постоянного и непрерывного исхождения ее от верховной власти. От нее зависит, продлить или прекратить по своему произволу свое изволение, которое устанавливает право собственности и составляет единственную причину самого его существования.

2) Всякий личный владделец, собственно говоря, есть только как бы временный владделец или владделец одного только разрешения пользоваться вещью на определенных и обязательных условиях для него, но на случайных и необязательных для верховной власти.

3) Акт, которым государство лишает кого-либо собственности или которым, выражаясь сильнее, оно отнимает свое дозволение пользоваться вещью, не есть акт насильственного отобрания или конфискации, а лишь простое взятие государством назад дарованной им милости и восстановление общественного достоинства; при этом государство не стесняется свойством побуждений, приведших его к тому, чтобы применить на деле свое право взять обратно данную им милость; побуждения эти могут быть, по существу своему, справедливыми и несправедливыми, и государство одно ответственно за них перед Богом».

Со времен И. Пересветова и Т. Кампанеллы общественное мнение в Османской империи, особенно в Румелии и придунайских землях, в общем и целом эволюционировало в сторону все большего признания имущественных прав индивида. Тем не менее в XVI — начале XIX в. подавляющая часть недвижимых имуществ, прежде всего земли, считалась общественной собственностью, достоянием мусульманской *уммы*. При этом собственность *уммы* выступала в двух формах: государственной и вакфной. *Вакф* (*вакуф*) — имущество (преимущественно земля), не облагаемое налогом и неотчуждаемое, предоставленное в виде дара или по завещанию религиозным или благотворительным учреждениям. В XVII в. на *вакфы* приходилось, по некоторым оценкам, около $\frac{1}{3}$ всех земель империи. $\frac{2}{3}$ находились в собственности государства. В городах большинство недвижимых имуществ (мастерские, лавки, склады, жилой фонд, не говоря уже о постройках общественного и культурного назначения) были вакфами или в различной пропорции делились между *вакфом* и *бейликом*. Последним термином обозначались владения бея, но чаще всего казна вообще. Приоритет при этом принадлежал государству, которое могло проверять *вакфы*, конфисковывать их в случае нарушения закона, а также заменять одно вакфное имущество другим.

Что касается частных лиц, то им разрешалось возводить постройки, находящиеся в свободной личной собственности (*мульк*), на государственных или вакфных землях. При уплате соответствующей ренты застройщики могли беспрепятственно пользоваться возведенными

ими зданиями, продавать их, дарить, закладывать, не испрашивая разрешения землевладельца, но и не приобретая никаких прав на используемые земли.

В классическую эпоху государство выступало не только как собственник земли и основных фондов, но и как организатор производства. Крупные предприятия (судостроительные верфи, пороховые и другие военные заводы, большие мельницы, рудники, прииски, суконные и хлопчатобумажные мануфактуры) строились и управлялись непосредственно государством. Что касается ремесленного производства, торговли, сферы услуг (бани, харчевни, цирюльни), земледелия, ирригационного строительства, то они подлежали повседневному регулированию и регламентации эгалитаристского характера со стороны государства, которое осуществляло полный контроль над всей сферой материального производства, распределения и потребления. Таким образом, государственная регламентация с ее всеобъемлющим характером — один из характернейших признаков османского феодализма.

Государство непосредственно разрабатывало правила торговли и условия ремесленного производства, следило за поступлением сырья и его распределением, контролировало и направляло сбыт продукции. Одной из самых тяжелых и довольно неприятных обязанностей должностных лиц правительства было снабжение городского населения продовольствием, топливом и другими товарами первой необходимости. От властей требовали поддерживать необходимый уровень производства, создавать запасы, устанавливать объем и направление перевозок, осуществлять повседневный контроль за поступлением и продажей продуктов питания. При этом власти обязывались пресекать спекуляцию и контрабандную торговлю. В арабских странах местные правительства нередко полностью монополизировали производство и сбыт отдельных видов товаров. В ряде случаев это приобретало характер всеобъемлющей системы монополий, фактически исключавшей свободную торговлю и частное производство.

В условиях системы монополий производство и сбыт товаров осуществлялись при посредстве агентов административно-хозяйственного аппарата или через концессионеров (откупщиков), выступавших в качестве небескорыстных подрядчиков государства. При отсутствии монополий регулирование экономической жизни осуществлялось военно-административными властями, религиозно-судебным аппаратом (*кадии*, *наибы*, *мухтасибы*) и цеховыми организациями (*эснаф*, или *хирфа*, т.е. ремесленное товарищество), выступавшими в качестве низового административно-хозяйственного звена.

Количество и качество товаров, их производство и хранение, уровень прибылей, минимальные размеры заработной платы, максимумы

цен по сезонам и отдельным местностям — все это детально разрабатывалось и обнародовалось в многочисленных *канун-наме*, *адалят-наме* (досл. «книгах правосудия»), в приказах и распоряжениях местных властей. Любые отклонения немедленно пресекались. Нарушители тут же карались штрафом, поркой или битьем по пяткам, обычно непосредственно на месте экономического преступления и с самой широкой оглаской. В особо тяжелых случаях виновные подвергались смертной казни с конфискацией имущества.

В сельском хозяйстве крестьяне, личный статус которых был неодинаков в различных местностях и странах, находились в непосредственном ведении низовых властей, регулировавших производство, трудовую дисциплину и сбор различного рода налогов и платежей. Отдельные деревни или целые группы поселений объединялись в «имперские имения», которые регистрировались в *дефтерах* (счетных бухгалтерских книгах) как производственно-фискальные единицы. Они либо управлялись непосредственно агентами правительства (*эманет*), либо передавались в распоряжение «частных лиц» на концессионных (*ильтизам*) или посессионных (*маликяне*) началах. Концессионеры, или откупщики, принимали на себя ответственность (*ильтизам* в собственном смысле этого слова) за управление государственными имениями и подлежали утверждению *казиаскеров*. Данным термином обозначался высший войсковой судья, или военный комендант (их в Османской империи было два), а также высшее в духовной иерархии после *шейх-уль-ислама* лицо. Концессионерами должны были быть «материально обеспеченные лица». Как правило, ими оказывались наместники провинций, крупные военачальники и другие «гранды государства». Обычно они переуступали свои *ильтизамы* на условиях субаренды одному или нескольким профессиональным откупщикам, хорошо знакомым с «местными условиями».

В различных странах в разные периоды преобладали неодинаковые формы организации и управления земельными имуществами *вакфов* и государства. Общим направлением эволюции был, видимо, переход от эманета к *ильтизаму* (см. выше), а затем, особенно после 1695 г., к *маликяне* — посессионному владению с предпочтительной передачей прав по наследству. Впрочем, это совершенно не исключало того, что во многих арабских странах в конце XVIII — начале XIX в. гальванизировались самые крайние формы непосредственного государственного управления сельскохозяйственным производством (системы сельскохозяйственных монополий).

По отношению к непосредственным производителям государство выступало не только как организатор производства, но и как совокупный эксплуататор. Оно присваивало основную часть прибавочного

продукта, производимого в сельском хозяйстве, промышленности и ремесленном производстве, затем в централизованном порядке распределяло его среди правящего класса. Таким образом, феодальная рента устанавливалась центральной властью и ею же распределялась. Единого государственного бюджета и даже общего казначейства в Османской империи не было. Поэтому распределение ренты осуществлялось в виде закрепления отдельных источников доходов за различными государственными ведомствами, службами и должностными лицами.

Непосредственно в руки отдельных представителей господствующего класса феодальная рента поступала в форме даров, жалованья, различного рода льгот и особых должностных вознаграждений или рент, связанных с предоставлением в их распоряжение фиксированных источников государственных доходов. Это так называемая военная система: *тимары*, *зеаметы* и *хассы*. Объектом этих рент, или «ленов», могли быть доходы с отдельных городов, сел и деревень, различных промыслов, таможен и т.п. Доходы исчислялись в *аспрах* (*акче*) — серебряных османских монетах, в конце XVII в. замененных *гурушем*. Наиболее значительные ренты, или так называемые *хассы* (свыше 100 тыс. *аспр* годового дохода), устанавливались для членов правительства, наместников провинций и крупных военачальников (санджак-беев и выше). Должностные ренты второго порядка, или *зеаметы* (20–100 тыс. *аспр* годового дохода), предоставлялись среднему звену османской военно-служилой иерархии — *субаши*, *алайбеям* и лицам, которые приравнивались к ним. Малые ренты, или *тимары* (до 20 тыс. *аспр* годового дохода), давались всадникам (*спахи*, или *сипахи*), расквартированным в сельской местности, отвечавшим за спокойствие жителей и содержавшим одного или нескольких *аджем-огланов* (новобранцев, проходивших военную подготовку и обучение у опытных воинов), а также младшим командирам и особо отличившимся чиновникам государственного аппарата.

Тимары, *зеаметы* и *хассы* не были чем-то постоянным и единым. Доходы с одного селения или города могли идти сразу нескольким тимариотам (владельцам *тимара*) и одновременно давать поступления в *хасс* или *зеамет*. При этом владельцы *тимара* не приобретали никаких прав на сами источники доходов (обрабатываемые земли, городскую недвижимость, рудники, таможи и пр.) и тем более на «личность» непосредственных производителей. Система подарков, подношений и разного рода личных услуг, оказываемых местным населением тимариоту, принципиально ничем не отличалась от подобного же рода отношений, складывавшихся на любом уровне османской иерархии между начальниками и подчиненными. К тому же сами владельцы

тимара часто менялись. В течение жизни одного поколения *тимары*, *зеаметы* и *хассы* по несколько раз переходили из рук в руки в соответствии с изменениями в служебном положении держателей этих рент, а также объединялись или разукрупнялись в зависимости от конкретных обстоятельств.

В системе предоставления *тимаров* всегда было много беспорядка. Особенно часто жалобы на бедственное положение тимариотов и различного рода злоупотребления стали раздаваться с начала XVII в. Что касается арабских стран, то здесь система *тимаров* довольно быстро изжила себя, уступив место другим формам дополнительного вознаграждения за службу (*ризк*, *икта*, предоставление государственных земель на концессионных и посессионных началах и даже заведование вакфными имуществами).

Особенности социально-экономической системы Османской империи предопределили и особый характер феодального господствующего класса, не имевшего аналогов в средневековой истории Европы. Прежде всего следует отметить, что здесь не было дворянства как наследственной аристократии крови, связанной с землевладением, а также какого-либо другого благородного сословия, которое вследствие своего происхождения было бы призвано управлять государством. Более того, в арабо-османском обществе вообще не было никакой наследственной знати, получившей свои привилегии по праву рождения. «В этой столь великой империи не существует какого-либо превосходства или знатности по крови», — писал венецианский посол (в 1555–1560 гг.) Антонио Барбариго. «Среди них (военачальников и санджык-беи Порты. — *Н.И.*) нет ни герцогов, ни маркизов, ни графов, — отмечал другой представитель Венеции (в 1584–1587 гг.), Лоренцо Бернардо, — а все они по своему происхождению пастухи, низкие и подлые люди». Столетие спустя Фр. Бернье писал, что «у королей здесь нет на службе князей, вельмож, дворян, сыновей из богатых и воспитанных семейств». Те, кто поддерживают величие государства, продолжал он, «это люди, вышедшие из ничтожества, некоторые из них рабы, большая часть без образования». Ивана Пересветова особенно восхищало то, что бывшие холопы византийской знати не только получали волю, но и «стали у царя лутчие люди». «Ино у царя кто против недруга крепко стоит, — писал он об османских порядках, — смертною игрою играет, и полки у недругов розрывает, и царю верно служит, хотя он меншаго колена, и он его на величество подымает, и имя ему велико дает, и жалования много ему прибавляет». «А ведома нету, — заключает И.С. Пересветов, — какова они отца дети».

«Во всем этом многочисленном обществе, — писал, со своей стороны, посол Габсбургов об окружении Сулеймана Великолепного, —

нет ни одного человека, обязанного своим саном чему-либо, кроме своих личных заслуг и храбрости; ни один из них не отличается от остальных своим происхождением; а почести воздаются каждому человеку в соответствии с природой должности или службы, которую он несет».

Правящий класс Османской империи формировался на основе меритократии, т.е. выдвижения за заслуги, и представлял собой военно-служилую элиту. Как и во всяком феодальном обществе, он имел военный характер, был неразрывно связан с военной службой и поддерживал свое господство средствами внеэкономического принуждения. Этим он отличался от других имущих прослоек арабо-османского общества, в частности от патрицианской предбуржуазии (*айаны*), а также сельских нотаблей XVIII — начала XIX в., например *мультазимов* в Египте, которых в лучшем случае можно рассматривать как низшую категорию класса феодалов.

Как сельские нотабли, так и патрицианская предбуржуазия арабских стран пользовались значительным влиянием на местах, особенно городской патрициат. Это были в основном представители знатных городских фамилий, которые из поколения в поколение передавали престиж знания, благочестия и рафинированной культуры, нередко вели свое происхождение от семьи или сподвижников Пророка и поставляли кадры для религиозно-судебного и административно-управленческого аппаратов. Это были знаменитые *улемы*, делавшие ученую карьеру (*ильмийе*), и многочисленные *эфенди* государственных канцелярий, не спеша продвигавшиеся по служебной лестнице бюрократической карьеры (*калемийе*). Многие из них были богаты: имели дома, *вакфы*, мульковые участки, держали слуг и рабов. Другие оскудели или полностью разорились. Но ни те, ни другие не имели доступа к власти, т.е. не обладали правом принятия самостоятельных политических решений по важнейшим вопросам государственной и местной жизни, и, следовательно, не входили в состав правящего военно-феодального класса. Лишь на самой вершине, в составе местного *дивана* или в числе личных советников правителя, представители патрицианских фамилий могли рассчитывать на положение членов господствующего класса и получить соответствующие привилегии.

Однако во всех случаях, даже если профессиональным бюрократам удавалось войти в избранный круг пашей (как это наблюдалось в XVIII — начале XIX в.), они не играли ведущей роли в государстве. Самое большее, на что они могли рассчитывать, это с помощью интриг в правящих кругах добиться расширения своих социальных и политических позиций. В целом же сельские и городские *айаны* находились в оппозиции к традиционным социально-политическим институтам Ос-

манской империи и нередко противопоставляли себя янычарской и мамлюкской военщине.

Вся полнота реальной власти была сосредоточена в руках военных, которые были призваны служить делу ислама, защищать и расширять *Дар уль-ислам*. Османское государство было «рождено войной и для войны». Военные занимали все ключевые посты в государстве, определяли его внешнюю и внутреннюю политику. Правящая элита, руководившая империей на «уровне решения» (в центре, *эйалетах*, т.е. провинциях, и арабских деспотиях XVIII — начала XIX в.), фактически целиком состояла из военных. Большинство постов на «уровне управления», включая осуществление власти на местах, также замещалось армией. Лишь в «технических» службах административно-управленческого аппарата и вообще на «уровне исполнения» военные уступали место *эфенди* (штатским чиновникам), родо-племенным *шейхам* (вождям), сельским нотаблям и главам различного рода общин (религиозных, корпоративных и т.п.).

Армия как доминирующая сила государства не была однородна в социальном отношении. С классовой точки зрения военные не представляли единого целого. Среди них можно выделить два отнюдь не равноценных слоя: 1) правящую и командную элиту (*аль-хасса*), т.е. лиц, функционирующих на «уровнях решения и управления», которые, собственно говоря, и составляли основной костяк феодального господствующего класса, и 2) более широкую массу военно-служилых людей, посвятивших себя военной карьере (*сейфийе*) и составлявших основной резерв и опору господствующего класса.

Военно-служилые люди принадлежали к различным корпусам, или *джемаатам*, османской профессиональной армии. В арабских землях это были главным образом *спахи* (конница), янычары (гвардейская пехота или охранный корпус — *джемаат аль-мустахфезан*), *азаб*ы (армейская пехота), *чауши* (полиция), *мутефаррика* (пограничная стража), а также мамлюки (*джемаат аль-джеракис*, т.е. корпус черкесов) и флотская милиция, состоявшая из матросов и *левендиев* — своего рода османской морской пехоты. Немаловажную роль играли также иррегулярные ополчения военно-служилых бедуинских племен (*махзен*, *мурабитун*, *уруш ас-санджак*), которые освобождались от налогов и нередко получали денежные субсидии от правительства.

Наиболее надежную и привилегированную часть османской армии составляли янычары и *спахи*. В XVIII в. в условиях фактического распада Османской империи в арабских странах на первый план вышли мамлюки, бедуины и так называемые частные войска пашей: *аскеры* (пехота, обычно из наемников-магрибинцев, или *зуавов*), *дели* (конница, в основном из туркмен и курдов) и личная охрана правите-

лей (*сегбан* — пешие гвардейцы и *саррадж* — кавалеристы). Служба в этих привилегированных и близких к правительству частях давала наибольшие возможности для выдвижения и привлекала наиболее честолюбивых авантюристов.

Пополнение янычарского *очага* (корпуса) и спахийских полков осуществлялось через систему *девишirme* (рекрутский набор мальчиков-христиан) и ее мамлюкскую разновидность — приобретение рабов в отроческом возрасте, доставлявшихся в основном с северных и восточных берегов Черного моря. Юные рекруты и мамлюки принимали ислам, проходили профессиональную подготовку в специальных военных школах или у *спахиев*-тимариотов и по достижении совершеннолетия поступали на службу. Остальные части османской армии рекрутировались за счет добровольцев, ополченцев и «ренегатов», бежавших из христианских стран. Это были выходцы из *райя*, т.е. всего податного, главным образом крестьянского населения Османской империи. Среди них находились также городская беднота и всякого рода деклассированные элементы, нередко спасавшиеся от правосудия. Во второй половине XVI в. в спахийские и янычарские корпуса стали принимать сыновей ветеранов и наиболее отличившихся воинов из других частей османской армии. Появление последних среди профессионально вышколенных *спахиев* и янычар порождало многочисленные конфликты. «Воспитанники» Порты с высокомерием третировали жадных и пронырливых «мужиков», которые к тому же зачастую обходили их по службе. «Райя (здесь крестьянин. — *Н.И.*) привыкает сидеть на коне и носить саблю, — писал в 1629 г. османский писатель идеолог тимариотов Кучибей Гёмурджинский, — и это удовольствие так засядет у него в голове, что уж потом опять он ни за что не будет райей, да и в войско-то тоже не годится, и в конце концов пристаёт к шайке негодяев...»

Добровольцы и рекруты (не говоря уже о мамлюках), поступая на военную службу, полностью порывали с родной средой, семьями и становились профессиональными военными. Они воспринимали обычаи, взгляды и традиции корпусов (*очагов*), целиком посвящали себя новой жизненной карьере. Власти всячески поддерживали чувства корпоративной замкнутости и исключительности военно-служилых людей. В *очагах*, как и внутри отдельных мамлюкских домов, культивировался дух взаимовыручки, братства и войскового товарищества. Османские воины, в частности янычары и *спахии*, сами избирали своих командиров (*спахии* до *черобаши*, т.е. командира конного отряда, включительно), которые по истечении срока своих полномочий входили в полковые советы (*диваны*), сообща решавшие войсковые дела и другие вопросы, затрагивавшие интересы военно-служилых людей.

Младшие командиры, являвшиеся своего рода переходным звеном от служилой массы к правящей элите, вместе с порученцами крупных военачальников и вообще всеми теми, кто находился в непосредственном распоряжении «грандов» (до личных брাদобреев включительно), составляли первую ступень в османской военной иерархии. Здесь, собственно, и начиналась карьера военно-служилой знати, происходило зарождение и формирование среднего и высшего военного персонала. При этом выборное начало целиком уступало место кооптированию — самопополнению правящей элиты за счет себе подобных. Начиная с *субаши* (средний военный чин), все назначения на военные и военно-административные должности происходили с ведома и согласия центральной власти. Самыми предпочтительными шансами, естественно, обладали те, кто наиболее полно соответствовал «системе», т.е. всей совокупности отношений, существовавших в османском обществе и государстве. Другими словами, «система» сама подбирала, формировала и браковала свой персонал.

Пройдя сложную и многоступенчатую систему отбора, наиболее честолюбивые и властные военачальники входили в привилегированную прослойку военно-служилой знати. Они получали ответственные посты и назначения, титулы *беев* и *пашей*, а вместе с ними крупные оклады, *зеаметы* и *хассы*. Функционируя на «уровне решения и управления», все эти чины османской военно-служилой иерархии и соперничавшие с ними представители мамлюкской военной аристократии вместе с могущественными *шейхами* крупных бедуинских племен в совокупности составляли феодальный господствующий класс арабо-османского общества, преимущественно его средние и высшие слои.

Этот феодальный господствующий класс отличался несметными богатствами. Иностранцев поражала неимоверная пышность и роскошь властителей Востока. Представители военно-служилой знати, поднятые, по выражению И.С. Пересветова, «на величество», имели многочисленные дома, сады, лавки и мастерские, обладали большими стадами овец и табунами породистых лошадей, таили огромные сокровища. В их распоряжении были богато обставленные дворцы с постоянно пополнявшимися гаремами, рабами и прочей домашней челядью. Один лишь Хайрадин Барбаросса — бывший пират, ставший *бейлербеем* Алжира, имел 4 тыс. рабов. «Гранды» Алжира, как, впрочем, и других арабских стран, отличались алчностью и вместе с тем совершенно бессмысленной расточительностью. Вся их жизнь, по словам ученого-арабиста Ш.-А. Жюльена, «была жизнью внезапно разбогатевшего парвеню, жадного до буйных кутежей и кричащей роскоши. Они жили среди дельфтских фаянсов, итальянского резного мрамора, лионских или генуэзских шелков и бархата, венецианских зеркал, бо-

гемского стекла и английских часов; вся эта обстановка была какой-то эклектической декорацией, напоминавшей картины из охотничьего быта».

Среди арабо-османской знати не было понятий о чести, благородстве и личном достоинстве. «Государи здешних стран, — писал Ф. Бернье, — видят вокруг себя только людей, вышедших из ничтожества, рабов, невежд, грубиянов и придворных, выдвинутых на должности из грязи и не имеющих ни воспитания, ни образования. От них всегда почти пахнет разбогатевшими нищими». На вершине власти они презирали своих подчиненных, глумились над ними, а то и просто убивали под горячую руку. «Ваш король управляет людьми, — говорил марокканский султан Мулай Исмаил (1646–1727) послу Людовика XIV, — а я управляю скотами».

Особенности формирования господствующего класса, как и вся система социальных отношений в арабо-османском обществе, не имевшем сословий, предопределили легкую вертикальную мобильность и, соответственно, неразвитость горизонтальных социальных связей. В отличие от западно-европейских обществ в арабском мире не было прочных (не говоря уже о юридически закрепленных) отношений на каждом горизонтальном уровне, не было «пэров», а следовательно, суда «пэров», совместной защиты прав и т.п. Все были равны или, что то же самое, в равной степени бесправны.

В арабо-османском обществе в соответствии с тысячелетними доисламскими устоями Ближнего Востока и с давними мамлюкскими и альмохадскими традициями все были «рабами государства», сверху донизу. Начиная с поваренка и кончая великим везиром, все, независимо от их действительного происхождения, считались рабами султана — *кюльяр*. При этом само слово *кюль* (раб) в османскую эпоху означало всякого человека, который служил султану и получал жалованье из казны. Давая огромные привилегии, государство вместе с тем требовало от своего персонала, от своих «рабов», беспрекословного повиновения. В противном случае оно поступало с ними как с самыми настоящими рабами. Из 200 великих везиров, занимавших свой пост в XV — начале XIX в., около 20 были казнены. Из 30 *деев*, которые правили Алжиром в 1671–1818 гг., 14 были убиты во время их низложения. Сановники государства подвергались беспрерывным «чисткам». При этом судебные разбирательства по должностным и политическим преступлениям происходили в отсутствие обвиняемых. Приговоры выносились заочно и немедленно приводились в исполнение. В порядке особой милости давалось время для совершения молитвы и урегулирования семейных дел. Во времена Сулеймана Великолепного (1495–1566) ко двору ежедневно доставлялось по 40–50 голов казненных за

преступления против государства. Некоторая «морализация» политической жизни наступила в Порте в «эпоху тюльпанов» (1718–1730). Тогда мода на тюльпаны стала сочетаться с проникновением некоторых европейских идей и достижений, особенно в военной области, с новыми явлениями в турецкой культуре и с началом книгопечатания. Такого рода «морализация», однако, практически не распространялась на арабские страны. Кровавые чистки продолжались здесь вплоть до начала XIX в.

В отличие от западноевропейской османская правящая элита была «знатью одного поколения». Она не передавала и не могла передавать по наследству свои титулы, богатства и положение. Дети мамлюков и османских сановников получали лишь небольшую часть отцовских имуществ, которую выделяло для них государство. А главное, они лишались прав и прерогатив, которые принадлежали их родителям. Сыновья мамлюков (*авляд ан-нас*) и отпрыски османской военно-служилой знати (*кюль-оглы*) не допускались на должности и посты, оставленные их отцами. Более того, они вообще исключались из числа правящей элиты и даже феодального господствующего класса. Самое большее, на что они могли рассчитывать, — это служба в качестве рядовых *спахи* или во вспомогательных частях османской армии. В большинстве случаев *авляд ан-нас* и *кюль-оглы* вообще покидали военную службу. Как правило, они избирали ученую карьеру (*ильмийе*) или службу в государственных канцеляриях (*калемийе*), пополняя таким образом патрицианские слои города. Покровительство *очага* или мамлюкского дома давало им определенные преимущества, но не больше.

«Знатные фамилии, — свидетельствует Ф. Бернье, — не могут долго держаться в своем величии; напротив, их падение наблюдается часто и наступает мгновенно; уже дети или в лучшем случае внуки могут эмигрантски эмира нередко после смерти отца оказываются доведенными чуть ли не до нищеты и вынуждены поступать на службу к какому-нибудь эмиру в качестве простых всадников».

Немногочисленные исключения, когда османские сановники пытались протаскивать своих сыновей или родственников на высокие государственные посты, не возбуждали ничего, кроме подозрения, и не рассматривались иначе как посягательство на основы османского правопорядка. Передача должностей и привилегий по наследству была в глазах османского общества противозаконна и в тех немногих случаях, когда имела место, всегда оформлялась как новое назначение.

Османская знать не имела фамилий. Они были совершенно излишни и даже могли повредить. Пути вверх были открыты для всех, независимо от их социального происхождения. Избыток образования или богатое наследство скорее мешали, чем способствовали служеб-

ному продвижению. В османском обществе, основанном на формально-демократических или на «демократическо-деспотических началах», для занятия самых высоких государственных должностей не требовалось никаких предварительных условий: ни грамотности, ни благородства, ни кастовой принадлежности или имущественного ценза. Любой правоверный — даже раб, евнух или ренегат-иностранец — мог стать пашой и великим везиром. В это кровавое время обильные людские потери, причиняемые жестокими и частыми войнами, смещениями и казнями, давали людям из низов широкие возможности для продвижения наверх.

Состав и характер господствующего класса Османской империи был типичен для «универсальных» государств Востока. Большинству из них было присуще подчинение персонала «системе», почти полное обезличивание «рабов государства». Как и для других военно-теократических государств, для Османской империи было характерно развитие самых крайних форм функционализации человека. Выполняя заданную функцию, должностные лица османского государства больше всего боялись проявить свою индивидуальность. Под маской пресловутой «оттоманской невозмутимости» они тщательно скрывали свои подлинные симпатии и антипатии. Османские сановники никогда не имели личных взглядов и концепций. На Востоке, говорил Ф. Бернье, вы не встретите ни одного начальника, который не щегольнул бы перед вами персидским двустушием:

Если шах скажет днем:
«Наступила ночь», —
«Вижу месяц и звезды!»
кричи во всю мочь.

Выбраковывая персонал, «система» выступала как самодовлеющий механизм. Политика в высоком смысле этого слова, государственные и социальные институты были полностью деперсонализированы и не подчинялись отдельным человеческим волям. Испанский историк Хуан Кано характеризовал алжирского *дея* как «деспота без свободы; короля рабов и раба своих подданных». Вместе с ригидностью самой системы и целым рядом других факторов (закрытый характер общества, коллективизм теократического идеала, отрицание ценности индивида, его личных стремлений и т.п.) это затрудняло действие «механизма саморазвития» и предопределяло исключительную устойчивость сложившихся отношений, которые с трудом поддавались изменениям.

Социально-экономическая система Османской империи, самодовлеющий характер государства, религиозно-правовые основы общест-

ва, своеобразии и обезличенности господствующего класса создавали особую социальную структуру арабского мира, которая не имела прямых параллелей ни в одном из средневековых феодальных обществ Европы. Все эти особенности, вместе взятые, дают достаточно оснований, чтобы рассматривать арабо-османское общество XVI — начала XIX в. как особую форму докапиталистического общества, лишь стадийно соответствующего европейскому феодализму в рамках одной социально-экономической формации.

КИТАЙСКАЯ МОДЕЛЬ: СТАНОВЛЕНИЕ И ФУНКЦИОНИРОВАНИЕ

Начиная с древности (Шан, Западное Чжоу) неизменной формацией в Китае стал азиатский способ производства. Его фундаментальными слагаемыми были верховная собственность монарха на землю, «власть-собственность», «класс-государство» и «рента-налог» с податных крестьян плюс господство госаппарата в лице чиновников над социумом. Наряду с этим позднее возник своего рода феномен военно-политического феодализма. Такого рода надстройка не сопровождалась созданием феодального социально-экономического базиса и соответствующей формации. Этот верхушечный феодализм покоился на децентрализации страны, создании многих царств, возникновении иерархической лестницы князей (*гун, хоу, бо* и др.) и системы вассалитета. У правителей царств (*ван*) были вассалы высшего уровня (*дафу*) — своего рода элитное рыцарство и вассалы низшего уровня (*ши*), превращавшиеся в подобие личного дворянства с культом рыцарской этики. В этой среде царили соблюдение данной иерархии, закон чести, вассальные обязательства, преданность вассала сюзерену, культ войны и воинской доблести. Постоянные междоусобные войны между царствами резко подняли роль военного фактора и своеобразного рыцарства. Такого рода верхушечный «военный» феодализм не обрел своего особенного социально-экономического базиса, не трансформировался в особую формацию и остался сугубо надстроечным явлением. Тем не менее он стал соперником «мирной» политической системы азиатской деспотии (государь — сановники — штатская бюрократия). После возникновения военно-политический феодализм время от времени чередовался с обычной азиатской деспотией штатской бюрократии. Происходила своего рода смена одного начала другим в качестве политической надстройки над базисом — азиатским способом производства. При этом сложилась следующая картина: азиатская деспотия (Шан, Западное Чжоу) — феодализация (Чуньцю, Чжаньго) — восточная деспотия (Цинь, Западная Хань, Синь, Восточная

Хань) — феодализация (Саньго) — азиатская деспотия (Цзинь) — сочетание восточной деспотии и феодализации (Наньбэйчао) — азиатская деспотия (Суй, Тан) — феодализация (Удай шиго) — восточная деспотия (Северная Сун) — сочетание феодализации и восточной деспотии (Ляо, Западная Ся, Цзинь, Южная Сун, Юань) — азиатская деспотия (Мин, Цин).

Таким образом, в истории Китая в течение почти двух тысяч лет (с VIII в. до н.э. и до XIV в.) имело место явное противостояние этих двух начал. Происходили постоянные колебания от одного к другому, их смена и повторение данной ситуации с возвратом к давно пройденной стадии. Движение вперед сочеталось с откатами назад при торможении общей поступательности. С воцарением династии Мин в сфере надстройки произошла бесповоротная победа азиатско-деспотического начала над военно-политической феодализацией. Но последняя не умерла окончательно. В ослабленном состоянии и стертых формах она возрождалась при разделе уделов (например, при Мин) и в конце каждого династийного цикла начиная с эпохи Хань. Тогда наступала фаза смуты, массовых военных действий, время верховенства полководцев и иных военных с преданным им окружением.

Таким образом, в истории Китая прослеживается то явное, то скрытое противостояние и взаимодействие двух начал. Первое было представлено военной средой, возглавлявшей государство. Главной силой здесь было войско, полководцы, военачальники и командиры среднего звена. Второе являло собой штатский управленческий аппарат. Это был мир чиновников-службистов. В истории Китая государство возглавлялось то военными, то «людьми канцелярии». Иными словами, меч соперничал с поясной печатью чиновника. Господство войска сменялось господством разного рода ведомств и учреждений. В одном случае бюрократия находилась под сапогом военных, в другом — армейские подчинялись штатским службистам.

Если выстроить хронологическую последовательность такого рода сменяемости, то получится следующая картина: господство аристократии и военных (Шан, Чжоу, Чуньцю, Чжаньго) — штатских чиновников (Цинь, Синь, Хань) — военных (Саньго) — штатских (Цзинь) — военных (Северные династии) — штатских (Суй, Тан, Сун) — военных (Ляо, Западная Ся, чжурчжэньское государство Цзинь) — штатских (Мин) — военных (ранний период Цин) — штатских (поздний период Цин) — милитаристов (республиканский Китай). Устойчивость такого рода чередований дает все основания считать ее одной из закономерностей китайской истории.

Весьма специфической была и этническая история Китая — процессы расселения, переселения и ассимиляции этносов на этой огром-

ной территории. Главным здесь было взаимодействие китайской (ханьской) нации с другими народами. На первой стадии этого взаимодействия существовала некая статика и баланс двух сил. Одной из них были протоханьцы и ханьцы эпох Шан-Инь и Чжоу, второй — «варвары». Часть последних жила по периметру территории Шан-Инь, Чжоу. Основная же масса неханьских этносов располагалась к югу от р. Хуайхэ. Их земли простирались на юг до нынешнего Вьетнама, а с востока на запад — от Тихого океана до Тибета. Китайцы называли их «южными варварами», или *мань*. Это были различные, в основном земледельческие народы тайской и тибето-бирманской группы языков. Именно этносы *мань* стали основным объектом китайской экспансии и ассимиляции при продвижении ханьцев на юг.

Первое наступление китайцев на южные народы произошло в периоды Чуньцю, Чжаньго и Хань. К началу III в. н.э. в состав империи Хань уже вошло подавляющее большинство «маньских» земель. Колонизация же этих огромных территорий китайскими переселенцами была весьма слабой.

Вторая волна этнической экспансии ханьцев на юг относится к IV в. Тогда под давлением кочевых племен с севера произошло массовое переселение китайцев на земли *мань*. Именно тогда ханьцы сильно потеснили «южных варваров», и юг в значительной мере стал китайским в этническом отношении. Кроме того, к V в. произошла китаизация и северных завоевателей.

Третьим этапом этнической истории Китая стала относительная стабилизация ханьской нации на всей объединенной территории страны при династиях Суй, Тан и Северная Сун, сопровождавшаяся усилением ассимиляции китайцами основной массы *мань*.

Четвертая фаза, связанная с новым наступлением ханьского этноса на тайские и тибето-бирманские народности юга, относится к X–XIII вв. Тогда Северный Китай подвергся очередному завоеванию кочевников и полукочевников, и масса китайских переселенцев снова искала спасения на бывших землях *мань*. В ходе этой миграции южная половина страны (Цзяннань) стала экономической, политической и культурной основой Китая.

На пятом этапе произошла очередная стабилизация китайского этноса в масштабах всей объединенной страны под эгидой династии Мин (XIV–XVII вв.).

Шестой период (XIX–XX вв.) ознаменовался наступлением ханьской нации на север — за Великую стену. Это было сначала умеренное, а затем массовое переселение китайцев на земли «северных варваров» — во Внутреннюю Монголию и Маньчжурию.

В этой несколько схематизированной картине этнических процессов наблюдается неоднократная смена трех тенденций — продвиже-

ние китайцев на юг, натиск «варваров» с севера и стабилизация ханьского этноса. В целом речь идет о трех одновременных волнах продвижения китайцев на юг, трех фазах усиления ассимиляции «южных варваров», двух фазах притока кочевых и полукочевых народов с севера, двух фазах их ассимиляции китайцами и двух фазах стабилизации ханьского этноса. Таким образом, наблюдалась явная повторяемость событий и процессов. Отнюдь не все они имели позитивный и поступательный характер. В их сложной мозаике прослеживаются дихотомии типа «движение вперед — откат», «прогресс — регресс». Именно такого рода чередование поступательности и возвратности является одной из особенностей китайской истории.

Как говорилось выше, в истории Китая начиная с древности присутствовали два разнородных начала — собственно ханьское и инациональное («варварское»). В одни эпохи их соотношение не выходило на первый план и не доминировало, в другие, напротив, было жестким и главенствовало. Для первого варианта характерны понятия «однородность», «гомогенность» и «цельность», для второго — «разнородность», «гетерогенность» и «комбинированность». Всю историю Китая по этим критериям можно условно разделить на следующие периоды.

Эпоха однородности (Шан, Чжоу) — стадия разнородности (Чуньцю, Чжаньго, Хань) — период однородности (Саньго, Западная Цзинь) — время разнородности (Наньбэйчао, Восточная Цзинь) — эпоха целостности (Суй, Тан, Северная Сун) — время комбинированности (Ляо, Западная Ся, Цзинь, Южная Сун, Юань) — период гомогенности (Мин) — эпоха гетерогенности (Цин). Таким образом, в истории Китая имело место явное чередование этих двух различных начал при регулярной сменяемости одного другим. С той же долей оговорок эту закономерность можно представить в виде постоянной смены позитива и негатива, движения вперед и отката с постоянными колебаниями от одного полюса к другому.

Страшной бедой и историческим проклятием Китая была непосредственная близость Великой Степи. Последняя неоднократно выбрасывала через Великую стену волны завоевателей. Нашествия кочевых и полукочевых племен в мировой истории происходили не раз. И Западная Европа и Русь подверглись нашествию и завоеванию «варваров». В первом случае это были германцы, готы и гунны, во втором — ордынские тюрки под главенством монголов. Однако в обоих случаях удар такого рода был единичным и более не повторялся. Между тем на Китай обрушились четыре волны завоевателей с севера.

Первое массовое нашествие кочевых и полукочевых племен началось в 308 г. Их движение на юг было частью Великого переселения

народов (III–VII вв.). Среди вошедших в пределы Китая было пять этносов — *сюнну* (*хунну*, *гунны*), *цзэ*, *цян* и *сяньби* вместе с родственными им *тоба*. Практически вся долина Хуанхэ и весь Север более чем на 270 лет (до 581 г.) оказались под властью этих завоевателей, созданных ими династий и государств. Сначала это был период «Шестнадцати царств пяти северных племен» (304–439). Затем наступили времена Западного и Восточного Вэй и Северного Чжоу (439–581). С приходом к власти династии Суй на Севере восстановилась власть китайских династий.

Второе массовое нашествие кочевых племен и полукочевых этносов относится к середине X в. *Кидане*, *тангуты* и *чжурчжэни*, постепенно подчинившие весь Северный Китай, создали три «варварских» государства — киданьское Ляо, тангутское Западное Ся и чжурчжэньское Цзинь. Это нашествие завершилось не изгнанием захватчиков, а победой новых пришельцев — монголов Чингисхана. Разгромив Западное Ся и Цзинь, монголы к 1234 г. овладели всем Северным Китаем и подвели черту под вторым «варварским» завоеванием, длившимся без малого почти 300 лет.

Третье массовое нашествие кочевников на Китай прошло в два этапа. На первом (1211–1234) монголы захватили весь север, а на втором (1235–1279) — южную половину страны, где власть Чингисидов сохранялась в общей сложности до 1368 г., т.е. более ста лет и закончилась изгнанием захватчиков.

Четвертое нашествие полукочевых и кочевых этносов (маньчжуры и монголы) началось в 1644 г. и завершилось окончательным покорением всего Китая в 1683 г., т.е. длилось с перерывами почти сорок лет. Само же господство маньчжуров сохранялось 267 лет (до 1912 г.), после чего верховная власть снова вернулась к китайцам.

Таким образом, в китайской истории неоднократно повторялась ситуация, когда иноземное завоевание сменялось восстановлением суверенитета ханьской нации. В рассмотренных нами трех случаях из четырех происходило освобождение страны от иноземного ига с восстановлением независимой китайской государственности. В смене этих периодов и этапов имели место не только явная повторяемость, но и некий элемент регулярности. Все это наносило огромный ущерб Китаю, каждый раз отбрасывая его назад в экономическом, демографическом, социальном и культурном отношении.

Другим отрицательным фактором в истории Китая была периодическая смена централизованного государства несколькими царствами или княжествами. В мировой истории подобное явление нередко. Так, и Западная Европа, и Русь в свое время прошли через стадию феодальной раздробленности. Тем не менее в обоих случаях это была одна-

единственная фаза децентрализации, хотя и довольно затянувшаяся. В Китае же таких фаз было несколько.

Первая из них охватывает два смежных периода — Чуньцю (771–475 гг. до н.э.) и Чжаньго (475–221 гг. до н.э.). На протяжении пяти с половиной столетий вместо единого государства существовали «Разделенные царства», «Сражающиеся царства», «Пять [царств]-гегемонов» и т.д. Так, в эпоху Чжаньго страна распалась на десять царств. В 228–221 гг. до н.э. с территориальной раздробленностью было покончено силой централизованных империй Цинь и Хань.

Второй этап децентрализации наступил с 220 г. н.э. Тогда Китай распался на три части (царства Вэй, Шу и У). Этот период Троецарствия длился 60 лет — до 280 г., когда страна была объединена под властью династии Цзинь.

Третья фаза политической раздробленности началась в 311 г. Тогда в Северном Китае одно за другим возникли «Шестнадцать царств пяти северных племен», племен *сюнну*, *цзэ*, *ди*, *цян*, *сяньби*. В Южном Китае сохранялась власть китайских «Шести династий», сменявших друг друга. Этот период раздробленности продолжался без малого 280 лет — до 589 г., когда весь Китай был объединен династией Суй.

Четвертый этап раздробленности связан с крушением империи Тан в 907 г. Тогда начался период «Пяти династий и десяти царств». Это смутное время длилось почти полстолетия и завершилось в 960 г. объединением страны под эгидой империи Сун (Северная Сун).

Пятая фаза децентрализации наступила с нашествием «северных варваров» в середине X столетия. Тогда в Северном Китае, как уже говорилось, было создано три государства — киданьское Ляо, тангутское Западное Ся и чжурчжэньское Цзинь. В то же время на юге существовала империя Южная Сун. Этот период продолжался до 1279 г., когда весь Китай оказался завоеванным монголами.

Шестой период раздробленности совпадает с маньчжурским завоеванием Китая. Тогда в течение примерно двадцати лет (1659–1683) страна была разделена на пять государств — империю Цин, три «данических» княжества и «царство» Чжэнов. После этого страна была объединена.

В первой половине XX столетия наступил последний, седьмой, этап децентрализации — господство милитаристских группировок. Он начался в 1916 г. и кончился японской агрессией в конце 30-х годов.

Таким образом, периодическая сменяемость ситуации «централизация — раздробленность» стала одной из закономерностей китайской истории на протяжении почти трех тысяч лет.

Что касается Запада, а также России, то фактор феодальной раздробленности не стал закономерностью. Здесь он остался единичным

этапом и не оказал отрицательного влияния на ход эволюции. Иное дело Китай, где территориальный распад повторялся семь раз, принося экономике и социуму разного рода беды. Если централизация в той или иной мере играла позитивную роль, то распад — отрицательную. Что же касается их многократной смены, то такого рода рывки сначала вперед, затем назад мешали общему поступательному движению страны от Древности до Новейшего времени.

Одной из важных особенностей истории Китая был его периодический распад на две половины — Север и Юг — по границе между долинами Хуайхэ и Янцзы. До начала IV в. такого распада не наблюдалось, и страна существовала как некое целое. Первое отделение Севера и Юга друг от друга произошло в период Наньбэйчао (317–589) и длилось более 250 лет. Затем в эпоху Суй–Тан (581–907) страна вернулась к прежнему единству. Второй распад на Север и Юг пришелся на период Удай шиго (907–960) и длился полстолетия, после чего империя Северная Сун вновь восстановила целостность страны. Третий раздел Китая на северную и южную части насчитывал полтора столетия (1127–1279). Единство этих территорий было восстановлено при династии Юань и сохранялось империей Мин до 1644 г. Четвертое отделение Юга от Севера произошло в период маньчжурского завоевания, когда без малого 40 лет (1645–1681) к югу от Янцзы власть находилась в руках сначала так называемой династии Южной Мин, а затем «трех князей-данников». После этого единство страны было восстановлено под эгидой династии Цин. Пятый распад на Север и Юг был весьма коротким (1911–1913). При этом в эпоху Средневековья политический центр Китая не один раз перемещался с Севера на Юг и обратно, а экономическим, социальным и культурным центром страны в XI–XII вв. стал Цзяннань — район в долине нижнего течения Янцзы.

Таким образом, в истории Китая на протяжении более полутора тысяч лет (317–1913) целостность страны периодически сменялась распадом на Север и Юг. Чередование таких фаз, или дихотомий «единство страны — противостояние ее частей», было не только сменой позитивного начала негативным, но и своего рода закономерностью, проявлявшейся в периодическом повторении данной ситуации.

В истории Китая прослеживается и такое явление, как чередование двух политических начал — великодержавности и упадка государственности. Под великодержавностью здесь понимаются выход империи за прежние пределы, завоевательные войны, территориальные захваты, наличие протекторатов и собственно статус великой державы. Под упадком государственности мы подразумеваем отсутствие перечисленных выше признаков и, главное, утрату территориальной целостности. С учетом этих критериев история Китая после эпохи Ранней

(Западной) Чжоу выглядит следующим образом. Упадок государственности (VIII—III вв. до н.э.) — великодержавие Хань — распад государственности (III—VI вв. н.э.) — великая империя Тан — деградация государственности (X в.) — империя Северная Сун — распад государственности (XIII—XIV вв.) — великие державы Мин и Цин — упадок государственности (начало XX в.). Перед нами явная повторяемость стандартной ситуации «великодержавность — деградация государственности — восстановление могучей империи — ее распад». Фактор постоянной смены этих двух состояний, регулярное чередование одних и тех же фаз свидетельствует о стойкой закономерности, проявлявшейся в периодической смене этих двух антиподных состояний в эволюции китайской государственности. Своего рода пульсация от обычной государственности к великодержавию, а от него — к политическому распаду с последующим возрождением великой империи — такое состояние как бы заложено в генотипе китайской модели.

При взгляде на китайскую историю с точки зрения смены эпох и периодов возникает картина явного чередования позитивного и негативного начал, восходящей и нисходящей тенденций. Здесь вырисовывается такая последовательность: Западная Хань (подъем), Синь (спад), Восточная Хань (восхождение), Сяньго (снижение), Западная Цзинь (улучшение), Наньбэйчао (ухудшение), Суй и Тан (расцвет), Удай (падение), Сун (процветание), Юань (упадок), Мин (восхождение), начало Цин (спад). Таким образом, при каждой сильной династии и могучей империи вслед за периодом подъема наступает время политической раздробленности, междоусобицы, смуты и послевоенной разрухи, т.е. происходит во многом смена «порядка» «хаосом». При этом «темный» период сводит на нет все или многое из того, что было достигнуто в «светлую» эпоху. Вырисовывается четкая и последовательная смена подъемов и спадов, движение «вперед — назад», «вверх и вниз». Поступательность сменяется застоєм и откатом назад. Страна всякий раз возвращается если не в исходное состояние, то на позиции прошлого с повторением одного и того же сценария, т.е. в исторической эволюции Китая устанавливается некий баланс противоположностей, равновесие, переходящее в топтание на месте. Периодическая смена «порядка» «смутой» есть во многом разрушение ранее созданного. Смена «хаоса» «стабильностью», в свою очередь, ведет к восстановлению ранее разрушенного. Таким образом, история Китая являет собой бесконечную смену не только дихотомий «порядок — хаос», но и оппозиций «созидание — разрушение», колебаний типа «вверх — вниз», «вперед — назад», «поступательность — стагнация». Противоборство этих антагонизмов порождает тенденцию торможе-

ния и застоя. Вместо четкого поступательного движения от низшего к высшему происходит постоянное колебание между ними. От одной фазы подъема к другой намечается некоторый прогресс, но он во многом обесценивается следующей фазой спада. Складывается ситуация типа «шаг вперед, шаг назад» с преобладанием торможения над движением. Здесь нет абсолютного застоя, но отсутствует непрерывный прогресс. Если эту закономерность представить в виде графика, то она будет выглядеть некой синусоидой. В связи с этим на первый план выходит фактор повторяемости уже пройденной стадии.

Очевидно, что для китайской истории характерно постоянное чередование стандартных этапов, типовых ситуаций, ставших привычными процессов. Все это сочетается с регулярным возвратом к традиционным образцам с периодическим восстановлением ранее разрушенного, с откатом назад — в прошлое. Такого рода постоянная повторяемость и неуклонное возвращение в русло традиционности, а то и к нормативам древности действует как всеобщая закономерность китайской исторической эволюции. Чередование поступательности и возвратности с явным преобладанием последней в итоге создали такой тип эволюции, при котором застой оказывался во многом сильнее движения по восходящей линии. Если на Западе «история повторяется» раз-другой, то в Китае «история повторяется» регулярно и постоянно. И в этом одна из основных закономерностей эволюции Среднего государства, когда в его истории помимо повторяемости господствуют такие черты, как прерывистость, возвратность, заторможенность и пребывание в состоянии застоя. Все эти закономерности с особой четкостью проявлялись в циклическом варианте исторической эволюции Китая.

Начиная с эпохи Хань (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.) в эволюции Среднего государства явственно проявляется фактор цикличности. Речь идет о чередовании социально-экономических, демографических, династических циклов. (Данная закономерность наиболее полно изучена С.А. Нефедовым. Не имея возможности подробно излагать здесь теорию и практику циклического движения, мы отсылаем читателя к его работам.)

В ходе каждого такого цикла происходили масштабные экономические, социальные и демографические процессы. Кроме того, каждый цикл был ознаменован правлением новой династии. Поэтому они именуются и династийными, и демографическими, и социально-экономическими. Каждый новый цикл наступал после гигантской военно-политической и социально-экономической катастрофы. Последняя была результатом либо внутренних процессов, либо воздействия внешнего фактора, либо сочетанием того и другого. В одних случаях это была

полномасштабная крестьянская война, сопровождающаяся действиями карательных войск. В других — иноземное вторжение с севера, когда кочевники или полукочевники завоевывали всю страну либо ее часть. Третьим вариантом катастрофы становилось сочетание крестьянской войны с иноземным завоеванием Китая монголами или маньчжурами. Четвертым — вооруженная борьба за изгнание завоевателей. Последняя кончалась либо победой над захватчиками, например монголами, и изгнанием их, либо поражением и установлением иноземного ига, например маньчжурского.

При развертывании любого из этих четырех вариантов военные действия на территории Китая не прекращались по несколько десятилетий. Тем самым новый династийный социально-демографический цикл начинался с фазы глубокой разрухи и опустошения огромных территорий. После гибели миллионов, а иногда и десятков миллионов людей масса земли оставалась необработанной, а поля зарастали сорняками. Катастрофическое разорение обширных районов являлось результатом поджогов, грабежей и убийств в ходе иноземных завоеваний и социальных катаклизмов. К этому добавлялись разрушения и жестокости, чинимые карательными армиями и местными войсками в ходе массовых операций против повстанцев. В результате по сравнению с предкризисным периодом население этих зон сокращалось вдвое-втрое. Таким образом, одним из важнейших последствий фазы катастрофы была гибель огромного числа непосредственных производителей. Сопоставление разного рода исторических источников позволяет сделать вывод, что всего за годы крестьянских войн и иноземных завоеваний страна теряла десятки миллионов человек. Так, за период крестьянских войн и национальных восстаний с 1851 по 1877 г. погибло 118 млн. человек. Наибольшая разруха и самое резкое падение демографического потенциала наблюдались либо в зонах крестьянских войн, либо в регионах, оказывавших наиболее яростное сопротивление иноземным завоевателям. Так, после подавления крестьянских войн тайпинов и няньцзуней самыми разоренными оказались провинции долины Янцзы, где длительная полоса военных действий привела к резкому сокращению общей численности населения. Кроме того, количество мужчин, как обычно в таких ситуациях, уменьшилось значительно сильнее женского населения. Имели место низкие темпы прироста и общий демографический застой.

Как уже говорилось, колоссальный урон несло сельское хозяйство. Крестьяне-старожилы и переселенцы, не имея сил и возможностей использовать большие участки под зерновые, зачастую засаживали пустующие участки не зерновыми, а туковыми деревьями, поскольку это не требовало большого вложения живого труда.

В период военных действий забрасывалась значительная часть ранее использованных земель. Площадь обрабатываемой земли после окончания крестьянских войн и иноземных завоеваний находилась на уровне, предшествовавшем фазе кризиса. Резко сокращались налоговые сборы. Поступления от поземельного налога оказывались иногда почти вдвое меньшими, чем прежде. Очередная династия и новое правительство, так же как и местные чиновные и землевладельческие круги, были крайне обеспокоены всеми этими обстоятельствами. Местные верхи требовали от правительства уменьшить налоговую разверстку с контролируемых ими провинций. Сохраняя официальные ставки в прежнем виде, казна шла на некоторое сокращение налоговых поступлений с того или иного из разоренных районов. С населения взимали деньги и зерно не за все пустующие земли и дворы, а только за часть их. Общий упадок сельскохозяйственного производства приводил к резкому снижению уровня потребления продовольствия. В сельской местности пустующей земли много, а людей и пашни мало, почва отдыхала от интенсивной эксплуатации. Устанавливаются низкие цены на землю, зерно и иное продовольствие, зато держатся высокие цены на рабочую силу. Начинают разводить рабочий скот. Наблюдается резкое падение рыночного хозяйства и торговли при сильнейшей натурализации экономики. В связи с крайним сокращением ремесла и торговли города также находятся в жалком состоянии, равно как и деревня. Поэтому вопрос об экономическом лидерстве между ними не стоит. В этой фазе цикла государственный сектор сельского хозяйства (казна — налогоплательщик крестьянин) полностью господствует над частным сектором (землевладелец—арендатор). Наблюдается резкое ослабление крупного землевладения и слоя богатых *шэньши* при столь же резком сокращении арендной и ростовщической сфер эксплуатации.

Иноземные завоевания, крестьянские войны и подавление народных движений сопровождалось не только физическим уничтожением многих миллионов крестьян и ремесленников, но и массовым разрушением средств производства. Пустыри встречались среди прежде самых густонаселенных провинций. Дороги приходили в негодное состояние, каналы заиливались, мосты разрушались, дорого стоявшие сложные системы орошения выводились из строя.

В результате менялось лицо страны, приходили в негодность коммуникации, изменялось течение рек, разрушались морские и речные дамбы, цветущие поля превращались в дикие заросли, а укрепленные города — в груды развалин.

Особенно страдали наиболее уязвимые в условиях войны города. Множество уездных и окружных центров, областных городов, в пер-

вую очередь в наиболее развитых восточных и центральных провинциях, таких как Цзяннань, частично или полностью разрушались. Десятки городов лежали в руинах или почти обезлюдели, от некоторых оставались лишь крепостные стены. Торгово-ремесленные центры опустошались. Прекращали свое существование тысячи мастерских и мануфактур. Так, взяв Нанкин, тайпины уничтожили крупнейшие в стране императорские шелковые мануфактуры. Резко сократилось число ткацких станков в черте городов и в окрестных деревнях. В Цзиндэчжэнь, например, тайпины уничтожили императорские печи, чтобы истребить самую память о поставках фарфора ненавистным маньчжурам. Резко упало и частное производство фарфора. К окончанию Крестьянской войны число действующих в городе печей сократилось более чем в десять раз.

Колоссальные потери несла торговля и ростовщическая среда, чьи деньги и имущество становились добычей завоевателей и повстанцев.

К этому добавлялась разруха, царившая на транспорте, особенно в зоне активных военных действий. В городах были разрушены мосты, на Янцзы, Хуанхэ и Великом канале уничтожены паромы, речные джонки. Дороги размывались и зарастали кустарниками. На обширных территориях и после окончания войн и восстаний дороги не были безопасными. Здесь еще действовали мелкие отряды повстанцев, хозяйничали «сельские молодцы» из числа местных карателей.

В ходе крестьянских войн и иноземных завоеваний приходили в упадок оросительные и дренажные системы провинциального значения, крупные ирригационные сооружения. В результате часть плодородных земель превращалась в пустоши и болота. Резко ускорялся рост пустошей в результате засоления и заболачивания почвы в приморских районах.

В фазе кризиса неуклонно сокращались ассигнования на ремонт дамб и расчистку русел рек и каналов. В фазе катастрофы такие работы, по сути, прекращались из-за отсутствия средств, развала госаппарата и военных действий. В итоге колоссальные разрушения в ходе разного рода военных действий на значительной территории страны трагически переплетались с усилением стихийных бедствий, отчасти вызванных обветшанием крупных защитных и ирригационных сооружений, а также разрушением мелких периферийных оросительных систем. Так, летом 1855 г. в результате 12-дневных дождей Хуанхэ, до этого текшая на юго-восток и впадавшая вместе с Хуайхэ в Желтое море, прорвала дамбу у Тунвасяна близ Кайфэна. Уничтожая на своем пути деревни, города и посевы, река потекла на северо-восток, проложив себе дорогу в Бохайский залив. Эта гигантская катастрофа привела к гибели около 7 млн. человек. Кроме того, в период разрухи мно-

гие провинции испытывали сильные засухи, наводнения, ураганы, нашествия саранчи и другие стихийные бедствия.

Миллионы людей гибли от голода. Так, за период 1851–1865 гг. только в зоне карательных действий против тайпинов погибло около 20 млн. человек. Резкое сокращение населения и его обнищание соответственно снизили возможность сбыта товаров. Дезорганизация и деградация внутреннего рынка страны вела к временному омертвлению торгового, производственного и ссудного капиталов.

Захирение городской экономики осложнялось многолетним разрывом хозяйственных связей города и деревни, упадком торговых форм производства и натурализацией экономической жизни. Резкое сокращение внутренней торговли вело к массовому изъятию капитала из сферы обращения, омертвлению и переводу его в драгоценности. Тем самым значительный урон наносился торгово-ростовщической среде наиболее развитых областей страны. Разруха в земледелии и промышленности, застой в торговле, хаос на денежном рынке страны создавали комплексную ситуацию хозяйственного упадка, продолжавшегося многие годы. Затяжной его характер, медлительные темпы восстановления экономики определялись тем, что военные, социальные и экономические факторы переплетались с кризисными явлениями системного порядка.

В начале каждого цикла к власти приходила новая династия и очередная генерация бюрократии — оздоровившаяся и еще далекая от разложения. Этот новый эшелон «класса-государства» приносил с собой низкие налоги, отсутствие произвола, «справедливое» управление, скромный достаток, т.е. жизнь в основном на чиновничье жалование и следование моральным принципам конфуцианства. Происходило значительное оздоровление политической надстройки. Существенно очищалась вершина властной вертикали, укреплялся госаппарат. На смену старому разложившемуся чиновничеству приходила новая, сравнительно честная бюрократия. С разгромом повстанческих отрядов, крестьянских армий и разбойных банд, с установлением социального и полицейского порядка военные постепенно утрачивают свое лидерство в рамках системы. Ведущая роль постепенно переходит к штатской бюрократии. Кончается время полководцев, военачальников и офицеров правительственных войск, провинциальных вооруженных сил и частных местных воинских соединений. На местах — на уровне низовой суббюрократии сельских *шэньши*, крупных и средних землевладельцев — происходило частичное очищение от наиболее одиозных лидеров и ненавидимых крестьянством «местных деспотов». Наученная кровавым опытом фазы катастрофы местная верхушка становилась более скромной и осторожной. Такого рода обновление властных сфер способствовало нормализации обстановки на местах, возрожде-

нию экономики и плавному движению от фазы разрухи к фазе восстановления, а от нее к фазе стабилизации. Таким образом, каждый предыдущий цикл в конце своей последней фазы (катастрофа) приносил оздоровление арендно-бюрократической системе. При этом происходило оздоровление и базиса (ликвидация чрезмерных «ножниц» между быстрым ростом населения и крайне медленным увеличением пахотной площади), и надстройки (становление новой династии, новой бюрократии, существенное обновление шэньшуйской элиты). Практически обновлялась вся система, что открывало возможность развертывания нового полнокровного и длительного (до 200–300 лет) очередного цикла. Данное движение начиналось с переходом от фазы разрухи к фазе восстановления.

Для фазы восстановления каждого цикла были характерны политическая стабильность, оживление сельской экономики, повышение производительности труда в сельском хозяйстве, рост производства продовольствия на душу населения, постепенное повышение уровня потребления и снижение разрыва между слабо и сильно разоренными районами. В некоторых циклах эта фаза характеризуется внедрением новых сельскохозяйственных культур, умеренным ростом населения, постепенным уменьшением количественного разрыва между мужчинами и женщинами.

Серьезное обезлюдение зон наиболее длительных и ожесточенных военных действий на несколько десятилетий снимало в этой части Китая прежнюю остроту аграрного перенаселения и земельного голода. В наиболее разоренных районах прирост налогоплательщиков шел особенно медленно. Здесь казна и местные власти практиковали бесплатную или за одну треть урожая раздачу тех пустующих участков, на которые по тем или иным причинам не были предъявлены права прежними хозяевами или не находилось покупателей. Крестьяне могли свободно распахивать эти пустоши. К началу нового цикла крупное частное землевладение резко сокращалось. Много богатых землевладельцев погибало в период «смуты» в ходе крушения очередной династии. Иногда частный сектор землевладения сокращался до одной трети всей обрабатываемой площади Китая. В противовес ему резко возрастал государственный сектор земледелия, на долю которого приходилось две трети всех пахотных площадей страны. Тем самым фактически восстанавливалась традиционная надельная система, хотя ее установление не всегда формально объявлялось. Тем не менее главной фигурой в деревне становился крестьянин — наследственный держатель государственной земли. Такой земледелец-налогоплательщик выступал полувладельцем, полурендатором земельной собственности казны. Кроме того, обстановка всеобщей разрухи и обезлюдения мно-

гих районов вела к установлению низких налогов — как в государственном, так и в частном секторе земледелия. В начале правления новой династии в годы неурожая казна продавала рис и пшеницу из зернохранилищ по низким ценам и тем ликвидировала нехватку продовольствия. Все крестьянство, т.е. земледельцы обоих секторов (частного и государственного), несло единую трудовую повинность. От каждой деревни в распоряжение чиновников выставлялось определенное число мужчин. Каждый из них должен был отрабатывать до одного месяца, чаще всего на земляных работах, т.е. на отсыпке дамб и плотин, расчистке и рытье каналов, на ремонте дорог и строительстве других казенных сооружений. Из-за сокращения населения количество мобилизуемых на эти работы крестьян было невелико. Резкое снижение налоговых поступлений лимитировало объемы работ. Намечавшиеся планы восстановления и реконструкции отдельных ирригационных систем и сооружений, иногда грандиозные по своему замыслу, долго оставались главным образом на бумаге. Лишь спустя много лет ликвидировались наиболее опасные разрушения. Каждая новая династия так и не могла выработать единого плана восстановления разрушенного хозяйства, и последнее поднималось стихийно, за счет труда местного и пришлого населения. С окончанием военных действий постепенно начиналось стихийное переселение крестьян из менее пострадавших провинций в опустошенные районы. При этом большие трудности, связанные с обоснованием на новом месте, вынуждали какую-то часть новоприбывших переходить в зависимость к местным крупным землевладельцам и крестьянам-старожилам, становиться (на длительное время или навсегда) их арендаторами, должниками или батраками. Несмотря на наличие свободных земель, между переселенцами и старожилами часто происходили кровавые столкновения. В начале каждого цикла власти в целом держали свое обещание предоставить льготы новым поселенцам. Последние не платили налогов первые несколько лет после обустройства на новом месте. Благодаря этому здесь возникало много самостоятельных крестьянских хозяйств, получивших освоенную ими залежь на правах длительного владения. Во многих разоренных деревнях подавляющее большинство крестьян являлось переселенцами. После ряда лет работы на земле они становились ее владельцами, обязанными помимо налогов платить определенную сумму местным старожилам — крестьянам и крупным землевладельцам — за право пользования ею.

Важные процессы происходили в сфере землевладения. Несмотря на то что прежние права местных крупных землевладельцев обычно полностью восстанавливались, в разоренных районах образовывались большие площади бесхозных земель. Последние объявлялись казен-

ными и затем шли в распродажу — с немедленной оплатой или же с рассрочкой. Продавалась эта земля в первую очередь тем, кто мог сразу же внести полную стоимость, иначе говоря — крупным землевладельцам, *шэньши*, отслужившим чиновникам и торговцам.

Обстановка послевоенной разрухи и обезлюдения многих районов использовалась командным составом карательных армий и связанными с ним шэньшискими кругами для захвата больших массивов брошенной и бесхозной земли. Таким образом, за счет скупки и захватов пустующих земель возникало новое крупное землевладение. В регионах наибольшего размаха военных действий и народных движений разруха заметно изменяла соотношение между крупным и крестьянским землевладением. Так, если до начала «смуты» здесь основная масса земли принадлежала «богачам» и сдавалась в аренду, то по окончании военных действий значительная, а иногда и подавляющая часть земли оказывалась во владении крестьян. В период разрухи временные и частичные уступки крестьянству сразу после окончания военных действий были характерны и для «помещичьей» среды, пережившей ужасы крестьянской войны. О немедленном возврате к прежнему уровню эксплуатации в новых условиях не могло быть и речи. Восстановив свое экономическое и политическое господство, крупные и средние землевладельцы в повседневной практике старались не доводить крестьян до крайности. На какое-то время смягчались условия аренды и ростовщических ссуд, уменьшались произвол и обман в отношении держателей земли и должников.

Сокращение населения в разоренных войной провинциях и рост мелкого крестьянского землевладения приводили к временному упадку института аренды. Последнее вынуждало землевладельцев идти на серьезные уступки крестьянам. Для того чтобы привлечь арендатора, владельцы земли часто соглашались в течение трех лет не взимать арендную плату. В других случаях крестьяне привлекались на таких же условиях, но при этом должны были с арендуемого участка платить за его хозяина поземельный налог.

Заметные изменения происходили и в самих формах аренды. Наиболее важным следствием разрухи обычно была регенерация «вечной» аренды. Острая потребность в рабочих руках арендаторов, стремление получать хоть какую-нибудь ренту с пустующей земли вынуждали местных землевладельцев сдавать участки на самых льготных для крестьян условиях — на праве «вечной» аренды. Ее широкое распространение в разоренных районах стимулировалось не только «снизу» — уступчивостью землевладельцев, но и «сверху» — приказами властей. Последние стремились таким путем усилить приток переселенцев, соответственно увеличить налоговые поступления и одновременно пре-

дотворить новую вспышку восстаний. В результате именно самые разоренные провинции становились зонами наибольшего распространения «вечной» аренды.

Тем не менее восстановление разрушенного хозяйства в зонах активных и длительных военных действий, как правило, шло достаточно медленно. Спустя много лет после окончания «смуты», крестьянских войн и завоеваний целые округа и уезды все еще находились в состоянии разорения и обезлюдения. Значительные площади некогда пахотных земель оставались заброшенными. Переселенцы, несмотря на значительный резерв пустующих земель, обрабатывали, как правило, небольшие, бывшие им по силам участки. К концу фазы восстановления остается очень мало свободных, т.е. заброшенных или ничейных, земель — почти все занято и распахано. Укрепляются крестьянские хозяйства, разводится рабочий скот. Устанавливаются низкие цены на землю и зерно, но высокие цены на рабочие руки. Растет уровень массового потребления. Налоги невысоки, нет произвола чиновников. Государственный сектор (казна — налогоплательщик крестьянин) прочно господствует, однако растет частный сектор (землевладелец–арендатор). Начинает возрождаться крупное землевладение, хотя арендная и ростовщическая эксплуатация весьма умеренна. Сельское хозяйство набирает обороты. Несмотря на возрождение городов, земледелие восстанавливается быстрее и масштабнее. Деревня выходит вперед по сравнению с городской экономикой.

По мере нормализации обстановки неизменной оставалась традиционная для каждой династии практика постепенного усиления налогового обложения крестьян — владельцев земли. Как правило, сохранялись прежние «местные» налоги. Кроме того, в годы «смуты» правительство вводило ряд новых временных налогов и экстренных надбавок, которые в последующем так и не отменялись. В связи с финансовыми трудностями казны появлялись новые виды прямого и косвенного обложения. Именно тяжесть арендного, налогового и ростовщического гнета толкала сельских тружеников к переселению в разоренные войной районы в надежде обзавестись своей землей и получить налоговые послабления на ряд лет.

Несмотря на все трудности, появлялись признаки восстановления городской экономики, особенно за счет менее пострадавших провинций. Постепенно сказывалась некоторая нормализация внутреннего положения, начиналось оживление торговли, расширение ее оборотов и спроса на товары. Вместе с тем оживление торговых связей и рыночной экономики тормозилось налоговой политикой правительства. В связи с финансовыми трудностями казны происходило постепенное увеличение поборов с провозимых товаров. Разрыв экономических свя-

зей, захирение ремесла, падение землевладельческих доходов и покупательной способности бывших богачей весьма затрудняли восстановление и широкий размах ростовщической деятельности в разоренных городах и провинциях. Осевшие в годы войны в виде мертвого капитала средства крайне медленно возвращались к прежнему функционированию.

Медленно возвращалась в обычное русло городская жизнь. В ремесле и торговле шло восстановление корпоративного строя, нарушенного военными действиями и экономическим хаосом. Вновь входили в силу цеховые уставы, многие положения и запреты, которые практически не соблюдались в период восстаний и военных действий. С годами городские корпорации (*хан, бан, хуйгуань и гунсо*) постепенно ликвидировали нарушения, применяли строгие меры по укреплению внутренней организации и охране своих интересов в конкурентной борьбе с другими корпорациями. Основная борьба против размывания цехов и гильдий шла по таким кардинальным вопросам, как правила вступления в *хан* ремесленников со стороны, открытие мастерских и лавок, прием подмастерьев, набор учеников и сбыт продукции. В целом же упорядочение уставов сводилось к восстановлению старых порядков. Городские корпорации повсеместно отстраивали свои общие здания (помещения гильдий, их правлений и кумирни), разрушенные или обветшавшие за годы «смуты».

Начиналось медленное возрождение частного шелкомотального и шелкоткацкого производства. Большую роль в этом играло расширение сырьевой базы в результате массовых посадок тутовых деревьев на заброшенных землях.

Постепенно возрождался и казенный сектор городской экономики. Восстанавливались государственные шелковые, прядильно-ткацкие и красильные мануфактуры, занятые поставками императорскому двору и армии. Шло восстановление императорских фарфоровых мануфактур, медеплавильных печей и монетных дворов. Тем не менее при всех трудностях фаза восстановления каждого очередного цикла приносила свои плоды и носила комплексный характер. В ходе восстановления происходила массовая распашка заброшенных земель, росло поголовье рабочего скота, приводилась в порядок ирригационная система. Увеличивались урожайность зерновых и их валовой сбор. На этой продовольственной базе возрождалась городская и внегородская экономика — мастерские, мануфактуры, торговля, кредит, шахты, рудники, прииски и транспорт. Вся хозяйственная и социальная система поднималась к своему нормальному, т.е. оптимальному, уровню.

В фазах разрухи и восстановления малые размеры прибавочного продукта в сельском хозяйстве, невысокие доходы казны и крупных

землевладельцев не позволяют содержать многочисленное чиновничество с его окружением, т.е. кандидатами на должность, стажерами и *шэньши*. Поэтому численность бюрократии и «ученого» сословия оставалась крайне ограниченной. Устанавливается прочное господство штатских чиновников над военными. Бюрократия вынуждена в своих отношениях с народом придерживаться норм конфуцианской этики. Крупные землевладельцы и сельские *шэньши* по отношению к крестьянам стараются быть умеренными, «добрыми» и «справедливыми». Таким образом, не только сама реальная обстановка в экономике и социуме, но и политика китайской деспотии в начале каждого цикла способствовала плавному движению от одной фазы цикла к другой. В итоге совершался переход от стадии разрухи к стадии восстановления, а от нее — к фазе стабилизации системы.

В фазе разрухи и на стадии восстановления необработанной, т.е. заброшенной, земли было намного больше, нежели рабочих рук. Население росло и поднимало залежь. Наступал период стабилизации, т.е. равновесия между площадью пашни и численностью крестьянских дворов. Восстановлению и стабилизации экономики в ряде циклов способствовали разного рода технические и селекционные новации — внедрение новых сельскохозяйственных культур, появление новых удобрений, усовершенствование земледельческих орудий и деревенской техники. В эпоху Сун (960–1270) наиболее значимым явилось внедрение новых сортов скороспелого риса, в первую очередь южновьетнамского. Политическая стабильность и рост сельскохозяйственного производства вели к увеличению уровня массового потребления, к достижению среднего уровня достатка, способствующего росту численности населения. Полностью ликвидируется разрыв между ранее сильно- и слаборазоренными районами. Происходит неуклонный рост населения, со временем его высокие темпы постепенно становятся более умеренными. Устанавливается количественное равенство между мужчинами и женщинами. Рост населения начинает превышать темпы увеличения пахотных площадей, производства зерна и иного продовольствия. В результате этого появляются первые сегменты избыточного населения при явной тенденции его роста. Устанавливается шаткое временное равновесие между площадью земли и деревенским населением. Уже нет свободных, т.е. ничейных и пустующих, земель — все поделено и распахано. Земля и зерно дорожают, а рабочие руки дешевеют. Труд человека вытесняет рабочий скот и сводит его применение к минимуму. Идет рост деревенских подсобных промыслов и торговли. Быстро растет частный сектор — крупное землевладение, арендная система и ростовщичество. Казенный сектор (казна — налогоплательщик крестьянин) все более сокращается. Крестья-

янство начинает терять свою землю и переходить к аренде чужой. Появляется избыточное население. Начинается уход «лишних» людей из деревни в города, в ремесло, на мануфактуры, на шахты и рудники, на транспорт.

Людские потери, понесенные в период «смуты», завоеваний, крестьянских движений и карательных операций, в целом восполнены. Восстанавливалось и довоенное соотношение между пахотной площадью и населением. Увеличение населения за счет естественного прироста постепенно приближало страну к довоенному уровню аграрного перенаселения. Причем происходило это на фоне стабилизации уровня зернового хозяйства. В этих условиях шло неуклонное движение к обострению продовольственной проблемы. Одновременно шаг за шагом растут налоги, трудовые повинности, арендная плата и ростовщические проценты. На фоне «справедливых» сельских богачей появляются жестокие эксплуататоры — «местные деспоты» и «злые *шэнь-ши*». По мере упрочения традиционных устоев, поколебленных «смутой» и «хаосом», постепенно возрождается тенденция к ухудшению условий аренды. Растут ставки «подвижной» ренты, увеличиваются размеры залога при денежной ренте, повышается норма перевода зерна в деньги при «переводной» аренде. В рисовых районах издольщина заменяется фиксированной рентой. Ее реальный объем все более превышает ранее установленные нормы. Размер арендной платы в основном все же не превышает половины урожая, а в ряде случаев даже ниже этого уровня. Тем не менее в условиях измельчания участков и роста семей условия найма земли ухудшаются и уровень жизни арендаторов постепенно снижается.

Нормализация положения в стране не избавляет сельское хозяйство от губительных ударов стихии. От них в некоторые годы страдают сотни округов и уездов. Засухи сменяются наводнениями и ураганами. Ко всему этому добавляются эпидемии и нашествие сельскохозяйственных вредителей. Неблагоприятные годы, отмеченные засухами, наводнениями, голодом и эпидемиями, бывали во всех фазах каждого цикла. В фазах разрухи и восстановления эти удары стихии оказывались наиболее губительными для населения. В фазе стабилизации оздоровившаяся система находила в себе силы и возможности для смягчения этих ударов и более быстрого залечивания такого рода ран, после чего общая поступательная тенденция восстанавливалась.

Между тем расширяются ирригационные работы, временами ведется реконструкция Великого канала, усиливается городское казенное строительство. Восстанавливаются ранее пришедшие в упадок мелкие, средние и крупные дамбы и плотины. Все это, со своей стороны, поддерживает быстрый рост населения и расширение обрабаты-

ваемых площадей. Развивается торговля и сфера городской промышленности — ремесло, мастерские и мануфактуры. Восстанавливаются заброшенные и открываются новые шахты и рудники. Внедеревенская экономика набирает силу. Между деревней и городом достигается условное равенство в плане экономического и социального подъема. Создается некий баланс между ними в рамках общей стабилизирующей системы.

По мере движения от одной фазы цикла к другой соответственно менялись роль и состояние госаппарата, характеристики местной бюрократии, центрального аппарата и императорского двора.

В начале каждого цикла в чиновном аппарате доминировал крайне низкий уровень зарплат, а среди самих функционеров было много выдвинутых из простого люда. Культивировался конфуцианский идеал чиновника — скромного, честного, исполнительного управленца, бескорыстного и близкого по духу и уровню жизни к простому народу. С ростом прибавочного продукта и налоговых поступлений увеличивается численность бюрократии и *шэньши*. Данный процесс стимулируется большими возможностями обогащения за счет казнокрадства, взяточничества и лихоимства. Эти возможности порождают семейственность, кумовство и протекцию для родни, земляков и друзей. Растет многочисленное околичинное окружение — стажеры, кандидаты на должность и соискатели более высоких ученых степеней *шэньши*. Рост арендных и ростовщических доходов позволяет крупным землевладельцам — «большим домам» покупать ученые степени или получать их путем подкупа экзаменаторов. В итоге быстро увеличивается среда сельских *шэньши*, соискателей высоких степеней и кандидатов на чиновные должности. Происходит укрепление господства штатской бюрократии над военными, чиновный *ямэнь* руководит армейскими частями и лагерями.

Начинается постепенное разложение госаппарата. Средства, выделяемые казной на ремонт дамб, плотин и иных ирригационных и защитных сооружений, разворовываются либо используются не по назначению. Возникает коррумпированность госаппарата сверху до низу — от глав центральных ведомств до мелких чинов на местах.

На стадии стабилизации резко возросло вмешательство государства в дела частных предпринимателей в сфере торговли, ростовщичества, транспорта и промышленности. Ремесло, мастерские, мануфактуры, рудники и шахты не только облагались высокими налогами, но и жестко контролировались государством, поскольку их рост и развитие резко сужали казенные монополии на производство и продажу железа, соли, чая и ряда других товаров. Торговцы и предприниматели должны были за высокую цену покупать у чиновников специальные

разрешения на свою деятельность — лицензии. Нередко власти регулировали уровень рыночных цен. Производились казенные закупки товаров и сырья у частных по заниженным ценам. Иногда запрещалась частная торговля с другими странами, т.е. существовала государственная монополия на внешнюю торговлю.

С восстановлением экономики и ростом прибавочного продукта функционеры госаппарата, все более втягиваясь в погоню за личным богатством, все меньше сил отдавали несению служебных обязанностей. Такого рода деградация бюрократической системы происходила снизу доверху — от уездного *ямэня* до дворца монарха. Среди императоров новой династии становилось хорошим тоном и почти нормой полное отрешение от «скучных и тяжелых» правительственных обязанностей и функций. Сыны Неба уже считали ниже своего достоинства говорить и думать о государственных делах. Будучи «выше» этого, они, по сути, не только переставали принимать глав ведомств и сановников с докладами, но и не допускали до своей «божественной» персоны и главу правительства. Самоустранение императоров от государственных дел создавало вакуум власти, быстро заполнявшийся гаремным окружением Сынов Неба.

Реальная власть опускалась на уровень императриц, государевых наложниц и кормилиц, а также их окружения. Многие дела решались через великих и прочих князей и принцесс, а также другую родню монархов — их матерей, дядьев, братьев и сестер. Чрезмерную роль все более играла императорская родня не только по мужской, но и по женской линии. В правящем клане (семьях государя и удельных князей) процветало многоженство, из-за чего число близкой и дальней, прямой и косвенной родни монарха росло с необыкновенной быстротой. Влияние этой среды на госаппарат становилось все более ощутимым и разлагающим.

Еще более негативным становилось воздействие на политическую систему такого института, как придворные евнухи (*тайцзянь*). В отличие от Европы дворец китайского монарха наполняли не обычные слуги, а кастраты. В традиционном Китае император — Сын Неба — считался почти божеством. Поэтому простолюдины не только не могли обслуживать Августейшего господина, но и видеть его. Пребывание во внутренних помещениях дворца, тем более в личных покоях Сына Неба, надлежало доверить особой категории лиц. Для этого и потребовался институт евнухов — людей «третьего пола», лишенных естества и ставших как бы тенью государя. Институт евнухов дал о себе знать еще в эпоху Хань. Значительную роль он играл при династии Тан, но с наибольшей силой развернулся в Минской империи. Тогда роль евнухов достигла наивысшего уровня, и сам этот институт приобрел

наиболее четкие формы. Так, в эпоху Мин дворцовые нужды и охрана обеспечивались 24 приказами, сплошь состоявшими из скопцов. Существовал особый «табель о рангах» для евнухов, включающий 10 чинов, 5 рангов и 24 должности. Каждый кастрат, имея внутриворцовую должность, как бы входил в систему императорского чиновничества. Скопцы обслуживали дворцы сыновей и внуков императора в столице и ее окрестностях. Много кастратов состояло при дворцах и усыпальницах в трех столицах империи. Евнухи сновали во дворцах удельных князей. В разное время в империи Мин, например, существовало от 30 до 40 уделов. Скопцы управляли поместьями и иными владениями родни правящего дома. Кастраты были рассеяны по многим городам и рудникам, где выполняли специальные функции надзора и руководства. Еще большее число кастратов не получило места на службе и влачило жалкое существование. К концу правления династии Мин только при самом дворе насчитывалось свыше 10 тыс. евнухов, а всего по стране — около 100 тыс.

Уже с начала XV в. евнухи «вышли» за пределы чисто внутриворцовых дел и «вторглись» в гражданское управление, военное дело и надзор. Тем самым им стали подвластны три основные сферы деятельности госаппарата. А в последующем минские императоры не боролись с усилением влияния кастратов в верхних эшелонах власти. В лучшем случае все ограничивалось казнью очередного всевластного временщика-евнуха. Введение принципа единоначалия в системе внутриворцовых учреждений позволило евнухам обрести значительную самостоятельность по отношению к власти Сына Неба. А это, в свою очередь, открыло дорогу бесконтрольному росту числа придворных кастратов.

Евнухи держали в своих руках 54 учреждения. Из них самыми обширными полномочиями обладало Управление церемоний. Стоявшие во главе его кастраты от имени императора накладывали резолюции на доклады сановников и чиновников. Они же объявляли указы от имени Сына Неба, практически подменяя монарха и явочным порядком узурпируя императорскую власть. Многие резолюции и указы просто не проводились евнухами через Императорскую канцелярию (*Нэйгэ*), которая оказалась полностью безвластным органом. Без согласия евнухов ее секретари ничего не предпринимали, боясь за свою карьеру. Впрочем, инициатива секретарей, если бы она имела место, была бы попросту похоронена скопцами. Поэтому члены Императорской канцелярии смотрели в рот главным евнухам. А те по своему разумению вершили все дела, толковали законы в свою пользу и творили произвол.

При последних императорах династии Мин евнухи обсуждали секретные дела, выносили приговоры, миловали приговоренных к смерти,

ведали столичной тюрьмой. Получив право карать и миловать, скопцы резко усилили свою реальную власть над госаппаратом. Именно к евнухам поступали прошения с мест и из столичных учреждений. К ним перешел контроль за чиновными назначениями и пожалованиями, за государственными монополиями на соль и чай, за особыми судебными делами. Кастраты держали в своих руках императорскую сокровищницу и казну, ведали усыпальницами императорской семьи, казенными шелкоткацкими мануфактурами Нанкина, Сучжоу и Ханчжоу, морскими таможнями и соляными промыслами.

Евнухи командовали крупными военными соединениями, сражавшимися против маньчжуров, выступали военными и штатскими инспекторами, закупали товары для дворцовых нужд и заготовливали провиант для войск, собирали внутренние таможенные пошлины, продовольственные и рудничные налоги. Евнухов стали назначать инспекторами на рудники. К концу периода Мин на каждом руднике был свой инспектор-евнух. Получая все новые и новые назначения, скопцы сужали сферы деятельности штатской бюрократии, военных, цензоров, придворной стражи и даже фрейлин. При династии Мин они стали по сути третьей категорией имперской бюрократии наряду со штатскими чиновниками и военными. Из гаремной «постельной стражи» скопцы превратились в особую управляющую касту. Это была наиболее привилегированная часть госаппарата, его элита, воспринимаемая самими монархами как особо доверенная и максимально преданная династии Мин.

Установлению господства евнухов способствовали личные качества сидевших на «драконовом троне» императоров — тупых посредственностей, либо жестоких самодуров, либо безмолвных ничтожеств, либо самовлюбленных жуиров. Всех их объединяла лень и отвращение к государственным делам. Думая лишь о развлечениях и наслаждениях, они отдали управление страной на откуп придворным кастратам. Свое безделье Сыны Неба считали высочайшей привилегией, не желая слушать и говорить о делах. Этим всемерно пользовались евнухи — стараясь «освободить» столь «занятых» Сынов Неба от «утомительных» повседневных «забот» правления, они решали все дела за государей. По такому молчаливому и добровольному «соглашению» реальная власть перетекла от императоров к особой касте кастратов.

Во главе империи Мин оказался «третий пол», реализовавший монархическую власть. Сложилась ситуация, когда «свита правит вместо короля» и «хвост вертит собакой». Из обслуживающего персонала в стенах дворца эта каста превратилась во властную структуру и руководящую силу в масштабах всего Китая. Причем господство евнухов зачастую не отделялось современниками от прерогатив Сына Неба.

Тем самым кастраты как бы драпировались в одежды императорской власти. А это была власть азиатской деспотии со всеми вытекающими отсюда последствиями. Черета царствующих ничтожеств не отказывала себе в удовольствии карать подданных и давать волю своим капризам, самодурству и жестокости. Насаждая среди придворной, столичной и провинциальной бюрократии раболепное послушание, кастраты и их клики всегда брали верх и сводили на нет реформы.

Евнухи умело парализовали усилия прогрессивных политиков-сановников, чиновников и ученых, прежде всего цензоров-контролеров и членов придворной Академии Ханьлинь. Влияние евнухов на императоров возрастало в периоды возникновения их мощных клик и достигало своего апогея, когда кто-то из них становился могущественным временщиком. В течение полутора веков такие фавориты по крайней мере ряд лет выступали полновластными правителями Китая.

Вынужденные ликвидировать ту или иную клику евнухов, императоры карали лишь немногих слишком зарвавшихся и одиозных лидеров. Сама же каста, ее позиции при дворе и в империи оставались незыблемыми. Императоры все чаще становились марионетками в борьбе придворных группировок, действуя по указке могущественных евнухов. В условиях минского Китая императорские фавориты, как правило, выдвигались именно из среды придворных кастратов как лиц, наиболее приближенных к «священной особе» Сына Неба. Многие евнухи-временщики были столь влиятельными, что, пользуясь своей властью и безнаказанностью, измывались над придворными.

В среде евнухов процветали казнокрадство и взяточничество. Вымогая у сановников и провинциальной бюрократии колоссальные взятки, они составляли целые состояния; захватывая частные земли и имущество, накапливали огромные богатства и становились земельными магнатами. Сидевших на бывших частных землях крестьян-арендаторов евнухи заставляли переходить под свое «покровительство». Велика была роль кастратов в расхищении казенного земельного фонда. Пользуясь своим служебным положением, они предельно запутывали учет государственных полей, исключали их из земельных реестров, утаивали их и превращали в свое частное владение. Большинство таких земель выпадало из сферы налогообложения, что резко сокращало доходы казны от государственного сектора сельского хозяйства.

Столь подробное описание роли евнухов в период Мин объясняется двумя причинами. Во-первых, минская фактура наиболее полно и ярко раскрывает природу не только данного института, но и самой китайской деспотии. С теми или иными оговорками данное описание во многом приложимо к другим периодам и династиям. Во-вторых,

роль евнухов в переходе от фазы стабилизации к фазам кризиса, а затем катастрофы проявилась именно в Минском цикле наиболее ярко и особенно негативно.

Свою отрицательную роль институт евнухов сыграл и в рамках эпохи Цин. Правда, маньчжурские императоры поначалу извлекли уроки из печальной судьбы минской династии, осознав разлагающее воздействие кастратов на госаппарат и всю систему в целом. В целом евнухам периода Цин отводилась жалкая роль. Однако, по мере того как деградировал сам режим и госаппарат, власть кастратов стала возрастать. В конце правления династии Цин они внесли весомый «вклад» в дело разложения государственности и дискредитацию императорской власти. Параллельно с этим росло крайне негативное воздействие женской половины дворца в лице императрицы Цыси и ее фаворитов.

С развертыванием каждого цикла (от начальной стадии разрухи к фазе восстановления, от периода стабильности к кризису) демографический потенциал страны резко возрастает. По разным оценкам и расчетам, к концу цикла численность населения возрастала в несколько раз по сравнению с его первыми десятилетиями. В начале фазы кризиса имеет место демографический рост и высокий уровень перенаселенности страны, вследствие чего происходит замедление темпов развития, а затем их явное снижение. Начинается быстрое нарастание избыточного населения. Возникает острая нехватка земли в деревне. Все распаханно, лишних участков не осталось, падает спрос на рабочий скот. Очень дорого земля и зерно, крайне дешевы рабочие руки. С быстрым ростом населения происходит измельчание пахотных участков, снижение душевого производства и потребления продовольствия. Все более снижается уровень жизни крестьян. Усиливается разорение дворов из-за роста налогов и долгов ростовщикам и землевладельцам, из-за повышения арендной платы. Резко ускоряется имущественное и социальное расслоение крестьянства. Деревня окончательно распадается на верхи и низы при быстром обнищании последних. Демографический потенциал начинает превышать допустимые пределы. На каждого едока приходится все меньше земли, зерна и иного продовольствия. На смену стабильности приходит кризис. «Лишние» люди смещаются в города, в сферу ремесла, торговли, горнодобывающей промышленности и транспорта. Но уход из сферы земледелия уже не смягчает беды нарастающего кризиса, ибо и в недеревенской экономике наступает переизбыток рабочей силы. Уходящие из сельского хозяйства люди оказываются выброшенными из всякого производства и иных сфер деятельности.

При жесткой перенаселенности деревни мужская часть населения частично решает свои материальные проблемы за счет женского насе-

ления. Избавляясь от лишних и бесполезных ртов, беднота продает своих дочерей и сестер. Идет продажа женщин и девушек в рабыни, наложницы и прислуги, в публичные дома. Из-за недостатка продовольствия в семье, особенно в неурожайные и голодные годы, начинается и растет практика убийства новорожденных девочек. Возникает количественный разрыв между мужским и женским населением. На всех мужчин уже не хватает потенциальных жен. В условиях нарастающей бедности все больше молодых и среднего возраста мужчин уже не могут жениться и обзавестись семьей. С потерей последнего клочка земли и работы в деревне эта холостая беднота уходит в города и на большую дорогу — в бандиты или в повстанцы.

Перенаселение деревни приводит к дроблению пахотных участков, малоземелью, нехватке продовольствия и сползанию к полуголодному минимуму потребления. Займы крестьян у богатеев и ростовщиков ведут к долговой кабале, разорению дворов и утрате своей земли. Происходит продажа по сути государственной собственности, точнее — переход в другие руки права на частное владение данным пахотным участком. Государственная собственность, или верховная собственность Сына Неба, сохраняется лишь как юридическая норма. Между тем право владения, использования, присвоения и распоряжения ею перетекает в частные руки. С ростом частного и сокращением государственного сектора поступление налоговых зерна и денег в казну соответственно снижается. Местные казенные зернохранилища приходят в упадок и разрушаются. Перенаселенность деревни, измельчание земельных участков и нехватка продовольствия ведут к распашке пастбищ, уничтожению рабочего скота. Крестьяне сами впрягаются в плуги, расширяется и крепнет мотыжное земледелие. Какое-то время деревня держится на полуголодном уровне за счет очередного урожая зерновых. Однако этот фактор уже не срабатывает из-за перенаселенности.

Рост населения, разорение деревни и стихийные бедствия резко обостряют продовольственную проблему. Зерна на душу населения становится все меньше, и оно дорожает, а в периоды неурожая голод принимает общекитайские масштабы. Бродяжничество в поисках пищи становится массовым явлением. Обездоленные просят подаяния вдоль дорог. В ряде районов наблюдается высокая смертность. Казна теряет контроль над положением в стране. Государственные меры по борьбе с голодом не достигают поставленных целей.

По мере того как внутри цикла совершался переход от фазы восстановления к фазе стабильности, а от нее к стадии кризиса, сам госаппарат все больше подрывал основы своего нормального функционирования. Евнухи и императорская родня активно содействовали этому

процессу. Все больше казенных земель переходило в руки удельных князей. Императорская родня различных степеней фактически превращала государственную земельную собственность в свои частные владения. От аристократии не отставали и евнухи, теми же методами становившиеся землевладельцами-рентополучателями. Тем самым масса земель уходила от регистрации в реестрах и от налогообложения. Фонд кадастровых площадей резко сокращался по сравнению с началом цикла. На самом деле общее количество пахотных земель не уменьшалось, а возрастало. Однако половина их оказывалась «в тени», становясь недоступной для учета и налогообложения.

Земли пахотных дворов постепенно переходили из казенного сектора в частный и через руки сельских старост, низших налоговых чиновников, ростовщиков и местных богатеев. Происходило это не только тайно, но и на «законных» основаниях; тот или иной участок изымался из налоговых реестров путем подделки последних. В ходе незаконных продаж в виде иных сделок — заклада и отбирания за долги — данная земля переходила в частный сектор. Одни из таких полей становились «темными». Другие оставались в сфере фискального учета, но уже фигурировали в разряде частных земель с иным уровнем налогообложения. По мере уменьшения казенного сектора соответственно росло крупное землевладение с господством арендной системы. В частные руки явно или тайно переходили и местные водные ресурсы. Крупные землевладельцы — «большие дома» (*даху*), «местные деспоты» (*туба*), «богатые семьи» (*фуху*) захватывали отводные каналы, водосборники, оросительные каналы и их распределительные узлы. Тем самым из государственного сектора в частный переходила не только пахотная земля, но и вода для ее орошения.

В начале каждого цикла на долю казны обычно приходилось примерно 60–70%, а на долю «частников» — 30–40% всех пахотных площадей. В конце цикла первый сектор практически сходил на нет, а второй становился, по сути, абсолютно господствующим. Расхищение казенного земельного фонда и уклонение крупных частных владельцев от уплаты поземельного налога приводили к сокращению его общего сбора, иногда почти на одну треть. Данный дефицит казна пыталась восполнить за счет повышения ставок самого налога и перевода одних категорий государственных земель в другие.

С растущим разорением самостоятельного крестьянства государственный сектор сельского хозяйства (казна — налогоплательщики дворы) резко сокращается, а частный сектор (земледелец — арендатор) достигает максимума своего развития. Аренда и ростовщичество становятся ведущими формами эксплуатации при постоянном росте арендной платы, ссудного процента и ухудшении условий погашения

задолженности по этим двум позициям. Происходит резкое усиление «больших домов», «местных деспотов» и «злых *шэньши*». Былая умеренность и «справедливость» сельских верхов уходят в прошлое. На смену им приходят силовой захват крестьянской земли, отнятие ее за долги или через принудительную продажу по произвольно заниженной цене с превращением бывшего крестьянина в бесправного арендатора. Разорение крестьян и дефицит земли приводят к жестокой конкуренции между ними из-за аренды чужих полей, из-за заработков, из-за ростовщических ссуд. В итоге сами крестьяне сбивают себе цену и ведут к ухудшению условий аренды, найма и задолженности. Перенаселенность ведет к безработице. Растет уход разоренных и «лишних» людей из деревни в поисках заработка в городском ремесле, в горнодобывающей промышленности и на транспорте. В сфере сельского хозяйства накапливаются негативные изменения. Сокращение поголовья рабочего скота и количества удобрений, снижение плодородия почвы и падение производительности труда в зерноводстве, прекращение роста пахотных земель — таковы слагаемые начинающегося кризиса. Динамика развития зернового хозяйства служила в Китае главным экономическим показателем. Именно в этой отрасли наблюдались наиболее тревожные симптомы. Первые признаки застоя давали о себе знать, когда урожайность зерновых стабилизировалась на одном уровне. Ситуация резко ухудшалась, когда в большинстве провинций она начинала опускаться ниже этого уровня. В фазе восстановления и стабилизации эти явления компенсировались ростом производства за счет постепенного увеличения посевных площадей и разного рода новаций. В фазе кризиса снижение производительности труда при прекращении роста пахотных земель становилось тревожной тенденцией зернового хозяйства. Город и внутренний рынок начинали изымать из деревни больше материальных ценностей, чем прежде. Растущий вывоз технических культур и сырья из деревни не возмещался в агрономическом плане ничем. Отмечалось падение урожайности зерновых из-за растущего истощения земли и разрушения ее верхнего слоя, вызываемых, в свою очередь, непрерывной ее эксплуатацией и недостатком удобрений. При всем том падение производительности труда происходило как в «рисовом», так и в «пшеничном поясе», т.е. принимало всекитайский характер.

Снижение уровня зернового хозяйства, будучи показателем кризисного состояния экономики, являлось, помимо всего прочего, одним из следствий арендной, налоговой и ростовщической эксплуатации, уменьшавшей хозяйственные потенции крестьянства.

На значительных площадях все более стали сказываться истощение почвы и разрушение ее верхнего, плодородного слоя. При прогресси-

рующем измельчании хозяйств в деревне уменьшалось поголовье рабочего скота, вытесняемого рабочей силой человека. Это вело к сокращению вносимых в почву удобрений и ее истощению с последующим падением урожайности. Сказывалась и определенная интенсификация земледелия, происходившая параллельно с падением производительности труда в экстенсивном зерновом хозяйстве и связанная с переходом крестьян к техническим культурам, требовавшим значительно больших затрат живого труда на 1 му пашни.

Распространение технических культур также приводило к дальнейшему обеднению почвы, так как они отнимали у земли больше азотных и иных веществ, чем рис и пшеница.

Другим важным показателем состояния земледелия служила динамика посевных площадей. Если в фазе восстановления происходил постоянный рост пахотных земель, то фаза стабилизации отмечалась явными признаками застоя. В одних провинциях посевы почти не увеличивались, в других — отмечалось их некоторое сокращение. В целом по стране прирост был ничтожным. Все сильнее сказывались эрозия, засоление и заболачивание почв. С быстрым ростом населения все большая часть ранее пахотных земель отводилась под постройки и терялась вследствие растущей чересполосицы, уходя на межи и тропинки. В условиях перенаселенности деревни происходит неуклонное сокращение площади обрабатываемой земли на одного человека. Соответственно, падает производство зерна и иного продовольствия на душу населения. Происходит снижение общего уровня потребления среди трудового населения деревни. Это ускоряет масштабный уход «лишних» людей, т.е. бывших крестьян, в города. В целом за счет этого идет рост городского населения на фоне замедления роста сельского населения. Парадоксальность ситуации заключалась в том, что переход цикла в стадию кризиса вел к временному расцвету городов. Бурное развитие ремесла, мастерских, мануфактур, а вне города — шахт, рудников и транспорта было связано с массовым притоком дешевой рабочей силы из деревни, продовольствия и серебра, изъятых в счет налогов, арендной платы и долгов.

Возникает лидерство города в соревновании с деревней, ибо фаза кризиса «работает» на подъем городской экономики. Богачи перебираются из беспокойной сельской местности в города — под защиту городских стен, гарнизонов и правительственных войск. Такое переселение ведет к увеличению спроса богачей, их семей и прислуги на товары и услуги, что способствует росту ремесла и городской торговли.

Одной из причин кризиса земледелия было бедственное состояние ирригационной системы. Гидротехнические сооружения, особенно в до-

линах Хуайхэ, Янцзы и Хуанхэ, постоянно ветшали, разрушались и все в меньшей степени выполняли свои функции по орошению и защите от стихийных бедствий. Некоторые из них, разрушенные в период военных действий, либо не были до конца восстановлены, либо были плохо отремонтированы. В аварийное состояние приходили многие крупные дамбы, плотины, отводные каналы и оросительные системы. К концу очередного цикла отчетливо проявлялась неспособность режима предпринять серьезные конструктивные шаги в этой крайне важной для китайского сельского хозяйства сфере.

По сравнению с началом цикла количество семей и едоков возрастало в этой фазе в два, три, четыре и более раз. Соответственно, но в меньшей степени сокращались размеры семейных участков земли, а с ними площадь пашни и производство продовольствия на одного члена семьи. При такой земельной и людской тесноте становилось крайне трудно прокормиться, а тем более выплачивать налоги — их уплата вела либо к полуголодной, либо к голодной жизни. Крестьянство уже физически не может полностью рассчитываться с казной, а у последней остается все меньше возможности «выбить» из земледельцев налоги и надбавки к ним. В итоге появляются и все более накапливаются недоимки, а сами собираемые суммы сокращаются.

До XVIII в. в конце каждого цикла быстро росло число дворов, не значившихся в подворных списках и уездных реестрах. Такие семьи именовались «темными», или «черными». Данные земли уходили от налогообложения «в тень». Тем самым с каждым десятилетием государство недополучало все большую часть былых налоговых сумм. Сокращение налоговых поступлений с деревни соответственно уменьшало финансовые возможности казны и ослабляло государственный механизм. Растущее казнокрадство со стороны бюрократии еще более снижало возможные и необходимые расходы государства на армию и ирригационно-ремонтные работы. Тем самым ослаблялась способность госаппарата поддерживать социальный и полицейский порядок внутри страны, т.е. противостоять шайкам разбойников и повстанческим отрядам. Ослабление военной функции государства открывало дорогу не только бандитизму и восставшим низам, но и внешнему врагу — нашествиям кочевых и полукочевых этносов.

Финансовые трудности казны приводили к резкому снижению обороноспособности. К концу цикла военные расходы сокращались в разы, численность войск резко уменьшалась, а боевую подготовку проходила лишь половина оставшихся в строю. Разложение охватывало военную верхушку империи. Здесь, как и среди штатского чиновничества, процветали казнокрадство, произвол и коррупция. Армейские чины за взятки освобождали рекрутов от службы. Вместо взрослых,

здоровых и сильных забирали больных, слабых и несовершеннолетних. Солдатское довольствие разворовывали командиры, в безделии и кутежах забывавшие свои служебные обязанности. Солдаты страдали от недоедания и отсутствия теплой одежды. Новобранцев не обучали и не тренировали. Слабая физическая подготовка сочеталась с отсутствием профессиональных навыков. Так было и в пехоте, и в кавалерии. Дегradировала и система военных поселений. Их земли переходили в руки начальства, становясь, по сути, его частным владением. Здесь на него работали и военнопоселенцы, и солдаты. Поступление зерна в казенные амбары сокращалось в несколько раз, сами поселения практически переставали быть значительной хозяйственной величиной, а многие просто сходили на нет.

Усиливается деградация штатского бюрократического аппарата. Резко расширяются возможности для его личного обогащения за счет казнокрадства, взяточничества и лихоимства. На почве массовой коррупции быстро растет численность чиновников, кандидатов на должность, стажеров и шэньшйского окружения, в том числе за счет семейственности, кумовства и протекции. Ситуация становится настолько вопиющей, что «честные» *шэньши* пытаются оздоровить большую систему за счет реформ. Такие безуспешные попытки реформ наблюдаются в конце ряда циклов. Эти слабые потуги успешно парализуются силами реакции, в первую очередь придворными евнухами и императорской родней. Разложение штатской бюрократии, коррупция, хищения, мошенничество и произвол, став обычными явлениями в чиновной среде, уже принимали угрожающие масштабы. Евнухи, в качестве императорских фаворитов правившие Китаем многие годы, составляли себе богатство, равное доходам казны за несколько лет. Вопрос о принятии мер против дальнейшего разложения всей системы вставал очень остро. Внутри нее еще сохранялись какие-то здоровые элементы. Речь идет о немногочисленных чиновниках и прогрессивной интеллигенции, в среде которой преобладали *шэньши*. Главную опасность для всей системы эти «честные» и «правдивые» видели в разлагающем влиянии евнухов на сферу управления и экономики.

Быстро росла численность императорской родни, их окружения и прислуги. К концу каждого цикла вокруг Сына Неба скапливались сотни князей и принцесс. У каждого и каждой из них была своя собственная родня. В итоге императорский клан насчитывал десятки тысяч человек. Каждый князь и каждая принцесса имели свой «малый двор» со множеством придворных, особенно евнухов, фрейлин, слуг и служанок. На прокормление и иные нужды таких бездельников и прихлебателей из казны отпускались колоссальные суммы — иногда уходило до 40% всех государственных средств. Рост этих расхо-

дов происходил за счет уменьшения финансирования армии и ремонта ирригационных систем.

Набирал силу произвол, творимый придворными кастратами. Евнухи, получившие должность инспекторов, обирали горнодобытчиков и горожан, по своему усмотрению арестовывали и убивали не только неугодных им простолюдинов, но и чиновников. Они создавали все новые и новые таможенные заставы, вводили особые виды обложения, грабили проезжих купцов. Все это приводило к свертыванию работы мануфактур, мастерских и шахт, к разорению предпринимателей. Выбивая из населения произвольно установленные поборы, агенты новоявленных инспекторов врываются в дома, насиловали женщин или уводили их в свои канцелярии. В ответ на это в городах происходили волнения, бунты и восстания. Многотысячные толпы ткачей, шахтеров, ремесленников, наемных работников и торговцев громили и жгли налоговые управления, канцелярии инспекторов, дома и усадьбы присланных из столицы евнухов, убивали их подручных и агентов.

Разгул казнокрадства резко снижал конструктивные возможности государства. Казенные ассигнования на строительство и ремонт дамб, равно как и средства, собранные с населения в виде экстренных поборов на эти цели, в значительной части (до 60–70%) расхищались чиновничеством и местными *шэньши*.

Из-за промедления с ремонтом обветшавших дамб на Хуанхэ, Янцзы и Хуайхэ происходили сильнейшие наводнения, поражавшие густонаселенные районы речных долин. Особенно разрушительным паводок всегда бывал в Шаньдуне и в низовьях Хуайхэ, где иногда гибли миллионы человек. Из-за сокращения и расхищения ассигнований на ремонт дамб и плотин работы производились нерегулярно и некачественно, открывая сельское хозяйство ударам стихии. В условиях кризиса последние приобретали особо разрушительную силу. Годы засух, наводнений, голода и эпидемий резко ухудшали общую и без того негативную обстановку внутри страны. Рост числа и силы стихийных бедствий, со своей стороны, расширял сферу социальной опасности — высокую смертность, недоедание и голод, бандитизм и повстанческую борьбу. Соответственно, увеличивалась пауперская и люмпенская среда — бездомные, нищие, беженцы и голодающие. Согласно конфуцианской традиции, такой рост стихийных бедствий свидетельствовал о том, что Небо гневается на прогнившую династию и готово отнять у нее свой «Мандат» на власть в стране. В итоге это еще больше подрывало авторитет императоров и бюрократии в конце каждого цикла.

Следовавшие один за одним неурожаи в Северном Китае вызывались длительными засухами. Массовый голод сопровождался эпидемиями. Обочины дорог бывали усеяны трупами умерших от голода.

В отдельные годы голодали миллионы человек. Столько же погибало от эпидемий, в основном от холеры в районах наводнений. Голод и эпидемии уносили миллионы жизней. Бедствующие или затронутые несчастьями деревни исчислялись в такие годы тысячами. Стыкуясь со слагаемыми циклической эволюции, эти факторы ускоряли назревание очередного кризиса, ведущего к социальному взрыву и смене династии.

Постепенное усиление политической нестабильности в сочетании с началом периодически вспыхивавшего массового голода вело к частичной утрате государством контроля на периферии. Здесь резко возрастала роль местных властей и сельских верхов — крупных землевладельцев и *ишънши*. Поначалу им удается держать ситуацию под контролем, но затем социальный и политический хаос берет свое. На смену стабильности приходит все большая экономическая, социальная и политическая напряженность, перерастающая в волнения, восстания и давление с севера кочевников и полукочевых этносов. На передний план постепенно выходит военный фактор.

Начинается возрастание роли армии и военных. Последние берут верх над канцелярией и штатской бюрократией. Время чиновников постепенно проходит, и наступает черед полководцев, военачальников и армейских командиров среднего звена.

К концу фазы кризиса наступала синхронизация всех негативных и разрушительных процессов в рамках самой системы. В частном секторе шло массовое разорение крестьян-владельцев земли и превращение их в арендаторов, которых ожидали высокая арендная плата, произвол землевладельца, долговая кабала, продажа за долги жен, дочерей и сыновей. Те из разоренных крестьян, кто не смог стать держателем земли, были вынуждены уходить из деревни в поисках заработка в городах, в сфере транспорта, на шахтах и рудниках. Причем далеко не все ушедшие в города могли устроиться на работу. Многие из них становились безработными и просто «лишними» людьми, пополняя ряды нищих, босяков, воров и бандитов. Женщины, особенно молодые, превращались в служанок, рабынь, наложниц и проституток. В самой деревне среди оставшихся в ней накапливался потенциал полубезработицы, скрытой нищеты и существования на грани голода.

Данная ситуация усугублялась в годы стихийных бедствий. За наводнениями, засухами и нашествиями саранчи следовали голод, эпидемии и массовая смертность населения. Все новые потоки обездоленных стремились в города. Голодающие семьи избавлялись от лишних ртов. Стариков бросали по обочинам дорог, младенцев топили или выбрасывали на съедение одичавшим собакам, жен и детей продавали за бесценок. Массовый голод вел к людоедству, грабёжам и разбою.

Все это вынуждало крестьян браться за оружие. Мелкие спорадические волнения перерастали в локальные бунты, а те, в свою очередь, в серьезные массовые восстания. В крестьянские вооруженные выступления вовлекались десятки, а затем и сотни тысяч повстанцев. Такого рода процессы в фазе кризиса буквально захлестывали всю систему, развиваясь в сторону очередной крестьянской войны и развала государственности.

Столь же резкое ослабление государственной машины наступало и под воздействием внешнего фактора — угрозы с севера. Речь идет о военном давлении на Китай со стороны кочевых и полукочевых народов и государств (*тоба, тангуты, кидани, чжурчжэни*). Их натиск кончался захватом части Северного Китая или завоеванием ими всей страны (монголы, маньчжуры). В этой ситуации государственной машине приходилось иметь дело не с одним (внутренним) врагом, а с двумя — с повстанцами и внешним нашествием «северных варваров». Война на два фронта становилась непосильной тяжестью для разложившегося госаппарата, ослабленной армии и обреченной на гибель династии.

В ходе работы циклического механизма складывалось взаимодействие экономических, демографических и политических процессов. Чем быстрее росла численность населения, тем больше оно при тех же посевных площадях и сборах зерна проедало продовольствие «на корню», т.е. тратило на свои нужды. Тем меньше с крестьян можно было реально, т.е. физически, собрать налогов. Чем меньше при этом собиралось налогов, тем сильнее обострялся дележ собранных сумм между личным карманом бюрократии и поступлениями в саму казну. Проблема такого дележа обострялась по мере роста численности госаппарата. Чем больше становилось чиновников и суббюрократии, т.е. *шэньши*, тем больше средств разворовывалось из постоянно сокращавшихся казенных сумм. Получалось так, что, чем меньше становились доходы государства, тем больше они расхищались самим бюрократическим аппаратом. При этом, соответственно, меньше оставалось средств для проведения ремонтных работ в ирригационной системе. Тем самым все более дряхлели дамбы и плотины, тем чаще происходили и сильнее становились наводнения и приносимые ими беды. Все это вело к дальнейшему сокращению налоговых сборов с пострадавшего населения и все большему ослаблению государства. Таким образом, возникал своего рода «заколдованный круг» с действием принципа «чем дальше, тем хуже». В этом же русле складывался и механизм взаимодействия экономического, демографического и политического факторов со все более разрушительными последствиями. Так сама работа циклического механизма как бы создавала критическую ситуа-

цию, а последняя переросла в фазу катастрофы. Китайский социум сам по себе не мог остановить это трагическое взаимодействие основных слагаемых традиционной системы и вырваться из русла циклического сценария исторической эволюции.

Все перечисленные выше синхронные и параллельные процессы стягиваются в один тугий узел, и с этого фактически начинается фаза катастрофы, т.е. очередного мощного социального взрыва.

Доведенные до отчаяния деревенские низы легко воспринимают призывы к социальной справедливости, перераспределению жизненных благ, уравниванию доходов, уничтожению богачей и экспроприации их имущества со справедливым перераспределением земли. Бунтующее крестьянство, организованное в вооруженные отряды, громит «богатые дома», «местных деспотов» и «злых *шэньши*». Те, в свою очередь, создают вооруженные отряды самообороны и там, где это возможно, ведут борьбу с повстанцами. Кроме того, в данной фазе крупные землевладельцы, торговцы и ростовщики из опасной и бунтующей деревни в массе своей бегут в города в надежде на защиту от бандитов, повстанцев или завоевателей.

Если в фазе кризиса деревня избавлялась от «лишних» людей, то в фазе катастрофы они уже не нужны и во внедеревенской экономике вообще, и в городской в частности. Это «вдвойне лишние» люди, их удел — нищенство, грабеж, восстание, уход в солдаты, в крестьянские отряды и армии, в бандитские шайки. Складывается дихотомия «разложившаяся бюрократия — бунтующее крестьянство». Такое противостояние ведет к новой крестьянской войне и падению прогнившей династии. Последняя утрачивает «Мандат Неба», и встает перспектива передачи его новой «высокоморальной» династии. Движение в этом направлении ускоряет политический хаос. Наступает полная утрата центральной властью контроля на местах. На периферии провинции по сути отделяются от «центра» и династии. Данный процесс усиливается по мере нарастания стихийных бедствий, военных действий, голода и разорения целых регионов повстанцами, карателями или завоевателями.

С ростом значимости военного фактора в фазе катастрофы резко падает роль штатской бюрократии. Развертывающиеся военные действия против бандитов, повстанцев и завоевателей делают полководцев и военачальников вершителями судеб Китая. Проходит «время кисти для письма», настает «время меча». В этих условиях господство армии над канцелярией сопровождается быстрым развалом чиновного аппарата. Приход военных к власти помимо всего прочего подготавливается разложением штатской бюрократии и деградацией уходящей династии.

В фазе катастрофы стихийные бедствия приобретают наиболее массовый и предельно разрушительный характер. Накладываясь на обострение социальных невзгод, удары стихии несут с собой голод, людоедство, убийство и поедание новорожденных и трупов, высокую смертность, одичание и предельную агрессивность населения. Жертвы стихийных бедствий и голода вливаются в ряды носителей социального гнева — люмпенов, пауперов, безработных, нищих, бездомных, беженцев, бродяг, воров, грабителей. Из этого людского контингента пополняют свои ряды разбойничьи шайки, повстанческие отряды и крестьянские армии.

В условиях растущего и массового обнищания увеличивается торговля женщинами, девушками и девочками. Их продают за бесценок либо отдают даром из-за невозможности прокормить не только их, но зачастую и остальных членов семьи. Имеющие средства, особенно в городах, покупают их в рабыни, в служанки, в наложницы, в качестве вторых и третьих жен, перепродают в публичные дома. По тем же причинам резко растет убийство новорожденных девочек и наступает крайний дисбаланс полов — количество мужчин превышает число женщин. В итоге потенциальных невест и жен не хватает на всех. Растет число неженатых и бессемейных мужчин в нижних слоях населения. Это, в свою очередь, не позволяет им создать семью, но зато усиливает возможность ухода их в сферу вооруженной борьбы.

Подниматься на борьбу деревенскую бедноту заставляют многие причины — земельная теснота, рост налогов и произвол чиновников. К этому добавляются страшные стихийные бедствия — сильные засухи, неурожаи, эпидемии, наводнения и массовый голод. На плечи крестьян ложились и тяготы войны против очередных завоевателей Китая — кочевников и полукочевников. Поставленное на грань вымирания крестьянство бралось за оружие. Разрозненные полуразбойничьи ватаги соединялись в повстанческие отряды и избирали вождей. Мелкие отряды сливались в крупные. С этого начиналась очередная крестьянская война, а сам цикл из фазы кризиса переходил в стадию катастрофы. Происходил массовый социальный взрыв колоссальной силы, длившийся многие годы. Так, например, без малого девятнадцать лет (1638–1647) в северных и центральных провинциях Великой Империи Мин бушевала крестьянская война. Низы с оружием в руках поднимались против верхов. В военные действия оказывались втянутыми миллионы человек.

Повстанческие отряды в несколько десятков тысяч бойцов становились обычным явлением. Под знаменами некоторых вождей находились войска в 200 и даже в 300 тыс. мечей и копий. А на последнем этапе Минского цикла крестьянские цари — Ли Цзычэн и Чжан Сянь-

чжун вели за собой армии до миллиона и более конных и пеших воинов каждая. Почти 18 лет длилась кровавая полоса крестьянских войн в конце Цинского цикла — тайпинов, няньцзюней, «красноголовых» и сычуаньских повстанцев (1850–1868). В русло этой борьбы были втянуты миллионы повстанцев. На борьбу с их отрядами и с крестьянскими армиями приходят правительственные войска. Когда последние оказываются малоэффективными, местная верхушка, т.е. крупные землевладельцы и богатые *шэньши*, создает частные вооруженные дружины, а те, в свою очередь, сливаются в провинциальные карательные армии. Тот или иной регион сначала разоряют повстанческие силы, а затем сражающиеся с ними каратели. После этих затяжных военных действий здесь наступает полная разруха.

По иному сценарию происходит деградация экономики в ходе иноземного завоевания, однако конечный результат остается по сути тем же. Масштабные военные действия сначала резко затрудняют, а затем делают минимальным сбор налогов в данном регионе. У населения, разоренного либо повстанцами и крестьянами, либо завоевателями, зачастую взять просто нечего. В итоге наступает деградация финансовой, а затем и военной сферы деятельности госаппарата, а сам он становится жертвой чужеродной военной силы — повстанцев или завоевателей. Длительность, масштаб и жесточенность военных действий ведут к разрушению городского ремесла и торговли, падению товарного хозяйства вообще и к натурализации экономики. При всем том происходит либо омертвление, либо разграбление всех видов капитала — торгового, производственного и ростовщического.

Кровавая смута, особенно в сочетании с нашествием завоевателей, приводила к массовой гибели людей. К концу фазы катастрофы гибло иногда свыше 70% населения. Длительная полоса военных действий кончалась той или иной степенью запустения целых уездов, округов и областей.

Колоссальные людские потери в результате военных действий и стихийных бедствий, с одной стороны, дезорганизуют экономику, а с другой — ликвидируют перенаселенность. Тем самым они нормализуют демографическую обстановку и ведут к оздоровлению всей системы, хотя и ценой гибели миллионов людей. Такой ужасный сценарий открывал дорогу в очередной социально-экономический и демографический цикл. Старая династия гибла, и на смену ей приходила другая, делая новый цикл еще и династийным. Каждый следующий цикл последовательно проходил все положенные ему фазы — разруха, восстановление, стабилизация, кризис и катастрофа.

Установление циклического варианта эволюции сделало невозможной победу города над деревней в качестве доминирующего начала и

итога их соперничества. Фактор цикличности лишил китайский город возможности неуклонного и непрерывного развития. Фаза катастрофы уходящего цикла и фаза разрухи наступающего цикла во многом ликвидировали достижения городских экономики и социума, созданные в фазах восстановления, стабилизации и кризиса. В фазе восстановления город всякий раз начинал свое возрождение если не с «чистого листа», то из состояния очередной деградации. Затем все, что город вновь возродил и развил, снова шло под нож в очередной фазе катастрофы. В равной мере это относится и к сферам добывающей промышленности и транспорта. И так повторялось от цикла к циклу. Все это предельно контрастировало с Западом, где после стабилизации «варварских» королевств линейный вариант эволюции со временем создал условия для неуклонного развития городов, укрепления бюргерства и появления буржуазии. В противовес этому китайская цикличность изначально перекрыла дорогу к такой эволюции европейского типа. В традиционном Китае не смогли сложиться самоуправляющиеся города с неуклонным развитием капитала и предпринимательства. Более того, в Китае исторически бесперспективным становилось и само частное начало в экономике и социуме. В фазе катастрофы наибольший урон наносился не государственному, а частному сектору хозяйствования. Как наиболее хрупкое и менее всего защищенное, именно частное начало (поместья, усадьбы, хозяйства, предприятия, богатство и капиталы) гибло в первую очередь. Как явление, требующее тепличных условий, именно оно медленнее всего оживало в фазе восстановления. Даже в фазах стабилизации и кризиса именно это начало становилось наиболее уязвимым, когда «высокоморальное» государство начинало грабить и давить налогами слишком, по его мнению, расплодившегося «своекорыстного» и чрезмерно разбогатевшего «частника». Тем самым буржуазная эволюция торгового и иного капитала в Китае становилась исторически бесперспективной, а сам он обрекался на описанные выше циклические пертурбации.

В рамках циклической модели эволюции всеильное государство не могло предложить населению ничего, кроме периодического «оздоровления» периодически загнивающего самого правящего бюрократического класса. Речь идет об усложнении и расширении госаппарата, смене монархов и династий, замене одних властных группировок и придворных клик на другие, т.е. о перетасовке все той же колоды карт. Такого рода «оздоровление» власти и смена кадров давали некоторый эффект лишь первое время. Новые лидеры, сановники, чиновники и военные снова шли по пути своих предшественников. Госаппарат вновь начинали разъедать казнокрадство, коррупция и произвол в отношении «частника». Обогащение бюрократического класса опять шло

в ущерб интересам самого государства. Разложение чиновных и военных кадров подтачивало государственную машину, что приводило к очередной смене правящей верхушки. В самой системе были заложены цикличность, хождение по кругу и повторяемость традиционного сценария: «разложение — оздоровление — очередная деградация — очередная санация». Таким образом, восстановление работоспособности и жизнестойкости традиционной системы происходило в каждом цикле.

В китайской истории действует закон повторяемости. Последний, по сути, действует на всех горизонтах и во всех сферах — в экономике, социуме, политике и культуре. При всем том сама повторяемость существует в двух своих видах. Первый — это повторяемость от одного цикла к другому. Это своего рода стандартное межциклическое чередование, передаваемое по эстафете от цикла к циклу. Второй вид повторяемости — это движение внутри цикла. Речь идет о неуклонном чередовании его пяти стандартных фаз — разруха, восстановление, стабилизация, кризис и катастрофа. С учетом этих обоих видов можно говорить о «двойной повторяемости» китайской истории при переходе ее от нециклических эпох к циклическим с повторением ее в каждом цикле.

В истории Китая имели место восемь таких круговоротов. Перечислим их. Первым стал Ранний Ханьский цикл (206 г. до н.э. — 24 г. н.э.). Вторым — Поздний Ханьский цикл (25–220). После долгого перерыва — почти в четыре столетия — наступил третий, Танский цикл (618–907). Четвертым стал Сунский цикл (960–1279). Пятым — Минский цикл (1368–1644). За ним пришел Цинский цикл (1644–1860) — шестой круговорот в истории Китая. Его сменил седьмой — Тайпинский цикл (1860–1949). Восьмой цикл начался в 1950 г. и разворачивается в наши дни.

Особо следует отметить предельную специфику периода Юань (1271–1368) как сугубо трагического. Это время было отмечено монгольским завоеванием, масштабной разрухой, суровыми зимами, мощными наводнениями, затяжными засухами, страшными эпидемиями, сильнейшим голодом и массовой смертностью. Все это дает основания считать эпоху Юань не нормальным отдельным циклом, а сплошной затяжной фазой катастрофы Сунского цикла. Таким образом, почти все циклы именовались по названию правившей тогда династии. Здесь мы указываем начало и конец каждого цикла по сугубо династийному принципу. Такая датировка весьма условна. Своей «точностью» до года она отнюдь не соответствует размытости такого ориентира, как «граница», между фазой катастрофы прошедшего цикла и стадией разрухи наступившего. Смена одного цикла другим, как и смена всяких исторических процессов, не может иметь жестких временных рамок. Кроме

того, необходима следующая оговорка. Если Позднеханьский цикл прослеживается на уровне статистических (с той или иной степенью достоверности) показателей, то Раннеханьский может быть исследован только на описательном материале источников. Таким образом, в истории Китая имели место шесть «больших» циклов продолжительностью от 200 до 300 лет каждый, начиная от Раннеханьского и кончая Цинским циклом включительно. За ними следуют два «малых» цикла — Тайпинский (90 лет) и нынешний цикл, продолжающийся уже более половины столетия.

С учетом фактора цикличности вся история Китая распадается на четыре неравные эпохи. Первая — это доциклическая пора — от Шан до Хань (XVI в. до н.э. — III в. до н.э.) протяженностью примерно 18 столетий. Вторая эпоха — это два Ханьских цикла (Ранний и Поздний) общей длительностью более четырех столетий (206 г. до н.э. — 220 г. н.э.). Третья эпоха являла собой нециклическую или межциклическую полосу — от конца Позднеханьского до начала Танского цикла (III–VII вв.). Между ними прошло около четырех столетий. Это была эпоха политической раздробленности, междоусобных войн, смут и нашествий кочевников. Тогда одна волна разрухи сменялась очередной фазой разорения страны и гибелью массы населения. И наконец, четвертая и последняя эпоха — целиком циклическая. Речь идет о циклах в рамках господства четырех династий — Тан, Сун, Мин. Из этой череды выпадает период монгольской династии Юань (1279–1368), ибо вместо смены обычных циклических фаз все эти без малого сто лет оказались наполнены непрекращавшейся вооруженной борьбой китайского народа с завоевателями. На смену Цинскому циклу пришли «малые циклы» — Тайпинский и нынешний цикл нового *Сяокана*. Циклическая эпоха с двумя небольшими перерывами — периоды «Пяти династий» (907–960) и Юань — уже длится почти 14 столетий (с 618 г. по наст. вр.). Таким образом, вся история Китая являет собой сочетание нециклического и циклического начал при смене первого вторым. При всем том именно циклическая эпоха отличалась наиболее интенсивными нашествиями кочевников. Это были кидане, тангуты и чжурчжэни, создававшие в Северном Китае свои государства (X–XIII вв.). Затем наступила полоса иноземных завоеваний всего Китая и создания неханьских династий — монгольской Юань и маньчжурской Цин (1644–1911).

Неизбежно встает вопрос о соотношении линейного и циклического типов общественной эволюции в Китае и на Западе. В эволюции Среднего государства до эпохи Хань имелись определенные признаки линейной поступательности. Однако в русле Раннеханьского и Позднеханьского циклов они сменились попятным движением. Эпоха

межциклической, или нециклической, истории Китая — от конца периода Поздняя Хань до становления Танской империи (220–618) — в целом носила крайне сумбурный характер. В ней отсутствовало линейное начало, а циклическое было представлено фрагментарно, со сдвигами, с затуханием данной тенденции, с нечетко выраженными признаками. В VII в. произошел коренной перелом, т.е. окончательный и бесповоротный переход на рельсы циклического типа эволюции. Начиная с эпохи Тан и до наших дней наблюдалась последовательная смена одного цикла другим при явном сокращении продолжительности самих циклов.

В противоположность поступательному движению Запада Китай на 14 столетий (с VII по XXI в.) вступил в русло циклического возвратного буксования с повторением одних и тех же внутрициклических фаз и стадий. Если Запад перешел к неуклонной модернизации общественного бытия, то Китай 14 веков потратил на замораживание исторического прогресса, на сохранение и воспроизводство традиционного общества, т.е. на застой как преобладающую тенденцию в своей истории. Вместе с тем не следует абсолютизировать застой китайского традиционного общества. Наиболее ярко он проявлялся в сравнении с быстро прогрессирующим Западом. С внутрисистемной же точки зрения полного отсутствия поступательного движения в циклической модели не наблюдалось. В самом механизме такого круговращения имели место два вида движения от низшего к более высокому уровню. Первым таким видом являлось внутрициклическое движение, т.е. скольжение от одной фазы цикла к другой. В фазе восстановления разрушенного система выходила на уровень стадии стабилизации предшествовавшего цикла. В этой фазе нового цикла не просто сохранялся былой потенциал городской экономики и культуры, но и наблюдалось его определенное обогащение и совершенствование в обстановке бурного роста городов. Экономический, социальный, материальный и духовный уровень фаз стабилизации и кризис в данном цикле оказывались несколько выше, нежели на тех же стадиях предыдущего цикла. Правда, в фазе катастрофы эти более чем скромные достижения смывались волной разрухи. Затем тот же сценарий повторялся в следующем цикле. В его двух фазах — стабилизации и кризисе — внутрициклическое движение выходило на более высокий уровень. Тем самым при переходе от цикла к циклу имела место некоторая поступательность. В итоге возникал второй вид движения — межцикловой. В его русле с каждым новым циклом общество поднималось на какой-то новый горизонт. Однако эти достижения во многом гасились в фазах катастрофы и разрухи. Так внутрициклическое движение низводило межциклическое к минимуму. Практически оба вида движения находились в постоянной

борьбе между собой, сводя эволюцию Китая к состоянию, близкому к стагнации. Результаты межциклового движения становятся осязаемыми главным образом при сравнении циклов, крайне удаленных друг от друга во времени, например Позднеханьского и Цинского. Если Запад вышел на устойчивое линейное развитие с постоянно поднимавшейся кривой общественного процесса, то в Китае сложилась иная ситуация. Здесь поступательность наблюдалась в виде крайне пологой спирали с минимальным расстоянием между ее витками. При этом само движение по виткам превалировало над их тенденцией к восхождению вверх. В конечном счете китайская модель в сравнении с западной демонстрировала общественную стагнацию как доминирующее начало. Все это не позволяло Китаю выйти на более высокий уровень общественного состояния и, в частности, ослабляло его оборонный потенциал. Военной слабостью Срединного государства регулярно пользовались северные кочевники и полукочевники, особенно когда Китай вступал в фазу катастрофы. В итоге малочисленные, но хорошо организованные номады не раз завоевывали огромную земледельческую страну. Китайская империя оставалась настолько отсталой и слабой, что начало XX столетия встретила под пятой очередных завоевателей — маньчжуров и в состоянии коллективной полукolonии империалистических держав.

Войдя в XX столетие, Китай сохранил не только циклический вариант исторического движения, но и весь остальной багаж Средневековья — старую социально-экономическую формацию (азиатский способ производства), старую политическую надстройку (восточная деспотия), традиционный коллективистский социум и конфуцианскую цивилизацию. Китай оставался «заложником» азиатского способа производства, восточной деспотии, коллективизма и конфуцианства. При всем том все эти основы китайской модели органически «работали» на сохранение циклического механизма эволюции, а он, в свою очередь, восстанавливал их самих.

ЯПОНСКАЯ И КИТАЙСКАЯ МОДЕЛИ: ФУНДАМЕНТАЛЬНЫЕ ОТЛИЧИЯ

Особую роль в формировании исторических судеб двух стран — Китая и Японии играл географический фактор. Так, он создал различные варианты демографической ситуации. Море ограничивало Китай только с востока. С трех других сторон света «фактор морского прибою» не действовал. В этих направлениях в течение многих столетий избыточное ханьское население неуклонно переселялось на земли соседних этносов. Ханьцы закреплялись на их территориях, либо вытесняя, либо ассимилируя аборигенов. Переселенцы поднимали целину и тем самым постоянно расширяли границы Китая и его пахотную площадь. Так сложился во многом экстенсивный вариант решения демографической и продовольственной проблем. При этом этническая экспансия и колонизация неханьских районов сочетались в Китае с интенсификацией сельского хозяйства. Тем не менее последняя оказалась недостаточной для приостановки безудержной демографической экспансии вширь — на юг, запад и север. В противовес этому окруженная со всех сторон морем Япония была лишена такой возможности. «Фактор морского прибою» ограничивал японский этнос рамками архипелага. Этническая экспансия на северо-восток — на земли народности айну играла заметную роль, напоминая собой китайское колониационное продвижение на материке. Поэтому географический фактор вынуждал японцев пойти не только на интенсификацию сельского хозяйства (с одновременным развитием морского промысла), но и постепенно на ограничение демографического потенциала. Если национальные устремления китайцев из века в век в значительной мере направлялись вовне — на новые территории, то все усилия японской нации концентрировались внутри архипелага. Различным оказался и сам исторический код эволюции обеих стран. История Китая очень рано приняла характер периодической смены династийно-демографических циклов. Каждый из них включал в себя четыре фазы — восстановление, расцвет, кризис и катастрофа. В первой фазе страна лик-

видировала предыдущую хозяйственную разруху. Фаза расцвета создавала максимум гармонии данной системы. Резкое повышение демографического давления на пахотную площадь порождало фазу кризиса. Социальное и экономическое равновесие рушилось. На смену ему приходила стадия катастрофы. Здесь происходили либо крестьянские войны, либо нашествия кочевников и завоевания Китая «северными варварами». Последняя фаза цикла оставляла после себя тяжелейшую хозяйственную разруху. Этим данный цикл завершался. Выход из разрухи происходил в рамках первой фазы нового цикла, шедшего по такому же типовому сценарию. На смену новому циклу приходил следующий и т.д. В итоге Китай, войдя в стадию развитого феодализма, надолго увяз и безнадежно «забуксовал» в русле циклического движения. По сути, это было топтание в рамках пологой спирали восхождения от одного цикла к другому. Поэтому вся история Среднего государства в понимании традиционного китайца представляла собой периодическую смену «порядка» и «расцвета» «хаосом» и «упадком». Чередование этих позитивных и негативных начал создавало представление об истории как постоянном повторении пройденного, а точнее — типичного сценария.

Суть этого типа эволюции заключалась в периодическом снятии (в фазе очередной катастрофы) всех (экономических, социальных и политических) противоречий, накопленных в рамках данного цикла. Такого рода регулярный «выпуск пара из котла» предохранял всю систему от слома. Вместе с тем он не позволял накапливать критическую массу кризисного потенциала, требовавшую перехода к новой стадии, к другой системе или к иной формации. В китайской модели общественные кризисы могли быть только циклическими, но не стадийными, системными, а тем более формационными. Регулярно снимая накопившуюся напряженность, сжигая образовавшийся «горючий материал», циклический механизм предохранял всю систему от разрушения и периодически ее оздоравливал. Благодаря этому система становилась оптимальной, т.е. саморегулирующейся и самодостаточной. Тем самым она становилась «вечной», ибо не создавала предпосылок для смены ее чем-то другим. В историческом плане такого рода циклическое «движение» означало комплексный застой общества. Циклический вариант исторического бытия Китая создавал периодическое чередование поступательного движения, его резкого торможения и откатов назад. Такого рода регулярная смена эволюции и сползания вспять (инволюция) привела к застреванию на одном и том же уровне. Чередование ухода от него и возвращения к нему создавало тупиковую и бесперспективную (в условиях чистой традиционности) модель эволюции. Подобный вариант не давал возможности перехода не

только к более высокой общественной формации, но и выхода в третью — последнюю — стадию традиционности, т.е. в стадию позднего феодализма. Из этого порочного круга Китай самостоятельно вырваться не мог. Вся веками отлаженная система вела его от одного цикла к другому. Между тем силы, способные сломать этот механизм изнутри, не возникали, ибо данная модель феодализма исключала их появление. Международное общение также не давало Китаю преобразовательных импульсов извне. Его окружали либо малые «дочерние» страны того же кода эволюции и той же цивилизации (Корея, Вьетнам), либо отсталые этносы — кочевые (Монголия) и горные (Тибет, неханьские народности юго-запада).

Не получала таких преобразовательных импульсов и изолированная морем Япония. Однако это компенсировалось наличием внутреннего механизма саморазвития, порожденного переходом Японии на рельсы иной, нежели Китай, модели феодализма. На счастье японского общества, здесь не сложился механизм циклической эволюции. Его отсутствие позволило Японии избежать стагнации китайского типа в русле постоянной смены стандартных циклов с типовыми фазами. Отсутствие этого бесконечного движения по спирали открыло Японии возможность пойти иным путем. Движение в русле поступательной эволюции позволило японскому обществу не уткнуться в тупик, а двинуться вперед — к регулярной смене внутрiformационных стадий и к выходу на рубеж формационного кризиса. Как и страны Западной Европы, Япония знала все «прелести» средневековья и феодализма — политическую раздробленность и междоусобные войны. Однако все это происходило по «западному сценарию», т.е. без вхождения в спираль циклической стагнации. Тем самым в Японии утвердился линейный вариант средневековой эволюции. Японский вариант создал обстановку устойчивого, пусть и медленного поступательного движения без масштабных катаклизмов, хотя бывали периоды разрухи и откатов назад. В итоге в Японии возобладала общественная эволюция без инволюции.

При отсутствии циклического механизма обновления японский вариант не снимал накапливавшуюся социально-экономическую напряженность, а, наоборот, аккумулировал ее. Данный кризисный потенциал толкал общество к поступательной смене форм и стадий феодализма — к восходящему развитию западноевропейского типа. Здесь накапливание кризисных явлений служило двигателем не хождения по китайскому циклическому «кругу», а довольно успешного перехода от низших стадий феодализма к высшим и, наконец, к формационному кризису. После феодальных междоусобиц в Японии было покончено со средневековой раздробленностью и наступил период централиза-

ции. Установился феодальный правопорядок, близкий по своей природе к западноевропейскому. В итоге японское средневековье прошло через три стадии: ранний (VII–XI вв.), развитой (XII–XVII вв.) и поздний феодализм (XVII — середина XIX в.), в то время как Китай «застрял» на второй стадии и в третью так и не вступил.

Историческое «соревнование» линейного варианта Японии с циклическим в Китае в общих чертах выглядело следующим образом. С созданием первой государственности (V–VI вв.) Япония отстала от Китая (XVIII–XVII вв. до н.э.) более чем на 2 тыс. лет. При вступлении в стадию раннего феодализма Страна восходящего солнца (VII в.) уже отставала от Срединного государства (III в.) всего примерно на четыре столетия. С переходом обеих стран к стадии развитого феодализма (Китай — VII в., Япония — XII в.) отставание составило около пятисот лет. При этом материковый гигант надолго «забуксовал» в русле периодических откатов назад, так и не вступив к началу XX в. в стадию позднего феодализма. Не зная циклических откатов Япония уже в XVII в. вошла в эту третью стадию. Тем самым островная страна уже на исходе Средневековья опередила материковую примерно на три столетия. Причем историческое отставание от своей заморской соседки для Китая стало постоянным. Все это лишний раз подтвердило преимущество западного линейного типа развития над восточным циклическим.

Китай и Япония резко отличались друг от друга по внутренней структуре — по составу ее компонентов. Китай XVII в. представлял собой разнородную величину в этническом (ханьцы, монголы, маньчжуры, тибетцы, хуэй, народности юго-запада), религиозном (конфуцианство, буддизм, ламаизм, ислам, шаманизм), экономическом плане (земледельческое население — кочевники — горцы). Та же разнородность наблюдалась в административном отношении (собственно Китай — национальные окраины с особым территориальным статусом и административным делением). В противовес Китаю Япония (даже при наличии айну на Хоккайдо) по трем из четырех указанных выше позиций (исключение — религиозный пласт) оставалась однородным целым. Таким образом, Китай являл собой гетерогенную, а Япония — гомогенную систему. В структурном отношении Китай представлял собой дуалистическую модель «центр–окраины», или «ядро–периферия». При этом наблюдался резкий разрыв между «ядром» и «периферией» по этническому, религиозному, экономическому и административному признакам. Отсталая инациональная «периферия» тянула собственно китайское «ядро» назад и вниз — в прошлое. В противовес этому Япония такого рода конгломератностью не страдала. Страна восходящего солнца выступала целостной монолитной системой без

столь жесткого деления на «ядро» и «периферию», без тянущего назад груза отсталости и застойности этой «периферии». В отличие от гетерогенного Китая Япония не знала и противостояний «земледельческая зона — кочевой мир», «коренной этнос — «варварское окружение». Несмотря на проблему айнов и наличие различных хозяйственных зон, Япония как однородная структура скорее являлась страной западного типа, нежели восточного мира.

Столь же различно под влиянием географического фактора складывались взаимоотношения этих двух стран с соседними этносами и государствами. Китай извечно соседствовал с миром степей и оставался открытым для периодических нашествий с севера и запада. Это были вторжения и завоевания тангутов, киданей, чжурчжэней, монголов и маньчжуров. Соседствуя с зоной кочевников, Китай оказался страной трагической судьбы. Всякое такое нашествие и покорение Срединного государства отсталыми этносами отбрасывало страну далеко назад — к хозяйственной разрухе и социальной деструкции, к частичному возврату уже пройденных стадий, к регенерации ранних общественных форм. Не одну тысячу лет Китай находился в системе «земледельческие народы — кочевники». Периодически подвергаясь разрушительным набегам, нашествиям и завоеваниям соседей, Срединная империя всякий раз откатывалась в прошлое — к отставанию в общественной эволюции. В отличие от Китая море надежно защищало земледельческую Японию от кочевников, гарантировало от трагических разрушений и отбрасывания общества назад. В этом смысле Япония находилась в идеальных условиях. Никогда нога завоевателя практически не ступала на землю Ямато. Благодаря этому в своей истории Страна восходящего солнца не знала попятного движения и катаклизмов, вызванных нашествием внешнего врага.

Не знала средневековая Япония и другой исторической напасти — крестьянских войн, тогда как Китай то и дело являлся ареной такого рода катаклизмов. Последние периодически возникали в русле циклического механизма традиционного общества. Крестьянские войны захватывали огромные территории, вовлекали в свое русло миллионы повстанцев. Каждая крестьянская война оставляла после себя хозяйственную разруху и вместе с тем оздоравливала систему в рамках циклической эволюции. Средневековая Япония, в отличие от Китая, не породила крестьянских войн такого рода и масштаба. Островная страна знала лишь ограниченные крестьянские восстания — локальные и мелкие. Разделенное между собой по множеству княжеств, японское крестьянство не могло вести такие масштабные крестьянские войны, как это было в Китае. В Японии вооруженные выступления крестьян носили в основном местный характер. В этом плане Страна

восходящего солнца также шла в русле западноевропейского феодализма и линейного развития. Через периодические иноземные завоевания и крестьянские войны, через послевоенную разруху в Китае происходило регулярное снятие демографической, социальной, политической и экономической кризисности. Тем самым в рамках циклического варианта эволюции действовал механизм периодической разрядки и «оздоровления» государственного феодализма. Азиатско-деспотическая система в Китае выходила на новый виток, в очередной цикл. В итоге снималась необходимость перехода к линейному варианту феодальной эволюции западного типа. Войдя в пологую спираль периодических циклов, Китай стал самодостаточной и завершенной системой. Последняя не нуждалась в дальнейшем самоусовершенствовании, а тем более в развитии. Китаю уже не требовались поиски выхода из циклической спирали и чужеземный опыт со стороны. Наоборот, все идущие извне импульсы либо отторгались системой, либо успешно погашались последней. Двигаясь лишь от одного цикла к другому, Китай утратил способность к внутриформационному движению, т.е. от стадии развитого к стадии позднего феодализма. Циклические кризисы стали не просто внутриформационными, но и всего лишь внутростадиальными. Как следствие выход на межформационный кризис оказался прочно заблокированным. В противовес этому Япония изначально оказалась страной, заимствующей чужие общественные формы, опыт и достижения. Так и оставшись открытой для внешнего воздействия, Япония сохранила способность к стадиальному развитию и переменам. Поскольку механизм циклического самообновления здесь не сложился, японская модель не стала самодостаточной и не обрела способности к периодическому «сбросу» внутренних общественных противоречий, т.е. к саморегулированию. Все это открывало дорогу к движению от одной стадии феодализма к другой, а затем и к системному, т.е. к межформационному, кризису.

Различными оказались внутренняя обстановка и политическая история обеих стран. Начиная с XVII в. Китай сотрясился от маньчжурского завоевания, мощных крестьянских войн, восстаний, борьбы тайных обществ и неханьских народов. Страну истощали завоевательные походы и войны с соседними государствами. В Японии же с XVII в. полностью прекратились междоусобные войны. Страна на два с половиной столетия погрузилась в состояние прочного гражданского мира при отказе от завоевательных войн вне архипелага. Тем самым ничем не нарушалось естественное развитие феодализма. В отличие от Китая, Япония не знала и тяжелейших послевоенных разрушений — неизбежных последствий всех этих военно-политических трагедий — крестьянских войн, нашествий кочевников и иноземных завоеваний.

Послевоенная разруха здесь была редкостью. Все это освободило Японию от необходимости платить за них обычную для Китая цену в виде постоянного торможения исторической эволюции и откатов вспять. Если начиная с XVII в. китайцы оказались униженными, попав под гнет власти очередных завоевателей — маньчжуров, то японцы остались независимой и гордой нацией.

Различия в общественном строе двух стран обозначились очень рано. Китай уже в древности стал ярким примером азиатской деспотии. С наступлением Средневековья он быстро обрел типичные черты бюрократической модели государственности. Базируясь на слиянии воедино двух амальгам — «власть-собственность» и «класс-государство», Срединная империя стала зоной господства верховной собственности государства на землю и всевластия чиновного класса-сословия. Тем самым средневековый Китай превратился в эталон восточной деспотии бюрократического типа, стал классическим воплощением государственной модели феодализма. В Японии становление государственности и классового общества проходило в рамках китайской модели. Последняя активно вводилась «сверху» центральной властью с середины VII в. за счет заимствования из Китая основ централизованного государства с опорой на бюрократию. Следуя китайскому образцу, в Японии насаждались непосредственное правление императорского дома, верховная собственность государства на все земли, наделная система землевладения, разветвленный бюрократический аппарат и формирование чиновного сословия с подготовкой его кадров в особых учебных заведениях. Наряду с созданием ранжированного чиновничества и иерархической структуры вертикального административно-территориального управления вводились регулярные вооруженные силы на основе воинской повинности, законодательство китайского толка и иероглифическая письменность. Тем самым Япония переводилась в русло государственного, или восточного, феодализма с режимом азиатской деспотии. Однако этот «эксперимент» вскоре столкнулся со спецификой собственно японского кода исторической эволюции. Под влиянием японской специфики уже с IX в. началась эрозия, а затем и распад китайской модели. Именно в уходе от нее и переходе к другой модели заключался парадокс «японского исторического чуда» XI–XII вв.

К началу XVII в. различия в общественных системах средневековых Китая и Японии отмечались и в сфере аграрного строя. В Китае государство выступало монопольным собственником всех земель в стране. Его подданным были оставлены лишь статус владельца земли или возможность ее держания (аренда). Иерархия земельных прав в Китае выглядела следующим образом: верховная собственность —

владение патронимии — владение большой семьи — владение малой (нуклеарной) семьи — индивидуальное держание (аренда). В этой системе четыре горизонта из пяти базировались не на индивидуальном, а на коллективном принципе: «класс-государство» — большая общность — средняя общность — малая общность. Таким образом, здесь прочно господствовало коллективное, или корпоративное (групповое), начало. Права же индивида возникали лишь на самом нижнем горизонте системы — на «этаже» держания, или аренды. В Китае частные феодалы-помещики, т.е. непривилегированные рентополучатели, оказались под гнетом монопольной собственности государства на все земли в стране, т.е. под тяжестью феномена «власть-собственность» — основы азиатской деспотии. В итоге китайские помещики так и не обрели статус частных собственников. Оставшись на более низкой ступени имущественных прав, они оказались на положении всего лишь владельцев земли. Тем самым частное, личностное начало здесь оказалось неразвитым. При всем том верховная собственность государства на все земли в Китае издревле оказалась спаянной с верховной властью императора. Такого рода амальгама «власть-собственность» служила фундаментом китайской деспотии. На этом зиждилось господство бюрократического «класса-государства» — второй основополагающей амальгамы традиционного Китая.

В Японии таких амальгам не существовало. Верховная власть и земельная собственность здесь во многом оказались разделенными. По-иному строилась и японская система земельных прав — собственности, владения и держания. Здесь отсутствовало доминирующее и гнетащее положение верховной собственности азиатской деспотии. Вместо этого господствовали частные статусы князя, самурая и крестьянина. Тем самым японская модель строилась не на коллективных, а на индивидуальных началах, не на безличностном (групповом, корпоративном), а на личностном принципе. Поскольку в Стране восходящего солнца верховная собственность, а тем более ее монополия отсутствовали, практически все земли (за исключением более чем скромного сектора императорских, или дворцовых, владений) так или иначе подпадали под нормы частных наследственных правоотношений феодального толка.

В Китае господство азиатской деспотии и феномен «власть-собственность» раскололи на две части не только среди феодалов, но и само крестьянство. Вместо единого класса земледельцев в Китае сложилось «два крестьянства» — податное и частнозависимое. Первое состояло из владельцев мелких и мельчайших участков земли. Их напрямую эксплуатировала казна, т.е. «класс-государство», через налоги, подати и трудовую повинность. «Второе крестьянство» сложилось из держа-

телей земли — частных феодалов-рентополучателей. Это были арендаторы помещичьих полей. В итоге китайская деспотия в лице бюрократического «класса-государства» напрямую господствовала над примерно половиной крестьянства. Его вторая половина эксплуатировалась частными арендодателями — рентополучателями. Над этим «вторым крестьянством» государство господствовало опосредованно — через головы помещиков. Япония не знала такого деления крестьянства на два различных класса. Практически все земледельцы здесь работали на своего господина (или на верховного правителя, т.е. *сёгуна*, или на местного князя), т.е. находились в системе частнофеодальной эксплуатации.

Формирование крупной феодальной частной собственности на землю стало спецификой Японии периода развитого феодализма. Сначала повсюду возникали крупные поместья (*сёэн*), затем на их базе сложились обширные феодальные сеньории — княжества (*хан*), вскоре превратившиеся в центры экономической и культурной жизни страны. Частная феодальная земельная собственность сеньориального типа сочеталась здесь с мелким землепользованием крестьян на правах наследственных держателей земли. Переход от поместья к княжеству являлся переходом от среднего феодального владения к крупной собственности. Укрепление последней создало экономическую базу для формирования княжеств. Последние стали основой политико-административного устройства Японии. При этом крупнейший земельный собственник — *сёгун* оказался фактическим сюзереном остальных князей и сувереном всей страны. Так основная часть (почти три четверти) земельного фонда Японии оказалась не в собственности государства (как это было в Китае), а в руках крупных и крупнейших феодальных домов (*даймё*). Все это привело к победе частного начала над казенным. С переходом от частных поместий к княжествам сформировалась частная феодальная собственность (*хоцрё*). Строгий порядок наследования и право первородства укрепляли это частное личностное начало, близкое к западным стандартам, в том числе — к майорату. В результате этого просто не осталось места для верховной собственности азиатской деспотии, т.е. коллективного «класса-государства» китайского типа.

В итоге в XVI в. для господствующего класса Японии основой земельных правоотношений стала феодальная собственность вотчинного типа. При этом наследственные родовые имения *даймё* облекались статусом полусамостоятельного или автономного княжества. Над ними возвышался дом Токугава, занимавший с начала XVII в. вершину феодальной иерархической пирамиды. Клан Токугава являлся крупнейшим земельным собственником, а его глава — всеяпонским сюзе-

реном. Однако *сёгуны* этой династии не были носителями обычной для традиционного Востока верховной собственности на все земли. В Китае единственным собственником выступала сама азиатская деспотия. Все же остальные субъекты права (помещики, крестьяне, купцы, ростовщики) оставались всего лишь в ранге либо владельцев, либо держателей земли, т.е. носителей имущественных прав второго или третьего сорта.

В противовес этому *сёгунат* Токугава (1603–1867) фактически оформлял экономическое и политическое господство крупных земельных собственников — самого *сёгуна* и князей. Если собственниками земли выступали *сёгун* и князья, то остальные самураи, связанные с землей, в правовом и имущественном плане оказались на порядок ниже этих «верхов». Часть средних и мелких феодалов (*буси*) в качестве вассалов получали от своих сюзеренов поместья, феоды или лены (*кюё, тигё*). Князья давали их своим самураям (*ханси, госи*), а *сёгун* — своим (*хатамото, гокэнин, госи*). Такие пожалования представляли собой условное феодальное владение. Земли этих самураев, равно как и крестьян, специальными указами запрещалось продавать и покупать. Тем самым даже владельческий статус этих самурайских земель оказался жестко урезан, и продавались они только тайно. Остальные вассалы вместо земельных владений получали рисовый паек.

Земли податных крестьян (*хомбьякусё*) являлись их наследственным держанием с выплатой земельной ренты. При этом прямая зависимость крестьянина от получателя ренты отсутствовала. Тем не менее земледельцы не имели права покинуть свои участки, т.е. были прикреплены к земле. Князю было выгодно способствовать социально-экономическому развитию своего княжества и охранять неприкосновенность крестьянских земельных держаний. Произвол же, особенно налоговый, грозил выступлением крестьян (подача петиций и восстания). Такой вариант мог повлечь за собой обвинение князя в «плохом управлении», вмешательство *сёгуна* в дела *даймё* и принятие крутых мер — вплоть до отобрания княжества. Поэтому князь и его вассалы, *сёгун* и его вассалы старались не доводить дело до острого конфликта с крестьянами. В Китае государственная форма эксплуатации крестьян была крайне сильна и даже претендовала на ведущую роль в экономике. В Японии же главной формой эксплуатации прочно стала частно-феодальная система изъятия прибавочного продукта у крестьян. До XVII в. японское крестьянство пользовалось сравнительно большой свободой. В ходе междоусобных войн феодалы обязывали своих крестьян нести воинскую службу в самурайских дружинах в качестве пехотинцев. С течением времени меч стал атрибутом многих сельских хижин. У таких пеших воинов по отношению к князю возникало по-

добие феодального вассалитета, отдаленно похожего на самурайское служение. Иногда богатые крестьяне становились самураями. Вооруженное крестьянство стало настолько опасным, что в конце XVI в. такую пехоту в массовом порядке пришлось разоружить («охота за мечами»). Если в Китае земля помещика или крестьянина после смерти отца поровну делилась между всеми его сыновьями, то в Японии утвердился майорат. Всю землю княжества, поместья или крестьянского двора наследовал старший сын покойного. Младшие сыновья не обладали наследственным правом на землю. Тем самым в Японии утвердилась, по сути, западноевропейская система наследования, не допускавшая дробления земельных владений, как это практиковалось в Китае. Таким образом, отсутствие в Японии азиатской деспотии и верховной земельной собственности позволило создать следующую иерархию поземельных правоотношений: частная феодальная собственность — частное феодальное владение — частное держание на феодальном праве. Так в Японии, в отличие от Китая, победило не государственное («класс-государство», деспотия), а частное, не коллективистское, а личностное начало.

Столь же радикально отличался и характер государства, т.е. политической надстройки этих двух стран. Китайская деспотия служила типичным примером административно-командной системы. Последняя строилась по унитарному принципу бюрократического соподчинения — наместничество, провинция, область, округ, приставство, уезд. В каждой территориальной единице всем командовала чиновная управа (*ямэнь*), набитая бюрократией и ее подручными — секретарями, писцами, низшим персоналом и солдатами. Иерархия этих управ — от ставки наместника до *ямэня* начальника уезда — служила как бы «дополнением» к чиновной табели о рангах. Это было царство бюрократии, где ключевыми звеньями служили уезд и провинция. В номенклатурном плане вся эта административная иерархия выглядела следующим образом: императорский наместник — губернатор провинции — начальник области — глава округа — управляющий приставством — начальник уезда. Данная чиновная пирамида возглавлялась придворными сановниками и чиновниками центрального, т.е. столичного, аппарата. Всю систему венчали аристократические семьи, князья из императорской родни и сам владыка «драконового трона» — Сын Неба. По сути дела, в Китае император венчал собой бюрократический класс, был главой «класса-государства», т.е. являлся первым и высшим чиновником Срединного государства.

Резервуаром, откуда черпались кадры бюрократии, служило ученое сословие (*ши, шэньши*). Будучи привилегированным, оно стояло над тремя другими рядовыми сословиями простолюдинов — земледельцев

(*чун*), ремесленников (*гун*) и торговцев (*шан*). Дабы войти в среду *шэньши*, следовало получить через экзамены или за деньги одну из трех ученых степеней (*шэньюань*, или *сюцай*; *цзюйжэнь*; *цзиньши*). Первая являлась низшей, вторая средней и третья — высшей. Обладание одной из двух последних давало право на занятие чиновной должности, чья высота зависела от ученой степени. Низкие должности получала и привилегированная часть *сюцаев*. Вся бюрократия Китая делилась на ранжированное чиновничество и внеранговое. Первое подразделялось на восемнадцать категорий (девять классов по два ранга в каждом). Данная номенклатура делилась на высшую, среднюю и низшую. Ниже их располагались носители внеклассных и номинальных должностей и званий. Все эти функционеры делились на штатских и военных. Кроме того, здесь много было чиновников без места, т.е. кандидатов на должностную вакансию, а также отставных, «пожалованных» и иных. Для всех этих слоев, составлявших бюрократический «класс-государство», было характерно обилие внутренних градаций. Так во главе Китая сложилась руководящая и разветвленная иерархия «людей государства», т.е. функционеров азиатской деспотии. Это была целостная система ненаследственных бюрократических рангов и должностей с последовательным подчинением и постоянной ротацией кадров.

В отличие от Китая в средневековой Японии очень рано стала сказываться тенденция к приватизации, т.е. к возрастанию роли и значения частного владения при слабости власти центра. Само государственное начало оказалось не столь прочным, как это было в Китае. Император царствовал, но не управлял Японией. Вокруг него не сложилось конфуцианской элиты и особенно чиновников-администраторов по китайскому образцу. Не привилась здесь и система регулярного воспроизводства бюрократии на базе системы конкурсных экзаменов. Все это привело к отсутствию ученого сословия конфуцианских начетчиков. За неимением налаженной системы воспроизводства чиновников оказалась неэффективной сама система бюрократии по китайскому эталону. Этот вакуум заполнили знатные местные дома. Последние захватили и удерживали важнейшие посты в территориальной администрации. Каждый сильный владетельный аристократ становился хозяином в своей местности. Государственные земельные наделы стали превращаться фактически в наследственные владения знатного дома данной местности. Таким образом, процессы приватизации власти на местах и земельных владений шли рука об руку.

Власть на местах оказалась в руках частновладельческих домов знати. Вся система приобрела явные признаки феодализма европейского типа. Тем самым в средневековой Японии сложился антипод

китайской модели и свойственной ей конфуцианской бюрократической администрации. Так возникла японская модель феодализма — альтернатива системе китайской чиновной деспотии. Дабы предотвратить уход крестьян от владельцев поместий (*сёэн*), началось феодальное прикрепление крестьян к земле. Создавались отряды профессиональных воинов-дружинников — сначала для войн с айну и участия в междоусобицах, а потом для борьбы с восставшими крестьянами. Эти воины-профессионалы с течением времени стали замкнутым сословием самураев-рыцарей японского Средневековья. Вскоре самураи превратились в грозное орудие крупных землевладельцев в их ожесточенной междоусобной борьбе за власть. Уже с XI–XII вв. власть имущие в Японии и вся ее система администрации опирались на преданных своим сеньорам и сюзеренам рыцарей-самураев, находившихся в зависимости от знатных домов.

В противовес Китаю в Японии упрочилась внечиновная, т.е. частно-феодальная, жесткая иерархия наследственных аристократических и дворянских титулов и категорий. Сложилась система вассалитета рядовых дворян по отношению к князьям, менее знатных семей — по отношению к своим сеньорам. В отличие от государственной бюрократии Китая, все самураи — от князей до разорившихся *ронинов* — составляли не только военно-дворянское сословие (*буси*, *си*), но и класс «частных» феодалов. Это военное дворянство со своей аристократией (*букэ*) и с «центром» (ставкой *сёгуна* в Эдо) было отделено от придворной аристократии (*кугэ*) и императорского двора в Киото. Император (*тэнно*) и *кугэ* являлись «обломками» несостоявшейся в Японии государственности китайского типа. Эти рудименты китайской модели на японской земле владели жалкое существование. Реальной власти они не имели и находились, по сути, на содержании *сёгуна*. Разбивка страны на провинции и сами должности их губернаторов носили чисто номинальный характер. Главным здесь было деление на княжества (*хан*). Провинцией управляли владевшие ею князья (*даймё*). Япония состояла из феодальных владений правителя (*сёгун*) и вотчин князей. Княжество являлось почти самостоятельной административно-хозяйственной единицей. В качестве феодального удела (*хонрё*) оно подчинялось правительству *сёгуна*, но имело автономный статус. Таким образом, в период позднего феодализма в Японии закрепились земельная собственность сеньориального типа, вассально-ленная система и феодальная иерархия. Все это напоминало «классические» европейские образцы. О периоде Токугава К. Маркс писал: «Япония с ее чисто феодальной организацией землевладения и с ее широко развитым мелкокрестьянским хозяйством дает гораздо более верную картину европейского Средневековья, чем все наши исторические книги,

проникнутые по большей части буржуазными предрассудками». Средневековую Японию иногда называют «Европой, причаленной к берегам Китая».

В Китае правители опирались на конфуцианскую бюрократию. На службе у государства она получала скромное чиновное жалованье и многократно превышавшие эту зарплату неофициальные доходы от использования своего служебного положения. Данная среда образовала господствующий «класс-государство» — коллективного персонификатора китайской деспотии. В противовес этому «государственному» классу Япония породила частнофеодальный класс военного дворянства со своей иерархией — от *сёгуна* (короля) до рыцаря-всадника и низшего самурая-пехотинца. Китай являлся страной государственного феодализма, господства чиновного аппарата и азиатской деспотии бюрократического типа. Япония же, напротив, пошла по пути частного феодализма, ибо владения *сёгуна* и *даймё* базировались на принципах, близких к западноевропейским стандартам. Благодаря этому сложилась не чиновная табель о рангах, а военно-феодальная иерархия на базе дворянско-рыцарского сословия самураев и личностного вассалитета в дихотомиях «даймё—самурай», «сёгун—самурай». В Китае государство изначально было сильнее общества, придавленного мощью азиатской деспотии. В Японии же государство, близкое к западноевропейскому феодальному типу, просто не имело возможности подмять под себя частнофеодальный социум. В конечном счете общество оказалось если не сильнее *сёгуната*, то стало как бы равноправным его «партнером» — автономным субъектом поступательного исторического развития. Если даже у *сёгунов* династий Асикага (1338–1576) и Токугава (1603–1867) и имелись поползновения к установлению деспотического правления, то княжества и их многочисленное вооруженное дворянство служили сильным противовесом таким тенденциям. В том же направлении влияла финансовая мощь верхов городского купечества и ростовщиков. В Китае основой системы служили власть как таковая и бюрократическое государство. В Японии же система базировалась на феодальной земельной собственности и княжествах — частном достоянии *даймё*. В первом случае чиновный статус не был наследственным, тогда как во втором дворянский статус — от *даймё* до самурая низкого ранга — передавался по наследству из поколения в поколение. Тем самым в Китае власть и землевладение, особенно «частных» помещиков (не *шэньши*), оказались раздельными, а в Японии — слитыми воедино. В Китае власть являлась автономной по отношению к землевладению и экономике. В Японии же, наоборот, власть проистекала из сферы поземельных отношений и народного хозяйства.

В китайской модели власть (в лице бюрократического класса азиатской деспотии) и землевладение (в лице помещиков) оставались разьединенными по двум сословиям (*ши*, *нун*) и по двум различным классам («государственных» и «частных») феодалов). В японской модели все выглядело иначе. Здесь и власть, и землевладение соединились в руках дворянства (*букэ*, *буси*) частнофеодального толка. В итоге в Китае не сложился единый класс феодалов. Мощь азиатской деспотии расколола его на две части. Первую составили «государственные» феодалы, т.е. правящая бюрократия, а вторую — «частные» феодалы, т.е. вечноинвые помещики. Первая стала господствующим и правящим классом. Вторая оказалась лишенным политической власти эксплуататорским классом землевладельцев — рентополучателей, т.е. социальной силой «второго сорта». В Японии из-за отсутствия восточной деспотии такого разделения не произошло. Здесь господствующий класс остался единым в рамках военно-феодального сословия самураев. Именно эта социальная сила в лице *сёгуна* и *даймё* (своего рода «короля» и «баронов») являлась носителем политической, военной и экономической власти.

В Китае привилегированный класс бюрократии, или «государственных» феодалов, прочно господствовал над непривилегированным классом «частных» феодалов, т.е. помещиков. В отличие от функционеров китайской деспотии помещики оказались изолированными от власти. Такого рода «частник» остался вне политики, т.е. был лишен воздействия на дела управления страной. В Японии же наблюдалось полное господство частнофеодального начала в лице князей и самураев. Здесь правила бал не бюрократия азиатской деспотии, а наследственное военное дворянство — класс и сословие «частных» феодалов во главе с *сёгуном*. Япония отличалась от Китая крайне слабыми позициями государства в сфере землевладения. В Китае господствовала верховная собственность императора (т.е. государства, или правящей бюрократии). Все земли частных лиц могли иметь лишь статус владения. В Японии же, наоборот, при господстве феодальной частной собственности (*сёгуна* и князей) государственные владения императорского дома оказались крайне скромными. Материальное положение императорских семьи и двора можно сравнить с положением «обычного» князя средней руки. Даже если сёгунский домен условно приравнять к государственным владениям, то и тогда собственность дома Токугава составляла всего лишь четверть всех земель страны. При этом собственность правителя из дома Токугава (своего рода «королевский домен») мало чем отличалась от собственности крупных владетельных князей. Тем самым в обществе средневековой Японии не доминировала мощь восточной деспотии и ее «верховой собствен-

сти», загонявших в Китае частное начало на нижние горизонты экономики и социума.

Приниженности частного начала и ущербности китайских феодалов-помещиков Япония противопоставила неоспоримое господство частнофеодального потенциала. Носителями последнего стали не только владетельные князья, но и первый среди них, *сёгун*. Его функции, природа, прерогативы, компетенция и статус в чем-то очень напоминали положение западноевропейских средневековых монархов. Такого рода уклон в сторону частного феодального начала довольно рано — с VIII в. привел к власти череду сменявших друг друга знатных и сильных домов — Сога, Фудзивара, Тайра, Минамото, Ходзё, Асикага и Токугава. Поначалу их лидеры именовались «регентами» или «канцлерами» (*сиккэн*), а затем приняли титул «главнокомандующего», или «военного правителя» (*сёгун*). Так сложились последовательно сменявшие друг друга три сёгунские династии — Минамото (1192–1338), Асикага (1338–1576) и Токугава (1603–1867). В известной мере *сёгуны* были наиболее крупными и сильными феодальными князьями, имевшими верховную власть над остальными. Роль *сёгуна* была близка к королевской в Западной Европе. В результате сложилась двухъярусная структура: «суверен и его непосредственные вассалы — сюзерены и их собственные вассалы», т.е. «*сёгун* и его самураи — *даймё* и их самураи». Все это напоминало европейскую структуру: «король — сеньоры — рыцари». В этих условиях Япония стала страной своего рода «королевских», или «сёгунских», династий, наследственных княжеств и потомственных феодальных титулов. Данный верхний уровень снизу поддерживался системой феодальных держаний, жалований и вассальной зависимости рядовых дворян — самураев. Рыцарское служение последних базировалось на их сословном статусе и на княжеской земельной собственности. Отсюда черпались и самурайские поместья, и самурайский рисовый паек. Тем самым в Японии именно земельная собственность (князей и *сёгуна*) служила источником власти.

Здесь же рождалась и асимметрия властных кадров двух этих моделей — японской и китайской. В Китае штатская (гражданская) бюрократия полностью господствовала над военными чиновниками и офицерами. Приниженное положение армейских кадров, их подчинение аппаратной номенклатуре жестко укоренились в конфуцианской системе. В Японии же лидирующее положение занимали именно военные — в лице всего сословия самураев-воинов (*си*) и класса военного дворянства (*букэ*, *буси*). Управленческие кадры почти целиком рекрутировались из самураев-рыцарей. В их же руках находились все штатские должности. Чисто штатское чиновничество существовало лишь

при дворе императора — в рядах аристократии (*кугэ*) — и не имело реального веса в делах. В Японии воины-самураи были господствующим сословием, а оружейники — носителями почетной профессии, ибо здесь существовал «культ меча». В Китае же всем верховодили чиновники. Здесь издавна сложился «культ кисти» для письма. Солдаты и оружейники китайцы находились внизу сословной лестницы, принадлежа к внесословному «подлому люду» и к лицам «низких профессий». Военная служба не считалась почетной. Престижными являлись лишь бюрократическая карьера и ученые занятия, т.е. книжная схоластика. Китайская пословица гласила: «Из хорошего железа не делают гвоздей, хороший человек не идет в солдаты».

По сути дела, китайский император (маньчжурский богдохан) как глава «класса-государства» являлся верховным бюрократом Срединного государства. В этом плане правитель Японии — *сёгун* выступал в роли главного князя, верховного феодала и «первого самурая» Страны восходящего солнца. Если Китай оставался азиатской деспотией во главе с императором, то Япония возглавлялась императором лишь номинально. Страна восходящего солнца фактически управлялась лидером частнофеодальной системы — *сёгуном*. По сути, *сёгунат* являлся разновидностью королевской власти западноевропейского типа. Венчая собой систему политического и экономического господства дворянских сословия и класса — от самого *сёгуна* и князей до последнего в иерархии самурая (*ронин*), *сёгунат* являлся особой формой феодальной государственности — военно-дворянской монархии. Типологическое противостояние Китая и Японии определялось различием между чиновной деспотией во главе с сакральной фигурой (Сын Неба) и королевской по своей сути властью *сёгуна*, лишённого какой-либо священной благодати. В конечном счете это было различием между властью азиатского и западноевропейского типа.

В отличие от монархов Китая и Японии *сёгун* не был августейшей особой. Основатель каждой из *сёгунских* династий происходил не из императорского рода, а из наиболее могущественных князей. В качестве *сёгуна* этот владетельный «частный» феодал оставался «сверхкнязем», «*супердаймё*» и правителем Японии. Прежде всего это был «военный правитель», «великий полководец — покоритель варваров» (*сэйи тайсёгун*), «великий правитель» (*тайкун*). Власть этого «*сверхдаймё*» и «суперкнязя» по своему типу была сродни королевской в Западной Европе и резко отличалась от императорского статуса Сына Неба в Китае. Не обладая священным саном монарха (его имел лишь безвластный император с функциями верховного жреца), *сёгун* оставался, по сути, в ранге *даймё*, но тем не менее был первым среди князей. Если у каждого *даймё* имелось свое княжество, то над всеми ними

возвышалось «суперкняжество» – владения дома *сёгуна*, происходившего из среды князей. Будучи по сути таким же *даймё*, как и остальные князья, *сёгун* не имел права облагать налогом своих «собратьев» по классу. Однако в силу вассальных принципов *даймё* периодически преподносили этому «суперкнязю» и верховному суверену «дары» — золотыми и серебряными монетами. Земельные владения династии Токугава обладали противоречивой природой. Как принадлежащие самому крупному и сильному княжескому дому, они были его частной собственностью. Как владения правителей страны, они служили «королевским доменом» Японии, т.е. претендовали на статус государственной собственности. Система *сёгуната* представляла собой военную диктатуру сильнейшего в экономическом, военном и политическом отношении феодального дома, опиравшегося на военнослужилое дворянство. При этом номинальная власть императора обеспечивала идеологическое единство не только класса феодалов, всех его группировок — от придворной знати в Киото (*кугэ*) до разорившегося самурая (*ронин*), но и всего общества.

При династии Токугава существовала система *бакуфу-хан*. Первое слагаемое этой дихотомии представляло собой госаппарат и владения *сёгуна*, а второе — княжества, коих насчитывалось от 200 до 260. В итоге сложилась «сёгунско-княжеская» структура (*бакухан*). Княжества находились под внешним контролем *сёгуна* и подчинялись ему, в том числе и через систему заложничества. Между тем фундаментом верховной власти в Японии служили именно феодальные княжества. Если Китай представлял собой централизованное и унитарное государство восточной деспотии, то Япония трансформировалась в бинарную систему. Здесь централизация (в лице *сёгуната*) уравновешивала децентрализацию (в лице княжеств) как равновеликое начало частнофеодальной системы. Такого рода «сёгунско-княжеская» государственность строилась не на коллективно-деспотических принципах, а на основе индивидуальных, частных прав князей и отношений этих полусамостоятельных феодалов с их главой. *Даймё* как наследственные правители были полными хозяевами в пределах своих княжеств, правда под надзором *сёгуна*. Основной земельный фонд Японии был закреплен за князьями в качестве их личной собственности. Княжество являлось самоуправлявшейся хозяйственной и административной единицей. *Даймё* имел право суда и реальной власти над всеми своими подданными в пределах своего княжества. В его распоряжении находились укрепленные замки, самурайские дружины, призамковые города и рынки. Князь непосредственно управлял своими вооруженными вассалами, а через своих назначенцев — и крестьянами. С них он получал налоги (натуральную ренту — оброк) и тре-

бовал выполнения гужевой и трудовой повинности — своего рода барщины.

В Китае во главе всякой административно-территориальной единицы стоял чиновник. Обычно он сменялся каждые три года и переводился чаще всего на ту же должность или с повышением, но в другую провинцию. *Даймё* же владел своим княжеством всю жизнь и передавал его по наследству старшему сыну. В этом отношении китайский «коллективный», или «бюрократический», феодализм разительно отличался от японского «частного», или «личностного», варианта. Управляющий данной территорией (провинцией, областью, округом, уездом) китайский чиновник не был лично заинтересован в процветании данной ему «в кормление» административной единицы. Зная, что через три года его обязательно переведут на службу в другую провинцию, такой бюрократ относился хищнически к населению. Ему надо было поскорее набить карманы утаенной частью собранных налогов, набрать побольше взяток и удачно отчитаться перед вышестоящим начальством. В этом заключался весь его личный интерес, оторванный от нужд, интересов и перспектив населения. Иначе обстояло дело в Японии. Здесь княжество оставалось наследственным достоянием семьи *даймё*. Сила, богатство и престиж князя напрямую зависели от процветания его владений. *Даймё* был лично заинтересован в экономическом, социальном и военном развитии своей вотчины. Благополучие последней напрямую «работало» на «карман» *даймё*. Княжество являлось его личным и постоянным «делом», своего рода «предприятием». От *даймё* требовалось быть рачительным хозяином в своем доходном и развивающемся «поместье» большого масштаба. Так разительно отличалось решение проблемы личной заинтересованности в условиях «частного» феодализма в Японии от незаинтересованности очередного, постоянно сменяемого чиновника в системе «государственного» феодализма в Китае. Первый вариант более прогрессивен, ибо здесь присутствовала заинтересованность в развитии и в поступательном движении. Второй строился в лучшем случае на сохранении и поддержании существующего уровня, что означало социально-экономический застой и исторический тупик.

В Срединной империи главной силой являлся «класс-государство», т.е. регулярно сменяемая бюрократия. В противовес этому Страна восходящего солнца базировалась на наследственном дворянстве (*буси*). Это военно-феодалное сословие самураев — своего рода «дворянство меча» — несло вассальную службу своим сеньорам: *сёгуну* и *даймё*. Одни самураи были личными вассалами верховного правителя, другие — личными вассалами князей. Сравнительная многочисленность этого служилого сословия объяснялась повышенной ролью во-

енного фактора в обстановке почти непрерывной междоусобной борьбы феодальных домов и княжеств. Мощью военного дворянства подавлялось и сопротивление вооруженного крестьянства, имевшего право носить оружие вплоть до конца XVI в. И *сёгун*, и каждый князь имел свою администрацию из числа дворян и свое войско или дружину из самураев. Каждый из этих рыцарей, в свою очередь, имел от своего сеньора либо пожалованный земельный надел с хорошим доходом, либо натуральное содержание — рисовый паек. В силу этого вооруженные вассалы были готовы сражаться за своего сюзерена не на жизнь, а на смерть. В итоге сложилась многоступенчатая феодальная иерархия. У *сёгуна* имелась своя «пирамида» вассалов. Последняя выглядела так: князя, родственные дому Токугава (*камон даймё*), — князя — союзники и приверженцы Токугава (*фудай даймё*) — непосредственные вассалы *сёгуна* двух уровней. Первой такой стратой были «знаменосцы» (*хатамото*). Имея право непосредственного доступа к *сёгуну*, *хатамото* служили ему в качестве офицеров, чиновников и порученцев. Ниже стояли *гокэнин*, в свою очередь разделенные на несколько категорий. Еще ниже находились сельские самураи (*госи*), владевшие землей. У обоих рангов *даймё* (*камон* и *фудай*) имелись свои вассалы-самураи (*ханси*) во главе с главным вассалом (*каро*). Так же строилась вассальная зависимость самураев от недавних противников Токугава (*тодзама даймё*, т.е. «сторонние князья»). Все дворяне, служившие либо *сёгуну*, либо князю, получали от своих сюзеренов либо землю в кормление, либо рисовый паек. И наконец, в самом низу этой пирамиды находились разоренные самураи (*ронин*) — утратившие либо своего князя, либо землю, либо рисовый паек.

Резко отличались друг от друга и социально-психологические портреты господствующих классов и сословий Китая и Японии. Китайские бюрократы служили системе, т.е. государству, и на всех уровнях системы оставались «людьми канцелярии». Это была связь «аппарат — его функционер», «канцелярия — чиновник». Здесь господствовало аппаратное безличностное начало, сумма «винтиков». На этой основе строился коллективный принцип организации «верховой корпорации», или «главного коллектива», т.е. государства. Любой «винтик» этой машины — от столичного сановника до писаря в уездной управе — являлся «рабом восточной деспотии», лишенным личностного начала. Как типичная среда азиатской деспотии, бюрократия Китая культивировала холуйство перед начальством, хамство и произвол по отношению к простолюдинам. К этому добавлялись казнокрадство, взяточничество, карьеризм, nepотизм, оказание протекции «своим людям» или за мзду. Здесь царили покорность, лицемерие, трусость и приоритет шкурнических интересов. В этой среде чинуш и чиновдралов

взаимное подсиживание и интриги были обычным явлением. В бюрократическом Китае не способности и таланты, а близость к верхам, интриги и пресмыкательство открывали дорогу к успешной карьере. Сановники такого сорта не могли вывести страну на новые рубежи.

Если символом господства штатской бюрократии в Китае служила кисть для письма, то эмблемой военного дворянства в Японии был изогнутый самурайский меч. В противовес китайскому чиновнику — «чернильной душе» и «канцелярской крысе» — японский самурай являл собой совершенно иной социальный тип. Будучи воином, рыцарем и дворянином, он был личностью и индивидом. Его служба князю или *сёгуну* строилась на личностной основе — по сути на принципе западноевропейского вассалитета. Самурай был вассалом своего сеньора или сюзерена (*даймё*), а тот, в свою очередь, вассалом другого сюзерена, или суверена (*сёгун*). В этой системе личной зависимости каждый из ее участников имел соответствующие обязательства по отношению к другому как индивид к индивиду. Самурай, в отличие от китайского чиновника, являлся личностью и служил другой личности. Такого рода вассалитет представлял собой межличностные и по сути договорные отношения. Последние строились на взаимных правах и обязанностях, с учетом интересов и обязательств каждой из сторон на основе норм, выработанных феодальной традицией. Японские самурай-рыцари демонстрировали верность долгу, отвагу, преданность князю, гордость, жестокость по отношению к врагу, презрение к смерти, стремление к личной воинской славе и приоритет долга над чувством. Все это должно было сочетаться со скромностью, сдержанностью, самообладанием и самоконтролем.

Самурай свято соблюдал морально-этический кодекс чести — «путь воина» (*бусидо*). Данный свод норм поведения японского рыцаря включал в себя прежде всего принцип вассальной верности своему сюзерену — вплоть до безусловной готовности отдать за него жизнь. Такой дворянин больше всего страшился позора. В случае поражения в бою, угрозы плена или бесчестья самурай должен был покончить с собой через вспарывание живота (*сэппуку*, *харакюри*), по возможности следуя при этом определенному ритуалу. Самурайство было сильно своими представлениями о долге и чести. Помимо безграничной преданности сюзерену и верности своему вассальному долгу японского рыцаря отличали воинственность, мужественность, готовность к самопожертвованию, способность по первому же зову вступить в бой за *сёгуна* или князя. Такого японского «рыцаря без страха и упрека» отличали чувство собственного достоинства, отвага, стойкость и жестокость в бою. Самураю были присущи особая физическая, военная и интеллектуальная подготовка, а также воинский профессионализм.

В бою один такой рыцарь стоил десяти китайских солдат. Оскорбление его чести смывалось кровью обидчика. Культ воинской чести обусловил недопустимость плена, считавшегося позором. Самоубийство помогало избежать позора, спасало честь самого самурая и репутацию его фамилии. Уже в школе сыновья самураев обучались искусству вспарывания живота мечом. В самурайских семьях девочек учили закалываться кинжалом. Готовность к самопожертвованию, фанатическая преданность сюзерену сочетались с философией фатализма. Эта среда выступала носителем ярко выраженного личностного начала и принципа самоценности данного индивида. Идея самопожертвования во имя особой вассальной преданности своему сюзерену диктовала отрешенность от всего, что могло отвлечь от исполнения воинского и служебного долга. Эта была среда, где восхвалялись военные подвиги, смелость, решительность и верность. Все это формировало сильную и гордую личность, своего рода рыцаря, с чувством собственного достоинства, сознанием своей высокой предопределенности и сословного превосходства. Японское дворянство было средой гордых и мужественных личностей, знающих себе цену индивидов. Никакая другая страна Востока не смогла породить такого сословия рыцарей — «дальнюю родню» западноевропейского дворянства. Таким образом, самурай был абсолютным антиподом китайского чиновника — карьериста, стяжателя и трусливого низкопоклонника.

Различные тенденции давали себя знать и в положении города по отношению к центральной власти. В Китае издавна город был жестко придавлен всей мощью азиатской деспотии, по сути являясь ее местным «центром» или «ставкой» бюрократического «класса-государства». В качестве контраста этому служило наличие в Японии нескольких независимых от феодальных властей самоуправляющихся городов — Осака, Нагасаки, Сакаи и Хаката. Эти города-республики имели свои войска, крепостные стены и башни. Однако и их «вольница» ограничивалась действиями сёгунских чиновников, а затем в XVII в. была ликвидирована. Тем не менее неуклонно усиливались мощь и роль торгового и ростовщического капитала в делах сёгунско-княжеской системы. В обстановке укрепления частной собственности росли богатство и влияние верхов торгового сословия (*сё*). Через их руки проходило все золото и серебро Японии. Князья и самураи увязали в долгах купечеству. Редко кто из *даймё* или из рядовых дворян не брал у них займы крупных сумм. Самураи продавали им свои квитанции на получение рисового пайка. Как мелкие, так и крупные князья гнули спины перед купцами в надежде на денежную ссуду. О силе такой зависимости сложилась поговорка: «Гнев купцов Осака может вызвать ужас в сердцах *даймё*». В Китае подобной картины не

наблюдалось. Более того, Срединное государство так и не поднялось до стадии монетарного обращения золота и серебра. Там драгоценные металлы обращались в примитивной форме — в виде слитков и отливок, т.е. шли на вес. Япония же перешла к золотой и серебряной монете, хотя эти деньги и ходили наряду с весовым серебром.

Коренным образом отличались друг от друга и типы социальной мобильности внутри обеих стран. Китайская модель была «открытой», т.е. любой богач мог войти в состав привилегированного сословия *шэньши*, а затем и в ряды «класса-государства». Для этого деньги можно было «конвертировать» сначала в ученую степень, а затем в чиновную должность, в том числе номинальную. Тем самым помещик, купец, ростовщик и предприниматель-мануфактурист за деньги могли из низших сословий перейти в «благородное» сословие (*ши*) и в ряды «государственных» феодалов — чиновников. Так богатый простолюдин входил в среду китайской деспотии. Это был наилучший и самый престижный вариант вертикальной социальной мобильности. В этом плане китайская деспотия действовала по принципу магазина, где можно все купить по средствам. Правда, простолюдин здесь мог приобрести далеко не все. К «товарам» высшего уровня его не подпускали. Тем не менее он мог весьма комфортно устроиться в нижних и даже средних этажах системы, т.е. стать «человеком государства» — компонентом самой деспотии. Для этого был открыт и более престижный путь наверх — через экзамены для получения ученой степени (*шэньюань*, *цзюйжэнь*, *цзиньши*), а затем и чиновной должности. Богач мог «победить» на экзаменах, дав крупную взятку экзаменаторам. Через экзамены или за деньги в привилегированную среду переходили люди из сословий земледельцев (*нун*), ремесленников (*гун*) и торговцев (*шан*). Таков был путь наверх, т.е. вариант восходящей сословной мобильности и престижной карьеры. Тем самым вместо движения, например, купца к статусу предпринимателя и буржуа имело место хождение по кругу традиционности.

Таким способом деспотия «перекачивала» в свою сферу верхушку «частников», аккумулируя их богатство, инициативу и честолюбие. Соответственно, государство укрепляло себя и ослабляло оппозицию в сфере торговли, кредита и предпринимательства. В итоге размывался потенциал будущей буржуазной эволюции богатых простолюдинов и закрывалась дорога к новой формации. Благодаря восходящей сословной мобильности китайская модель направляла потенциал формационного будущего в русло феодализма и традиционности. Тем самым восходящая мобильность оборачивалась движением вспять — либо топтанием на месте, либо откатом назад. Это был путь не к капитализму, а, наоборот, к избежанию его. Фактически это был тупиковый и

регрессивный вариант социальной мобильности, регулярно обессиливавший предбуржуазную среду. Наиболее активные и честолюбивые богатеи из нее постоянно изымались и переманивались в лоно бюрократического феодализма. Так этот вариант сословной и социальной мобильности постоянно питал «свежей кровью» и укреплял среду *шэньши* и китайскую деспотию. Лучшие силы «экономических» сословий, их богатство, энергия и талант уходили в сферу бюрократического класса, а китайская деспотия регулярно перекачивала в свои ряды наиболее активную часть предпринимательской среды. Остальная масса последней как бы обезглавливалась и обескровливалась, а ее социальное развитие по восходящей пресекалось.

В XVII–XVIII вв. японская модель отличалась от китайской, ибо стала «закрытой». Тогда на деньги простолюдина — купца, ростовщика, помещика — нельзя было купить звание самурая, занять место в дворянском сословии (*си*). Богачу-простолюдину нельзя было сделать карьеру «в верхах», например занять место в княжеской, а тем более сёгунской администрации. Восходящая сословная мобильность для богатого простолюдина оказывалась невозможной. Ему оставалось весь свой «капитал» — деньги, талант, честолюбие и трудолюбие — направлять на развитие своего «дела» (семейная фирма, магазин, лавка, контора, предприятие). Таким образом, открывалась лишь горизонтальная мобильность в рамках своего сословия — к укреплению и процветанию собственного бизнеса. Однако сословие самураев с конца XVIII в. уже допускало в свою дворянскую среду богатых простолюдинов из низких сословий (*но, ко, сё*). В XIX в. за деньги простолюдины уже могли получать должности и самурайский ранг. Тем не менее эта прослойка не обескровливалась переходом ее представителей «наверх», но сохраняла и усиливала свой экономический и социальный потенциал. Благодаря этому богатство, энергия, талант, честолюбие и капиталы купцов, ростовщиков и торговцев оставались в сфере экономики и продолжали «работать» в русле предпринимательства. В целом экономика и социум японских городов развивались не по циклам и синусоиде, как это происходило в Китае, а поступательно — по восходящей вверх кривой. В результате Срединное государство тиражировало стадиальный и формационный застой, а Страна восходящего солнца — исторический прогресс на пути от феодализма к капитализму. Так укреплялась не только сама городская предпринимательская среда, но и ее предбуржуазная и раннекапиталистическая перспектива. Восходящая сословная мобильность оборачивалась восходящей же социально-экономической мобильностью. Это было движением не назад — в феодализм, а вперед — к буржуазной эволюции и капитализму. Если китайская система работала как «отсасывающий

насос», то японская — как «насос» нагнетающий. Китайский вариант предотвращал подготовку к смене формации, а японский — «работал» на такую смену.

Китайский *шэньши* — представитель «ученого» сословия (*ши*), лишившись своих «благородных» доходов (от должности, от ученой степени, от землевладения), считал ниже своего достоинства заниматься делами «низких» сословий — торговлей, ремеслом и обработкой земли. Предпочитая бедствовать, жить на подачки родни и клана, он не мог «унизиться» до занятий «простонародья». В Японии самурай, потерявший сословные, т.е. дворянские доходы, зачастую начинал заниматься не только разбоем и рэкетом, но и ремеслом, торговлей, предпринимательством и делами «свободных профессий». В Японии такая сословная мобильность становилась нисходящей. Это был путь из самураев (*си*) и земледельцев (*но*) в ремесленники (*ко*) и торговцы (*сё*). Такое сползание вниз оборачивалось в исторической перспективе движением в направлении буржуазного предпринимательства. Этот прогрессивный вариант социальной мобильности и поступательной эволюции укреплял и расширял протобуржуазную среду и раннекапиталистическое развитие. Зато он же ослаблял самурайское сословие, класс феодалов и средневековую систему. Это было движение из прошлого в будущее, из феодализма в капитализм. В Японии предбуржуа становились дворянами, а самураи превращались в предпринимателей. Отложив в сторону рыцарские мечи и щелкая костяшками на купеческих счетах, они закладывали основы будущих капиталистических компаний. Тем самым даже люди из класса и сословия феодалов продвигались вперед — к новой формации. Так, основатели знаменитых торгово-предпринимательских домов Мицуи, Коноикэ и Сумитомо вышли из среды самураев. Практика исторического развития продемонстрировала обреченность китайского (снизу вверх) и перспективность японского варианта сословной мобильности (сверху вниз). Предельно гибкая китайская модель вела к самовосстановлению, самооздоровлению и саморегулированию всей системы, т.е. к ее самосохранению. Тем самым последняя предохранялась от стадальной смены, формационного кризиса и слома. В результате бесконечно продлевалось состояние общественного застоя. Жесткая модель Японии, наоборот, вела к накоплению кризисного потенциала и к нарушению системного равновесия. Поскольку в последней отсутствовал механизм самовосстановления и самооздоровления, кризис системы открывал дорогу к возможной смене формации. Развитие в рамках такой системы было чревато ее сломом.

По-разному в этих двух странах решалась и проблема взаимоотношений личности и коллектива. Как известно, общество Западной

Европы на первый план выдвигало человека — как личность, как индивида. Доминирующими здесь стали межличностные отношения. Китайский же социум превыше всего ставил коллективное начало. Прежде всего это были семья, патронимия (клан) и государство. Семья и клан считались основой единства государства. Приоритет внутрисемейной и клановой дисциплины выдвигал на первый план кровнородственные отношения. Именно коллективное начало цементировало традиционное китайское общество не только в деревне, но и в городах. Здесь за человека все решали землячество и цехогильдия. Низовой социальной единицей в Китае служил не индивид, а семья. Каждый ее член без колебаний отказывался от личных целей и личной свободы во имя интересов этого низового коллектива. Одновременно человек нес ответственность за всех остальных членов семьи, ибо она охватывалась своего рода круговой порукой. Китаец фактически становился совершеннолетним только после смерти отца. Последний обладал абсолютной властью над своими сыновьями, какого бы возраста они ни достигли. Даже женатые и имевшие собственные семьи сыновья не смели даже думать о выходе из-под власти родителя. Отделиться и завести собственное хозяйство сын мог лишь с отцовского согласия. Сыновья и жены не могли иметь собственного имущества, отдельного от отцовской и мужниной семьи. Все приобретенное передавалось главе семьи. Заработанные на стороне деньги сыновья обязательно пересылали родителям. Наиболее обезличенными оставались женщины, не имевшие никаких прав на семейное имущество. За невестой в приданое никогда не давалась земля. Наследницей женщина могла стать лишь при отсутствии в роду живого мужчины. Муж мог продать своих жен и наложниц, передать их другому человеку — временно или навсегда. В основе коллективного начала лежало как бы «верховное владение» землей и всем движимым имуществом со стороны семьи и клана. Коллективный принцип здесь стоял выше власти главы таких общностей. Главы этих ячеек могли сохранять свои прерогативы только при соблюдении общих интересов. Лишь подчиняясь групповой дисциплине и коллективным устоям, такой лидер сохранял свою цементирующую роль и выполнял свои властные функции. В свою очередь, все рядовые члены коллектива обязаны были отвечать на такую «заботу» о них абсолютной покорностью и лояльностью.

Судьба человека в Китае зависела не от него самого, а от главы коллектива, или корпорации. Над китайцем стоял глава нуклеарной (малой) семьи, над ней — глава большой семьи, над ней — глава патронимии (клана). Господство коллектива оборачивалось властью его главы. После смерти такого лидера его прерогативы переходили к его старшему сыну от старшей жены. Такое «монархическое» наследова-

ние власти цементировало данный коллектив и укрепляло корпоративное безличностное начало внутри каждой из трех указанных выше общностей. При всем том патронимия (клан) выступала в роли суда первой инстанции. Именно глава клана отвечал перед государством за поведение своих подопечных. Рядовые члены семьи или клана должны были беспрекословно подчиняться своим лидерам, демонстрировать им свое уважение, преданность и покорность, а также в этом же духе воспитывать своих детей и внуков. Такого рода взаимные требования как «сверху», так и «снизу» цементировали семью и клан как ядро коллективистского социума, как одну из основ деспотии. Те же принципы действовали и на более высоких горизонтах. Механизм построения и управления низовыми коллективами служил увековечиванию господства бюрократического класса, ибо деспотия здесь действовала не только сверху вниз, но и снизу вверх. Отец — глава семьи считался своего рода «представителем императора», а нарушение семейной дисциплины рассматривалось как расшатывание устоев государственности.

Господство отца семейства и главы клана передавалось всей системой по восходящей линии и замыкалось на власти императора. Китай считался единой «большой семьей», а Сын Неба выступал ее «отцом». Императрица считалась «матерью» государства. Монарх здесь служил концентрированным выражением и завершением семейного, кланового и всякого иного коллективного начала. На уровне «драконового трона» семейная и государственная коллективность соединялась в одном лице. В итоге Китай стал коллективистской цивилизацией, где корпорации (семья, клан, землячество, гильдия, цех, тайное общество и государство) полностью подавили личность. Индивид оказался поглощенным коллективом и как личность не играл заметной роли, а интересы отдельного человека не принимались в расчет. Любовь как таковая игнорировалась, ибо считалась неприличной. Молодые люди вообще не должны были встречаться. При женитьбе и замужестве их личные чувства не принимались во внимание. Вместо этого происходило насильственное соединение молодых в результате сделки глав двух семей.

Если в Китае на первом месте стоял коллектив и верховная общность — государство, то в Японии наблюдалась иная картина. Здесь на авансцену общества вышли индивид и личностное начало. Япония избежала господства азиатской деспотии. Японский социум не стал средой «поголовного рабства» подданных восточной деспотии. Тем самым открывалась дорога к формированию не коллективистской, а личностной цивилизации. Преобладание частного начала над государственным, в свою очередь, способствовало становлению индивида как

субъекта общественной эволюции. В Японии в конце концов возобладала малая (нуклеарная) семья. Над частными делами крестьянина сохранялось давление большой семьи и патронимии (клана), но оно не было столь мощным, как в Китае. В итоге индивидуальное начало стало крепнуть и на самом нижнем горизонте социальной иерархии.

В отличие от Китая в средневековой Японии постепенно и подспудно вызревали основы личностной цивилизации. Так, шаг за шагом складывались представления о частной собственности, о личных правах, о личной ответственности человека за себя самого, о его праве на свободный выбор. В русле этого постепенно закладывались основы личной суверенности и индивидуальных прав, ценность личности как таковой, частнопровые отношения. Укреплению личностного начала содействовало распространение чань-буддизма (дзэн-буддизма) и аватаризма (амидаизма). Последнее укрепляло личную ответственность и индивидуальность человека в противовес тотальному коллективизму и раздавленности индивида в Китае. В итоге Япония сложилась как личностная цивилизация, где индивид находился на переднем плане и коллектив не господствовал над личностью, а интересы отдельно взятого человека не подавлялись корпоративным началом так грубо, как в Китае. Здесь не было придавленности человека гнетом чужеземных завоевателей, например маньчжуров, как это произошло в Китае. Японцы остались независимым и гордым этносом — суммой суверенных личностей. Приоритет индивидуальности и личностного начала содействовал поступательной эволюции японского общества. Как личностная цивилизация японское общество превосходило китайское по уровню грамотности, степени ее массовости, по густоте сети разного рода школ и училищ. Причем в Японии обучались в школах не только мальчики (как это было в Китае), но и девочки. Кроме того, в Стране восходящего солнца быстро развивались книгопечатное, библиотечное и книготорговое дело. В противовес элитарному образованию Китая (охватывавшему 10–15% населения) Япония взяла курс на массовое обучение молодежи. Грамотным стало до половины населения.

Если Запад сложился под знаком христианства и господства римского права, то Китай жил под эгидой социального этикета и этики неоконфуцианства как воплощения семейного и кланового начала, т.е. корпоративной дисциплины. Конфуцианство стремилось превратить все общество, все государство в один единый высший коллектив — всекитайскую семью, всекитайский клан с единой коллективной моралью. В Китае конфуцианство полностью доминировало над человеком, помогая деспотии воспитывать стандартного подданного, подчиненного коллективу. Конфуцианство мешало становлению независимого

индивида — личности, свободной от иссушающего господства традиций древности. В Японии такого жесткого господства конфуцианства не было. К пришедшему из другой страны учению Кун-цзы японцы относились несколько отстраненно и избирательно, выбирая из доктрины лишь то, что им подходило. Японцы не позволили неоконфуцианству (чжусианство) полностью взять верх над родным синтоизмом. Конфуцианство здесь не смогло «скрутить» личность, подчинить ее коллективу, повернуть ее лицом в прошлое. Противостоят косному воздействию конфуцианства на человека в Японии мешал синтоизм. В противодействии насаждавшемуся сверху, т.е. *сёгунами*, учению Конфуция и Чжу Си японец всегда имел опору в исконно отечественной религии — «пути богов» (*синто*). В этих условиях сохранялось личностное начало, присущее японской модели общества. Тем не менее неоконфуцианство с его этическими нормами оказало большое влияние на становление личностной цивилизации в Японии. В силу этого сложились такие отличительные черты японской личности, как патернализм, преданность старшим, крепость семьи, культ этических норм, скромность, сдержанность, дисциплинированность и многое другое. Тем самым личность не имела склонности к открытому индивидуализму, эгоцентризму, самовосхвалению и ячеству. В этом была одна из особенностей Японии.

Благодаря описанным выше качествам средневековая Япония сложилась как поразительный исторический феномен. Экономический базис, социум и институциональный горизонт надстройки здесь развивались по западноевропейскому варианту. При всем том идеологический и культурный горизонты надстройки сформировались в основном по китайским стандартам — иероглифическая письменность, конфуцианство, буддизм, каноническая литература, этика и т.д. В итоге сложилось бинарное явление: «форма китайская — содержание японское», или «идеология и культура от восточной деспотии — базис, социум и государство от западного феодализма». В Средние века Китай и Япония формально являлись странами одной и той же, а именно дальневосточной конфуцианской, цивилизации. Тем разительнее оказалось их расхождение по противоположным вариантам эволюции уже в том же самом Средневековье. Однотипным (правда, с рядом существенных оговорок) оказался лишь цивилизационный горизонт надстройки общества двух стран. При этом различными, а точнее — противоположными оказались не только институциональный горизонт, но сам базис — экономика и социум. В то время как в Китае главенствовали подражание древности, традиция, конфуцианская этика и застой, в Японии происходили смена старого новым, укоренение частной собственности и поступательное движение от одной стадии феодализма к

другой в русле линейного варианта развития. Фундаментальные различия китайского и японского типов феодализма наиболее ярко дали о себе знать в период новой истории, когда обе страны разошлись по совершенно разным путям исторического развития.

Сравнение типов исторической эволюции двух стран к XVII в. демонстрирует их кардинальное различие. Если Китай прочно «засел» в русле восточного феодализма, то Япония еще в Средние века перешла на рельсы западноевропейской модели. При всем том китайская модель государственного, или бюрократического, феодализма стала основой для создания общественного строя Кореи и Вьетнама. Правда, в этих странах китайская модель сочеталась с местными особенностями и отклонениями. Такого же рода влияние, правда более слабое, испытали на себе структуры ряда стран Юго-Восточной Азии — Бирмы, Таиланда, Лаоса, Кампучии, Центральной и Восточной Явы. Здесь сложился государственно-патриархальный тип феодализма. Все это лишний раз подчеркивает уникальность японской модели, ибо ни в одной из стран Востока такой общественной системы так и не возникло. Уже в период Средневековья Япония порвала с общей эволюцией остального Востока и вышла на особый путь.

ИНДИЙСКАЯ И КИТАЙСКАЯ МОДЕЛИ: СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ

С запада, юга и востока полуостров Индостан «оберегали» воды Индийского океана. В результате сложился особый, во многом изолированный субконтинент Южной Азии с двумя разными зонами — Северная Индия и Юг, т.е. Декан и крайний юг полуострова. Их региональная специфика и два разных кода исторической эволюции породили внутри индийского субконтинента противостояние Северной Индии и Декана, или дихотомию «арийский Север — дравидский Юг».

И в Индии, и в Китае существовало стойкое деление их на Север и Юг. В Индии имела четкая естественная «граница» — горы Виндхья, река Нарбада и полоса джунглей. В Китае такого рода «границы» не было, а разделительная линия оставалась сугубо условной. С течением времени она смещалась с севера на юг — от междуречья Хуанхэ и Хуайхэ к междуречью Хуайхэ и Янцзы и, наконец, прошла по самой Янцзы. Данное перемещение рубежа происходило в результате переселения ханьской нации с севера на юг с вытеснением и ассимиляцией здешних аборигенов — населения, родственного предкам вьетнамцев, чжуанов, мяо и др. В традиционном Китае Югом считались земли «к югу от Янцзы» (Цзяннань).

При всем том в китайской модели четкой границы между этими частями страны, как в Индии, не существовало. Кроме того, статус обоих блоков был совершенно иным. «Варварские» вторжения и завоевания больше всего повлияли на Северный Китай в самом отрицательном плане. Они несли разруху, гибель и сгон земледельческого населения и насаждение отсталых форм. Эти беды приносили кочевники и полусоседлые этносы с севера. В противовес этому Южный Китай при всех потерях от нашествий сохранял высокий экономический, социальный и культурный потенциал. Более того, он развивал его в русле богатых торгово-ремесленных городов и орошаемого высокопродуктивного земледелия, в первую очередь заливного рисоводства со снятием двух урожаев за сезон.

В Индии, наоборот, Север отличался от Юга в экономическом, социальном и формационном отношении, т.е. в плане перехода от древнего общества к феодальному. В Северной Индии, несмотря на тормозящее влияние «варварских» миграций и завоеваний, рано сложилось феодально-классовое общество. На Юге же дольше сохранялись отсталые структуры, а в Декане господствовали медленно эволюционировавшие замкнутые автохтонные общины под эгидой ранней государственности. Дихотомия «арийский Север — дравидский Юг» в индийской модели выявлялась главным образом в различии культур. Причем их «соединение» было скорее условным и механическим, нежели реальным и органическим.

В китайском варианте с более отсталым Севером контрастировал более развитый Юг. При всем том отсталость китайского Севера обусловлена не только соседством с Великой Степью, откуда периодически приходили завоеватели — кочевники и полукочевники, но и природными факторами.

Историческая разделенность Индии на Север и Юг подкреплялась разницей между двумя культурными пластами — арийским и дравидским. Арийский Север отличался от дравидского Юга в плане этнокультурной специфики. В Китае такого рода этнокультурной противоположности между Севером и Югом не существовало, и в этом плане Срединное государство оставалось единым. Тем не менее и в Китае, как и в Индии, дихотомия «Север–Юг» оказывала влияние на социокультурную и политическую жизнь страны.

Деление индийского субконтинента на Север и Юг дополнялось, перекрывалось и усложнялось воздействием других не менее значимых географических и природных факторов. Горы, джунгли, пустыни и труднопроходимые реки в сочетании с пересеченностью местности создавали обстановку изолированности одних районов от других. Их обособленность дополнялась наличием различных климатических поясов и локализацией земледельческих зон. Последние отличались друг от друга спецификой хозяйственного уклада, культуры и общественного развития. Все это, в свою очередь, усложнялось многообразием этнического и языкового состава населения.

Собственно Китай, или ханьская территория Срединного царства, сложился как некое целое. Здесь местные различия не играли решающей роли. Средневековая Индия являла собой иную картину. Этот огромный субконтинент состоял из множества регионов. Последние отличались друг от друга географическими и природно-климатическими условиями, экономическим развитием, социальными устоями и этнокультурным обликом населения. Целостность и однотипность слагаемых китайской модели противостояла мозаичности и «многоликости»

средневековой Индии. Даже в период великих централизованных империй этот субконтинент соединял в себе условное единство с реальной внутренней разобщенностью.

Все эти естественно-географические факторы изначально обусловили слабость интегрирующих и нивелирующих потенциалов индийской модели традиционности. Эти же факторы во многом определили силу специфики различных регионов как на Севере, так и на Юге.

В Индии при огромном разнообразии природных условий и обилии историко-географических изолированных областей так и не возник один общий стандартный тип средневекового строя. Иная ситуация имела место в традиционном Китае. Здесь не было такой естественно-географической мозаичности. Не существовало в Среднем государстве и изолированных друг от друга историко-экономических областей. Если абстрагироваться от явных отличий здесь Севера от Юга, то приходится констатировать существование более или менее единого стандартного типа традиционности на просторах «китайской ойкумены».

Индия и Китай и в этническом плане резко отличались друг от друга. Если Среднее государство, имея в виду его основное население — ханскую нацию, представляет собой этнокультурный монолит, то в Индии была совершенно иная ситуация. Этнокультурные различия народов, населявших субконтинент Южной Азии, оказывались значительно большими, нежели среди европейцев.

Китайская модель опиралась на единый доминирующий государствообразующий этнос. В противовес этому индийская модель строилась на нескольких регионообразующих этносах. Последняя особенность, в свою очередь, затруднила создание устойчивой централизованной державы с длительным периодом существования. Тенденция естественной интеграции в Индии периодически перекрывалась насильственным вершущим объединением субконтинента в крупные империи.

Собственно Китай без завоеванных неханских территорий являл собой «монолит» в плане природных условий, экономики, социума, расы, этноса и религий. В этом плане Индия выглядела «мозаикой», т.е. конгломератом разнородных слагаемых. Причем почти каждый из таких «блоков» имел свои особенности — географические, хозяйственные, социальные, политические, языковые и конфессиональные. Все эти «страны» внутри «индийского континента» сложились исторически, формировались в разное время и по-разному. Население такого региона отличалось от жителей соседних «стран» своими обычаями, верованиями, социокультурными ценностями, а также внешним обликом и образом жизни.

Индийская модель несла в себе не только многообразие этносов, религий, языков и культур, но и многообразие регионов. Средневеко-

вая Индия была конгломератом регионов, или «стран». Некоторые сходные черты сближали их, а жесткие различия отдаляли друг от друга. Все эти «страны» отличались от своих «соседей» по уровню экономического, социального и культурного развития. В каждом регионе были собственные номенклатура и иерархия каст, свои критерии знатности и кастовой чистоты. Внутри самих регионов складывалось взаимодействие их «центра» и «периферии». Эти два компонента то сближались, то отдалялись друг от друга с повторением процессов интеграции и дезинтеграции.

В Китае даже при наличии двух секторов в деревне (казенно-податного и частно-арендного) сельский социум оставался крайне стандартизированным. С рядом оговорок можно говорить о наличии здесь «одноукладного» общества или «одного социума». В Индии существовала мозаика этносов, конфессий, каст и социальных групп. Все это создавало «многоукладность», пестроту и особую значимость местных, локальных различий. В этих условиях господствовали не общее начало и стандарт, а региональная и более узкая специфика. При такой мозаичности в Индии вместо единого социума или «одного общества» существовало «много социумов» или сумма «разных обществ».

Стандартизированному социуму императорского Китая средневековая Индия противопоставляла социальное, экономическое, религиозное, языковое и иное многообразие. Особую роль в создании и поддержании этой мозаичности играли касты и варны. Местная многовариантность кастовой системы была значительней объединительных общиндийских потенций этого института. Здесь возникла дихотомия «целое—часть», или «система — ее компонент», при всей условности и слабости первого слагаемого дихотомии и реальной силе второго.

В отличие от достаточно стандартных провинций, централизованных под эгидой империй традиционного Китая, регионы, или «страны», Индии представляли собой сумму особых миров. Данные единицы отличались друг от друга географическими, этническими, экономическими, политическими, религиозными, языковыми и социокультурными особенностями. Такого рода «нуклеарные» районы имели свою «периферию», т.е. племенной мир. Для него они служили «центрами», или «ядром», выступая как «сердцевинные районы». Подобные «страны» и регионы, т.е. политико-экономические и социокультурные единицы, обладали особой устойчивостью во времени и в пространстве. Именно это делало их неизмеримо более прочными, нежели надстраивавшиеся над ними империи.

В традиционном Китае с XIII в. были только одна столица, один «центр» и одна общая «периферия», т.е. китайская модель стала моноцентричной. В противовес этому средневековая Индия состояла из

нескольких автономных регионов, или своего рода «стран». Каждый регион, или «страна», имели свой «центр», или «середину», т.е. район городов и развитого земледелия. Такой «сердцевине» противостояла своя отсталая «округа», т.е. населенный племенами район джунглей, гор или пустынь. В итоге индийская модель в отличие от китайской, моноцентричной имела несколько «центров» и столько же «периферий», т.е. была полицентричной.

Каждая такая «страна», область или регион возникали как относительно самодостаточные хозяйственные организмы. На их развитие в том же направлении влияли религиозный, языковой, этнический и социальный факторы. На этой базе складывалась самоидентификация населения, а на все это накладывались амбиции и сепаратизм властных слоев, местных элит и правителей. В итоге каждая такая внутрииндийская «малая страна» (регион, царство, княжество) отличалась от своей «соседки» целым набором специфических особенностей.

Средневековая Индия даже самими индийцами воспринималась как не одна, а несколько стран, несколько Индий. Они воспринимали свой гигантский субконтинент именно так, ибо у каждого этноса была своя «малая Индия». В противовес этому традиционный Китай при всех политических пертурбациях и территориальных разделах в общем и целом оставался одной страной. На сколько бы частей и государств ни распадался Китай, он всегда оставался изначальным Срединным государством и Поднебесной империей. Даже при политическом разделении по линии Север–Юг Китай всегда оставался одной страной.

На фоне условной централизации традиционного Китая как по большей части единой страны индийская модель несла в себе как следствие патриархальную замкнутость регионов, параллельное существование нескольких государств, сепаратистские движения, этнические и межрегиональные конфликты. При всем том цивилизационное единство Индии находилось в диалектической взаимосвязи с ее региональным многообразием. Специфика индийской модели не может быть понята без учета регионального фактора. В отличие от достаточной монолитности средневекового Китая индийская модель на первый план вынесла региональное многообразие и территориальную разобщенность.

В известном смысле в Индии господствовало не системное начало, а автономность разнородных сегментов и «блоков», так и не ставших слагаемыми единого целого. В китайской модели, наоборот, мощь самой системы подавила всякую самостоятельность ее компонентов и навязала им общеимперскую стандартизацию при наличии минимальных отклонений от общей нормы.

Индийская модель помимо всего прочего отличалась от китайской множеством локальных объективных особенностей. Последние созда-

вали дополнительный спектр мозаичности, противоречивости и фрагментарности.

И в Индии, и в Китае в Средние века имело место сосуществование зрелого традиционного, или феодального, социума с доклассовыми, догосударственными, дофеодальными этносами или «племенными» общностями, выходящими из стадии постпервобытного состояния. Для традиционного Китая данная проблема имела сугубо локальный характер и крайне ограниченные масштабы. К середине первого тысячелетия н.э. ханьская колонизация привела к ассимиляции китайцами аборигенных этносов таи-бирманской группы от долины Хуанхэ до Гуандуна. От них остались народы *мяо*, *яо* и *чжуан* (в горных районах Гуанси, Гуйчжоу и Гуандуна) и народности Юньнани (*ицзу*, *бай*, *дун*, *туцзя*). Ханьская колонизация оттеснила этих «варваров» (*мань*) в дальний и во многом глухой угол «китайской ойкумены», парализовав влияние этих отсталых этносов на ханьский мир.

В отличие от Китая такого рода доклассовый, дофеодальный, догосударственный «племенной мир» в Индии сохранял определенную самостоятельность не вовне, а внутри самой модели. Его многочисленные племена и кланы демонстрировали целый спектр особых социумов — от первобытно-общинных до протогосударственных вождеств (чифдом). Над его «многоукладностью» нередко надстраивались феодально-классовые структуры. В итоге внутри индийской модели действовала дихотомия «феодальная система — дофеодальные структуры», создавая обстановку «многоукладности». Данный «племенной мир» разлагался крайне медленно, лишь частично интегрируясь в господствующую феодальную систему, хотя племенная верхушка служила главным источником формирования класса феодалов.

Наличие внутреннего, «племенного мира» внутри самой Индии дополнялось воздействием на нее внешнего, «варварского мира», как это было характерно и для китайской модели. Речь идет о вторжениях со стороны северной отсталой периферии. Это были племена шаков и тохаров (II в. до н.э.), белых гуннов, или эфталитов (V–VI вв.), ахоев (XIII в.) и афганцев (XII–XV вв.). Наличие на дальней и на ближней периферии Индии этой отсталой во многих отношениях силы стало важным фактором воздействия на внутренние процессы в индийской модели, вызывая их торможение. К тому же оно сопрягалось с воздействием внутреннего, «племенного мира». Результатом их совместного влияния на средневековую Индию явилось длительное сохранение здесь дофеодальных укладов и их элементов.

Воздействие индийского «феодального массива» и «племенного мира» друг на друга оставалось противоречивым. Первый «подтягивал» второй до своего уровня, хотя крайне медленно и без особых ус-

пехов. Со своей стороны, второй в силу своей отсталости тянул первый «вниз». В целом же такого рода «многоукладность» средневековых обществ служила причиной слабости интегрирующих и преобразующих потенциалов индийской модели. Последняя не могла переварить в своем «котле» отсталые блоки. Их устойчивость во многом поддерживалась и специфической естественно-географической средой Индостана.

В отличие от традиционного Китая средневековая Индия унаследовала от предшествующих формаций их «обломки» в виде первобытно-общинных элементов и домашнего рабства. Тем самым индийская модель помимо системного доминирующего блока содержала еще и несистемные сегменты с их тормозящим и отрицательным воздействием на саму систему. Последняя была в известном смысле ущербной, образуя бинарное образование «феодалы — дофеодалы — отношения». Такой бинарности в китайской модели почти не наблюдалось, хотя какие-то осколки патриархальности и рабства имели место. Однако их ничтожные масштабы не лишали китайскую модель монолитности.

В индийской модели после V в. н.э. практически не просматривается влияние Великой Степи, а средневековая история Индии не знает завоеваний кочевниками хотя бы какой-то ее части. Иную картину дает китайская модель. Здесь мы видим огромное влияние Великой Степи, а средневековая история Срединного государства отмечена периодическими завоеваниями кочевых и полукочевых этносов. При этом одни «северные варвары» захватывают большие территории Китая, а другие — и всю страну. В этом отношении Индия жила в «щадящем режиме».

Бичом Срединного государства были «северные варвары». Земледельческий Китай непосредственно соседствовал с Великой Степью, которая выбрасывала на территорию Поднебесной империи одну за другой волны завоевателей — кочевников и полукочевников. Это были *сюнну, сяньби, туфани, тангуты, кидани, чжурчжэни*, монголы и маньчжуры. Для этих кочевых и полукочевых этносов Великая Китайская стена не была серьезным препятствием. В отличие от Китая Индия была изолирована от Великой Степи, ибо с севера ее защищали неприступные Гималаи и хребет Каракорум. Эти мощные системы гор открывали дорогу в Индию лишь с северо-запада — со стороны Афганистана и Ирана, т.е. со стороны оседлых народов.

Натиск арабских, тюркских и монгольских племен на земледельческие регионы Индии не ощущался столь сильно. Завоевания и набеги их на Индию не сопровождались переселением больших этнических групп. В Северную Индию приходила арабская, тюркская и монголь-

ская знать со своим окружением. Это чужеродная для индусов военная верхушка не приводила с собой массы соплеменников с севера. Она опиралась не на свои племенные ополчения, а на наемные войска. Создавая в Индии свои государства, завоеватели оставались всего лишь верхней, наиболее привилегированной прослойкой господствующего класса.

Этой естественной защиты от зоны номадов не было в Китае, и здешняя модель подвергалась массовым нашествиям кочевых и полукочевых этносов с их переселением на земли Северного Китая. Экспансия степняков сопровождалась сгоном и истреблением массы земледельцев, разрушением и разграблением городов, например монголами и маньчжурами, не только на Севере, но и на Юге. Огромное разрушительное воздействие Великой Степи на Срединное государство намного превышало тормозящее влияние, оказываемое «племенным миром» и северной периферией в рамках индийской модели.

Вторжения кочевых народов и их временное господство, особенно в Северном Китае, отбрасывали назад экономику и социум этих территорий. Однако китайский этнос либо ассимилировал чужаков, либо изгонял их. В итоге целостность традиционного Китая оставалась величиной более или менее постоянной и однотипной, т.е. подчиненной одному стандарту. В конечном счете «северные варвары», как и «южные варвары», вытеснялись из «китайской ойкумены», оставаясь вне ее. Последняя, несмотря ни на что, оставалась «одноукладной» и моноэтнической. Иная ситуация сложилась в индийской модели. Здесь инородный «варварский мир» существовал не вне и не на периферии системы, а внутри ее.

Индийскую и китайскую модели роднило наличие в них верховной собственности государства в лице монарха. Как высшая имущественная и юридическая институция, присущая подавляющему большинству стран средневекового Востока, она делала право собственности на землю монополией верховной власти. Вся земля, в том числе пустующая, считалась собственностью государя. Данная монополия на собственность оставляла всем остальным подданным только более низкие — второстепенные и третьестепенные — уровни имущественных прав на землю. Речь идет о владении и держании. Тем самым верхний горизонт земельных прав и в Индии, и в Китае оставался сугубо восточным.

На втором уровне после верховной собственности государства находилось в Индии право земельного владения. В Средние века здесь сложилось представление о феодальном обмене услугами (дар—отдар) как правовой основе землевладения служилого военно-феодалного сословия. На основе этого принципа делались пожалования знати и

служилым феодалам землей. Индийская модель отличалась от китайской наличием системы условного, т.е. служебного, феодального землевладения под эгидой монарха. Традиционный Китай такого института, по сути дела, не знал. Преобладающим типом служебного держания стало в Индии свободное от налоговых обязательств либо наследственное, либо пожизненное владение землей. Такое служебное пожалование создавалось на основе пустующих земель либо территорий, населенных полусвободными общинами, кланами и племенами. Тем самым феодалы получали и землю, и крестьян, объединенных в разного рода коллективы. В итоге в рамках индийской модели создавалась военно-ленная система, во многом сходная с западноевропейским прототипом и возникавшая как бенефиции, т.е. пожизненные владения, данные вассалам за военную или штатскую службу. Постепенно бенефиции становились феодами, т.е. наследственными служебными владениями. Затем эти лены обрели тенденцию к превращению в наследственную собственность типа аллода, манора, вотчины и сеньории. Однако на пути реализации этой тенденции в Индии прочно стояла монополия верховной власти на статус земельного собственника.

Стихийное усиление частных прав внутри этой военно-ленной системы лимитировалось верховной собственностью. Последнее препятствие мешало начавшемуся стиранию различий между условным служебным и вотчинным землевладением. Растущие частные притязания на землю так и не получили в Индии правового признания и фактического оформления. Феодальное владение в средневековый период здесь так и не превратилось в частную собственность, как это произошло в Западной Европе. Тем не менее в конце Средневековья феодальные владения в Индии стали по существу передаваться и покупаться путем откупа, аренд и субаренд. Тем самым владение освобождалось от вассальной зависимости и приобретало большую подвижность без приобретения им статуса частной собственности. В итоге в рамках индийской модели сложилась парадоксальная ситуация. С одной стороны, здесь господствовала характерная для Востока верховная собственность на землю и отсутствовала присущая Западной Европе частная земельная собственность. С другой стороны, в Индии сложилась сходная с западноевропейской военно-ленная система землевладения служилых феодалов разного уровня. Так сформировался не совсем обычный гибрид, т.е. синтез или симбиоз азиатского и европейского начал.

Индийскую и китайскую модели роднит отсутствие в них института частной собственности, в первую очередь земельной. Верховная собственность государства на землю делала крупных и средних «помещиков» всего лишь владельцами земли, равно как и самостоятель-

ных крестьян-налогоплательщиков. Военно-ленная система в Индии делала крупных землевладельцев (*джагирдаров*) условными владельцами земли. Более того, их владельческие права (наследование, распоряжение землей и пр.) были не столь уж бесспорными. Институт земельного владения в Китае был более прочным, нежели в Индии, ибо в Срединной империи частные земли по традиции наследовались, делились, продавались, покупались, сдавались в залог и в аренду. Земля здесь уже превратилась в товар, тогда как в Индии при всех откупах, арендах и субарендах земля еще не приняла прочную товарную ипостась, хотя и продавалась.

Для феодального класса землевладельцев в средневековой Индии главным оставалось служебное держание земли в рамках военно-ленной системы. Пожалование монархом земли или территории за несение прежде всего военной службы подпитывалось сохранением фонда пустующих земель, считавшихся собственностью государя, т.е. верховной собственностью. Тем не менее главным оставалось не раздача пустошей, а пожалование за службу территорий, населенных свободными общинами, кланами и племенами. Именно эта «первобытная периферия» постоянно поддерживала военно-ленную систему индийского феодализма, переходя из внешней среды в ее внутреннюю ткань.

О частнофеодальном характере индийской модели свидетельствовало и усиление частных прав на землю крупных землевладельцев *джагирдаров*. Происходило стирание различий между условным помещным и вотчинным землевладением феодалов. В рамках последнего возникали «наследственные *джагиры*», «родовые *джагиры*» и «вотчины-*джагиры*». Провозглашался принцип пожизненности *джагиров* и закрепления «*джагирных территорий*» за их владельцами. Укрепление частновладельческих прав на землю и доходы от нее лежали в русле самой частнофеодальной природы индийской модели. На это частновладельческое начало в значительной мере позднее ориентировались и аграрные реформы англичан в колониальной Индии.

С усилением частнофеодального начала в индийской модели атрибутом владения становилась не столько военно-административная власть, сколько экономическая зависимость крестьян от феодала. Индийское феодальное землевладение все более освобождалось от пут вассальной зависимости. Феодальные держания стали передаваться и покупаться путем откупа, аренд и субаренд. Условное служебное феодальное держание земли под эгидой государства перешло к доминиальному и вотчинному частному землевладению. Параллельно этому происходила феодализация общинной верхушки — самого низкого горизонта иерархического поземельного строя.

Одной из особенностей индийской модели была иерархическая структура феодального землевладения, возникшая в Северной Индии исторически и в четыре этапа. На первом сложился местный родовой пласт дораджпутского периода. Следующий горизонт был создан раджпутским завоеванием (VIII–X вв.). Третий слой иерархии возник в результате мусульманского завоевания (XII в.) и создания Делийского султаната. Четвертый горизонт был порожден завоеванием моголов (XVI в.). В итоге возникла трех- или четырехъярусная структура феодального класса и его землевладения. Наверху этой конструкции, как видим, расположились моголы, затем шли выходцы из Средней Азии, Афганистана и Ирана, раджпуты и индусы-нераджпуты.

В китайской модели время от времени верхний властный горизонт захватывали иноэтнические группы — тоба, кидани, тангуты, чжурчжэни, монголы и маньчжуры. Как правило, это происходило в самых северных районах Китая, на сравнительно ограниченных территориях и на непродолжительный срок. Исключение составили маньчжуры, ставшие узкой властной верхушкой более чем на четверть тысячелетия (1644–1912). Этот иноэтничный, «варварский» компонент отсутствовал в центральных и южных провинциях страны, да и на Севере его присутствие оставалось, как правило, скоротечным. В итоге и китайский «класс-государство», т.е. бюрократия, и землевладельческий класс, т.е. «помещики», сохранялись как сугубо китайские (ханьские) и монолитные общности.

Иная ситуация сложилась в индийской модели. Начиная с XIII в. верхние слои феодальной иерархии во многих государствах Индии были представлены иноэтническими группами и мусульманами по вероисповеданию. Это были тюрки, афганцы, иранцы, таджики, арабы и др. Присутствовали они в средних и низших звеньях феодализма, хотя здесь все же сохранялось преобладание феодалов-индусов. В итоге господствующий класс средневековой Индии был неоднородным не только в сословно-кастовом, но и в этническом отношении.

Разобщенность индийских феодалов по разным категориям (моголы, раджпуты, маратхи, наики) оставалась величиной постоянной. Она лишь формально ослабевалась системой ранжирования (*мансабдари*), но зато поддерживалась устойчивостью своеобразной общинной организации. Речь идет о раджпутских и брахманских общинах.

Единого класса феодалов в средневековой Индии не сложилось. Среда феодалов состояла из четырех общностей — раджпуты, моголы, маратхи и наики (найки). Каждая из этих общностей, в свою очередь, представляла собой конгломерат каст, родов и кланов, объединенных единой системой воинских ценностей, дисциплины и боевого искусства.

Этой этнической «лестнице» в целом соответствовала иерархия феодального землевладения. Его горизонты были, по сути, привязаны к этническим пластам данной структуры. В китайской модели такая ситуация не сложилась. Существование таких горизонтов или пластов было, как правило, кратковременным. Последние исчезали в результате ассимиляции чужеземцев китайцами или изгнания завоевателей из Китая. Дольше всего (1644–1912) просуществовала дихотомия «маньчжуры–китайцы» в узком ареале столичной провинции и в Маньчжурии. Однако эта дихотомия («знаменные–незнаменные») не шла ни в какое сравнение с индийской иерархией, да к тому же очень быстро стала деградировать, клонясь к упадку.

Класс феодалов в Индии был упорядочен системой вассалитета и принадлежностью к служилому военному сословию. Эти два начала пронизывали все этнические горизонты и региональные блоки, в том числе знать афганского, тюркского, могольского и индусского происхождения. Военная и в меньшей степени административная служба монарху сочеталась с представлением о феодальном обмене услугами (дар–отдар) как правооснове земельного владения. В этой системе все более уходило в прошлое или слабели старые узкие связи — по этносу, клану, племени и роду. Тем самым система избавлялась от дофеодальных связей, хотя в качестве принципа иерархии использовалась принадлежность к клану, племени и роду властителя.

Сложность феодальной иерархии и системы феодального землевладения побудила центральную власть в лице Акбара (1556–1605) к попыткам ее упрощения. Речь шла об устранении одной из ступеней этой лестницы, а именно *джагирдаров* как посредников между государством и мелкими феодалами. Тем самым государство попыталось напрямую выйти к источнику богатства — облагаемой рентой земле. Неудача этой попытки свидетельствовала об устойчивости сложившейся системы и о силе крупных феодалов.

Если в Китае господствующий «класс-государство» являл собой штатскую бюрократию, то в Индии доминировал «военный класс». Это были вооруженные феодалы, военачальники, «рыцари» и воины — конные или пешие. Такого рода «военный феодализм» господствовал у моголов, раджпутов, маратхов, у сикхов, наиков и др. Все это в сочетании с вооруженным крестьянством делало всю индийскую систему военной, т.е. явным антиподом китайской модели.

В индийской модели монарх являлся главой феодальной иерархии, т.е. верховным феодалом. В китайской модели император выступал вершиной бюрократической пирамиды, главой управленческого аппарата, т.е. своего рода главным чиновником системы. В Индии на первый план выступала военная ипостась государя. В Китае же, наоборот,

превалировал штатский имидж монарха, даже если он воевал или же при нем осуществлялись завоевания соседних стран и регионов. Находясь выше шкалы военной иерархии, китайский император, по сути, возглавлял бюрократическую пирамиду с ее крайне сложной лестницей чинов, рангов, должностей и степеней.

Не знала китайская модель и индийской системы феодального вассалитета. В средневековой Индии возникла сложная многоступенчатая система вертикального подчинения. Последняя шла от государя к *мукта* или *джагирдару* (иногда к нескольким *мукта* и *джагирдарам*), к князьям-индусам, их вассалам (*грасиа*, *паттават* и им подобным). Иногда такими мелкими феодалами выступала общинная верхушка в лице старшин (*хута*, *мукаддам*, *чаудхри* и т.д.). Эта часть феодализованной сельской страты обязана была не только выполнять административно-фискальные функции, но и нести военную службу. Тем самым деревенские верхи поднимались до уровня мелких феодалов с благородным статусом воина — почти «рыцаря».

Военное начало пронизывало всю систему вассалитета в Индии. Даже введенная Акбаром «табель о рангах» (*мансабдари*) устанавливала число всадников, которых реально или символически должен был содержать каждый, носящий ранг или чин (*зат*). В итоге вся административная система выглядела как армейская. Вся эта лестница из 33 ступеней — от «десятитысячника» до «десятского» — весьма слабо соотносилась с понятием чиновничества, присущим абсолютизму, зато ярко демонстрировала военно-феодальную природу государства и господствующего класса в индийской модели.

В китайской модели господствующий «класс-государство» был чиновным, бюрократическим, т.е. штатским, с явной оттесненностью военных. В индийской модели правящий класс был прежде всего военным, при малом значении чиновничества как такового. И без того невысокие статус и роль штатской бюрократии все более падали из-за растущей практики откупа налогов (*иджара*) купцами-ростовщиками (*иджарадары*). Тем самым ослаблялись позиции не только штатских чиновников, но и военных ленников-*джагирдаров*. В итоге на смену иерархии налоговых чиновников приходили откупщики — денежные воротилы из «частного» сектора.

У господствующих классов этих двух моделей имелись свои стандарты, т.е. представление о престиже, нормах поведения и о своем предназначении. Индийский монарх и каждый феодал должен был воевать, демонстрируя в рукопашном бою личное мужество и воинское мастерство. Свою отвагу они должны были проявлять и на охоте на тигров и кабанов. Государь, князь и иной феодал должен был быть щедрым со своим окружением и народом, раздавая тем и другим массу

денег и зерна, хотя правители не пренебрегали и внушением страха. Идеалом Индии был любимый подданными отважный государь — воин, меценат, благотворитель, регулярно демонстрирующий себя народу. Иными были нормативы китайской модели. Конфуцианские монархи и чиновники, будучи людьми штатскими, располагались в своих дворцах, резиденциях и канцеляриях. О войне и об охоте китайская бюрократия и многие императоры знали только понаслышке. Чем меньше их видело население, тем выше был их престиж. Сына Неба вообще нельзя было видеть простолюдинам. Не правители служили народу, а население служило властям. Поэтому ни о какой щедрости, раздачах и благотворительности в отношении народа и речи не могло быть. Императору и бюрократии нужен был страх податной массы, а не ее любовь. Таким образом, индийский военный феодализм резко отличался от китайской чиновной деспотии по всем показателям, а эти две модели возглавляли господствующие классы с противоположными свойствами.

В противовес ценностям бюрократической среды традиционного Китая в средневековой Индии высоко ставился культ отваги, культ меча и воинской доблести. Все это в среде феодалов было сопряжено с высоким авторитетом понятий личной чести, чести семьи и рода. На этой почве базировалось личностное начало, человеческое достоинство и гордость вне зависимости от уровня материального достатка. Такая атмосфера явно контрастировала со средой китайского чиновничества. Здесь вместо личного достоинства и культа оружия укоренились подхалимство, карьеризм, интриганство, преклонение перед начальством, угодничество, лесть и страх перед возможным крахом карьеры.

Таким образом, в индийской модели господствующий класс строился на основе знатности, феодальной иерархии и военного вассалитета. Китайская модель сформировала «класс-государство» на базе штатской чиновной субординации, т.е. шкалы бюрократических рангов и должностей. Индийская модель приблизилась к западноевропейскому типу «частного», т.е. личностного, феодализма. В противовес этому традиционный Китай породил чисто государственный вариант азиатской деспотии с господством бюрократии в качестве верховного класса. Если средневековая Индия могла бы поместить на своем гербе скрещенные меч и копьё, то в гербе Срединной империи появились бы чиновная печать и кисть для письма.

В обеих моделях положение крестьянства было во многом связано с воздействием климата. Природа в Индии более благосклонна к населению, нежели в Китае. Если на юге Индии климат тропический, а на севере тропический муссонный, то в Китае лишь ничтожно малая

часть территории лежит в тропиках, а все остальное принадлежит субтропическому и умеренному поясам. Зимой ветры из Центральной Азии приносят холод по всей стране, легкие заморозки бывают даже в «тропическом» Гуандуне. Климат Китая капризен — периодические осенние тайфуны, зимой пяти-шестикратные «волны холода», постоянное чередование засушливых годов с годами наводнений. Таким образом, природа здесь не столько за человека, сколько против него, что резко контрастирует с положением в Индии.

Индийская модель также несет в себе климатическую уязвимость. Речь идет о «диктатуре муссона». Последний здесь «царь и бог». Приходя вовремя и в нормальных размерах, он становился благодетелем крестьян. Запоздывая, он вызывал засуху, неурожай и голод. Принося чрезмерные дожди, он приводил к наводнениям, разрушениям и гибели урожая. Такого рода подверженность стихии сближала индийскую модель с китайской. И там и здесь природа попеременно выступала то матерью, то мачехой.

При всем том в Китае природные бедствия в виде засух и наводнений носили довольно регулярный характер, зачастую становясь ежегодным явлением. В Индии избыточный, запоздавший или слабый муссон не был столь частым или регулярным бичом земледелия. Его разрушительная сила проявлялась примерно раз в десять лет, причем удар стихии приходился лишь на какую-то, иногда весьма ограниченную часть субконтинента.

Тропический климат Индии облегчал жизнь крестьянина и ремесленника, делая ненужными теплую одежду и искусственный обогрев дома. В Китае все это было необходимо, ибо даже в Гуанчжоу зимой бывают заморозки. На борьбу с холодом в Китае требовалась определенная доля прибавочного продукта, тогда как в Индии весь доход уходил на еду и легкую одежду.

Особые климатические условия Индии снижали объем жизненных потребностей не только в плане расходов на жилье, топливо и одежду, но и на пищу. Потребности в последней в более теплом климате Индии были меньшими, нежели в более холодном Китае. Населению в Китае были доступны лишь культурные злаки и зерновые — хлебные, в том числе крупяные и бобовые. В Индии же собиралось и зерно дикорастущих злаков, особенно дикого проса (*шаман*). Его было столько, что бедноте и религиозным аскетам хватало для пропитания на весь год. Эта особая «полухозяйственная» сфера защищала индийские низы от крайностей сверхэксплуатации — налоговой и частной.

Если в более холодном климате Китая население кормилось практически только продукцией полей и огородов, то в Индии к этим поставщикам пищи прибавлялись садоводство и дары диких плодовых

деревьев, дающие индусам персики, груши, манго, апельсины, виноград, бананы, кокосы и прочие плоды. Об этом китайский крестьянин мог только мечтать. К этому добавлялись еще и продукты молочного животноводства: простокваша, сыр, творог, пахта и масло. Такого рода фруктовое и молочное подспорье значительно облегчало жизнь простых индусов, смягчало тяжесть налоговой и частной эксплуатации, служа заметным и спасительным амортизатором.

Дикорастущие злаки, садовые фрукты и дикие плоды способствовали сокращению доли продукта, необходимого на воспроизводство рабочей силы индийского крестьянина, что создавало дополнительную устойчивость мелкому самостоятельному хозяйству Индии, чего китайская деревня практически не знала. Такого рода «природная подушка» помогала индийскому земледельцу выдерживать давление непомерно высокой нормы налоговой и частной эксплуатации.

Существование «природной подушки» позволяло индийскому крестьянину без особого напряжения выплачивать примерно одинаковую с китайскими нормами частную ренту и выносить на своих плечах значительно большую тяжесть фискального гнета.

В этих условиях норма частной поземельной эксплуатации в индийской и китайской модели была примерно одинаковой. В Индии она составляла около 60% урожая, а в Китае от 40 до 60% сбора, обычно его половину. Однако сравнение государственной эксплуатации в этих моделях дает иную картину. В Китае с учетом всех составляющих казенная эксплуатация, в основном налоговая, достигала одной трети урожая, тогда как в Индии превышала половину сбора зерновых с одного участка.

Различия между двумя моделями существовали и в сфере земледелия. Если в традиционном Китае искусственным орошением обслуживалась примерно четверть всех пахотных площадей, то в средневековой Индии вдвое меньше. Если в старом Китае повторные посевы занимали примерно треть пашни, то в доколониальной Индии около одной десятой.

Основой искусственного орошения в Индии были мелкие сооружения, принадлежавшие отдельным семьям, а в Китае — крупные: дамбы, каналы, резервуары, водосбросы, плотины и водоотводные «ворота». Оттуда вода поступала в каналы и сливные устройства среднего масштаба и только затем через водоподъемные колеса и сточные бамбуковые трубы подводилась к мелким оросительным канавкам и иным приспособлениям «индийского» масштаба. Создание крупных ирригационных систем и гигантских защитных дамб в долинах китайских рек требовало мобилизации массы людей для строительства, расширения и ремонта этих сооружений практически каждый год.

Сгон миллионов крестьян на земляные и иные строительные работы в этой сфере в конце осени и начале зимы был под силу только централизованному государственному аппарату. В этом плане Китаю просто было необходимо мощное государство — азиатская деспотия. Средневековая Индия в таком силовом механизме нуждалась в значительно меньшей степени, а в ряде случаев могла обходиться и без него. В индийской модели «иригационную функцию» выполняло само крестьянство, и без особого принуждения со стороны властей, что резко снижало потребность социума в азиатской деспотии бюрократического типа.

Полное господство в Индии мелких и средних иригационных сооружений, принадлежавших отдельным семьям или деревням, способствовало относительно раннему появлению индивидуальных прав на землю. Это же во многом определило и практическое отсутствие земельных переделов в индийских общинах. Раннее установление индивидуального, точнее семейного, землевладения при отсутствии земельных переделов сближает в этом плане индийскую и китайскую модели. В традиционном Китае все это было усилено в связи с отмиранием общины как таковой.

Крайняя трудоемкость как индийского, так и китайского земледелия, особенно искусственно орошаемого, делала нерентабельным применение принудительного труда рабов и крепостных. Это же обусловило незначительное распространение отработочной ренты и барского или помещичьего хозяйства. В этих условиях на земле должен был работать лично свободный и заинтересованный в результатах своего труда работник. Таковым мог быть либо самостоятельный крестьянин-налогоплательщик, либо арендатор земли, платящий ренту крупному или среднему землевладельцу.

Возникшая уже в раннем Средневековье «земельная теснота», когда «людей много, а земли мало», преследовала Китай почти две тысячи лет. Малоземелье стало бичом китайских крестьян. Много столетий тому назад оказались распаханными все равнинные местности. Поля террасами стали подниматься по склонам гор, а все леса на равнинах оказались вырубленными и распаханными. «Жесточая петля» малоземелья приковала крестьянство Китая к земле, отнюдь не гарантируя его от периодического недоедания, а то и голода. Малоземелье вело к бедности и безработице. Почти повсеместно до одной пятой части жителей деревни не имели земли и работы. Землевладельческая колонизация новых территорий в традиционном Китае давно исчерпала свои возможности.

Совершенно иная ситуация сохранялась в Индии. Здесь вплоть до XIX в. имелись значительные фонды пригодной к земледелию «ничей-

ной» земли. Ее свободное приобретение и простая ее обработка были обычной практикой и поощрялись государством налоговыми льготами. Неисчерпанность фондов целинных земель открывала перед индийским крестьянством «свободу маневра». Истощенные, затапливаемые, заболочиваемые участки пашни забрасывались. Земледельческий труд переносился на новые, соседние и отдаленные земли, еще не распаханные и не истощенные постоянной эксплуатацией. При всем том население все активнее наступало на тропические леса и саванну, обращая отвоеванные у них земли под пашню, сады и огороды. Тем самым отодвигалась угроза малоземелья и «земельного голода», снижались острота социальных противоречий и уровень эксплуатации крестьян.

При наличии резерва свободных, т.е. еще не поднятых, земель в Индии самым тяжелым ударом для крестьянина зачастую становилась потеря буйвола. Последний здесь выступал и как тягловая рабочая сила, и как престижный символ социального и имущественного статуса. Для китайского крестьянина утрата вола была не столь важна и опасна, как потеря своей земли, которую всегда можно было обработать мотыгой вручную силами всей семьи.

В отличие от более или менее однородного крестьянства Китая индийское крестьянство было крайне мозаичной социальной средой. Здесь царила этническая, религиозная и сословная неоднородность, отливавшаяся в виде кастовой иерархии. Ее верхний этаж занимали представители общинных коллективов высоких военно-землевладельческих каст. Ниже стояли крестьяне из средних военно-землевладельческих каст. На третьем уровне находились издольщики, лишенные юридических прав владения землей. Самый нижний — четвертый горизонт занимали бесхозные земледельцы из «неприкасаемых» каст.

Помимо всего прочего, индийское крестьянство отличалось от китайского своей иерархией. В Китае крестьянство являло собой в словесном отношении некую «равнину» в виде одного не расчлененного по вертикали сословия земледельцев (*нун*). В Индии же помимо дробного деления по горизонтали крестьянство в Индии имело и вертикальную иерархию с делением на высшие, средние и низшие касты (*джати*). Последними в первую очередь являлись «неприкасаемые» — кабальные бесхозные земледельцы. В модифицированной форме этот слой был продуктом позднего рабства, чего не было в традиционном Китае.

Над «неприкасаемыми» в сословно-кастовом отношении возвышались и эксплуатировали труд этих отверженных рядовые крестьяне-общинники из более высоких каст. Эти последние сами подпали под ярмо феодальной эксплуатации, однако всеми силами цеплялись за свой

«благородный» статус и верховенство над «неприкасаемыми». Все это способствовало устойчивости относительно многочисленных групп, слоев и прослоек, промежуточных между крестьянами и феодалами. Такого рода иерархия внутри крестьянства мешала выравниванию словных градаций внутри его, усиливала его мозаичность и блокировала возможность превращения его в единое сословие и единый класс.

Иерархизованная по вертикали и разобшенная по горизонтали, структура индийского крестьянства время от времени усложнялась в результате «варварских» миграций, главным образом в Северную Индию. Вторжения внешних сил с севера усиливали разобщенность индийской деревни по этническому, кастовому, религиозному и языковому признакам, исключали центростремительные тенденции в крестьянстве. Между тем в китайской модели «варварские» завоевания даже в Северном Китае не поколебали условную «монолитность» или «стандартность» внутренней структуры деревни.

Все индийское крестьянство как весьма условное «целое» эксплуатировалось государством и ленниками-*джагирдарами*. Кроме того, феодализирующаяся общинная верхушка из высших и средних каст, господствуя над своими собратьями по касте, угнетала крестьян из «неприкасаемых» каст. В свою очередь, общинники-крестьяне из высоких и средних по статусу каст держали этих отверженных в своей зависимости, эксплуатируя их труд. Таким образом, кастовая пирамида дополнялась иерархией социально-экономических отношений.

Многоуровневому и ячеистому строению индийского деревенского мира Китай противопоставлял во многом одноуровневую и унифицированную структуру сельского социума. Китайской однотипности Индия противопоставляла предельную мозаичность на низовом горизонте. Здесь на базовом этаже социума крайняя множественность «слагаемых» подавляла собой саму идею «суммы», «общности», «единства» не только внутри «индийского континента», но и зачастую внутри той или иной индийской «страны», региона, области, царства или княжества.

Кастовая система, со своей стороны, не только создавала сословную неоднородность индийского крестьянства, но и имела свое продолжение в социально-экономическом неравенстве внутри массы земледельцев, реализуясь и в сфере эксплуатации, формировавшей переходные, промежуточные между крестьянами и феодалами специальные группы. Если в индийской модели это явление стало жесткой реальностью, то в китайском варианте осталось слабой тенденцией, не разобщившей крестьян, тогда как в Индии оно в значительной мере усилило дробность, мозаичность деревни, ее социальную неоднород-

ность, при отсутствии крестьянства как более или менее единого класса.

Данные модели отличались друг от друга и по значимости переходных слоев. В государственном, или казенном, секторе экономики Китая между бюрократией и платящим налоги крестьянством их просто не было. В «частном» секторе к переходным слоям между землевладельцами и арендаторами их полей можно отнести богатых крестьян (*фунун*), сдававших мелкие участки своей земли деревенской бедноте в аренду. В отличие от китайской индийская модель несла в себе широкий пласт и многоликий спектр переходности от феодалов к крестьянству. Такого рода промежуточные слои возникали в процессе феодализации общинной верхушки и богатого крестьянства. В ходе его сложились различные переходные формы между крестьянским и феодальным землевладением.

В первую очередь стоит упомянуть среду мелких вотчинников, остававшихся за пределами феодальной иерархии, находившихся непосредственно под эгидой государства и составлявших сельскую верхушку, или деревенскую элиту. Такого рода полуфеодалы-полукрестьяне номинально считались свободными. Фактически же они во всем копировали стоящих над ними мелких феодалов и военных ленников. По первому зову эти «крестьяне» со своим оружием шли на войну. Чаще всего, чураясь земледельческого труда, эта промежуточная сельская среда культивировала в себе военное начало — владение оружием, воинскую тренировку и воинскую честь. Таким образом, оставаясь промежуточным слоем, она тем не менее, по сути, создавала массовое основание феодального класса.

Во многих случаях источником формирования таких промежуточных слоев служило дофеодальное свободное общинное крестьянство. Именно оно в течение многих столетий порождало и низшие слои феодалов данного региона. Эта генетическая связь нередко дополнялась принадлежностью к одной касте. Источником существования промежуточных слоев служили не только касты, но и клановые, и племенные, т.е. этнические, связи. В ряде случаев этническое и кастовое начала сливались воедино. В рамках чисто кастовой и этнокастовой общности создавался целый спектр слоев, промежуточных и переходных от знати и князей к мелким и средним феодалам, а от них — к феодальнозависимым крестьянам и даже арендаторам.

При всем том такой процесс шел не только снизу вверх (от крестьян к феодалам), но и сверху вниз (от мелких феодалов к земледельцам). Так, в результате войн и дробления раджпутских патримоний происходила «крестьянизация» мелких и мельчайших раджпутских земельных владений. Имел место и сходный с китайским вид такой

переходности при сдаче богатым общинником-крестьянином земли в аренду соседской бедноте. Таким образом, в средневековой Индии сложился своего рода феномен — слой полуфеодалов-полукрестьян, полумелладельцев-полувоинов. Это была деревенская верхушка с «рыцарским», или воинским, менталитетом и с особым полуофициальным статусом.

Китайский крестьянин находился в полной зависимости от казны и крупного землевладельца, будучи безоружным и беззащитным практически все время до начала очередного восстания или крестьянской войны. В отличие от него, индийский крестьянин из верхних и средних каст в зонах господства раджпутов, маратхов, сикхов и наиков был всегда вооружен и ощущал себя воином — почти «рыцарем». Такой крестьянин осознавал себя свободной и гордой личностью, стараясь во всем подражать феодалам — тем же моголам, раджпутам, маратахам и наикам.

Именно эти люди составляли большинство индийского войска различного масштаба и проявляли на войне свой героизм, воинское мастерство и преданность государю. Этим свободным людям с рыцарской психологией китайская модель противопоставляла нечто иное. Массовые армии и местные соединения Срединной империи комплектовались из низкосортного людского материала, а зачастую из подонков социума — каторжников и уголовников. Здесь превалировали разорившиеся крестьяне, взятые в солдаты каторжники, уголовники, отбывающие наказание, бывшие разбойники, разного рода наемники и беднота, нашедшая в армии спасение от голода. Данная разношерстная среда не знала таких принципов, как военные профессионализм и мастерство, воинская честь, рыцарское служение сюзерену или суверену. Зато эта среда позволяла себе практически любое насилие по отношению к мирному населению.

В отличие от индийской китайская модель не создала такого феномена, как сельский полуфеодал-полукрестьянин. В китайской деревне, в ее верхах не существовало такого синтеза «рыцарь-крестьянин» и такого контингента мужчин, являвшихся скорее воинами с «рыцарским» менталитетом, нежели земледельцами. В Китае нечто подобное периодически и на короткое время возникало только в конце каждого цикла. Тогда — в фазах кризиса и особенно катастрофы — доведенные до отчаяния крестьяне вынужденно становились плохо вооруженными воинами со слабой боевой подготовкой.

Китайская модель характеризовалась ранним отмиранием общины и размыванием ее системой патронимий. Защитные возможности патронимии или клана (*цзунцзу*) оказались намного слабее, нежели общины. В индийской модели община, оставшись могучим институтом,

стала особым средством сопротивления феодалам. Однако в процессе феодализации все же происходило закабаление свободных общин, но сила их внутреннего единства и их стойкость вынуждали господствующий класс и государство делать упор на феодальную эксплуатацию необщинного населения. При всем том главный натиск в наступлении на общинную систему приходился не на индивидуальный крестьянский двор, а на весь коллектив, служивший амортизатором и спасителем отдельно взятого земледельца.

В индийской модели, в отличие от китайской, община обладала особой жизнеспособностью и силой. Выступая как эффективное средство сопротивления феодалам, сельское сообщество выполняло определенную защитную функцию по отношению к каждому своему члену. Внешней силе — казне или феодалу — приходилось трижды подумать, прежде чем пойти на конфликт с такой организацией или озлобить столь сплоченный коллектив.

Крестьянин в средневековой Индии имел поддержку не только от своей общины, но и от своей касты (*джати*). Последняя играла большую роль при защите крестьянина от угрозы извне, оказывала ему материальную помощь и моральную поддержку. Индийский крестьянин дорожил своей кастой как самой оптимальной и наиболее устойчивой формой организации, как амортизатором при всех бедствиях. Для него каста выступала социальной, политической и религиозной организацией-защитницей в борьбе за выживание. В этом плане на крестьянина «работали» и сила, и всеобщность кастовой системы.

В индийской модели подавляющая масса населения была поглощена кастовой системой. Каждая каста как бы была «государством в государстве», т.е. имела свои законы, суд, обычаи, ритуалы. Если в Китае царил деспотизм государства, то в Индии — «деспотизм» касты. При общей слабой государственности княжества, царства и империи постоянно сменяли друг друга, а по отношению к своим членам каста оставалась незабываемой, несмотря на все внешние пертурбации. Некоторые касты меняли свой статус и занятие. Сохранялась ритуальная, но менялась социальная ипостась касты. Индус не мог добровольно уйти из касты и поневоле дорожил ее защитными функциями.

В Индии и в Китае в Средние века существовала огромная разница в соотношении земельного фонда и демографического потенциала. Если в Китае у всех на устах была формула «людей много, а земли мало», то индийцы вполне могли говорить нечто совершенно противоположное. В Индии не наблюдалось перенаселенности, зато всегда имелось достаточно необработанной земли — ничейной, заброшенной, еще не отвоеванной у джунглей или саванны. Здесь ценились не земля, а рабочие руки, не поле, а пахарь. Зачастую, когда последний

стоял на грани разорения, казна, *джагирдар* или купец-ростовщик выдавали ему аванс для покупки семян, скота и всего необходимого по хозяйству. Такого рода «инвестиции» с лихвой окупались после сбора земельного налога или арендной платы. Ценность рабочих рук вынуждала власть и «частника» всячески поддерживать крестьянское хозяйство.

В Китае такой практики не существовало. Правда, в начале каждого цикла, в период разрухи казна снижала налоги, а крестьяне во все времена влезали в долги. Тем не менее земельная теснота и перенаселенность деревни делали индийскую практику авансирования и кредитования в Китае практически бессмысленной, ибо крестьянин был прикован к земле страхом голодной смерти. В индийской модели крестьянина спасали послабления «сверху» и возможность распахать ничейную, т.е. целинную, землю.

Таким образом, в индийской модели существовала своего рода система амортизации натиска казны и «частного» феодала. В этой системе работали такие слагаемые, как защитная функция сильной общины и своей касты, наличие свободных для обработки земель, рост численности свободного крестьянства в результате притока новых кланов и племен мигрантов. С одной стороны, происходило закабаление свободных общин, а с другой — функционировала отмеченная выше система амортизации. Так в индийской модели одни процессы уравновешивались другими. В результате снижалась возможная острота социальных противоречий и классового противостояния. Такого рода спасительная уравновешенность системы в традиционном Китае отсутствовала.

Существенные амортизационные возможности и поддержание равновесия внутри системы сделали процесс закабаления общинников весьма медленным и постепенным. Столь же длительным и плавным был и сам процесс феодализации. Данная специфика индийской модели, по сути, исключила вспышки пароксизмов классовой борьбы в виде крестьянских войн. Сами же социальные противоречия принимали здесь пассивные формы своего проявления и дробились на локальных уровнях самой множественностью региональных субъектов исторической эволюции «индийского субконтинента». Внутри каждой из его «стран» эти конфликты лишались той невероятной ярости и жестокости массовых крестьянских войн и многочисленных восстаний, которые полыхали в традиционном Китае.

В Китае сельская община исчезла уже в раннее Средневековье, когда ее постепенно заменила патронимия (клан). В этих условиях у крестьянина не осталось опоры и защитницы, какой была община. Китайская модель не знала и такого амортизатора, как индийская каста. В тради-

ционном Китае, при всей тенденции к коллективизму и корпоративности, крестьянин, его семья, его двор оказались беззащитной или слабо защищенной «единицей», отдельной ячейкой перед лицом могущественного государства и местных крупных землевладельцев. Слабость крестьянина резко возрастала при наличии за ним налоговых недоимок, его статуса арендатора «помещичьей» земли и должника такого рентополучателя. Утратив защитную силу общины, не имея поддержки касты, китайское крестьянство для отпора могучему государству могло рассчитывать только на оружие.

Таким образом, индийская модель демонстрировала отсутствие классовой воинственности у местных крестьян. В противовес этому китайская модель боевой потенциал сделала чертой, имманентно присущей земледельцам Срединного государства. Китайское крестьянство сложилось как бунтующий и сражающийся класс, способный создавать многомиллионные армии и свергать не только провинциальную, но и центральную власть. В противоположность этому у индийского крестьянства просто не было такой возможности, как и не было в этом необходимости, ибо индийская модель создавала условия для разрешения противоречий между крестьянами и феодалами иными средствами.

Если в традиционном Китае имелось всего лишь «два крестьянства» — податное (владельцы земли) и частнозависимое (арендаторы), то в средневековой Индии было «много крестьянств». Причем эта «сумма крестьянств» состояла из столь различных и разобщенных слоев, что они делали невозможным возникновение крестьянства как некоего условного целого в экономическом, сословном и политическом плане. В Китае «два крестьянства» были разобщены экономически, но едины в сословном отношении. Еще более их объединяли в «единый класс» тяжести фазы кризиса и ужасы фазы катастрофы очередного цикла. Под знаменами крестьянских войн земледельцы Китая на десятипятнадцать лет как бы обретали социально-политическое единство при всей условности данного термина.

В условиях региональной, этнической и религиозной дробности в средневековой Индии не существовало общего всеиндийского противостояния «феодалы — зависимое крестьянство». Вместо него имело место несколько подобных дихотомий типа «феодалы данного этноса — крестьянство того же народа», «властная верхушка данной религии — земледельцы, исповедующие ее», «господствующая элита данного региона — региональное крестьянство». Наряду с этим существовали противостояния типа «иноэтнические верхи — индусы-крестьяне», «мусульманская верхушка — индусские низы». Такая мозаичность мешала становлению единого всеиндийского противостояния «феодалы — крестьяне».

В индийской модели как феодалы, так и крестьяне были разобщены по разным этническим, религиозным и кастовым «квартирам». В китайской же модели враг крестьянства был один — централизованная бюрократия, общекаитайский «класс-государство», мощная азиатская деспотия. Против столь сильного противника можно было идти в бой только «всем миром», т.е. более или менее общими усилиями, своего рода «единым фронтом», при всей условности данного термина для традиционного Китая.

В китайской модели весь блок «господствующий класс — крестьянство» был штатским. Этой невоенной бюрократии противостояли безоружные крестьяне. В сельской местности оружие имел лишь довольно узкий круг лиц, да и то только с разрешения властей. Самовольное обладание оружием считалось уголовным преступлением. Крестьянство потихоньку начинало вооружаться, когда фаза кризиса очередного цикла переходила в фазу катастрофы. Сначала ковали мечи под названием «гусиное перо» и наконечники копий по ночам, а затем и днем. Когда же власти теряли контроль над сельской местностью и запирались в городах, крестьянство уже не только открыто вооружалось, но и создавало свои отряды. С завершением данного цикла господство военного начала снова сменялось штатской системой.

Отличие от китайского индийское крестьянство — полноправные общинники оставались постоянно вооруженной массой. Почти в каждой деревенской семье имелись либо меч, либо копьё, либо то и другое. Этим индийская деревня напоминала японскую. В Японии до 1588 г. меч или иное оружие были в каждой хижине. В этом плане крестьянство в Индии, как и в Японии, являлось скорее военной средой, нежели штатской. Такое вооруженное и имеющее боевой опыт крестьянство было опасно доводить до крайности. Тем самым в индийской модели оружие «охраняло» сельских тружеников не только от внешнего врага, но и от чрезмерной алчности «родных» верхов.

В средневековой Индии не сложилось единое «монолитное» крестьянство, т.е. класс земледельцев общеиндийского масштаба. Не знала индийская модель и массовых, грозных и многолетних крестьянских войн. В Китае сложилось крестьянство общенационального уровня, и при всех различиях между Севером и Югом это крестьянство практически в конце каждого династийно-демографического цикла в массовом порядке бралось за оружие. История древнего и средневекового Китая отмечена девятью крестьянскими войнами, не считая массы локальных восстаний. Обозначим эти войны по их вождям или самоназваниям — Чэн Шэн и Сян Юй (III в. до н.э.), «Красные брови» (I в. н.э.), «Желтые повязки» (II в. н.э.), Хуан Чао (IX в.), Фан Ла (XII в.), «Красные войска» (XIV в.), Ли Цзычэн (XVII в.), «Белый лотос» (ко-

нец XVIII в.), тайпины (сер. XIX в.). Одни из этих девяти войн продолжались по нескольку лет, другие — до двух десятилетий.

Вместо массовых крестьянских войн «китайского типа» с классово-природой борьбы в средневековой Индии эту «нишу» заполняли движения целых этносов и народов. Последние боролись за свое самоопределение и создание собственной государственности. Наиболее мощными в этом отношении были выступления сикхов и маратхов. Все эти антимогольские движения отличались классовой нерасчлененностью, хотя и имели в своей основе «аграрную смуту». В русле этой борьбы не наблюдалось жесткого классового размежевания и антагонизма между феодалами и крестьянами и неоднородность социального состава как бы перекрывалась фактором единого потока, общих целей этих движений, а также кастовой системой.

В истории Индии мощными массовыми движениями отмечена лишь эпоха Моголов. Одни из этих движений были чисто освободительными (маратхи, раджути). Другие являли собой синтез освободительной борьбы с религиозной реформацией и социальным протестом (сикхи, джаты). Все они были антимогольскими и регионально-сепаратистскими. Однако ни одно из них не являлось чисто крестьянским по социальному составу, лозунгам и по характеру руководства. Классовая крестьянская борьба как самостоятельное начало в индийской модели практически отсутствовала, что предельно контрастировало с реальностью традиционного Китая.

В китайской модели массовые движения носили характер экономический (антиналоговые восстания) или социально-классовый (крестьянские восстания и крестьянские войны). Иную природу имели массовые вооруженные движения в рамках индийской модели. Это были этноосвободительные, религиозные, антиимперские и сепаратистские движения (сикхи, маратхи, сатнами, сатпантхи и др.). Имевшаяся в этих выступлениях экономическая и социально-классовая составляющая играла третьестепенную роль. Свою роль в ослаблении классового начала внутри массовых движений играла кастовая система.

Каста (*джати*) оставалась самой устойчивой частью индийской модели и на ее региональном и этническом уровне. Кастовая система на местах защищала данный этнос, данную религиозную систему от насилия со стороны центральной власти. Каста являлась фундаментом традиционности и оптимальной формой социальной и политической организации внутри данного этноса и региона. В подобной атмосфере этническому, религиозному и иному движению в ходе борьбы за выживание и независимость приходилось фактически становиться либо кастой, либо кастовой общиной. Так было с джайнами, сикхами, мусульманами и христианами. Все они боролись против кас-

товой системы, но ее мощь заставила их принять кастовые «правила игры».

В китайской истории также имели место этноосвободительные движения. Таковой была, например, антимонгольская борьба в конце правления династии Юань. Этноосвободительное и религиозное начала были сильны в движениях «Белого лотоса» и тайпинов в период Цин. Тем не менее и в том, и в другом случае основой многолетней вооруженной борьбы оставалось социально-классовое начало, а именно крестьянские войны, протекавшие под религиозным знаменем (буддизм, христианство).

Индийскую и китайскую модели роднит сходный статус города, а именно сочетание его экономической силы с политическим бессилием. В хозяйственном отношении эти города были богаты и развиты — процветающая торговля, многоотраслевое ремесло, широкая сфера кредита, высокий уровень образования и искусства.

Что же касается политического положения индийского и китайского города, то он не имел особого, автономного или самостоятельного статуса. Здесь, в отличие от Запада, нет речи о независимости и самоуправлении городов. Если в Китае торговые гильдии и ремесленные цехи имели хотя бы право на свою внутреннюю организацию и на решение текущих дел, то в Индии мы имеем полное отсутствие цеховых статусов. В первом случае это «корпоративность второго сорта», во втором — слабость городской корпоративности цехо-гильдейского типа.

Бесправие и общественная приниженность города были обусловлены тем, что город являлся ставкой и цитаделью верховной власти. Речь идет о китайской деспотии и индийской монархии во всех ее видах. Кроме того, и индийский и китайский город являлись «добычей» в первом случае военно-феодальной, а во втором — чиновной среды. Более того, в силу абсентеизма индийской частнофеодальной верхушки, китайской землевладельческой и шэньшуйской элиты город служил местом жительства этих социальных слоев. Именно они вкупе с правящей верхушкой правили бал в городах, «задав» тем самым непривилегированные городские верхи.

В обеих моделях государство перекачивало крупный частный капитал (торговый, ростовщический и производственный) на свои нужды. В Индии это делалось через откуп налогов, в Китае — через куплю-продажу ученых степеней, чиновных рангов и должностей. В том и другом варианте крупный капитал переманивался из сферы экономики в господствующую политическую сферу и тем самым ставился ей на службу.

Во всех случаях как в той, так и в другой модели перекачка капитала в государственную сферу вела к периодическому «обезглавлива-

нию» частного сектора экономики, к ослаблению возможностей самостоятельной буржуазной эволюции торгово-ростовщической верхушки. Играя по правилам господствующего класса, такой «мещанин во дворянстве» ослаблял свою родную среду и делал со своей стороны невозможным ее превращение в буржуазию. В той же мере богач-«частник» своим переходом в лагерь китайской бюрократии или индийских феодалов укреплял существующий строй.

Кроме того, в силу тех же причин правящая военно-феодалная и бюрократическая среда оказалась тесно связанной с местной и внешней торговлей, точнее — с купеческим капиталом как подчиненным и «служебным» началом. Однако здесь между индийской и китайской моделями существовало явное различие. В Индии имело место сращивание купеческого капитала с феодальными верхами и администрацией на почве откупов земельных налогов. В Китае такого сращивания не наблюдалось. Бюрократическая деспотия не допускала своекорыстного «частника» в «святая святых», т.е. в сферу поземельного налогообложения, но предоставляла богатым купцам и их сынкам возможность покупать ученые степени и вступать в сословие *шэньши*.

С ростом в Индии практики откупа налогов многие представители индусских торгово-ростовщических каст заняли высшие должности в государстве, захватили богатые откупа и обширные лены (*джагиры*) и превратились в раджей. В итоге в последние столетия Средневековья и в начале Нового времени значительная часть феодальной ренты поступала в распоряжение узкой группы вчерашних «частников» или настоящих нефеодалов. Эта страта не была связана службой, поземельной и личной зависимостью с государством и крупными ленниками. Таким образом, в индийской модели государство допустило «частника» в налоговую сферу — свою «святая святых». В Китае это было просто невозможно, ибо бюрократия считала сбор налогов своей монополией и не подпускала «частника» к заветной кормушке.

Явное различие между обеими моделями существовало и в сословной структуре социумов. В Китае издревле и прочно установилась простая, четкая и унифицированная система «четырех сословий» (*сы-минь*) — ученых (*ши*), земледельцев (*нун*), ремесленников (*гун*) и торговцев (*шан*). Ниже торговцев стояло «пятое сословие» — внесословный «подлый люд» (*цзяньминь*), в том числе лица «низких профессий». Еще с древности в Индии сложились четыре сословия (*варны*) — жрецы и ученые (*брахманы*), воины (*кшатрии*), вайшьи (земледельцы и торговцы), *шудры* (зависимые низы). В отличие от Китая, в средневековой Индии система сословий распалась и сложилась крайне сложная система каст (*джати*), т.е. обособленных групп, связанных единством происхождения и правового положения своих членов. Хотя каж-

дая каста и относила себя к определенной *варне*, но как носительницу социального статуса ее уже лишь с массой оговорок можно сближать с понятием «сословие». Тем более «сословный» подход к кастовой системе во многом рушится из-за крайней многочисленности каст. Количество последних в средневековой Индии исчислялось тысячами. Генетическая, сущностная и количественная природа индийской касты делает ее своего рода «дезорганизатором» четкой системы сословий в противовес ее китайскому и западноевропейскому вариантам. Все это создавало противоположность индийской и китайской моделей в сфере социальной структуры.

Впрочем, на уроне регионов наметилось складывание надкастовых и надконфессиональных общностей, близких по типу к сословиям.

Соотношение классового и сословного деления в какой-то мере сближало обе модели. В Китае к сословию «ученых» (*шю*) относились и номенклатурный чиновник, и «бедный студент» без должности. Сословие «земледельцев» (*нун*) включало в себя и крупного землевладельца, и бедняка — безземельного арендатора. «Ремесленником» (*зун*) считался и хозяин мануфактуры, и его наемный рабочий. В сословие «торговцев» (*шан*) входили и богач ростовщик, и солидный купец, и мелкий уличный лоточник.

В китайской модели сочетание классового и сословного начал оставалось достаточно простым. В средневековой Индии такое сочетание оказалось очень сложным с учетом того, что роль сословия здесь играла каста. В ряде случаев оба начала совпадали, особенно в верхних и нижних звеньях социума, когда феодальные слои принадлежали к высшим кастам, а неимущие — к низшим. В других случаях кастовое и классовое начала противоречиво переплетались, ибо зачастую именно каста выступала на первый план, затеняя собой все остальные социальные характеристики. Все это осложнялось дробностью кастового деления, множественностью каст и сложностью самой кастовой системы. В китайской модели класс был сильнее и важнее сословного происхождения. В господствующий «класс-государство», т.е. бюрократию, люди переходили не только из сословия «ученых», но и из «земледельцев» и даже «торговцев». Сословный же фактор здесь оставался на вторых ролях. Иное дело индийская модель, где при всех обстоятельствах кастовое происхождение часто было важнее классового начала, хотя и здесь наблюдалась слабая тенденция к известной консолидации классов, к возникновению в их пределах надкастовых и межкастовых связей.

И в китайской, и в индийской модели возобладало не личностное, а коллективное начало. В традиционном Китае человек был «поглощен» семьей, патронимией, землячеством, городской корпорацией и госу-

дарством. В средневековой Индии человек был «пленником» касты. От рождения до смерти индус мог существовать только в рамках касты и как ее член. Кастовый статус вплоть до мельчайших деталей регулировал все стороны человеческого бытия, все поведение индусов в любых случаях жизни. Таким образом, индийская и китайская модели, по сути, делали невозможным существование независимой личности. В организационном отношении здесь самостоятельная личность обрекалась на гибель.

Для индийского варианта коллективизма характерно предельное господство касты над человеком. Именно она диктовала ему место жительства, профессию, брачный выбор и место в социальной иерархии. Каста определяла, что человек может или не может делать в своей жизни. Индус выступал не как личность, а как «принадлежность» касты. Кроме того, он был скован силой *кармы*. Ему было оставлено только одно — выбор между добром и злом. Индийский социум, как и китайский, сложился как коллективистская система. Причем скованность человека ее нормами в Индии была большей, нежели в традиционном Китае. В Среднем государстве китаец мог по своему желанию и имущественному положению переходить из одного сословия в другое. Индус же, если и менял свой имущественный и социальный статус, менять свою касту на другую не имел возможности. Повышать или снижать свой социальный статус он мог только вместе с движением своей касты, или «клетки», вверх или вниз. Причем индийская «клетка» была прочнее китайской. Сила кастовой системы была настолько велика, что она распространилась даже на мусульманскую часть населения субконтинента.

В глазах индусов все люди были подчинены системе каст и дхарм. В ряде случаев кастовая система не только объединяла этнические или этнокастовые образования, но и разделяла, и разобщала их, поднимала вверх и опускала вниз. Так, в результате разложения раджпутских племен как коллективных эксплуататоров возникли две касты — феодальнозависимые низы (джаты) и феодализовавшаяся верхушка (*раджпуты*). В средневековой Индии каста была всем, а человек в ней ничем, а вне ее он вообще ничего не значил. Каста лишала человека возможности свободного выбора, духовной свободы и индивидуальности. Отступления от кастовых запретов допускались только при невозможности их соблюдения.

И в индийской, и в китайской модели организационное подавление личностного начала и господство коллективистских основ имели свое продолжение в сфере идеологии, этики и религии. В традиционном Китае это был жесткий диктат конфуцианских норм, освящавших полную подчиненность человека коллективной дисциплине. В средне-

вековой Индии эту роль выполняло строгое следование той или иной *дхарме*. Последняя означала сумму прав и обязанностей, предписанных обычаем каждой касте и каждому члену данной касты. *Дхарма*, в свою очередь, зависела от статуса и места касты в общественной иерархии. В итоге индус был скован своей кастовой и личной *дхармой*, что сводило к минимуму личностное начало.

В известном смысле традиционный китаец был «винтиком» во всеобщем «механизме» коллективности — начиная с семьи и кончая государственной машиной. Точно так же средневековый индус был «деталью» машины, навсегда отрегулированной в режиме кастовых законов и обычаев, в русле следования той или иной *дхарме*. Социальный характер человека проистекал из его сословной или кастовой принадлежности, т.е. был врожденным, и никаких изменений не претерпевал. За нарушение кастовой *дхармы*, кастовых норм и законов жестоко карали и каста, и государство. Все это прочно перекрывало дорогу к становлению личностного общества как в Индии, так и в Китае.

Как в китайской, так и в индийской модели не было единой религии, т.е. в этой сфере отсутствовало цементирующее начало. В индуизме нет верховного бога, а у каждой китайской религии имелось свое верховное божество. Индуизм не стал «централизованной» религией, а его исповедование приобрело региональный характер, когда местные божества объявлялись ипостасями индусских богов. Индуизм можно рассматривать либо как комплекс различных религий, либо как аморфную систему, состоящую из множества компонентов.

При всем том множественность индуистских религиозных общин отражала широкий спектр социальных и этнокультурных противоречий. Кроме того, в средневековой Индии сложилась антагонистическая дихотомия «ислам—индуизм». Это еще более усилило религиозную мозаичность индийского социума, где сам индуизм оставался сугубо условным компонентом.

Иное положение сложилось в китайской модели. Традиционный Китай не отличался единобожием, и здесь сложился многоликий пантеон божеств, культов, святых, бессмертных, духов и демонов. Однако эта мозаичность перекрывалась цементирующим синтезом шаннизма, конфуцианства, даосизма и буддизма (*саньцзяо*). И в этом качестве данный «квартет», или «блок», в качестве синтезированного или симбиозного начала обрел относительное единство и условную стандартизацию. Последнее закреплялось мощным идеологическим воздействием централизованного государства с соответствующей конфуцианской индоктринацией населения. В Индии этого не наблюдалось, особенно с воцарением мусульманских правителей в Делийском султанате и Могольской империи.

Религиозное начало в индийской и китайской модели в своем воздействии на социум приводило к противоположным результатам. Китайский «квартет» (шандизм, конфуцианство, даосизм и буддизм) нес в себе интеграционное начало, преобразившись в синтез, или симбиоз, этих четырех компонентов. В противовес этому индуизм если не разобщал, то и не цементировал массу своих приверженцев. Его разобщающее воздействие сказывалось не менее, чем влияние кастовой системы. Последняя со своей множественностью местных вариантов шла рука об руку с конфессиональной дробностью внутри многоликого и мозаичного религиозного мира, коему имя — индуизм.

Обе модели сближает фактор политеизма. В Индии — это противостояние индуизма и ислама, в Китае — это сосуществование буддизма, даосизма и шандизма. В обоих случаях спорным является вопрос о господствующей религии. В Китае последний осложнялся господством конфуцианства — светской идеологической доктрины. В обеих странах религиозный плюрализм, со своей стороны, обусловил отсутствие церкви — господствующей или независимой от государства. Отсутствие самостоятельной церкви как института в обеих моделях сопрягалось с отсутствием религиозной власти как независимой ветви. И в Индии, и в Китае религиозная власть органически сливалась со светской. Такое соединение крайне характерно для Востока, но противоречило западной модели (короли–папы) и ее японскому варианту с ее дуализмом (*сёгуны–микадо*).

В Индии история межконфессиональных, прежде всего индуско-мусульманских, отношений — это взаимодействие двух равновеликих по силе тенденций — сосуществования и конфронтации. Достаточно указать на мусульманский фанатизм Аурангзеба (1659–1707), разрушение индуских храмов, введение униженного и разорительного налога с «неверных» (*джизия*). В свое время, впрочем, и индуские правители разрушали буддийские святыни. В целом же на первый план поочередно выступала то социальная, то религиозная рознь, то межконфессиональная конфронтация, то состояние относительного покоя в религиозной сфере.

На стыке этих двух противоположных тенденций складывались разумные нормы межконфессионального общежития и народная культура религиозной толерантности. И тем не менее факт религиозной розни с рецидивами ее обострения в индийской модели налицо. В этом она явно отличается от китайской модели с ее религиозным синтезом, синкретизмом, толерантностью, индифферентностью и бытовым практицизмом в этой сфере. Исключением остались лишь события 845 г., когда конфуцианская бюрократия в борьбе за лидерство нанесла удар по буддийской церкви и ее владениям. Малая значимость религиозно-

го фактора для традиционного Китая контрастирует с явным влиянием конфессиональных различий в средневековой Индии, чья история иногда формально делится на индусский и мусульманский периоды.

В отличие от Китая в средневековой Индии не было иссушающего идеологического диктата конфуцианства с его тотальной индоктринацией, догматизмом и схоластикой. Духовному застою китайской модели индийская противопоставила модернизаторские тенденции. В их числе были распространение религиозно-реформаторских учений, критика религиозного фанатизма и появление прослойки образованных и свободомыслящих людей, проявлявших живой интерес к достижениям Западной Европы. Все это подготовило почву для восприятия новых идей и ценностей. Мертвящее воздействие конфуцианства не допустило появления нового в духовной сфере Китая.

Различной была роль государства и в экономической сфере Китая и Индии. Орошение в Индии не требовало гигантских сооружений и принудительного сгона на земляные работы сотен тысяч людей под давлением государственной машины. Здесь для создания и обслуживания средств ирригации могучей централизованной власти не требовалось. Множество колодцев, водоподъемных колес, отводных канав, запруд и водосборных насыпей обслуживалось и ремонтировалось силами самой общины, деревни, группы семей и даже одного крестьянского двора. В этом отношении для индийской модели была достаточно слабая верховная власть, тогда как китайская модель нуждалась в мощной государственной машине — в азиатской деспотии.

В Китае требовалось централизованное сильное государство для защиты страны от набегов «северных варваров», т.е. кочевников Центральной Азии. Соседство с Великой Степью делало военную угрозу с Севера постоянным фактором, побуждавшим к централизации страны и созданию сильного государственного механизма. У средневековой Индии имелась мощная защита от номадов с севера — Гималаи и Каракорум. За этой «каменной стеной» индийская модель могла себе позволить и феодальную раздробленность, и феодальную централизацию, и слабую верховную власть.

В китайской модели могучая государственная машина имела абсолютную власть над социумом и пронизывала его сверху вниз вплоть до уровня отдельной семьи. В отличие от этого власть в Индии была поделена по различным уровням — верхнему, среднему и низшему. В среднем властвовали местные элиты, а на низшем господствовала каста и община. В эти два горизонта верховная власть почти не проникала. Ее сферой оставался лишь верхний ярус, т.е. центральная администрация, сбор налогов и оборона страны. Слабая государственная

власть почти не влияла на толщу населения, его экономическую, социальную жизнь и местное управление.

Если китайский император имел власть над централизованным государством, то индийские империи — Гуптов, Моголов, Делийский султанат — оставались весьма рыхлыми и аморфными образованиями. Реальная власть в них на среднем горизонте принадлежала местным силам — князьям, феодалам и элитам завоеванных территорий, а их подчиненность «центру» была либо относительной, либо формальной.

В индийской модели государственная власть была ограничена лишь зоной своей компетенции, т.е. верхним горизонтом. На среднем уровне местные князья, феодалы и элиты имели гораздо больше власти, нежели монарх. На нижнем уровне государь не имел права вмешиваться во внутренние дела каст и общин и отменять их решения. В средневековой Индии слабая государственная власть оказалась ограниченной в сфере своих прерогатив, полномочий и реальной силы. В отличие от мощной китайской бюрократической империи индийская государственность не породила высокоразвитый и всевластный административный аппарат. Если китайская модель создала единую властную вертикаль, то индийская строилась на разделении власти по этой вертикали с другими субъектами политического устройства. На среднем горизонте это был управленческий аппарат княжеств, а на нижнем — органы самоуправления каст, сельских общин и городов.

Индийская модель не нуждалась в сильном государстве. Человек здесь жил в рамках касты, под сенью законов и обычаев касты, под защитой общины. При этом государственные законы оставались чем-то второстепенным. Кастовые и общинные установления были выше государственных законов. Государство оказывало минимальное воздействие на человека. По сути, община и каста в известном смысле противостояли официальной власти и не нуждались в поддержке государства. Последнее воспринималось лишь как защитник от внешней опасности, от вражеского войска, и как третейский судья в споре с другой кастой. В этих условиях общинная и кастовая системы были сильными, а государство слабым.

Индийской дихотомии «сильные общины и касты — слабое государство» китайская модель противопоставляла бинарный блок «мощное государство — слабые патронимии». Все, что лежало внизу социума, находилось под «железной пятой» китайской деспотии. Ее мощь не исчезала от периодической смены циклов, династий, царств и империй. Из всех «варварских» завоеваний, циклических кризисов и катастроф китайская деспотия возрождалась как феникс из пепла. При всех этих пертурбациях патронимия как низшая страта социума оставалась в полном подчинении госаппарата.

И в индийской, и в китайской модели имела место сакрализация верховной власти. В средневековой Индии обожествлялся сам институт или идея верховной власти, но не ее носитель. Монарх здесь не считался божеством и выступал как человек, хотя и обладатель высочайшего статуса. Тем не менее государь в Индии был фигурой публичной. Как воитель, он первым бросался в бой и вел за собой войско. Его лицезрел народ при всяком выезде из дворца, превращавшемся в красочный спектакль. По возвращении с охоты государь демонстрировал людям убитых им тигров — бича земледельцев. Ежедневно в установленный час он лично принимал на балконе прошения от простолюдинов во внутренних покоях своего дворца. Тут же он выносил решение, отвечал на просьбы и жалобы людей. На глазах населения он должен был объезжать свои владения. Столь же открыто он вел себя на пирах в окружении друзей и приглашенных. На официальных приемах от присутствующих и вызванных на аудиенцию не требовалось ничего унижительного. Более того, здесь имел место принцип взаимности (дар — отдар). В ответ на подношение золотых монет или драгоценностей монарх одаривал подносителя красивой и почетной одеждой. С установлением ислама (Делийский султанат, империя Великих Моголов) государь просто не мог быть обожествлен, ибо считался всего лишь «тенью Аллаха на земле».

Делийские султаны и могольские падишахи были суннитами, чья догматика отрицала сверхъестественную связь правителя с Всевышним. Исламские владыки Индии не разделяли с ним власти божественной, ибо Аллах не имеет «сотоварищей». Самое большее, на что они могли претендовать, — это считаться «наместниками Пророка» и главами мусульманской общины. При такого рода соединении светской и религиозной власти при всем своем азиатском величии индийские монархи не претендовали на личную сакральность. Уступая по степени святости китайскому императору, султаны и падишахи средневековой Индии по своему статусу были ближе к государям феодальной Западной Европы, нежели к своему китайскому соседу.

В индийской модели обожествлялась не личность монарха, а только сам институт верховной власти. Государь, как смертный человек, подлежал не только божественной юрисдикции, но и суду «народного мнения». Социум мог осуждать недостойного монарха и противостоять его воле.

В отличие от индийской модели, в традиционном Китае сакрализация власти была тотальной. Священными являлись и сам институт власти, и личность государя. Здесь он был божеством (Сын Неба). Его нельзя было видеть «непосвященным», а личное имя было табуировано — вместо этого употреблялся «девиз правления», избиравшийся для своего царствования каждым монархом. При выезде из дворца его

кортеж двигался по безлюдным улицам. Сына Неба не могли обслуживать обычные люди, а только евнухи. Жил он уединенно, даже за трапезой был один, если не считать прислугу — евнухов. С министрами и сановниками общался крайне редко. На аудиенции от них и от иностранных послов требовался унижительный церемониал. Следовало три раза пасть на колени, девять раз ударить лбом об пол, т.е. троекратно встать на четвереньки.

В отличие от индийских монархов китайский император не командовал войском и не шел впереди своих солдат, не принимал прошений и жалоб от подданных, не пировал с друзьями, не демонстрировал народу свои охотничьи трофеи, не был обязан объезжать свои владения на глазах у подданных. Обладая сакральным статусом, он считался не человеком, а Великим божеством. В отличие от монархов Индии Сын Неба соединял в себе светскую и религиозную власть, т.е. обладал универсальной властью. Только он мог совершать священный ритуал в Храме Неба, вступая в непосредственный контакт с Шан-ди — этим сверхсакральным началом и тем самым регулярно подпитывая свой божественный статус.

Сила или слабость верховной власти и централизаторской тенденции в обеих моделях во многом определялась соотношением целого ряда противоположных начал. Речь идет о территориальной целостности и региональной разобщенности, об однотипности, об этническом единстве и сосуществовании нескольких этносов, об одной цивилизации и наличии в ней нескольких различных культур.

Каждая из двух моделей — индийская и китайская — характеризовалась цивилизационным единством. При всем том средневековая Индия не имела единых государствообразующих этноса и территории. В противовес этому традиционный Китай базировался на едином государствообразующем этносе и на единой территории. Начиная с древности и вплоть до XX в. на китайском «субконтиненте» существовало шесть прочных централизованных империй, занимавших всю его территорию (Хань, Суй, Тан, Сун, Мин, Цин).

В отличие от государственного полицентризма доколониальной и домогольской Индии традиционный Китай с конца XIII по начало XX в., т.е. более шести столетий, выступал как единая централизованная моноэтническая империя. В Индии цивилизационное единство сочеталось с политической и этнической раздробленностью. В традиционной Срединной империи — в рамках собственно Китая, т.е. ханьских провинций, — этнокультурное и институциональное начала совпадали и поддерживали прочность друг друга.

В отличие от Китая всестороннее многообразие в Индии всегда было сильнее ее единства, а местная специфика подавляла общее на-

чало. Тем самым Индия выступала не как страна, а как несколько «стран» внутри многоликого «индийского субконтинента». В этом плане в традиционной Индии было что-то от Европы, которая также выступала и как особый континент, и как сумма различных стран. И Индия, и Китай по сути являлись субконтинентами. Однако первая не стала «одной страной», а осталась суммой «стран», или регионов. Второй же из всех политических пертурбаций средневековья, из всех циклических катастроф и «смут» восстанавливался в качестве политического и экономического монолита — великодержавной империи и единой страны.

Условно единому традиционному Китаю средневековая Индия противопоставляла региональную разобщенность. При этом решающее значение имели самоидентификация жителей, их принадлежность к своему региону. Последний являлся относительно самодостаточной экономической единицей. На этом базировались сепаратизм и амбиции местных элит. Отсюда проистекала трудность установления баланса между центральной властью и интересами региональных верхов. В итоге общей чертой всех государств, существовавших на территории средневековой Индии, была их непрочность. Вся история гигантского субконтинента Южной Азии вращалась вокруг проблемы сохранения его целостности и состояния разобщенности.

При всех неизбежных оговорках целостность, стандартизированность и своего рода «монолитность» традиционного Китая оставались реальностью. Иную картину являла собой средневековая Индия. Разобщенность субконтинента по горизонтали (по кастам, классам и слоям) и по вертикали (Север–Юг, по регионам и этносам) лишала индийскую модель органического единства. В конечном счете это была не «страна», а несколько «стран», а они, в свою очередь, состояли из множества различных сообществ и «культур» социального спектра. В этом отношении возникает внешняя аналогия с Западной Европой в Средние века.

Сами средневековые индусы и мусульмане рассматривали субконтинент Южной Азии не как одну страну, а как конгломерат многих «стран» — царств, регионов, «земель», княжеств и владений. Для жителей каждой такой единицы соседние регионы и «страны» были своего рода «заграницей». Такого рода ситуация сохранялась и внутри формально централизованных империй. Даже в рамках империи Великих Моголов существовало много княжеств, и на эти полунезависимые «государства в государстве» власть падишахов в Дели распространялась лишь номинально. Таким образом, «сетка» феодальной раздробленности накладывалась на «сетку» природно-географической, этнической, языковой, религиозной и иной разобщенности регионов.

Территориальной целостности императорского Китая средневековая Индия противопоставляла региональную раздробленность. Индийский субконтинент являл собой сумму автономных регионов, равных по площади и населению крупным европейским странам. В Китае централизованные империи играли доминирующую роль, а регионы и провинции имели третьестепенное значение. В индийской модели, наоборот, регионы были основой, а время от времени объединявшие их империи играли второстепенную роль. Кроме того, даже самые могучие державы (Маурьи, Гупты, Моголы) не объединяли под своей властью весь индийский субконтинент.

С распадом империй наступали периоды раздробленности. При всем том в Индии централизация всегда оставалась относительной, а раздробленность сохранялась как господствующее начало. Иная картина сложилась в китайской модели. Здесь до X в. также наблюдалось чередование обоих начал при появлении мощных империй (Хань, Суй, Тан). С середины X в. децентрализация была полностью вытеснена чередой достаточно монолитных империй (Сун, Юань, Мин, Цин). Для китайской модели раздробленность оказалась явлением временным, относительным и второстепенным. Ее кратковременные рецидивы наблюдались лишь в конце каждого династийно-демографического цикла и быстро сменялись восстановлением политического и административного единства. Централизация стала постоянной, господствующей и неформальной. В этом отношении Китай оказался антиподом Индии. Моноцентризм китайской модели явно контрастировал с индийским полицентризмом. Если традиционный, или «императорский», Китай оформился в качестве одной целостной страны, то средневековая Индия сохраняла себя как сумму «стран», как явный или скрытый конгломерат субъектов и объектов.

В истории Индии наблюдается определенная цикличность. Здесь сменялись четыре стадии: формирование империи, ее расцвет, затем упадок и распад. Потом следовал период хаоса, в конце которого подготавливалась почва для возникновения новой империи. Такого рода сценарий повторялся каждый раз на новом этапе. В периоды «между империями» царили эпохи хаоса с неизбежным упадком, регрессом и дезинтеграцией «центра» и расцветом регионов. Все это сопровождалось войнами, разорением деревень и городов, моральной деградацией и упадком культуры. Повторяемость такого сценария без сколь угодно серьезных изменений на каждом этапе сопровождалась непрочностью имперских государственных образований. Зато имела место прочность самого исторического кода с повторением того же сценария.

При всех отклонениях эволюция в рамках китайской модели шла от феодальной раздробленности к созданию мощной азиатской деспотии

в виде централизованной бюрократической империи. Данному варианту индийская модель противопоставила периодическое чередование феодальной раздробленности и формально централизованных, но фактически слабо сцементированных империй, обреченных на распад.

Все крупные империи средневековой Индии создавались в результате завоевания. Поэтому эти великие государства Индии изначально были обречены на распад. В ином ключе «работала» китайская модель. Страна как более или менее единое целое сложилась к началу Средневековья в результате естественной интеграции. Последняя с VII в. отлилась в форме единого государства и централизованной империи. Менялись династии, завоеватели и столицы, но монолитная деспотическая система всякий раз автоматически возрождалась в рамках единой державы.

Когда очередная индийская империя распадалась на ряд независимых государств, их границы чаще всего совпадали с границами регионов. Централизация и «порядок» сменялись децентрализацией и хаосом. Между тем периоды хаоса давали особые всплески феодального начала. Индийские средневековые раздробленность, междоусобицы, феодальная анархия, разгул рыцарской вольницы и турниры были сходны с обстановкой в феодальной Западной Европе с ее непрекращавшимися войнами и конфликтами. Индийский феодализм и региональный сепаратизм стали явлениями одного порядка, неотделимыми друг от друга.

В индийской модели децентрализация и «хаос» представляли собой естественное состояние субконтинента. Верхушечная централизация и объединение регионов в рамках крупных империй, напротив, выступали как некое насилие над естественным состоянием. Столкновение этих двух начал вновь вызывало к жизни мощные силы дезинтеграции. В итоге возникла повторяемость ситуации — раздробленность, централизация, хаос, порядок и т.д. Данный сценарий повторяемости или чередования этих состояний и стал парадигмой доколониальной эволюции Индии.

Индийскую и китайскую модели роднит некий «имперский стержень» их исторической эволюции. В известном смысле история Индии и Китая — это череда великих империй. Их власть охватывала если не всю территорию этих субконтинентов, то большую их часть. В Индии это пять империй — Маурьев (IV–II вв. до н.э.), Гуптов (IV–V вв. н.э.), Харши (VII в.), Делийский султанат (XIII–XV вв.) и Великих Моголов (XVI–XVIII вв.). Китай прошел через подобную череду империй — Хань (III в. до н.э. — III в. н.э.), Суй (VI–VII вв.), Тан (VII–X вв.), Сун (X–XIII вв.), Юань (XIII–XIV вв.), Мин (XIV–XVII вв.) и Цин (XVII–XX вв.). И в индийской, и в китайской модели эти более чем два тысячелетия в значительной мере являются «историей империй» с выте-

кающим отсюда «имперским подходом» к великому прошлому обоих субконтинентов.

В индийской модели империи создавались и рушились, расширялись и уходили в прошлое, а «регионы», или «страны», оставались в качестве царств и княжеств. Последние служили ядром для возникновения новых государств или же для вхождения региона в очередную империю в качестве полузависимого вассального полуавтономного владения. При всем том такие региональные государства, «страны», владения, «земли» и княжества не ощущали никакой потребности в интеграции. В очередную империю их приходилось «загонять» силой, а при ее распаде они без особых усилий «разбегались» в разные стороны. И в рамках империи, и вне ее индусские и мусульманские феодалы чувствовали себя полными хозяевами в своих автономных и полуавтономных владениях.

В Индии на смену очередной политической децентрализации, или феодальной раздробленности, приходила новая государственная интеграция, или феодальная централизация, в лице очередной империи.

Смена периодов интеграции фазами дезинтеграции представляла собой чередование имперского «порядка» межимперским «хаосом» как парадигма эволюции средневековой Индии. При всем том разобщенность была базовым, а централизация — надстроечным фактором. «Хаотическое» начало как первичное доминировало над имперским «порядком», выступавшим вторичным началом. Даже самые мощные империи состояли из извечных регионов, ибо они были первичны, а их объединение оставалось поверхностным и формальным. Самодостаточные регионы, являвшиеся своего рода «странами» Южной Азии, оставались «фундаментом» субконтинента, а встававшие над ними империи оставались временными «надстройками».

Средневековая индийская государственность имперского типа вводила эти возникшие «снизу» регионы, или «страны», в создаваемое «сверху» очередное политическое образование. Подчиняя себе эти «субъекты» и вводя их в систему центрального подчинения, очередное «большое государство» совмещало прерогативы местных «малых» и «средних» властителей и здешних элит со статусом верховного монарха очередного в индийской истории царства или новой империи.

В итоге до английского завоевания на «индийском континенте» даже в период наивысшего усиления империи Великих Моголов, т.е. в начале XVII в., существовало несколько государств. Такая политическая раздробленность Индии резко контрастировала с жесткой централизацией Китая в лице империй Мин и Цин.

В китайской модели внутри каждого династийно-демографического цикла шло движение от разрухи к восстановлению, от него — к стабильности.

лизации, затем — к кризису и от него — к катастрофе. За ней следовала очередная разруха. В индийской модели с ее сценарием повторяемости не было таких циклов и таких падений, т.е. катастроф и разрух. При всем том кривая восходящей эволюции оставалась крайне пологой. Примерно такая же пологая кривая медленного восхождения пролегла по фазам стабилизации от одного китайского цикла к другому. И в индийской, и в китайской моделях такие кривые свидетельствовали не столько о развитии, сколько о топтании на месте или о весьма скромной и медленной эволюции.

Время от времени в Индии господствовала дихотомия «центр—регионы», или «императорский (царский) домен — подчиненные области». Здесь почти каждый регион имел мощную специфику, делавшую его как бы особой «страной», хотя и покоренной. В китайской модели такая ситуация возникала в периоды усиления великодержавия и экспансии. Тогда собственно Китай завоевывал и присоединял к себе неханьские страны (Корея, Вьетнам) или иноязычные, иноконфессиональные регионы (Тибет, Кашгария, Джунгария, Монголия). В собственно китайском варианте дихотомия «центр—провинции» оставалась естественной и устойчивой структурой. В имперско-державном варианте «центр — покоренные регионы» структура несла в себе нестабильность, сепаратизм, восстания и войну.

В противовес Китаю Индия всегда оставалась «страной индусов» и державой не становилась, т.е. чужеродных областей, стран и регионов не завоевывала. Тем самым средневековая Индия счастливо избежала «капкана» имперского великодержавия с его проблемами и антагонизмом.

Китайская модель в качестве формационного фундамента имела азиатский способ производства. По типу политической надстройки или по виду государственности Поднебесная империя была образцовой азиатской деспотией. В плане исторической эволюции Срединное государство жило по циклическому сценарию. По всем перечисленным параметрам, а также по типу социума, идеологии и культуры Китай эпохи Средневековья являл собой страну сугубо восточной модели исторической природы. В этой жесткой, чисто азиатской системе традиционного императорского Китая не было места западноевропейским чертам, феодальным элементам и тенденциям. Если они и существовали до VI–VII вв., то в последующем деградировали и исчезли. Китайская модель стала органически целостной и чисто восточной во всех отношениях.

В отличие от традиционного Китая средневековая Индия в формационном отношении не стала зоной азиатского способа производства, по типу государства — восточной деспотией, а по типу эволюции — носителем циклического сценария. Сравнение обеих моделей показывает, что применение к средневековой Индии понятия «восточная дес-

потия» неправомерно. Историческая реальность Южной Азии не содержит целого ряда компонентов азиатского способа производства и восточной деспотии. Здесь прежде всего отсутствовали такие «азиатские» слагаемые, как «власть-собственность» и «рента-налог». Тем самым не сложилось «класса-государства». Зато существовала верховная собственность на землю как важнейший компонент общества азиатского типа.

Доколониальная Индия являлась страной феодальной. Однако здесь не было чисто западных моделей этой формации и строя. В индийском варианте феодализма имелись явные «азиатские» вкрапления. Главным из таких компонентов была верховная собственность государства на землю, что оставляло феодалам право лишь на частное владение землей. В итоге индийский строй являл собой синтез азиатского и европейского начал, симбиоз восточного социума с западнофеодальными структурами. В русле такого сочетания сложился «индийский феодализм», или южноазиатский вариант феодализма.

В индийской модели имелся ряд слагаемых, роднивших ее с Западной Европой. Это отсутствие азиатской деспотии и десакрализация личности монарха, слабое государство и слабая верховная власть, феодальная раздробленность и феодальное землевладение, военно-феодальный господствующий класс и наличие между феодалами и крестьянами промежуточных слоев полуфеодального типа. Тем не менее, при всей весомости этих компонентов, вряд ли возможно оценить индийскую модель как феодализм западноевропейского типа, ибо индийское средневековье несло в себе целый ряд слагаемых сугубо восточного типа.

К чисто азиатским компонентам индийской модели можно отнести целый ряд реалий. Это верховная собственность государства на землю и отсутствие частной земельной собственности, сакрализация таких институтов, как государство и верховная власть, поглощенность города самой системой и отсутствие автономных городов, господство коллективного начала над индивидуальным и слабость личностного статуса у трудовой массы населения, отсутствие церкви как независимого института и второстепенная роль частнопредпринимательского начала. Вместе с тем наличие этого набора существенных черт все-таки не позволяет говорить о господстве восточного потенциала в индийской модели.

В данном случае имел место некий сплав, или синтез, восточного и западного начал, некий симбиоз со смешанными чертами и компонентами. Причем весомость западных черт здесь органически уравновешивалась значимостью азиатских характеристик.

Сочетание в рамках индийской модели европейских и азиатских начал лишний раз свидетельствует о несовпадении географического

положения стран с их типом общественного строя и исторической эволюции. Так, Япония с XII–XIII вв. перешла от азиатской модели на рельсы почти европейского феодализма — своего рода «Запад на Востоке». Россия с XIII в. была переведена Ордой с западного русла эволюции в число стран восточного типа бытования — своего рода «Азия в Европе», создав здесь свой вариант синтеза «восточного феодализма» и местной «азиатчины» — как своего рода «полу-Запад, полу-Восток». Так и на субконтиненте Южной Азии возникла полуевропейская, полувосточная структура «индийского феодализма».

Китайская модель несла в себе азиатский способ производства в качестве формации, восточный тип социума, циклический вариант эволюции и азиатскую деспотию как тип политической надстройки. Все этому индийская модель противопоставила феодальную формацию, полузападный-полувосточный тип социума, нециклический вариант эволюции и феодальную монархию с восточной спецификой. В итоге средневековая Индия оказалась по большинству показателей «ближе» к феодальной Западной Европе, нежели к азиатско-деспотическому традиционному Китаю. Феодальная Индия была «ближе» к средневековой Японии, нежели к остальному Востоку.

Отсутствие в индийской модели азиатского способа производства, восточной деспотии и циклического сценария исторической эволюции создало в рамках индийского варианта феодализма особую почву. Последняя оказалась благоприятной для перенесения и адаптации западных капиталистических начал в ходе английского завоевания Индии и ее пребывания в составе Британской империи.

Такой адаптации способствовало и то, что индийская модель всегда оставалась открытой для внешнего влияния. Индия никогда не стремилась к изоляции от чужеродных веяний и не прибегала к политике «закрытия» субконтинента. В противовес этому у конфуцианского Китая имелась тенденция к самоизоляции от внешнего мира, от всего, что находилось за пределами китайской имперской «сферы влияния» (Корея, Вьетнам, Бирма, Сиам, Тибет). В конце концов Сыны Неба перешли к «закрытию» страны от влияния «заморских варваров» из Европы. В результате наступила прочная консервация традиционности и застоя.

Как бы то ни было, индийская модель, как и китайская, была отягчена консервирующими, регрессивными тенденциями системного происхождения. Ни одна из этих двух моделей не отличалась динамизмом, а замедленность их эволюции явно тяготела к состоянию застоя. Ни одна из них после выхода на уровень более или менее зрелого состояния не несла в себе механизм саморазвития, а воздействие внешних факторов явно вело к торможению и без того крайне скромной поступательности.

ВЬЕТНАМСКАЯ, МАЛАЙСКАЯ И ИНДОКИТАЙСКО-ЯВАНСКАЯ МОДЕЛИ

Настоящая глава посвящена характеристике типов социально-политической структуры в средневековой Юго-Восточной Азии. В ней не рассматриваются вопросы генезиса структур, существовавших в регионе, а основное внимание сосредоточивается на уже сложившихся обществах с ясно выявленными классовыми отношениями и оформленной государственностью. Поэтому фактический материал членится и организуется для выяснения той роли, которую играют явления того или иного типа в качестве оперативного элемента социальной действительности. Такой подход направлен по преимуществу не на восстановление генетической цепи явлений и событий и на воспроизведение их на оси времени, а на исследование их структуры, проявляющее не столько конкретно-исторический, сколько типологический их смысл.

Регион Юго-Восточной Азии, находясь в рамках восточного варианта феодальной формации, трудно сводим в ходе «вторичной типологизации» к одному региональному типу, а дает несколько разновидностей. Несомненно, что существуют признаки, характерные для региона в целом, благодаря которым его историческое развитие отличалось от других районов Азии, но при настоящем состоянии изученности проблемы трудно выделить один тип «юго-восточно-азиатского феодализма», и попытки в этом направлении приводят либо к фиксации черт, одинаковых для «восточного феодализма» вообще, либо к переносу явлений, характерных для части региона, на всю Юго-Восточную Азию.

Конечно, изучение Юго-Восточной Азии ни у нас, ни за рубежом не достигло еще той степени зрелости, как исследование «классических» регионов Востока. В частности, проблемы формационного развития, особенности доколониального общества этого региона остаются одними из наименее изученных.

В основу классификации положена социально-политическая организация общества, причем большое внимание уделено характеру и организации господствующего класса. Выбор этого критерия объясня-

ется в первую очередь тем, что в условиях Юго-Восточной Азии именно социально-политические системы определили различия обществ, сравнительно мало отличающихся в уровне экономического развития. Особенности господствующего класса, являясь порождением и отражением общества в целом, в свою очередь, влияли на характер этого общества в огромной, если не в решающей степени. Под господствующим классом в странах Юго-Восточной Азии, как и вообще в восточном варианте феодализма, подразумевается совокупность эксплуататоров, осуществлявших свою власть преимущественно через государственное управление при подчиненной роли частноправовых отношений и частной земельной собственности.

Автор считает возможным выделить три основных субрегиональных типа социально-политической структуры в Юго-Восточной Азии: вьетнамский (бюрократическо-феодальный), приморский, или малайский (военно-феодальный), и индокитайско-яванский (государственно-патриархальный).

Все эти типы возникли примерно одновременно, в дальнейшем развивались параллельно и достигли в целом одного и того же уровня. К моменту европейской колонизации не приходится говорить о серьезной разнице в уровнях развития частей региона, представляющих эти три модели (остальные горные и лесные районы, разумеется, в расчет не принимаются).

* * *

На одном полюсе стоит Вьетнам, развитие которого дает в условиях Юго-Восточной Азии наиболее последовательный и полный вариант государственного феодализма. Речь идет главным образом о северной части Вьетнама (государство Дайвьет), тогда как южная (Тямпа) до конца XV в. существовала как отдельное государство, социально-политическая структура которого относилась к иному, не бюрократическо-феодальному типу. Несмотря на значительные перемены политического, экономического и идеологического характера на протяжении всей истории, в совокупности составляющие то, что можно именовать «историческим развитием», вьетнамское общество предстает как один из типов развития средневекового общества Юго-Восточной Азии, поскольку основные структурообразующие элементы системы и их связи остаются в целом прежними. Система эта относится к тому же типу развития, который наблюдается в Китае и странах, подвергшихся китайскому влиянию.

Для бюрократическо-феодальной системы характерно, что определяющим типовым видом социальных отношений, по которым строились все другие, были отношения административного, управленческо-

го соподчинения. Эта особенность существенно отразилась на отношениях господствующего класса с соподчиненной и зависимой массой, на ее психологии, равно как и на социальной психологии самих членов господствующего класса. Хотя во Вьетнаме централизованная бюрократическая монархия окончательно оформляется при императоре Ле Тхань Тоунге (1460—1497), когда класс феодалов был организован в единую политико-административную систему, построенную по принципу бюрократической иерархии, свойственный Вьетнаму тип развития складывается гораздо раньше, начиная с эпохи китайского завоевания.

Господствующий класс выступает здесь как нерасчлененная организация. Принадлежность к чиновному сословию требовала осуществления административных, судебных, военных и идеологических функций. Единственное разделение по роду деятельности (и то весьма условное), которое существовало в средневековом Вьетнаме, — разделение на гражданских и военных чиновников.

Для Вьетнама характерна огромная роль центральных ведомств — шести *бо*, занимавшихся культовыми церемониями, назначением чиновников, проведением кадастров (земельных и подушевых), сбором налогов и распределением их среди чиновничества, военными делами, судом и общественными работами. Произошло отделение контрольных органов (*кхоа* и *ты*) от исполнительных (*бо*) в центре. Всего в XV в. насчитывалось не менее 20 центральных учреждений, в основном сохранившихся и в последующие периоды. Сложившаяся в те же годы система административного деления (*дао*, *фу*, *хюэны*) также существовала до колониального вторжения. Но показательно, что на местном уровне разделение функций чиновников было меньшим, чем в центральных учреждениях, хотя и здесь помимо разделения на гражданские и военные органы существовал специальный институт государственных контролеров (*нгу дайши*), выполнявших контрольно-судебные функции.

Господствующий класс феодально-бюрократического типа выступает не только как нерасчлененная организация с преобладанием административных функций, но и как тотальный институт. Это означает, что он, во-первых, стремится распространить свой контроль даже на самые низшие социально-производственные ячейки и включить в свою структуру ее верхние социальные элементы; во-вторых, он превращает идеологию в непосредственный составной элемент своей системы, придавая ей тем самым узкофункциональный характер.

В XIII в. община здесь была поставлена под контроль специальных чиновников — *са куанов*, и деревенская верхушка стала постепенно превращаться в зависимых от государства мелких чиновников. В XV—

XVIII вв. этот процесс усилился, и общинная верхушка получила функции низшего административного звена, действовавшего под контролем вышестоящих чиновников. По мере усложнения функций появились и специализированные чиновники из общинной верхушки.

Тотальность государственно-феодального общества бюрократического типа предполагает такие качества, как высокая степень централизации и последовательная — административная по характеру — иерархичность, без которой оно не могло существовать как тотальный организм. Определяющим моментом выступала централизация, а иерархичность была необходимым условием ее полной реализации. Верховная власть в этих условиях выступала не столько как привнесенное извне связующее единство, сколько как первое — и в силу этого высшее — звено бюрократической иерархии. Значение административной иерархии заключалось еще и в том, что она и обеспечивала осуществление социальной мобильности господствующего класса, и способствовала сглаживанию противоречий внутри этого организма, создавая условия для более или менее автоматического продвижения чиновника по административной, а значит, по социальной и имущественной лестнице.

В 70-х годах XV в. во Вьетнаме была введена система девяти рангов, закрепившая систему чиновничьей иерархии. Каждый ранг имел два подранга — высший и низший. На разряды было разбито и низшее чиновничество — писцы, секретари низовых учреждений, мелкие служащие дворца и т.п. Через каждые шесть лет служебное положение чиновника пересматривалось, и успехи по службе поощрялись повышением в должности или переводом в район, где экономические условия обеспечивали более высокий его доход. Самым надежным путем к получению должности, а следовательно, к повышению специального статуса и дохода была сдача экзаменов на ученую степень. Поскольку при нормальном функционировании административного аппарата должность в нем была связана с выполнением определенной функции, то экзамены предоставляли возможность не просто получить ученую степень, но и конкретную должность.

Существенной чертой господствующего класса вьетнамского общества был его открытый характер, что проявлялось в отсутствии наследственной закреплённости социального статуса, обеспечивающего, наряду с включением некоторых социальных элементов из низовых ячеек в данную систему, высокую социальную мобильность и, следовательно, динамизм и устойчивость этого типа господствующего класса. Несмотря на классовую фильтрацию участников экзаменов, эта система помогла верхушке общинного крестьянства укрепить свои позиции в низшем звене административного аппарата. Она также положила

начало формированию широкого слоя интеллигенции и мелкого чиновничества, связанного и переплетавшегося с крестьянской верхушкой. Происходило постоянное обновление господствующего класса за счет выходцев из деревенской верхушки. Кроме того, широко практиковалась открытая продажа титулов и должностей, что также открывало доступ в господствующий класс деревенской верхушке и зажиточным горожанам.

Структура господствующего класса феодально-бюрократического типа характеризовалась ярко выраженным акорпоративизмом, что наряду со сравнительной легкостью продвижения как вверх по служебной лестнице, так и обратного движения — сверху вниз — делало границы между общностями господствующего класса весьма зыбкими и неопределенными. Однако сами эти общности носили коллективный, групповой характер. Индивидуальность, личность не могла быть здесь первичной ячейкой, так как она выступала только как потребитель и звено бюрократической иерархии, не имея возможности проявить себя в плане социальном.

Внутри господствующего класса имелись различные групповые общности. Некоторые из них — например, существовавшие на базе учреждений — были неустойчивы вследствие непрерывного передвижения чиновников с одного поста на другой, их назначения в различные районы страны. Более устойчивыми были группы, объединяемые общностью выполняемой функции — экономической, военной, культурно-идеологической. Однако состав таких групп был очень пестрым в социально-сословном и имущественном отношении: в каждую из них включались как дворцовые бюрократы, так и служащие низовой административной единицы. По своему положению в социальной системе и своей психологии последние подчас ближе стояли к нечиновным слоям, чем к правящей группе.

Поэтому для анализа структуры господствующего класса представляется целесообразным исходить в первую очередь из различия в государственно-административном статусе отдельных групп. Основными элементами господствующего класса феодально-бюрократического типа выступают не индивидуумы и не функциональные группы, а группы административно-сословно-имущественные.

Верхняя группа состояла из придворной бюрократии, глав центральных учреждений, цензоров. В XV в. в эту группу входили родственники императора, бывшие одновременно и высшими бюрократами. В последующие столетия она пополняется за счет военных чиновников и приближенных из рода Чинь, правившего страной. В XVIII в. к этой группе примыкала и верхушка нестоличного чиновничества — главы округов (*чан тху*), роль которых значительно возросла. Эта группа

являлась политически господствующей, а в плане функциональном выступала как высшая управляющая сила.

Ее положение закреплялось высоким сословно-правовым статусом, значительной тенденцией к наследственному получению должностей и привилегий, а также большими доходами. Уже в 70-х годах XV в. наследники знати и высшего чиновничества имели право сохранять титулатуру своих отцов, хотя и с понижением на одну ступень, были освобождены от трудовой и военной повинности, в случае совершения ими преступления к ним применялось смягченное наказание. После восстановления вслед за периодом усобиц централизованного государства на рубеже XVI–XVII вв. высшее чиновничество еще более активно, чем в XV в., использует административный аппарат для своего обогащения. Об этом свидетельствуют участвовавшие факты смещений, штрафов и отставок крупных чиновников, уличенных в «растрате общественных средств». К 70-м годам XVII в. знать и высшее чиновничество добились закрепления за ними титулатуры и привилегий на четыре-пять поколений.

Именно в этой группе была наиболее сильна тенденция к превращению ее членов в частных земельных собственников, в чем и заключалась противоречивость ее положения: возглавляя политически и административно господствующий класс, она как никакая другая группа неслала в себе тенденцию к распаду государственно-феодальной системы, что особенно явно проявлялось в периоды усобиц и нестабильности.

Средняя группа состояла из основной массы чиновничества, выполнявшего как политические, так и административные функции. Если в верхней группе сохранялось значительное число представителей аристократии, принадлежавшей к императорскому роду или породнившейся с ним, то здесь эти элементы отсутствовали. Благодаря системе экзаменов и ненаследственному характеру должностей эта группа в значительно большей степени, чем высшая, подвергалась обновлению. Ее социальный статус фиксировался гораздо медленнее, чем у высшей группы.

Уже в XV в. средние слои чиновничества получили от государства освобождение от ряда повинностей, а из законов XVII–XVIII вв. видно, что в отношении них действовал тот же принцип «понижающейся титулатуры», как и для знати. Правда, степень наследственной закреплённости титулатуры была в этой группе значительно ниже: у чиновников 5–6-го рангов ее сохраняли только сыновья и старшие из внуков, у чиновников 7–8-го рангов — только сыновья.

Стремясь компенсировать потерю централизованных доходов, перераспределявшихся все более в пользу верхнего слоя бюрократии, среднее чиновничество стремилось использовать в личных интересах

свое положение в административном аппарате. Широко распространенное взяточничество, вымогательство, незаконные поборы и т.п. были характерны для деятельности именно этой группы. Не обладая значительной политической властью и не занимая влиятельных административных постов, она особенно нуждалась в стабильности режима и, в частности, в крепкой верховной власти.

Низшая группа была представлена чиновниками, занимавшими низовые должности и выполнявшими чисто административные функции, и массой «технического» чиновничества. Этому слою была присуща высокая степень социальной мобильности как за счет притока элементов из нечиновных сословий, так и за счет привлечения на низшие должности лиц из общинной верхушки. Эта группа обладала низким сословным статусом, зачастую даже не отделявшим ее от нечиновных сословий, и наименьшими доходами. Хотя во Вьетнаме низшее чиновничество постепенно освобождалось от несения ряда повинностей и получало привилегии в виде освобождения части принадлежащих ему земель от обложения налогом, несение основных повинностей и уплата налогов, наследственная незакрепленность уже полученных привилегий, усилившаяся зависимость от высшей бюрократии — все это приближало низшие слои чиновничества к народу. Именно это обстоятельство делало низшее чиновничество «ферментом» основных социальных конфликтов внутри господствующего класса.

Наиболее близко к этой группе стояли высшие имущие группы из народа, в частности те, кто купил чиновничьи должности или титулы. По указу 1460 г. деревенские богатеи могли купить должности 7–9-го рангов (без реальных функций), что давало им и их детям некоторые послабления в отношении трудовой и военной повинности. Уже к концу XV в. такие лица составляли 15% всего чиновничества. В неспокойной обстановке XVII–XVIII вв. происходило массовое присвоение титулов деревенской верхушкой и мелкими военачальниками, равно как увеличилось возможности приобретения титулов за деньги. Тем не менее после стабилизации, наступившей в 40-х годах XVIII в., государство аннулировало большую часть самовольно присвоенной титулатуры. Даже в тех случаях, когда титулатура была приобретена «законным» путем — за деньги или рис, — о наследственной ее передаче и речи не было.

Для бюрократическо-феодальной модели господствующего класса характерно наличие специального слоя чиновничества, связанного с культурно-идеологической функцией, — ученых. Представители этого слоя включались, как правило, в ту или иную группу господствующего класса в зависимости от своего ученого звания и положения на бюрократической лестнице.

С XV в. ученые были основным источником пополнения чиновничьего аппарата (процесс этот начался значительно раньше), а в XVI–XVII вв. их число продолжало увеличиваться. Ученые получали большее жалованье, чем их коллеги — чиновники, которые не имели ученых званий, они освобождались от солдатчины и трудовой повинности. С течением времени ученые, т.е. лица, сдавшие экзамены, перестали автоматически превращаться в чиновников, что было связано с фаворитизмом, разделением страны между Нгуенами и Чинями в XVII–XVIII вв., падением уровня экзаменов. В результате происходило превращение части ученых-чиновников в неслужилую интеллигенцию, стоявшую по своему материальному положению близко к низшему чиновничеству и верхушке престолярства, а другой части — в наследственных бюрократов, причем получивших ученое звание не через экзамены, а другими путями.

Основную массу угнетенного населения в средневековом Вьетнаме составляли различные прослойки общинного крестьянства. В связи с оформлением бюрократической структуры общества в XV в. произошло превращение крестьянина в государственно-тяглового. Крестьянство было разбито на шесть разрядов (*ханг*), в основу классификации которых было положено отношение к государственной (военной) службе. По мере феодализации общинной верхушки и имущественного расслоения происходили изменения в структуре деревни, главные из которых сводились к уменьшению удельного веса полноправных общинников и возрастанию числа малоземельных и безземельных крестьян, арендующих общинные или частные земли, а также к сближению основных сословных групп крестьянства — коренных и пришлых. Вовлечение общины в сферу государственно-налоговой эксплуатации привело к потере производственного назначения труда полурабов (*но ти*), численность которых после XV в. резко сократилась. Несмотря на имущественное расслоение и сближение общинной верхушки и пришлых богатых арендаторов, сословные различия в крестьянской среде оставались значительными, что проявлялось и в социальной психологии. Даже бедный крестьянин из коренных психологически стоял ближе к общественной верхушке, чем к своему собрату из пришлых.

Основной формой феодального землевладения в средневековом Вьетнаме была передача чиновникам на время их службы права на взимание ренты-налога с определенной земельной площади. В XV в. надельная система, т.е. кодификация всех видов условных земельных держаний — от членов семьи императора (*вуа*) до низших чиновников, а также величины общинных душевых паев, окончательно утвердилась во Вьетнаме, хотя ее элементы прослеживаются значительно раньше.

Количество и качество надела соответствовали положению чиновника в системе бюрократической иерархии. Самые большие и лучшие наделы получали члены семьи *вуа*, титулованная знать — ближайшее окружение *вуа* (от 2 тыс. до 500 *мау*). Далее шли высшие чиновники (1–2-го ранга) — от 230 до 85 *мау*. Остальные группы чиновничества (3–9-го ранга) имели значительно меньшие по размеру и худшие по качеству наделы.

Одновременно под полный контроль государства было поставлено общинное землевладение. По закону 1470 г. земельные и душевые кадастры должны были пересматриваться через 3 года (частично) и 6 лет (полностью). Величина душевого пая в общине соответствовала социальному положению получателя. Чиновники 3–9-го рангов получали от 11 до 7,5 частей, воины и лица, купившие чиновничий титул, т.е. деревенская верхушка, — 8,5–7 частей. Паи могли иметь и лица, не состоявшие в данной общине. Чиновники также платили поземельный налог и были обязаны выполнением повинностей за держание душевого надела в общине, т.е. государство было склонно (по крайней мере в теории) рассматривать своих подданных как налогоплательщиков, вне зависимости от их социального статуса. Надельная система, делая господствующий класс в определенной мере организатором сельскохозяйственного производства, способствовала тенденции развития государственной собственности как реального экономического, а не только юридического фактора.

Несмотря на развитие частнособственнических тенденций в среде господствующего класса и деревенской верхушки в XVII–XVIII вв., государственная земельная собственность играла решающую роль. В XVIII в. происходило даже расширение условных держаний, которые охватили все группы феодалов-чиновников, вплоть до самых низших.

Во Вьетнаме — стране с феодально-бюрократической организацией общества — частные земельные собственники, существовавшие в том или ином виде практически на протяжении всей истории страны, не получали налоговых и судебно-административных иммунитетов. Господствующий класс феодально-бюрократического типа, оставаясь высококомобильным, не развивался в реального земельного собственника. Несмотря на то что во Вьетнаме к XIX в. процесс складывания частной феодальной собственности зашел достаточно далеко, сам характер организации общества более успешно, чем в странах другого типа, препятствовал возрастанию значимости отношений реальной частной собственности.

Структура общества феодально-бюрократического типа и характер его социально-экономических отношений сказались на положении ремесла и торговли. Государство непосредственно организовывало про-

изводство в горнорудном деле, кораблестроении и других важных отраслях. Индивидуальное ремесло находилось под жестким контролем со стороны государства. Уже в XV в. на основе трудовой повинности были созданы государственные мастерские, приписанные ко двору, центральным ведомствам и воинским единицам. Широко использовалась система принудительных закупок ремесленной продукции.

Государство контролировало внутреннюю торговлю, определяя списки товаров, обращающихся на рынках, фиксируя цены на них, устанавливая внутренние таможенные пошлины. Над внешней торговлей был установлен контроль, целью которого было изолировать жителей приморских районов от контактов с иностранцами и обеспечить внешнеторговую монополию на важнейшие экспортные продукты.

Торгово-ремесленные слои не играли значительной роли в средневековом Вьетнаме. К XV в. как особый социальный слой торгово-ремесленное население начало формироваться лишь в столице. Только в XVIII в. происходит рост специализированных ремесленных поселений, а также заметное развитие столичного ремесла. Господство государственно-феодальной системы затрудняло сословное становление торгово-ремесленных элементов, ограничивало товарное хозяйство и товарное обращение сферой мелких деревенских рынков, мешало проявиться самостоятельности торгового капитала.

* * *

На другом полюсе феодальной структуры в Юго-Восточной Азии находились приморские общества островного мира региона (Малайя, Суматра, Юго-Западный Сулавеси, Бруней, Молуккские острова, Южные Филиппины). Эти общества генетически выросли из городов-государств, возникавших на морских путях, проходивших через Юго-Восточную Азию. Преимущественно этот тип, получивший в нашей литературе название *нагара*, развился на Суматре и в Малайе.

В приморских обществах четко прослеживается водораздел между знатью и простонародьем. Так, в малайских княжествах каждый человек от рождения принадлежал к правящему сословию, или к сословию *оранг райят*, и попасть в высшее сословие человеку из простонародья было практически невозможно. Представляется, что это деление своими истоками уходит в малайско-полинезийскую родовую структуру с ее социальными группами «благородных», «свободных» и «зависимых», хорошо прослеживаемую в Юго-Восточной Азии на Филиппинах в доколониальную эпоху.

В основе системы отношений этого типа лежала военная функция. Связи внутри господствующего класса строились прежде всего как

связи военного подчинения. Характерный пример дает общество государства Аче на Северной Суматре.

Ачешская знать состояла из двух групп — наследственных вождей и султанской семьи. Ядро первой группы составляли владельцы определенных территорий — имамы и *улубаланги*, объединяемые под общим названием «адатной» знати.

Деревни (*кампонги*) в Аче группировались в территориальные единицы — *мукимы*, главой которых были имамы, ведущие происхождение от религиозных наставников населения, введенных в XVII в. в эпоху усиления центральной власти, но очень скоро имамы стали превращаться в наследственных владельцев *мукимов*, бывших первоначально объединением верующих вокруг мечети, а сами *мукимы* — в территориальные феодальные единицы. Трансформация должности имамов — характерный пример поглощения традиционными формами приморского мира Юго-Восточной Азии новых институтов, которые утверждались, лишь найдя место в традиционной структуре. Религиозный институт, созданный с целью политической и идеологической консолидации султаната в эпоху подъема центральной власти, превратился в адатный (традиционный) орган, ничего общего с религией и централизацией не имеющий. Отношения имама с вышестоящим владельцем — *улубалангом* зависели от конкретного соотношения сил. Как правило, имамы признавали верховенство «своего» *улубаланга*, выступали на его стороне в междоусобицах, передавали ему часть судебных сборов и торговых пошлин. Но часто, особенно в периоды усобиц, имам стремился стать независимым от *улубаланга* владельцем.

Верхний слой наследственной знати составляли *улубаланги*, само название которых — «военный предводитель» — указывает на их происхождение от военных вождей родоплеменных объединений. *Улубаланги* были владельческими феодалами, обладавшими военной, налоговой, судебной и административной властью в своих областях.

Улубаланги предводительствовали ополчениями своих владений и прежде всего именно в этом качестве воспринимались населением. Судебная, налоговая и административная власть *улубалангов* была производной от их военной роли.

В Аче совершенно очевиден водораздел (от рождения) между знатью (*теоку* и *туанку*) и престономародьем.

В отличие от бюрократическо-феодального военно-феодальный тип социальной организации господствующего класса не стремился к распространению на все общество, к полному контролю над низовыми социальными ячейками, вовлечению их верхушки в систему организации господствующего класса, а тяготел к обособлению, к замкнутости.

Следствием такой особенности господствующего класса было то, что он не превратился в тотальную организацию. Это отразилось, в частности, в положении идеологии, сохранившей в обществе этого типа определенную самостоятельность. Религия в прибрежных областях Малайи, Суматры, Калимантана, по сравнению с другими районами Юго-Восточной Азии, несла меньшую функциональную нагрузку, была менее утилитарной. Религиозная организация существовала здесь отдельно от светской и в социальной, и в имущественной сферах.

Для иллюстрации этого положения обратимся снова к примеру Аче — характерного общества приморского типа. Слой, связанный с мусульманской религией, был в Аче неоднороден, включая в себя представителей администрации султаната, собственно духовенство и тех, кого можно назвать своего рода интеллигенцией. Первые две группы, куда входили судьи в столице и улубалангствах (*кади*) и священнослужители в мечетях (имам, *сембаянг*, *хатиб*, *билал*), были немногочисленны. Наибольшим влиянием в Аче пользовались «неслужилые» представители религии — сейиды и уламы. Сейидов (лиц, считавшихся потомками пророка Мухаммада) в Аче было немного, и решающую роль в общественной и культурной жизни Аче играли *уламы* — авторитеты в области религиозного права и доктрины, хорошо знающие арабский язык и священные тексты. В их руках находилась система образования, многочисленные школы служили центрами распространения влияния прославленных *уламов* на население. *Уламы*, связанные родственными узами со многими знатными и незнатными семьями, представляли своего рода интеллигенцию аческого общества, причем интеллигенцию довольно демократического толка, поскольку они, как правило, по происхождению принадлежали к простонародью, а не к феодальной верхушке. Талантливому, энергичному человеку из простонародья было гораздо легче стать *уламой*, чем занять место на ступеньках уже сформировавшейся феодальной иерархии. Это обстоятельство способствовало постоянному притоку свежих сил в *уламское* сословие.

Раздельное существование религиозной организации, связанной с государством, но не поглощенной им, вызвало в обществах приморского типа такой феномен (не встречающийся в других областях региона), как создание теократических государств в результате народных движений (государство *падри* у народности *минангкабау* в 20–30-х годах XIX в., государство Самана в Аче в 80–90-х годах XIX в.). Представляется, что сфера идеологии в обществах военного типа легче могла быть использована для борьбы с данной системой, ибо в известной мере идеология находилась (как и христианство в Западной Европе) вне ее.

В приморском типе не наблюдалось стремления к максимальной централизации и жесткой иерархичности, столь характерного для типа бюрократическо-феодального. Если в последнем внутренние отношения господствующего класса целиком носили характер должностного иерархического соподчинения, то в приморском типе эти отношения были менее жестки и более разнообразны. Здесь четче проявлялись децентрализаторские тенденции — возникновение мелких центров вокруг наместников, владетелей и т.п. Так, в Малайе в XVIII–XIX вв. султанаты делились на области (*даэрах*, *джаджжахан*), которые являлись владениями того или иного феодального рода. Крупные феодалы (*оранг бесар*) раздавали деревни или группы деревень мелким феодалам (*пенгулу*), связанным с ними вассальными отношениями. Теоретически владение этими областями было обусловлено военной службой султану и выплатой ему определенной части доходов, но фактически крупные феодалы мало зависели от центральной власти. Владетельные феодалы, носившие титул «раджа» или *тенку* (если они происходили из правящего рода), *дато* или *ван* (если они не принадлежали к султанскому роду), управляли областью, взимали налоги, вершили суд, собирали пошлины, сгоняли крестьян на принудительные работы и т.д. Вокруг каждого из владетельных феодалов образовывался круг из родственников и других аристократов, которые были помощниками, военачальниками, управителями, советниками, послами, секретарями. Обычным явлением были феодальные усобицы. Феодалы жили в укрепленных резиденциях, резиденции обносились палисадом, рвом и земляной насыпью. Они держали при себе наемную дружину.

Иерархичность господствующего класса носила здесь военный характер и не была способом осуществления социальной мобильности и средством сглаживания противоречий, как в бюрократическо-феодальном типе.

Верховная власть в этом типе общества была более обособленной, более самостоятельной; она носила характер не венчающей иерархическую пирамиду вершины, а в известной мере внешнего, основанного на военном подчинении и личной власти элемента. Такой характер верховной власти придавал ей огромную силу и известную самостоятельность в эпоху расцвета и завоеваний и служил источником ее слабости и впадения правителей в ничтожество, когда рушились или ослабевали государства этого типа. Государь из неограниченного деспота и полновластного распорядителя судьбами своих подданных (в том числе и представителей господствующего класса) быстро превращался в первого среди равных или в не обладающего реальной властью владетеля. Именно так произошло в Аче, достигшем предела своего могущества при султанах Искандаре Муда (1607–1636) и Искандаре Та-

ни (1636–1641), которые одолели *улубалангов*, укрепили центральный аппарат, но со временем превратились во владетелей небольшого домена вокруг столицы и стали игрушкой в руках соперничающих феодальных кланов. В Малайе после падения Малаккского султаната (1511) и ослабления и распада Джохора (вторая половина XVII в.) власть султанов также распространялась лишь на домены в их княжествах. Центральный аппарат был слабым, так как реальная власть сосредоточивалась в руках крупных феодалов, владевших теми или иными областями. Титулатура феодалов в малайском княжестве Перак свидетельствует о том, что первоначально ее носители были высшими чинами центральной администрации (видимо, в эпоху Малаккского султаната и сменившего его Джохора).

Отсутствие тотальности предопределило менее открытый характер господствующего класса военно-феодального типа по сравнению с бюрократическо-феодальным. Как правило, здесь существовала наследственность социального статуса. Даже в том случае, когда пополнение рядов господствующего класса происходило извне, это делалось не столько за счет включения в его состав низших социальных элементов данного общества, сколько за счет элитарных элементов другой этно-социальной структуры.

В прибрежном мире Юго-Восточной Азии обычным явлением, начиная с эпохи образования первых государств, было включение представителей других этносов в господствующий класс. Так, в Малаккском султанате частью господствующего класса стали иноземные купцы (тамилы, арабы и ачехцы), породнившиеся с правящим домом. Процесс образования торговых этносов, характерный для Индонезии и Малайи, дополненный миссионерской деятельностью мусульманских проповедников, привел в XIII–XVIII вв. к широкому пополнению рядов господствующего класса за счет притока извне. Малайцы Суматры и Малаккского полуострова основали правящие династии и положили начало феодальным родам в Брунее, на Сулу, Минданао, Молукках. Народности минангкабау на Суматре и буги на Сулавеси образовали правящий слой малайских султанатов Негри-Сембилан и Селангор.

В целом динамичность и устойчивость восточного общества военно-феодального типа была ниже, чем общества бюрократическо-феодального, что связано, несомненно, с закрытием широкого доступа в ряды господствующего класса низшим слоям данного общества. Поэтому господствующий класс такого общества легче поддается внешним влияниям и быстро ассимилируется в культурном и этническом плане. В отличие от ассимилирующего феодально-бюрократического типа, этот тип может быть назван ассимилируемым. Если господствующий класс бюрократического типа сохраняет свою устойчивость

даже при огромных социальных потрясениях (восстания, войны), то здесь это часто приводит к почти полной его замене.

В прибрежном субрегионе Юго-Восточной Азии эта особенность общества военно-феодального типа проявилась не столь явственно, как в Индии и на Среднем Востоке. Думается, что это связано, во-первых, с отсутствием катастрофических вторжений и завоеваний, а во-вторых, с существованием долгих и устойчивых торговых и культурных связей между различными частями островного мира Юго-Восточной Азии, формировавших общую для этого субрегиона береговую культуру, носителями и проводниками которой были народы, не только пополнявшие ряды господствующего класса менее развитых островов, но и селившиеся более или менее компактными этническими группами (включавшими не только верхушку) на их территории.

Социальная структура господствующего класса военно-феодального (приморского) типа обнаруживает значительные отличия от той же структуры, характерной для бюрократическо-феодального типа.

Здесь нет такого ярко выраженного акорпоративизма, как в феодально-бюрократическом типе. Поскольку сословные границы здесь более жестки, а роль наследственной преемственности важнее, то господствующий класс в большей мере осознает себя противостоящим подневольной массе. Значительно большую роль играет понятие благородства происхождения. Разделение на знатных и простолюдинов, ясно прослеживаемое в малайско-индонезийском прибрежном мире и на доколониальных Филиппинах, свидетельствует о наличии черт корпоративности в среде господствующего класса военно-феодального типа.

Эта же особенность определила характеристику групп господствующего класса, которые хотя и сохранили свою значимость в военно-феодальном типе, но предоставили индивиду больше возможностей, чем в феодально-бюрократическом типе, проявлять себя. Последнее наложило отпечаток, в частности, на социальную психологию малайцев, для которой характерно наличие своего рода рыцарского кодекса поведения, отразившегося, например, в приключенческом романе «Хикаят ханг Туах».

Верхняя группа здесь в большей степени, чем в феодально-бюрократическом типе, состояла из родовой (а не служилой) знати. Обычно она состояла из двух, четко отделенных друг от друга прослоек. Одной из них был правящий клан (*анак раджа* — в Малайе, *туанку* — в Аче, султаны и королевские *дато* — на Сулу), другой — высшая наследственная знать, не принадлежавшая к правящей семье (*оранг бесар* — в малайских султанатах, *улубаланги* — в Аче, *дато* — на Сулу). Существование в верхней группе этих разделявшихся по происхождению

прослойка приводило к тому, что столкновения и противоречия здесь носили более острый характер, чем в объединениях феодально-бюрократического типа.

Средняя группа, как правило, не была подвержена процессу социальной мобильности и вследствие слабой централизации и отсутствия жесткой иерархии скорее тяготела к отдельным представителям высшей группы, чем была заинтересована в сохранении незыблемости единой организации господствующего класса. К этой группе в Малайе относились *пенгулу*, а в Аче — имамы, на Сулу — *панглимы*, распространявшие власть на определенную (обычно небольшую) округу и подчинявшиеся вышестоящим феодалам.

Особенностью низшей группы в приморском типе было ее слабое развитие (особенно «технического» чиновничества). Сословная грань не позволяла даже верхушке крестьянства стать частью этой системы, хотя, разумеется, пополнение господствующего класса за счет низов происходило и здесь. Так, в Аче между владельческими феодалами и простым населением находилась довольно многочисленная прослойка дружинников и должностных лиц — *улубалангов* и имамов. Верхний слой этой страны составляли банта — младшие братья или другие родственники владельцев. Далее шли *панглима перанг* — предводители отрядов или известные своей храбростью и силой дружинники. Самую многочисленную часть окружения *улубалангов* и имамов составляли *раканы* (букв. «последователи»), люди, связанные с феодалами отношениями личной зависимости. Хотя и значительно реже, чем банта, *панглима перанг* тоже поднимались до положения феодалов. Например, родоначальником семьи владельцев одного из улубалангств в центральном районе Аче был *панглима перанг улубалангов* из рода Нек. В малайских султанатах деревенская верхушка, особенно при заселении неосвоенных земель и междоусобицах, иногда также пробивалась в отряды господствующего класса. В стабильном же состоянии деревенская верхушка оставалась (в большей степени, чем в бюрократическом типе) слоем эксплуатируемого крестьянства и значительно слабее выполняла роль переходного образования.

Особенностью структуры основной массы населения — крестьянства в этом типе общества была большая социально-сословная однородность, чем в бюрократическом типе, что объяснялось, как представляется, в первую очередь меньшим вмешательством государства в управление, а также в сбор налогов. Аческая и малайская деревни были населены полноправными общинниками, которые не делились на разряды. Единственное заметное разделение в эксплуатируемом классе лежало в плоскости «свободные — зависимые». Но зависимые (*оранг берхутанг* — в Малайе, *алипинг* — на Филиппинах), образовавшиеся

из должников и военнопленных, в массе составляли прислугу и окружение в домах знати, и лишь часть из них жила в деревнях, образуя низший слой сельского населения.

Представители деревенской верхушки также, как сказано, принадлежали к крестьянскому сословию. Так, во главе *кампонга* — деревни в Аче и Малайе — стоял староста (*кечик, кетуа*). Семейные дела, земельные споры, урегулирование внутридеревенских конфликтов, установление сроков празднеств, распределение мяса убитых животных — таков был обычный круг обязанностей *кечика*, именуемого «отцом деревни». Доходы его свидетельствовали о характере его власти как арбитражной и общественно полезной по преимуществу. Статьи этих доходов указывали на «несобственнический» их источник и вытекали из его управленческих и социальных функций.

Вторым лицом после *кечика* в ачской деревне был *теунгу*. Он формально ведал религиозными делами и отвечал за исполнение закона шариата в *кампонге*, но фактически его роль явно не укладывалась в рамки, отведенные мусульманскому священнослужителю, и он был скорее жрецом-шаманом. В своей деятельности *кечик* и *теунгу* опирались на деревенский совет, состоявший из старейшин (*оранг туа*). Старейшинами были самые почитаемые и влиятельные люди деревни; естественно, что имущественное положение играло при этом не последнюю роль.

Деревенские дела обсуждались в присутствии всех желающих принять в этом участие жителей *кампонга*; все они имели право голоса при обсуждении различного рода вопросов.

Замкнутость господствующего класса приморского типа, его слабая социальная мобильность делали невозможным включение крестьянства (как подчиненной массы, конечно) в эту социальную систему. Сохраняя одновременно относительную самостоятельность в идеологическом плане, этот тип предоставил возможность крестьянскому сопротивлению развиваться особенно успешно в русле религиозных исканий. Характерно, что именно в этой части региона произошла смена индуистско-буддийского культа исламом в XIII–XVII вв., тогда как в других областях региона сохранились прежние религии — конфуцианство и буддизм.

Различие в формах крестьянских выступлений, видимо, объясняется и разницей в социальной структуре крестьянства. Хотя в обоих типах господствующему классу противостоял конгломерат социально-производственных ячеек, в бюрократическом типе ему противопоставался в конечном счете индивид (или мелкий коллектив — семья), а в приморском (военно-феодальном) — более устойчивые коллективы — общины, а нередко и их объединения (например, в Восточной Индоне-

зии). Таким образом, во втором случае эффективность даже пассивного крестьянского сопротивления возрастала. В первом же случае перед крестьянином возникала дилемма: либо постараться включиться в господствующий класс (что было в принципе возможно), либо перестроить эту организацию, что было достижимо, естественно, только насильственным путем.

Общества приморского типа не знали таких крестьянских войн, какие имели место в Китае или Вьетнаме. Крестьянские движения в строгом смысле этого слова начались здесь в колониальный период под воздействием главным образом внешних факторов, повлиявших на структуру общества, и носили не только антифеодальный, но и антиколониальный (война *падри*, Ачехская война, крестьянские бунты XVII–XVIII вв. на Филиппинах) характер.

При характеристике особенностей социально-экономического развития приморского общества Юго-Восточной Азии следует обратить внимание на отличия этого субрегиона от «материнской» части. Как известно, с самого начала развитие земледелия в Юго-Восточной Азии пошло по двум направлениям: выращивание риса на орошаемых полях (*савах*) и переложное земледелие с подсечно-огневой системой (*ладанг*) (в данном случае употребляется терминология малайского мира Юго-Восточной Азии). Последний тип хозяйственного развития может быть назван, по терминологии советских этнографов, типом палочно-мотыжных земледельцев тропического пояса с тропическим переложным земледелием типа *ладанг*. В приморских районах основными занятиями населения стали торговля, рыбная ловля и пиратство, которые дополнялись ладанговым земледелием и собирательством. В условиях, когда население было сравнительно немногочисленно и основные доходы правящий класс получал от торговли и связанного с ней пиратства, а также от судебных штрафов, проблемы нехватки земли практически не существовало. При наличии большого количества свободных земель долгое время не возникало необходимости в установлении прав индивидуального землепользования.

Государственная собственность на землю становилась здесь реальным экономическим отношением, сохраняя вместе с тем характер верховной собственности. В малайских султанатах государственная собственность находила свое выражение в праве получения султаном налога — десятины с рисовых полей — и в его праве распоряжаться выморочными и запущенными землями.

Султаны в Малайе, Брунее, Аче раздавали владения крупным феодалам (а также утверждали их во владении) на условиях вассальной зависимости, передавая им право не только на взимание налогов, но и административные и судебные права.

Особенностью складывания частной земельной собственности в приморском типе являлось формирование частных собственников внутри господствующего класса, тогда как в бюрократическом типе это превращение развертывалось в основном вне рамок господствующего класса, который сохранял свою централизованную и иерархическую организацию. Рост частной земельной собственности был связан в первую очередь с развитием товарно-денежных отношений и товаризацией хозяйства в связи с увеличением спроса на местную продукцию в результате колониального вторжения.

Феодалы в Малайе и Аче широко использовали сложившееся в малайско-индонезийском мире правило, согласно которому человек, расчистивший участок леса, становился его владельцем. Используя труд крестьян, рабов и зависимых, феодалы расчищали джунгли и становились собственниками новых земель. Важным источником формирования частного феодального землевладения в Аче в XVIII–XIX вв. был захват *улубалангами* и имамами рисовых полей, принадлежавших султанам. В условиях ослабления центральной власти феодалы превращали эти земли в свою собственность и взимали с них налоги (*васэ*) в размере одной трети урожая.

Постепенно феодалы (в Аче, например) переходили к прямому наступлению на общину, используя для этого свою административную и судебную власть. Они захватывали выморочные земли, а также приусадебные участки ушедших из деревни жителей; широко использовали правило *ланггех умонг*, по которому человеку, совершившему проступок, запрещалось обрабатывать свое рисовое поле, пока он не уплатит штраф. Поскольку крестьянин часто был не в состоянии выплатить налагаемую *улубалангом* сумму, поле забрасывалось, и постепенно *улубаланг* начинал его обрабатывать с помощью своей челяди или сдавать землю исполу. Через несколько лет такая земля становилась полной собственностью *улубаланга*.

Специфическим было положение торговли в этом обществе. Хотя существовали торговцы из простонародья (*оранг кайя, находа*), в общем, торговля сосредоточивалась в руках султанов, феодальной знати и примыкавшего к последней богатого иноземного купечества. Интересно, что, несмотря на «торговый» характер приморского общества, его центрами оставались укрепленные *кампонги*, а возникавшие периодически (и также периодически исчезающие) города, вызываемые к жизни в основном внешними обстоятельствами, представляли собой механическое соединение или разрастание тех же кампонгов. Эти эфемерные города — места встречи иностранных купцов, пиратские стоянки — были практически не связаны со своей периферией и не стремились к распространению на нее своего влияния, поскольку их

интересы лежали вовне — в межостровной и заморской торговле. Население этих городов было мало связано с местными жителями, поскольку основную массу его составляли пришельцы с разных концов архипелага, а также из других стран (Индии, Китая, полуостровной Юго-Восточной Азии, Ирана и Аравии). Изменение внешнеполитических и внешнеторговых обстоятельств приводило к исчезновению такого города и отливу его населения в другое место. Типичным примером такого города может служить средневековая Малакка. Несмотря на внешнее сходство организации общества, характерного для приморского субрегиона Юго-Восточной Азии, с полисным типом Средиземноморья в античности и городским приморским типом Западной Европы в Средние века, они базировались на совершенно различных основах и представляли различные модели развития. Приморский город (*нагара*) Юго-Восточной Азии типологически не являлся альтернативой развитию периферии (как это было в Европе) ни с социально-экономической, ни с политической точки зрения.

Третий тип социально-политической структуры средневекового общества в Юго-Восточной Азии можно назвать государственно-патриархальным. Этот тип устойчиво сохраняется (несмотря на определенные модификации) в социально-политических структурах, возникавших на территории Бирмы, Таиланда, Лаоса, Кампучии, Центральной и Восточной Явы. Он характерен, следовательно, для той «внутренней» части региона, общество и государственность которой формировались под воздействием институтов и культуры Индии (как и общество приморского типа), тогда как решающее воздействие на Вьетнам (вначале, вероятно, однотипный с остальной «внутренней» Юго-Восточной Азией) оказала китайская модель.

Характеристика этого типа основывается на анализе главным образом таких государств, как Паганское царство и государство Конбаунов в Бирме, Ангорская империя и Камбоджийское королевство в Кампучии, государство Аюття (Аюттхая) в Таиланде, империя Маджапахит и султанат Матарам на Яве. Эти государства базировались на ирригационном земледелии, и их центрами становились районы развитого искусственного орошения: область Чаусхе в Бирме, лёссовая равнина вокруг оз. Тонле Сан в Кампучии, долина р. Менам в Таиланде, долина р. Бранстас и равнина Кеду на Яве.

Имея сходство с бюрократической моделью, данный вариант структуры господствующего класса отличается от нее типологически.

В государственно-патриархальном типе структурообразующим элементом отношений выступает управленческая функция (как и в бюрократическом типе), но наряду с этим значительную роль играют связи группового (кланового) характера. Они обуславливают сохранение

относительной самостоятельности (по отношению к государству) феодалов на местах, а также более стойкое, чем в феодально-бюрократическом типе, сохранение наследственного характера должностей, титулов, владений, особенно в средних и низших звеньях.

Представляется, что, будучи в принципе однотипными обществами, бирманско-тайско-камбоджийский и яванский его варианты несколько отличаются друг от друга. В первом случае налицо более явно прослеживается тенденция к развитию черт, приближающих государственно-патриархальный тип к бюрократической модели, на Яве же степень централизации и роль государства никогда не были так велики, как на материке. Может быть, это объясняется сохранением на Яве остатков малайско-полинезийской модели общественного устройства, повлиявшей на структуру приморского типа, с которой яванские государства поддерживали постоянные контакты и которая периодически появлялась на северном побережье острова? Если для Явы, которая с древности до XVII в. не знала иноземных вторжений, характерно устойчивое существование общественно-экономической и политической структуры, воспроизводимой в различных государственных образованиях, возникавших в центральной и восточной части острова, то картина на Индокитайском полуострове представляется более сложной.

Вторжения и перемещения народов, приходивших с севера (бирманцы, тайцы, лао, шань) на протяжении VIII–XV вв., оказывали двоякое воздействие на структуру «иригационного» общества, существовавшего в этой части Юго-Восточной Азии.

С одной стороны, родоплеменные общества бирманцев и тайских народов, синтезируясь с общественно-политической организацией уже сложившихся «иригационных» государств, приводили к расшатыванию феодально-бюрократических тенденций развития и появлению структур (или их элементов) военно-феодального типа. С другой — народы, жившие прежде на периферии *Rex sinica* и воспринявшие те или иные элементы государственности, свойственные бюрократическому типу, приходя в Юго-Восточную Азию, оказывались носителями определенных идей и институтов бюрократическо-феодальной модели, которые, синтезируясь со сходными или однотипными реалиями раннеклассовых «иригационных» обществ (монские государства в Бирме, Дваравати и Ангорская империя в Кампучии и Таиланде), придавали государственно-патриархальному типу в материковой части региона многие черты, роднившие его с бюрократической моделью.

Социально-политическая организация юго-восточно-азиатских обществ государственно-патриархальной модели развития определялась отношениями между центром, олицетворявшим тенденции централи-

зованного феодально-бюрократического развития, и довольно устойчивыми единицами во главе с феодальными родами, представители которых в разное время в разных государствах включались в государственно-административную систему.

Хотя попытки создать единую государственно-административную систему, превращавшую всех феодалов в чиновников (по образцу бюрократическо-феодальной модели), делались постоянно, на протяжении всей истории (наиболее явно это прослеживается в королевстве Аютия и государстве Конбаунов), общества этого типа сохранили присущий им характер существования, своего рода вассальную зависимость владений от центра, определявшуюся, правда, в основном не военной, а управленческо-хозяйственной функцией.

В основе лежали иерархические отношения центра с самодовлеющими, высокоавтономными единицами, по «вертикальной» линии обеспечивавшиеся прямыми и личными связями между центром и носителями власти на местах.

Структура и формы конкретных проявлений социальных связей основывались на патриархальном господстве. Аппарат управления состоял из лично зависимых от монарха дворцовых служащих, родственников, личных друзей или связанных с ним узами личной присяги и верности (в той или иной форме) феодалов-чиновников на местах (как правило, наследственных). В этом случае не служебная дисциплина и не деловая (применительно к условиям данного общества) компетентность, как в структурах феодально-бюрократического типа, не сословная принадлежность, как в военно-феодальном типе, а именно личная верность и личные связи служили основанием для назначения на должность и продвижения по иерархической лестнице. Поскольку никто не ставил предела произволу монарха, иерархическое членение часто нарушалось привилегиями.

Для иллюстрации рассмотрим общество двух эпох — Ангорскую империю в Кампучии, государство Маджапахит в Индонезии и Паганское царство в Бирме, относящиеся к так называемому «классическому» периоду (до XVI в.), и султанат Матарам на Яве и государство Конбаунов в Бирме, существовавшие в XVII–XIX вв.

В Ангоре — раннеклассовом государстве, деспотии, созданной на базе земледельческих общин, — развитие шло не по линии создания единообразного правящего слоя чиновников, а путем укрепления централизованной государственной экономики и раздачи государством своих земельных богатств и зависимых земледельцев в руки знатных родов. Те общины, представители которых оказывались в числе приближенных правителя и включались в государственный аппарат или верхушку духовенства, получая титулы и пожалования, попа-

дали в привилегированное положение. Имущество этих общин оформлялось как храмовое имущество «личных» храмов или родо-профессиональных организаций — *варн*, а общинники становились жрецами этих храмов или членами корпораций, поставлявших из своих рядов служащих государственных учреждений, жрецов центральных храмов и приближенных правителя.

Остальные общины (большинство), не имевшие статуса храмов или *варн*, назывались *варгами*. Они попадали в зависимость от храмовых общин и были основными поставщиками продуктов сельскохозяйственного производства и ремесла, рабочей силы на строительстве храмов, ирригационных сооружений и дорог и солдат в армию. Под непосредственным контролем государства оставались крупные государственно-храмовые хозяйства, так называемые центральные храмы.

Оформление владений знатного рода как имущества родового храма было характерной чертой социальной организации Ангкора. В основе отношений внутри господствующего класса лежала система патроната, при которой столичные вельможи покровительствовали своим многочисленным сородичам в провинции. Служившие в столице чиновники, особенно крупные, получали доход с земель, эксплуатируемых сидящими на местах родственниками.

Налицо, таким образом, явно прослеживаемая клановая организация господствующего класса. Аппарат управления не носил характер строго регламентированной централизованной системы, высшие посты занимали представители знатных семей, связанных родством с правителем. По-видимому, реальная власть на местах принадлежала также знатым семьям, находившимся в родственных отношениях со столичной знатью.

В почти современном Ангкору яванском Маджапахите (и, видимо, в предшествовавших ему государствах Сингасари и Кедири) мы находим схожую систему отношений в господствующем классе с той разницей, что здесь не наблюдается теократического оформления социально-политической структуры, пронизывающей все общество, как это было в Камбоджадеше.

Основной социально-политической ячейкой было здесь светское (*сима*) или духовное (*дхарма*) поместье. Владетели *сима* (*акуву*) осуществляли полную власть над населением деревенских общин, входивших в их владения, и были связаны с монархом (*рату*, *хаджи*) узами личной зависимости, часто родственными. Будучи формально даром правителя, *сима* имела тенденцию превращаться в полусамостоятельные, замкнутые, самодовлеющие единицы, как это, например, произошло с Мадакарипурой, ставшей княжеством Сенгтуру. Централизованная администрация существовала лишь в столице и непосред-

ственно прилежавшей к ней области, на остальной территории действовали *адинати* (наместники), обычно наследственные, которые, однако, контроля над *акуву* практически не имели, поскольку последние подчинялись непосредственно правителю.

По-видимому, сходная система, т.е. сочетание деспотической власти монарха и достаточно развитого дворцово-административного аппарата в центре с самодовлеющими общественно-административными единицами, базирующимися на ирригационной общине, существовала и в паганской Бирме (XI–XIII вв.). Этими единицами были *рва* или *юва* (деревни) в *каруинах* — округах в центре страны, где на орошаемых землях сидела основная масса собственно бирманского населения, и *туики* (букв. «ограда», «строение») — периферийные (по отношению к *каруинам*) округа со смешанным (по национальному составу) населением. Главы *рва* и *туиков* (*рвасукри*, *туиксукри*), особенно *рвасукри каруинов*, были наследственной знатью Пагана, причем знатью наиболее устойчивой в социальном плане (в сравнении с дворцовой), связанной отношениями личной зависимости с правителем и обладавшей значительной степенью самостоятельности от центра, невозможной в обществах бюрократической системы.

Перейдя к более централизованным и поздним государствам, трудно обнаружить, что, несмотря на значительную унификацию и упорядоченность административной системы, структурообразующими связями продолжали оставаться отношения центра с единицами, однотипными описанным выше, т.е. сочетание государственного, верховного, имеющего тенденцию к бюрократизации начала и патриархальной, наследственной, локальной, автономной единицы.

Территория яванского султаната Матарам (XVII–XVIII вв.) состояла из пяти частей: *кратон*, *нагара*, *нагара агунг*, *манчанагара* и *пасисир*. *Кратон* — резиденция султана и *нагара* — прилегающие к кратону округа образовывали столицу государства. Вокруг столицы располагалась *нагара агунг* (большая столица) — область, контролируемая непосредственно центральной администрацией, где имели свои владения родственники султана и высшие сановники. К *пасисиру* относились города на северном побережье Явы, управлявшиеся наместниками (*шахбандарами*), главной обязанностью которых было следить за торговлей. Основная же территория государства относилась к *манчанагара*, где сидели *бупати* — обычно наследственные владельцы, включенные в систему администрации, но подчинявшиеся непосредственно султану, с которым были связаны узами личной зависимости. *Бупати* осуществляли свою власть практически без вмешательства со стороны центра. Характерно, что каждое владение (оно же административная единица в *манчанагара*) копировало административную систему сто-

лицы, так что султанат состоял из единиц, каждая из которых представляла собой замкнутую и единообразную систему, объединяющим же началом служила верховная власть, осуществлявшая контроль не безлико-бюрократическими методами, а посредством личного вмешательства. К таковым относились система браков между султанским родом и семьями владетелей, регулярное пребывание *пангеранов* и *бупати* при дворе, а в редких случаях — физическое уничтожение местных домов, могущество которых начинало угрожать центральной власти, как это было с владетелями Мадуры при султানে Агунге (1613–1645) и с родом Гири в 1680 г.

В бирманском государстве Конбаунов (XVIII–XIX вв.) основной административной единицей было *мьо* во главе с *мьотуджи*. Первоначально (в паганский период) *мьо* назывался укрепленный населенный пункт, часто крепость на границе. Затем, в эпоху шанского завоевания (XIV–XV вв.), когда ослабла центральная власть, *мьо* превратились в феодальные владения, а *мьотуджи* — в наследственных владетелей округи. С укреплением центральной власти в XVII в. *мьотуджи* стали постепенно включаться в систему государственного управления. *Мьотуджи* в реальности являлись не столько чиновниками государственного аппарата, сколько феодальными владетелями. Они передавали свои должности по наследству, при вступлении на должность являлись ко двору и приносили своего рода присягу правителю.

В отличие от *пангеранов* и *бупати* Матарамы *мьотуджи* были мелкими и средними владетелями; кроме того, централизация в государстве Конбаунов была, несомненно, сильнее, чем в Матараме (по всей вероятности, это вообще было свойственно материковой разновидности государственно-патриархального типа), и, соответственно, *мьотуджи* находились под большим контролем центра. И тем не менее основа связей оставалась и в этом случае однотипной: личные связи монарха с основной массой наследственных владетелей автономных единиц, связи, не определявшиеся жестким отношением бюрократической иерархии и соподчинения, а носившие персонифицированный характер.

Пример общества государственно-патриархального типа, в наибольшей степени трансформировавшегося в сторону общества бюрократическо-феодального, дает средневековый Таиланд (Сиам).

В XIII–XIV вв. на территории теперешнего Таиланда существовали раннеклассовые образования — княжества — *мыанги*, возникшие в ходе тайского завоевания Ангорской державы. Первые тайские государства, Сукотай и Чиенгмай, представляли объединения тайских *мыангов*, во главе которых стояла военная знать (*чао*). Структура этих государств, равно как и организация ранней Аютии, выступавшей в XIV в.

объединительницей Сиам, вполне соответствовала государственно-патриархальной модели: в центре находился королевский домен, вокруг него — четыре «внутренние» провинции, находившиеся под властью местных владетельных родов, а на периферии государства — вассальные княжества.

Центральный аппарат распространял свой реальный контроль лишь на столичный район: только во второй половине XIV в. в Аютии появились четыре центральных ведомства (*куну*).

Во второй половине XV в., при короле Боромотрайлоканате (1448–1488), была законодательно оформлена система сиамской государственности.

Господствующий класс был разделен на два сословия — наследственную знать и чиновничество. К наследственной знати относились только прямые потомки короля до пятого колена, причем титул детей в каждом поколении уменьшался на одну степень. Вся остальная знать переходила в сословие чиновников и соответственно сохраняла привилегии, пока находилась в этом сословии. Статус чиновника определялся в первую очередь понятием *сактина* — числом, определяющим размер земельной площади, доход с которой шел в его пользу. *Сактина* не была показателем реального землевладения, а служила индикатором социального и служебного (а отсюда и имущественного) положения его обладателя. Место чиновника в иерархии определялось еще тремя показателями: титулом (*яса*), званием (*тампен*) и королевским наименованием (*рачатиннама*) — нечто вроде системы орденов, жалующих за занимаемую должность.

Соответственно, в Сиаме была создана более четкая (по сравнению с Бирмой или Явой) административная система. Были образованы пять *кромов* (министерств), ведавших внутренними делами, земледелием, финансами, двором и судопроизводством. Реорганизации подверглась и провинциальная администрация, которая была поставлена под более значительный контроль центра.

Напрашивается параллель между перестройкой социально-политической структуры Сиам в XV в. и реформами XV в. во Вьетнаме. Несомненно, что эталоном в обоих случаях служила китайская модель бюрократическо-феодалного общества с той, однако, разницей, что для Вьетнама реформы второй половины XV в. были итогом развития страны в определенном направлении на протяжении многих веков, а для Сиам — первоначальным толчком в этом направлении. Представляется, что сиамская система в основе своей оставалась государственно-патриархальной, хотя и подвергшейся сильной модификации.

Вплоть до XVII в. власть *чао мыангов* сохранилась даже в центральных районах страны, а система, установленная в XV в., действо-

вала эффективно лишь в столичном районе. Только при короле Прасат Тонге (1629–1656) *чао мыанги* были уничтожены на основной территории государства и заменены губернаторами. Подорвав власть *чао мыангов*, Сиамское государство в XVII в. сделало еще один шаг по пути ослабления системы патриархальных связей на местах и разрушения самодовлеющих единиц — *мыангов*. Тем не менее на окраинах *чао мыанги* продолжали существовать и после XVII в.

В отличие от Вьетнама в Сиаме не существовало экзаменационной системы, и в конечном счете принадлежность к правящему (чиновному) сословию здесь в значительно большей степени определялась происхождением и родственными связями, что, строго говоря, противоречило принципам феодально-бюрократической системы. Для государственных образований, созданных в Индокитае народами тайской группы, заметная эволюция Сиам в сторону бюрократической модели стала скорее исключением, чем правилом. Не говоря уж о шанских княжествах в горных районах, сохранивших черты, свойственные Сукотай и Чиенгмаю, даже образовавшееся на территории современного Лаоса королевство Лан Санг (конец XIV в.) осталось, как представляется, в рамках государственно-патриархальной модели. Несмотря на создание чиновничьего аппарата по сиамскому образцу, наследственные феодалы-чиновники были полновластными вершителями судеб подвластного им населения, и отношения между ними и центральной властью скорее приближались к яванскому, чем к сиамскому образцу.

Послеангорская Камбоджа дает пример наибольшего приближения к сиамскому варианту, что, видимо, объясняется заимствованием сиамской модели государственно-социальной системы в XVII–XVIII вв. Вместе с тем роль клановых отношений и клановой частной земельной собственности в Камбодже была выше, чем в Сиаме. Страна делилась на четыре дома коронованных особ, ключевые посты в которых занимали *прэах вонгса* — родственники короля по пятое колено. Многочисленные *прэах вонг* — отдаленные родственники монарха — редко занимали должности в государственном аппарате, но зато имели в своем распоряжении наследственные частные земли, свободные от обложения. Чиновники (*намэны*), как и в Сиаме, получали должностные наделы или жалованье из казны.

Для сравнения государственно-патриархальной структуры с другими типами развития представляет интерес рассмотрение еще двух вопросов: а) феодальная раздробленность и феодальный сепаратизм и б) сословное деление общества.

Бюрократическому типу в его идеальной модели феодальный сепаратизм вообще чужд вследствие тотальности, акорпоративности и

слияния господствующего класса феодалов с государственным аппаратом.

Во Вьетнаме борьба внутри господствующего класса не вела к отпадению от центра тех или иных владений. Это была борьба вокруг императорского трона и за него. Даже период раздела страны между кланами Чиней и Нгуенов (XVI–XVIII вв.) был не эпохой феодальной раздробленности, а временем существования двух вьетнамских государств (Северного и Южного), каждое из которых воспроизводило ранее существовавшую социально-политическую и экономическую модель Дайвьета, формально продолжавшего существовать как одно государство.

Для военно-феодального типа сепаратизм является имманентно присущим в силу слабой централизации, замкнутости господствующего сословия и неадминистративных в своей основе отношений между правящими группами, место этого феномена в государственно-патриархальной модели иное.

Даже в кратковременные периоды расцвета (Малаккский султанат в конце XV — начале XVI в., Аче в первой трети XVII в., Джохор Риау в середине XVII в.) приморские государства Юго-Восточной Азии представляли собой конгломерат вассальных владений, связанных с центром отношениями военной зависимости.

Обратившись к конкретно-историческому материалу, мы обнаружим следующее.

В Бирме период феодальной раздробленности приходился на конец XIII — первую треть XVI и на конец XVI — начало XVII в. В 1287 г. пало Паганское царство и территория Верхней Бирмы оказалась разделенной между шанскими и бирманскими княжествами, пока при Табиншветхи (1531–1550) не была создана могущественная империя. В конце XVI в., после крушения империи Табиншветхи и его преемника Байиннауна (1550–1581), Бирма снова распалась на отдельные княжества, но на этот раз ненадолго — вступивший на трон Авы правитель Анаупхелун (1605–1628) вновь объединил страну.

Существование монской и араканской государственности в различные периоды бирманской истории не является свидетельством феодальной раздробленности, так как Нижняя (Южная) Бирма и Аракан в эти периоды были самостоятельными государствами и их этническая база (моны и араканцы) была иной, чем у государств Верхней Бирмы.

Сиам и Кампучия вообще не знали периода феодальной раздробленности, хотя сепаратистские тенденции наместников и губернаторов являлись заметной чертой их развития, особенно в периоды иноземных нашествий (Сиам в конце XVI — начале XVII и в третьей четверти XVIII в., Кампучия — в XVII в.).

На Яве эпохой феодальной раздробленности является период со второй половины XV до третьей четверти XVI в., а сепаратистские тенденции гораздо более заметны на протяжении всей яванской истории, причем здесь они не связаны, как в Индокитае, с внешними факторами. Наиболее заметным их проявлением уже в XVIII в. стал раздел Матарам на султанаты Суракарта и Джокьякарта с последующим выделением из их состава княжеств Пакуаламан и Мангкунегаран.

Таким образом, периоды дезинтеграции в Бирме и на Яве совпадают с эпохами катаклизмов, приводящих к эволюции (в рамках определенной модели) общества. В Бирме это был приход на смену раннеклассовой деспотии, т.е. Паганскому царству, более развитой феодальной структуры, нашедшей свое завершение в государстве Конбаунов.

Социальный кризис Ангорской империи в сочетании с идеологическим кризисом шивобуддизма, господствовавшего в Камбоджадеше, имел своим следствием создание трех новых государственных образований — Аютии, Лан Санга и Кампучии (Камбоджи), образованных различными этносами.

Если в Индокитае эволюция государственно-патриархальной системы сопровождалась (и ускорялась) внешними факторами, то на Яве социально-идеологический кризис Маджапахита в XV в. был всецело порожден внутренними причинами и развивался практически без внешнего вмешательства. Во второй половине XV в. Маджапахит распался на ряд областей, во главе которых стояли крупные феодалы, носившие титул *бре*. Последующая борьба *бре* друг с другом (в сочетании с переменами идеологического характера — победой ислама) привела к созданию на Яве новых государственных образований, в первую очередь Матарам, представлявших (как Бирма эпохи правления династии Таунгу и Камбоджа по отношению к Ангорской империи) новый этап в эволюции общества государственно-патриархального типа в Юго-Восточной Азии.

Сословное деление государственно-патриархальных обществ Юго-Восточной Азии также отличается рядом особенностей.

С одной стороны, здесь, как и в бюрократическом обществе, не существовало формально сословия «благородных» по происхождению, чьи привилегии передавались бы по наследству. Правящий слой в принципе был таковым не в силу происхождения или обладания земельной собственностью, а вследствие функционирования в государственном аппарате, который мог приближаться к бюрократическому (как в Сиаме или послеангорской Камбодже) или носить патриархально-раннеклассовый характер (Паган, Ангор).

Но этот правящий слой отличался от феодалов-чиновников Вьетнама по меньшей мере тремя существенными особенностями, делавшими его общностью иного типа.

Во-первых, наследственная титулованная знать имела гораздо большую значимость, будучи многочисленным слоем, образующим верхнюю группу правящего класса. Так было не только в раннеклассовых Паганской и Ангорской империях с их не столь четко оформленным государственным аппаратом, но и в Маджапахите, где крупнейшими феодалами-сановниками являлись родственники правителей, и в Сиаме, где при Раме I (1782–1809) и Раме II (1809–1824) закрепились системы родственных связей между несколькими семьями, которые сосредоточили в своих руках высшие посты в государственном аппарате.

В Камбодже XVIII–XIX вв. крупные чиновничьи должности, не будучи наследственными, в своей совокупности фактически оставались в руках одних и тех же семей. Должностные лица высокого ранга, назначаемые королем обычно из числа родственников (*прэах вонгса*), подбирали себе чиновников (*намэнов*), также учитывая родственные связи.

Во-вторых, гораздо более явно была выражена наследственность чиновничьих должностей. В конбаунской Бирме и Матараме должности *мьотуджи* и *бупати* обычно сохранялись в семье в течение поколений. На верхнем ярусе, более подверженном персональным переменам (немилость правителя, фаворитизм и т.д.), наследственность сохраняла скорее клановый, нежели личный характер, и, конечно, в Сиаме и Камбодже на провинциальном и местном уровнях она вообще была ниже, чем в Бирме и на Яве (вследствие большей силы государственного аппарата). Тем не менее повсюду в странах государственно-патриархального типа переход должностей от отца к сыну или от старшего брата к младшему — более частое явление по сравнению с обществом феодально-бюрократической системы.

И наконец, в государственно-патриархальных обществах, в первую очередь в тех, которые развивались на собственной основе и где внешние влияния были сведены к минимуму (в регионе Юго-Восточной Азии к такому обществу относилось яванское), прослеживается явная тенденция к образованию своего рода наследственного дворянства.

Таким слоем, отделенным от остального населения происхождением, воспитанием и занятием, стало в Маджапахите, а затем в Матараме и пришедших ему на смену Суракарте и Джокьякарте сословие *прияи*. Это сословие, которое поставляло чиновников (*тунггавы*) и придворных (*абдидалем*), постепенно выкристаллизовалось в отдельную социально-культурную общность со своей системой ценностей. Оно образовало социальную страту между правителем и сравнительно немногочисленной группой принцев (*пара бендара*), с одной стороны, и массой населения, именовавшейся (вне зависимости от имущественного положения) *тиянг алит* или *вонг чилик*, — с другой.

Хотя яванское общество в теории было «открытым» обществом и простолюдин мог, став чиновником или приближенным правителя, подняться до положения *прияи*, на практике *пунггав* рекрутировались из уже сложившегося сословия *прияи*. Обычно сыновья *прияи* в возрасте 12–15 лет начинали службу (*ньювита*) в более знатной семье, чем их собственная. Там юные *прияи* познавали искусство повиновения и этикета, а также приобретали определенные знания (умение читать и писать, верховая езда, владение оружием, занятия литературой, танцами и музыкой). После этого семья подыскивала прошедшему школу *ньювиты* молодому человеку жену из своего сословия (желательно дочь более знатного лица), и он поступал в распоряжение саванника или крупного чиновника, при котором состоял неопределенное время, пока не получал назначения на должность (*маганг*). Лишь пройдя этапы *ньювиты* и *маганга*, *прияи* мог получить место в административной системе. Хотя раджи и султаны Явы могли возвысить (и возвышали) простолюдинов, как правило, административный аппарат формировался из *прияи*.

Подобно дворянам в Европе или самураям в Японии, яванские *прияи* соблюдали определенный кодекс чести и правила поведения и этикета.

Сословная организация эксплуатируемого населения государственно-патриархального общества также характеризовалась рядом особенностей.

Основной водораздел проходил, как и в структурах военно-феодального типа, по линии «свободные–зависимые», но вместе с тем наблюдалась (как в обществах бюрократических) тенденция к установлению разрядов крестьянства в зависимости от отношения последнего к государственной (военной) службе. Но в государственно-патриархальных структурах, как правило, этот процесс не зашел так далеко, как, например, во Вьетнаме.

С точки зрения регламентации сословного деления страны Юго-Восточной Азии, относящиеся к рассматриваемой категории, можно разбить на две группы. К одной из них относятся раннеклассовые империи Индокитая (Паган и Ангкор), послеангкорская Камбоджа и Ява, а к другой — Сиам и Бирма эпохи династий Таунгу и Конбаунов соответственно.

Для обществ первой группы характерна социальная градация эксплуатируемого населения, не подвергшаяся централизованному вмешательству со стороны государства.

В Ангкоре значительную массу сельскохозяйственного населения составляли свободные общинники — *ван* и *лонь*. Этот слой не отличался социальной и имущественной однородностью. В нем можно

найти и дальних родственников правителя, и вельмож, и духовенство многочисленных храмов, и чиновников, и ремесленников, и земледельцев. *Лонь* и *ван* составляли основную массу юридически свободных земледельцев, часть из которых самостоятельно обрабатывала землю, а часть пользовалась целиком или в какой-то мере трудом лично зависимых — *кхньюм*. Юридически свободное население Ангорской державы состояло из групп, различных как по своему сословному статусу, так и по реальному экономическому положению. Однако эти группы не отличались кастовой замкнутостью, и границы между ними не были прочными. Никаких градаций внутри слоя свободных общинников, регламентированных государственной властью, в Ангоре не наблюдалось.

Нижний слой ангорского общества состоял из лично зависимых — *кхньюм*, к которым относились иноплеменники — военнопленные и их потомки, а также осужденные за те или иные преступления кхмеры. В раннеклассовом ангорском обществе *кхньюм* как по своему юридическому статусу, так и по способам эксплуатации приближались к захваченным в плен, хотя некоторые черты (обладание своим имуществом, существование земельных наделов) указывают, что их положение отличалось от рабского. *Кхньюм* практически не могли перейти в разряд свободных; обратное же движение — утрата земледельцами личной свободы и превращение в лично зависимых — имело место.

В паганской Бирме, представлявшей, как и ангорская Камбоджа, раннеклассовое общество, социальная градация эксплуатируемого населения была примерно схожей. Основным слоем свободного населения были земледельцы-общинники, именовавшиеся «*асан*». Возможно, что их положение было сходно с положением *лонь* и *ван* в Ангорской державе.

Ангорским *кхньюм* соответствовали в Пагане *чван* — несвободные. По-видимому, слой *чван* в Бирме был более разнообразен и менее однороден по сравнению с *кхньюм* в Камбодже. Хотя многие *чван* были по происхождению военнопленными, значительная их часть (в отличие от *кхньюм* в ангорской Камбодже) состояла из долговых зависимых и людей, отдавшихся под покровительство монастырей. Если частные *чван* чаще всего использовались в домашнем хозяйстве, то в монастырях, которым дарили иногда целые деревни, *чван* эксплуатировались скорее как крепостные, имевшие свой земельный надел. Другим отличием этого слоя в Пагане от ангорского варианта была сравнительная легкость получения *чван* личной свободы, т.е. менее жесткая грань между двумя основными слоями эксплуатируемого населения. Вполне вероятно, что эта разница в положении несвободного населения раннеклассовых Камбоджи и Бирмы объяснялась тем, что в

Паганском царстве, по сравнению с Ангорской империей, родоплеменные отношения (или их пережитки) продолжали играть более активную роль (особенно в собственно бирманских районах — *каруинах*), делая границы между сословиями не столь жесткими и определенными.

В развитых классовых обществах, какими были послеангорская Камбоджа и Ява эпохи Маджапахита и Матарамы, наблюдается та же типологическая структура эксплуатируемых слоев, что и в раннеклассовых обществах государственно-патриархального типа, с той, однако, разницей, что эксплуатация лично зависимых или несвободных определялась сложившимися феодальными отношениями и, соответственно, труд рабского характера утратил свою значимость.

В послеангорской Камбодже самым многочисленным сословием были *нэак тьеа* — лично свободные, подлежащие налогообложению и обязанные отбывать ежегодную государственную повинность. Чиновники (*намэны*) формально не были конституированы в отдельное от *нэак тьеа* сословие подобно тому, как в ангорской Камбоджеше под апелляциями *вап* и *лонь* могли скрываться представители разных социальных групп.

Следующим по численности сословием в послеангорской Камбодже были *кхньомы* — зависимые, утратившие принадлежность к сословию лично свободных вследствие непогашенного в срок долга или невыплаченного штрафа. *Кхньомы* формировались и постоянно пополнялись за счет неплатежеспособных должников из бедных слоев сословия *нэак тьеа*. Часть *кхньомов* жила в домах своих господ, занималась их обслуживанием и составляла их свиту. А другая часть (*кхньом-крау*) отпускалась жить и работать вне дома своего господина, вела собственное хозяйство, отдавая хозяину часть урожая.

В послеангорской Камбодже появилась еще одна категория эксплуатируемого населения — *куан-кхмоуи* — зависимые, утратившие принадлежность к сословию лично свободных.

На Яве в эпоху Маджапахита социальная стратификация эксплуатируемого населения была сходной. Основная масса сельского населения состояла из свободных общинников. Наряду с ними существовал многочисленный слой лично зависимых (*кавула*), куда входили потомки военнопленных, должники и осужденные за различные преступления. *Кавула* служили в домах своих господ, сгонялись на общественные работы, расчищали джунгли под посевы и т.п. Как в Камбодже и Пагане, на Яве государство не стремилось к детальной регламентации статуса эксплуатируемого населения и внутри деревень (*дануп*) не было сколько-нибудь заметной социальной стратификации.

Положение несколько изменилось в эпоху позднего Средневековья (XVII–XVIII вв.), когда на Яве в условиях сокращения пригодного для

земледелия земельного фонда государство перешло к более жесткому контролю над общиной (*деса*).

В эпоху Матарам в яванской деревне существовало пять групп, различавшихся своим социальным статусом: общинная верхушка; полноправные общинники (*кули кенченг* или *кули гогол*) с правом на надел общинной земли, имеющие дом и приусадебный участок; *кули кендо* или *кули сетена кенченг* — люди, имеющие дом и приусадебный участок и ожидающие включения в число полноправных общинников и, соответственно, получения общинного надела; *тумпанги* или *индунги*, которые владели жилищем, стоявшим на земле другого; *тумпанг тлосор* или *пондок слосор* — люди, жившие в чужой семье. Ясно, что последние две категории включали жителей, относившихся к наиболее социально приниженной группе сельского населения. Но и здесь государство непосредственно не определяло и не регламентировало социальный статус населения, влияя на его структуру лишь через систему налогообложения.

Для другой группы стран Юго-Восточной Азии характерна государственная регламентация статуса эксплуатируемого населения. Хотя эта регламентация в некоторых случаях по форме напоминала включение крестьянства во всеохватывающую государственную систему (как в странах феодально-бюрократической модели), тем не менее ни в Сиаме, ни тем более в конбаунской Бирме этот процесс не дошел до своего завершения, и под оболочкой «огосударствления» сохранялись личные связи населения эксплуатируемых слоев с чиновниками-феодалами.

В Сиаме в XV в. все население страны (народ и чиновники) было разделено на две части — гражданскую и военную. В мирное время крестьяне и ремесленники, причисленные к военной части, также занимались производительным трудом. Гражданская часть была разделена между пятью ведомствами — *кромами*, к которым к XVII в. добавился целый ряд новых управлений и департаментов.

Все мужчины в возрасте от 18 до 60 лет (кроме монахов и рабов) были обязаны работать в одном из *кромов* и управлений либо в качестве чиновников, либо как крестьяне и ремесленники. *Кромы* делились на *конги*, которые, в свою очередь, состояли из *му*. Каждый крестьянин или ремесленник под руководством своего непосредственного начальника (*муннай*) был обязан отработать шесть месяцев в году на государство. Реально барщину в пользу короля отбывали крестьяне центральной части страны, тогда как остальное население платило эквивалентный натуральный или денежный оброк.

Помимо государственных крестьян (*прай луанг*) существовала категория крестьян, пожалованных вместе со своими наделами принцам

и чиновникам за службу (*прай сом*). Число пожалованных зависело от ранга чиновников. Крестьяне, пожалованные феодалам, были обязаны отбыть в их пользу шестимесячную барщину или платить оброк. После смерти или отставки чиновника такие крестьяне вновь становились государственными.

Таким образом, в Сиаме мы находим не только обычное разделение эксплуатируемого населения на свободных и несвободных (*деса* и *тхам*), куда входили несостоятельные должники и осужденные преступники, но и правовое оформление различных категорий крестьянства с включением его в государственную систему.

Но даже в Сиаме — стране государственно-патриархальной модели, наиболее близкой в эпоху Средневековья к бюрократическому типу, — государству не удалось добиться тотального включения крестьянства в эту систему. Периодически на протяжении всей истории Сиамского правительства было вынуждено издавать указы, ограничивающие увеличение категории *прай сом*, что свидетельствовало о сохранении и возрастании тенденции к личной зависимости крестьян от чиновников-феодалов без государственной регламентации.

В преодолевшей феодальную раздробленность Бирме в XVII в. и в бирманском централизованном государстве Конбаунов в XVIII–XIX вв. также была сделана попытка государственной регламентации статуса эксплуатируемого населения.

Часть населения (первоначально военнопленные, а с течением времени и собственно бирманцы) была занесена в разряд государственных крестьян. Они делились на две категории — *ламайины*, обрабатывающие казенные земли в столичном районе, и *ахмуданы*, обязанные военной службой. Основную массу *ахмуданов* составляли жители военных поселений в столичном районе. *Ахмуданы* были обязаны составлять и снаряжать за свой счет «очередников» для царской гвардии и службы во дворце. Оставшиеся дома *ахмуданы* платили налог на содержание «очередников» деньгами или натурой. Остальное население принадлежало к категории *ати*, которая платила налоги и выходила на общественные работы.

Несмотря на эту регламентацию и стремление центральной власти распространить свой контроль на низовые ячейки общества, вмешательство государства в Бирме в крестьянские дела оказалось меньшим, чем в Сиаме, что было связано, как представляется, с большей устойчивостью и стабильностью административных единиц (в данном случае *мо*), на которых покоилась социально-политическая система.

В заключение представляется необходимым сделать несколько замечаний относительно особенностей исторического развития Юго-Восточной Азии, оказавших влияние на появление и функционирова-

ние разобранных выше типов социально-политической средневековой системы.

Возникновение классового общества и государства в развитых частях Юго-Восточной Азии относится к последним векам до н.э. — первым векам н.э. Несомненно, что основой этого процесса было разложение родового строя, связанное прежде всего с появлением бронзовых и железных орудий (2-я пол. I тыс. до н.э.). Начавшийся как следствие рост производительных сил привел к интенсификации земледельческого хозяйства, что, в свою очередь, положило начало отделению ремесла от земледелия, развитию мореходства и торговли. Но социальные и политические, а также идеологические формы, в которые облекался этот процесс, и соотношения между различными их компонентами в совокупности образующими то, что можно назвать общественно-политической системой, зависели не только от выработки их непосредственно самими обществами Юго-Восточной Азии, но и от восприятия этими обществами норм и институтов, уже сложившихся в других культурно-исторических регионах.

Своеобразие Юго-Восточной Азии заключалось в том, что общество и государственность формировались и развивались здесь в условиях несомненного влияния двух великих цивилизаций — индийской и китайской. Общества Юго-Восточной Азии не стали слепком Индии или Китая. Нелепо было бы отрицать самобытность и уникальность культур и путей исторического развития народов этого региона. Но также несомненно, что эти общества формировались, воспринимая политические институты, идеологию, нормативы индийской и китайской цивилизаций, приспосабливая их к конкретным условиям и трансформируя их подчас в новые феномены.

Процесс восприятия, использования и трансформации общественно-политических форм индийской и китайской цивилизаций был чрезвычайно сложным и длительным, он был не только катализирующим фактором, но и фактором моделирующим, т.е. содействующим перестройке первоначальных форм (видимо, черты сходства с этими формами имели филиппинское и полинезийское общества до прихода европейцев).

Представляется, что типы общественно-политического развития средневековой Юго-Восточной Азии и сложились в зависимости от того, элементы какой культуры (китайской или индийской) в сочетании с местным субстратом стали системообразующими.

Первые классовые общества у предков народов Юго-Восточной Азии возникли на периферии «прото-ЮВА» в долине Янцзыцзян, куда на рубеже II—I тысячелетий до н.э. начинает проникать влияние цивилизации, сложившейся в долине Хуанхэ.

На территории от дельты р. Хонгха в Северном Вьетнаме до устья Янцзы в IV—III вв. до н.э. на месте древнего государства Вьет (Юэ) и южнее возникли государства Аулак, Тэйау, Намвьет, Манвьет, Донгвьет. Ко II в. н.э. среди них выделилось государство Намвьет—Аулак, занимавшее район от низовьев Хонгха до дельты Сицзяна. Завоевательные войны Циньской, а затем Ханьской империй привели в конце II — I в. до н.э. к захвату вьетских государств Китаем. В III в. до н.э. Намвьет был захвачен империей Хань и оставался под властью Китая до 968 г., когда в результате народного восстания вьеты изгнали китайские гарнизоны и создали на севере нынешнего Вьетнама государство Дайковвьет (с 1069 г. — Дайвьет). В XI—XII вв., при династии Ли (1010—1225), были заложены основы централизованной монархии, а в XIV—XV вв. было создано централизованное бюрократическое государство, распространившее власть и на юг Вьетнама, где с первых веков н.э. существовало индонезийскоязычное государство Тямпа.

Вьетнам не только испытал влияние китайской политической системы, культуры и идеологии, но в течение десяти веков находился в прямой зависимости от сменявших друг друга китайских династий. Несомненно, что это явилось очень важным фактором, повлиявшим на формы социально-политического устройства средневекового вьетнамского общества, развивавшегося (с модификациями, обусловленными природными, экономическими и национальными особенностями) по бюрократическо-феодальной, т.е. китайской, модели.

Влияние китайской модели или, точнее, ее элементов на общество Юго-Восточной Азии не ограничилось Вьетнамом. Но историческое развитие региона сложилось так, что в остальных случаях оно носило не прямой, а опосредованный характер. В отличие от собственно Вьетнама Китай в конечном счете сумел покорить и ассимилировать древние юго-восточно-азиатские государства, существовавшие на территории нынешнего Южного и Юго-Западного Китая. Государства Ба, Шу, У и ряд других, населенные древними бирманцами, таи, юэ и индонезийцами, в I тысячелетии н.э. вошли в сферу ханьской цивилизации и были китаизированы. Часть протобирманцев (пью), продвинувшись по Иравади, создали государство Тареккетару (Шрикшетру). Независимым осталось тайское государство Дали (Наньчжао) в теперешней Юньнани. Несомненно, что элементы бюрократической модели общественно-политического развития были свойственны Тареккетаре и Наньчжао, что с учетом вторичной волны переселения тайских народов в XIII в. на Индокитайский полуостров (шаны, таи, лао) объясняет, почему в государственно-патриархальных обществах, генетически в Юго-Восточной Азии не связанных с китайской цивилизацией,

наблюдаются черты и элементы, свойственные бюрократической модели, особенно в XV–XVIII вв.

На характер и формы складывания классового общества и государства в основной части Юго-Восточной Азии главное влияние оказали институты, культура и идеология индийской цивилизации. Классовое общество и государство в этом регионе складывались в I–VI вв., т.е. тогда, когда индийская цивилизация уже сформировалась в совершенно обособленную и ярко выраженную структуру. По-видимому, способность и готовность формирующегося юго-восточно-азиатского классового общества воспринять в целом индийские, а не китайские элементы социополитической и духовной культуры объяснялись генетическими (участие населения дравидского юга Индии и долины Ганга, внесшего значительный вклад в формирование индийской цивилизации, в образовании «прото-ЮВА») и историко-природными (сходство в системе хозяйствования между ЮВА и югом Индии, постоянные и длительные контакты, восходящие по меньшей мере к эпохе мезолита) факторами. Так или иначе, именно элементы культуры индодравидского мира, творчески переработанные, явились катализатором и средством системного и структурного формирования двух социально-политических типов в ЮВА — военно-феодального и государственно-патриархального. Различие этих двух типов, восходящее к заре цивилизации в ЮВА, базируется как на природных, так и на иных факторах, которые можно назвать «рецептивно трансформирующими».

Уже говорилось о природных факторах, оказавших влияние на характер обществ приморского (военно-феодального) и «иригационного» (государственно-патриархального) типов. Но вместе с тем, видимо, различные общества Юго-Восточной Азии по-разному воспринимали достижения индийской цивилизации, выделяя и трансформируя различные элементы индийской культуры. Представляется, что внутри этих обществ существовали различные социальные структуры, определявшие характер и порядок заимствования тех или иных элементов индийской культуры, соединение которых с уже существующей местной основой дало толчок развитию цивилизации в этом районе и определило ее типологические особенности. Едва ли случайно, что у аустронезийских народов, у которых четко прослеживалось деление на «благородные» и «простые» роды, как правило, победила военно-феодальная модель развития, тогда как у аустроазиатских (мон-кхмерских) и тибето-бирманских — государственно-патриархальная. По-видимому, следует обратить внимание на исходные показатели развития различных этнических групп, населявших Юго-Восточную Азию по меньшей мере в донгшонскую эпоху (I тыс. до н.э.), ибо в этих глубинных этнокультурных пластах, как кажется, скрываются те особен-

ности социального развития, которые побудили разные этносы неодинаково воспринять и переработать катализирующие элементы индийской цивилизации. В этой связи заслуживает внимания тот факт, что в одних и тех же природных условиях аустронезийские народности создали на территории нынешней Кампучии талассократию Фунань, бывшую вариантом военно-феодальной (как Шривиджая) модели, а сменившие их аустроазиатские (мон-кхмерские) племена — Ченлу и Ангор, представлявшие государственно-патриархальный тип развития. Эта разнородная реакция на внешние элементы культуры сохранилась и в гораздо более позднее время. Характерный пример — восприятие ислама в Юго-Восточной Азии, который победил в малайско-индонезийском (аустроиндонезийском) районе (даже «ирригационное» яванское общество приняло ислам), тогда как мон-кхмерские и тибето-бирманские народы в целом остались верны буддизму.

Дальнейшие исследования соотношения типологического и конкретно-исторического в таком сложном и неоднозначном районе, как Юго-Восточная Азия, помогут уяснению исторических судеб этого региона и особенностей его исторического развития, а это представляет интерес с точки зрения сравнительно-исторического анализа применительно к странам Востока в целом.

СТЕПНАЯ МОДЕЛЬ. КОЧЕВЬЕ ГОСУДАРСТВА

Бескрайние степи Центральной Азии с глубокой древности населяли различные кочевые этносы. Все кочевья, жившие в Великой Степи в I тысячелетии до н.э., составляли три большие этнические группы. Ими были тунгусоязычные (или маньчжуро-тунгусские) племена (*суньшэнь*), тюркоязычные (гунны, *хунну*, *сюнну*) и монголоязычные народности (*дунху*, *сяньби*). В степях Восточной Европы в древности жили скифы и сарматы, через эту зону прошли и гунны. В Средние века в европейской части Великой Степи друг друга сменяли хазары, печенеги, половцы и тюркоязычные кочевья Золотой Орды под главенством монголов. В бескрайних степях к северу от Великой Китайской стены в древности до возвышения монголов друг друга сменяла вереница этносов. Это были гунны, *юэцжи*, скифы, *усунь*, *ухуань*, *сяньби*, *тоба*, *туюйхунь*, *жуаньжуань*, тюрки, уйгуры, киргизы и кидани.

Наиболее многочисленные и сильные народы создавали свои государственные образования и целые кочевые империи. Самой ранней из них была империя гуннов, простершаяся от Кореи до Кашгарии. Возникнув в III в. до н.э., государство гуннов к IV в. н.э. сошло с исторической сцены, уступив место сначала *сяньби*, а затем *жужаням* (V–VI вв.). Первой евразийской империей стал Тюркский каганат (VI–VIII вв.), простиравшийся от Маньчжурии до Черного моря. Затем власть в Центральной Азии перешла к Уйгурскому каганату (VIII–IX вв.). Его сменил Киргизский каганат. С XIII в. в Великой Степи наступила эпоха монголов. С распадом империи Чингисхана и его наследников кочевой мир перестал быть серьезной угрозой земледельческим цивилизациям, а само монгольское господство уступило место Джунгарскому ханству (XVII–XVIII вв.). Последнее, а до этого и вся Монголия были подчинены маньчжурами. Тем самым степной мир надолго, вплоть до начала XX в. лишился своей государственности.

Степной мир распространялся не только на просторы Центральной Азии, но и на Восточную Европу, выступая европейской реалией. Ве-

ликая Степь протянулась от Дуная до Маньчжурии, от Сибири до Великой Китайской стены. В структурном плане эта гигантская зона представляла собой дихотомию «центр–периферия». «Центром» данной системы в течение двух с половиной тысячелетий служила Монголия и прилегающие к ней степи Центральной Азии. Именно в этом «центре» начались процессы образования первых кочевых вожеств и протогосударств. Из этого «центра» происходил периодический выброс сменявших друг друга волн кочевых миграций, нашествий и завоеваний соседних и отдаленных оседлых земледельческих стран и народов.

В этом «центре» Великой Степи с глубокой древности начался процесс формирования своеобразной степной модели эволюции этносов, населявших эту природную зону. Она резко отличалась от зон оседлого земледелия как своими особыми природными, так и социально-экономическими условиями эволюции кочевых народов.

В степной модели земля в отличие от оседлых социумов выступала не как объект обработки, т.е. приложения физического труда земледельца, но оставалась в своем неизменном и первозданном виде, т.е. пастбищем. Основой существования здесь была не почва как таковая, а травостой, т.е. корм для скота. Земля в бескрайней Великой Степи воспринималась как нечто второстепенное, тогда как самым насыщенным выступал подножный корм для стада. Речь здесь шла о территории выпаса, зоне кочевания и перекочевок. Земля имела смысл лишь как кочевье (*нунтук*), как зона, которую можно бросить, поменять на другую и вернуться на старое пастбище.

В отличие от оседлых этносов, стран и государств земля в степной модели не играла ведущей роли. По этой причине в истории Великой Степи аграрные отношения как таковые не имели особого значения. Главным в степной модели были не земля и даже не травостой, а скот и люди, т.е. стада и сами скотоводы — *араты*. При всем том для степных правителей и кочевой знати люди и скот были во многом близкими, если не равнозначными, понятиями в рамках кочевой военной деспотии при отсутствии какого бы то ни было личностного начала.

Специалисты по-разному оценивают роль земли и скота в производстве и социальном строе кочевых народов. Здесь существуют три варианта ответа на вопрос о том, что является основным средством производства у степных этносов. Одни ученые главным считают землю, другие — скот, а третьи — землю и скот в их неразрывном единстве. Дискуссия на сей счет ведется до сих пор.

Иерархия земельных отношений в Великой Степи в рамках кочевой модели отливалась в иерархию прав на пастбища. Исходным пунктом в этой сфере была коллективная собственность племени, рода и этноса

на все пастбища. Последнее означало безусловное, равноправное, общее владение зоной кочевания и свободный доступ каждой семьи к территории выпаса скота. На этой исходной стадии право на землю или пастбища было не только всеобщим, но и нерасчлененным. Здесь еще не появилось деление на собственность, владение, пользование, или держание. Все эти три статуса, или горизонта, прав оставались нераздельными и слитными друг с другом и считались естественными, само собой разумеющимися, не требовавшими особого узаконения.

На бескрайних просторах Великой Степи вопрос о присвоении земли или прав на нее долгое время не стоял. В отличие от земледельческих обществ, в кочевой модели практически не выдвигали на первый план поземельные отношения. Много столетий подряд степная земля никем не присваивалась и не отчуждалась. Частным был скот, а не пастбища. Травостой считался природным даром и служил для общего пользования. В Центральной Азии долгое время не существовало верховной собственности ханов на землю как таковую, равно как и во владениях нойонов. Речь шла о правах на территорию, на зону выпаса, на конкретный район пастбищ, на их распределение, т.е. на осуществление юрисдикции над данным районом кочевания, — не о земле как таковой, а о травостое на ней и его потреблении.

Со временем, при постепенном переходе степных социумов к различным формам государственности, возникла триада: «правитель — знать — рядовые араты». К социальному расслоению прибавилось экономическое и внеэкономическое принуждение. Тогда триада принимала иной вид: «правитель — знать — зависимые араты — крепостные». Параллельно этому менялся статус земли или пастбищ. Происходило разделение прав на собственность, владение, распоряжение и пользование зонами кочевания. В ходе этой дифференциации единая коллективная собственность и безусловное всеобщее право пользования пастбищами постепенно сменялись иерархией прав на пастбища с введением и закреплением различных статусов и обязательств. В итоге сложилась иерархия, или трехуровневая пирамида. На ее верхнем горизонте появилась верховная собственность монарха (каган, хан) на всю землю кочевого государства. На втором горизонте оказались земельные или территориальные права знати (князья, *нойоны*) на владение огромными пастбищами. Рядовым аратам-*албату* в ходе этой «приватизации» остался лишь нижний горизонт прав. Это был статус условного держания или пользования пастбищами для выпаса ими своего скота при условии выполнения определенных повинностей. Речь идет о воинской и курьерской службе *албату*. Однако их главной повинностью был принудительный выпас скота (*саун*) светской знати, духовных владык, ламаистской церкви и монастырей.

В степной модели довольно рано началось становление триады земельных, а точнее, пастбищных прав, т.е. «верховная собственность — привилегированное владение — низовое держание, или пользование, травостоем». Так, уже у хунну (*сюнну*) в основе социальных отношений лежала верховная собственность *шаньюя* на все уголья и его право распоряжаться всеми пастбищами. *Шаньюя* как монарх отводил владения, в том числе уделы, своим родичам. Те, в свою очередь, наделяли пастбищами знать, т.е. своих приближенных. А гуннская знать, в свою очередь, отводила земли для выпаса стад рядовым номадам.

Азиатская верховная собственность на землю в степной модели отливалась в монопольную собственность *шаньюя*, кагана и хана на пастбища, т.е. на травостой и источники воды. Свойственный Востоку нерасчленимый феномен «власть-собственность» в Великой Степи принимал специфические черты и включал в себя целый ряд компонентов. Это были распределение пастбищ, их раздел и передел, установление их границ, регулирование маршрутов перекочевков. Осуществляя это регулирование на макроуровне, монарх делегировал свои властные и собственнические права вниз, местной власти. Так происходила реализация государем своего права верховной собственности на пастбища. В рамках феномена «власть-собственность» имущественное сверхправо было неотделимо от проявления и осуществления суверенитета монарха над территорией его государства. Поскольку частная собственность на землю, пастбища, травостой и источники воды в степной модели не возникла, то верховная собственность как имущественный институт здесь не имела антитезы.

Данный процесс смены коллективной собственности кочевой триадой был крайне растянут во времени. Начавшись примерно в середине V в. до н.э., он завершился лишь в XIII в. н.э., т.е. занял без малого почти два тысячелетия. Крайняя замедленность этой эволюции обусловлена общей застойностью кочевой модели. В этом плане она радикальным образом отличалась практически от всех моделей оседлых земледельческих социумов и этносов. В итоге правовой статус рядовых кочевников оказался опущен на самый нижний уровень.

В рамках степной модели у кочевых этносов не существовало института аратских «наделов», т.е. собственных пастбищ трудового населения. Так, в Монголии с XIII в. все пастбищные территории были владением *нойона*. Последний всю или почти всю свою землю отдавал в пользование аратам-*албату*. Те же вместе со своим стадом выпасали и скот *нойона*. В этой системе араты-*албату* не могли иметь собственных территорий выпаса, своей земли, собственных пастбищ или аратских «наделов». Таким образом, в отличие от земледельческих стран в

рамках степной модели не было деления пастбищ на аратские и княжеские, ибо вся земля принадлежала ханам и князьям-*нойонам*.

Носителями права верховной собственности на пастбища в ходе многовековой смены кочевых этносов выступали их монархи (*шаньюй*, хаган, хан, великий хан). За степной знатью (*нойоны*, владельческие и невладелетельные князья) закрепился второй горизонт, т.е. фактическое владение и распоряжение пастбищными территориями на правах носителей власти и крупных скотовладельцев. Знать возглавляла прежде всего военно-административные территориальные единицы, являвшиеся ее наследственными владениями. При этом властное начало стояло выше владельческого. Военно-административная составляющая статуса знати была главной, а владение и распоряжение пастбищами было вторичным и производным от главного, т.е. властного начала.

В кочевом скотоводческом хозяйстве существовал крайне специфический производственный процесс. Последний включал в себя перекочевки и перегоны скота, его выпас и охрану, водопой, дойку и переработку молочных продуктов. Здесь осуществлялись стрижка, сбор и переработка шерсти, прием молодняка и уход за ним, снятие шкур и их обработка, транспортировка юрт и грузов. В этом хозяйстве производственный цикл был равен периоду между расплодами. Вехой, отделяющей один цикл от другого, был прием молодняка.

Перекочевки с одних пастбищ на другие имели целью не только обеспечить скот кормами, но и восстановить плодородие использованных пастбищ, с тем чтобы затем вернуться на возрожденный травостой в следующем производственном цикле.

Для степной модели характерны господство натурального хозяйства, отсталость экономики, экстенсивный характер кочевого животноводства, отсутствие центров ремесла и торговли в сочетании с политической и административной раздробленностью, княжеской и ханской междоусобицей и слабостью, а то и отсутствием централизованного государства. Степная модель имела низкий экономический базис, задержавшийся в своей эволюции на стадии отделения ремесла от кочевого животноводства.

Функционируя в засушливой экологической зоне, степная модель была изначально лишена внутреннего механизма эволюции и в этом смысле являлась тупиковой. Выход из него кочевые этносы искали в миграции и внешней экспансии. Однако сами переселения, завоевания и создание смешанных скотоводческо-земледельческих государств и кочевых империй оставались паллиативом. Такая полумера лишь на время снимала остроту внутренней слабости данной модели, да и то лишь в эпохи Древности и Средневековья, тогда как в Новое время наступил бесповоротный закат номадизма.

Экстенсивное кочевое животноводство было особенно подвержено капризам природы и стихийным бедствиям. По этой причине в степной модели огромную роль играл природный фактор. Изменение климата на просторах Великой Степи и высыхание травостоя вели к падежу скота, голоду и эпидемиям. Такого рода катаклизмы приводили к массовой миграции данного этноса в поисках новых пастбищ и завоеванию соседних племен, народов и стран. Стихийные бедствия зачастую приводили к резкому ослаблению пострадавшего этноса или кочевого государства (каганата, ханства) с последующим завоеванием их более удачливым племенным или раннегосударственным степным образованием.

В ходе такого очередного «переселения народов» одни этносы — более сильные и уже вошедшие в стадию образования раннего государства — подминали под себя более слабые и отставшие в своей эволюции племена и народности. В итоге завоевательная и миграционная волна соответственно усиливалась.

Великая Степь служила весьма специфической ареной исторического действия. Здесь поднимались одни этносы и, достигнув вершины своего могущества, постепенно стагнировали. Им на смену приходили новые народы, побеждавшие и ассимилировавшие своих предшественников. В отличие от китайской модели на степных просторах имела место не череда династий и империй одной и той же нации, а постоянная смена этносов и кочевых государств. Эфемерные государства уходящих этносов заменялись столь же недолговечными государствами других народов, занимавших место своих предшественников. В итоге Великая Степь несла в себе текучесть этносов и государств, являясь как бы «рекой» народов, каганатов, ханств и империй.

На степных просторах Азии одни кочевые этносы сменяли других. Это были *сюнну* (III в. до н.э. — I в. н.э.), *сяньби* (I–III вв.), тюрки (VI–VIII вв.), уйгуры (VII–IX вв.), кидани (X–XII вв.) и монголы (XII–XX вв.).

В истории Великой Степи с определенной регулярностью действовал один и тот же сценарий. Сначала происходило укрепление одного из родов или племен какого-либо этноса. Его вождь объединял под своей властью весь этот этнос и становился монархом (*шаньюй*, каган, хан). Затем, опираясь на сильное войско, данный правитель подчинял соседние, а потом и дальние народности, создавая либо региональное государство, либо кочевую империю. С разделом державы на уделы возникали междоусобицы. Затем она слабела, клонилась к упадку или распадалась; зато укреплялись соседние, зачастую подвластные ей кочевые этносы. На смену одним коалициям племен приходили другие. Возникало новое или новые государства, которые и подчиняли себе

недавно господствовавший этнос завоевателей. Такой сценарий повторялся снова и снова. Одной из основных закономерностей восточных моделей была либо цикличность, либо повторяемость исторического сценария. Если Китай был неизлечимо «болен» цикличностью, то степная модель «страдала» повторяемостью описанного сценария. Однако в рамках китайской модели, в том числе в Корее и Вьетнаме, моноэтническая основа государственности сохранялась при всех пертурбациях, т.е. при завоеваниях, междоусобицах, раздробленности и смутах. В степной модели происходила почти калейдоскопическая смена этнической составляющей кочевой государственности. Смена этносов вела к смене государств, а смена последних означала смену народов и племен. Таким образом, история Великой Степи являла собой череду такого рода «волн». При всем том каждая такая кочевая «волна» эволюционировала от родового и племенного строя через своеобразную «военную демократию» к раннеклассовому обществу и к государственности. В ходе этого движения данный этнос из исторической «низины» поднимался до «вершины» своего политического и военного господства и затем опускался на первоначальный исходный уровень. На этой ступени одни этносы входили в подчинение другим, сохранялись или ассимилировались ими, либо уничтожались физически.

В своей внутренней эволюции — от вождества к монархии, а от нее в ряде случаев к кочевой империи — степные этносы начиная с древности неизменно повторяли это движение по замкнутому кругу и стандартному сценарию вплоть до крушения своей государственности под натиском других этносов. Кочевники то объединялись, то вновь расходились, в целом эволюционируя по спирали. Одни этносы регулярно сменяли других путем вытеснения, ассимиляции, подчинения или уничтожения. Так, в причерноморских степях такой чередой прошли скифы, сарматы, гунны (*сюнну*), хазары, печенеги, половцы, золотоордынские монголы и турки.

Данное движение по кругу представляло собой прохождение каждым этносом следующих стадий: «племенная организация — вождество — государство — кочевая империя». Правда, в последнюю стадию входили не все народы. Тем не менее все они проходили свой эволюционный цикл: «становление — подъем — кризис — упадок». Затем все те же стадии переживал этнос, сменявший своего предшественника, и т.д. Таким образом, в степной модели имела место своя цикличность, чем-то напоминавшая цикличность китайской модели.

Начиная от древних *сюнну* (гуннов) и кончая средневековыми монголами, в эволюции кочевых этносов и их сообществ имело место движение по кругу, т.е. повторяющийся типовой сценарий. Движение

по кругу явно доминировало над поступательным развитием, оставляя социумы на довольно низком уровне. В этой едва заметной эволюции не было места для формационного развития и смены общественных формаций. Поскольку в Великой Степи не возникали рабовладение и феодализм как особые формации, древние кочевые социумы мало чем отличались от средневековых. Кроме того, история всех степных этносов крайне схожа, равно как и их внутренняя организация.

В рамках такого типового и повторяющегося сценария кочевые этносы от доклассового социума переходили к раннеклассовому строю. Однако на всех этих стадиях социальные антагонизмы в той или иной мере смягчались как нивелирующим воздействием военной организации, так и сохранением базовых основ родового и племенного строя. С опорой на эти низовые структуры шло развитие этносов от рода и племени к племенным союзам, а от них к ранней государственности с переходом к кочевым империям. При всем том родовой строй и племенная организация, племенные конфедерации и степные монархии не только последовательно сменяли друг друга, но и в различной степени и в специфических формах продолжали сосуществовать друг с другом в рамках больших степных государств и кочевых империй.

В исторической трансформации кочевых этносов особую роль играли такие базовые структуры, как род, племя и союз племен. Данная эволюция шла от родовой организации через «военную демократию» к ранней государственности, а от нее к классовому строю. При всех этих изменениях основой всегда оставался низовой горизонт социума, т.е. родовой строй как фундамент более высоких «этажей». В то же время кочевое государство (каганат, ханство) возникало из союза племен либо как объединение равноправных единиц, либо как иерархическая структура господствующего «ядра» с подчиненными и соподчиненными ему племенами в качестве подвластного окружения.

Кочевое государство росло и за счет включения в свой состав покоренных народов целыми родами, племенами и этносами. Причем эти покоренные или мирно присоединенные сегменты зачастую сохраняли свою прежнюю внутреннюю организацию, а то и некоторую автономию, под контролем победителей. Тем самым степная модель во многом создавала не однородные, а мозаичные структуры под эгидой того или иного кочевого государства или степной империи.

В степной модели возникновение государства, социального неравенства и классового начала происходило без разрушения родовых и племенных сообществ. Новые отношения не ликвидировали старые, а надстраивались над ними в качестве верхнего горизонта. Причем последний прочно опирался на нижний, превращавшийся по сути в фундамент более сложной структуры. Сохранение низовых базовых сег-

ментов родового строя (большая патриархальная семья, род, племя, группа племен) облегчало для знати и государства подчинение рядовых кочевников и их эксплуатацию. В этих же целях знать использовала институт традиционной родовой взаимопомощи. Племенная властная верхушка постепенно узурпировала институты родового строя и ставила их себе на службу.

Развитие шло от родовой и племенной организации к племенному союзу, а от него к кочевому государству во главе с *шаньюем*, каганом или ханом. Это был переход к территориальной организации с превращением племенного военного вождя в степного монарха. Последний становился таковым в результате превращения его из лидера племени или союза племен в представителя кочевой знати (родня правителя, темники, *беги*, *нойоны*). Государство в Великой Степи складывалось как корпорация племенной знати, которая откупалась от низов, делясь частью добытого в набегах и походах. При этом племенная организация и государственная структура во главе с монархом дополняли друг друга.

До начала XIII в., т.е. до становления в Монголии института наследственной царской власти, коалиции племен создавались для ведения крупномасштабных военных действий. В этих случаях для осуществления единого командования знать данной коалиции племен выбирала военного предводителя (*хана*). До Чингисхана такие вожди фактически избирались лишь на какое-то время — на период войн или облавных охот. Лишь затем ханы обрели статус наследственных монархов или удельных князей.

В степной государственности эти традиции, а также остатки «военной демократии» сохранялись и в таком институте, как съезд знати. Данный орган власти остался от родового строя, от совета старейшин. Съезды знати были ежегодными у *хунну* (гунны, *сюнну*), *сяньби* и *тоба*. Тюркская знать на своих съездах возводила на трон каганов. Таким институтом был *курултай* у монголов. Ханская власть в какой-то мере ограничивалась им. Здесь царило право сородичей и знати на выбор хана или его утверждение в этой должности. Хана улуса выбирало нойонство из среды правящего рода, а универсализм ханской власти уравнивался полномочиями *курултая*.

Съезд знати был собранием представителей правящего клана, т.е. родни монарха, родовой знати и представителей высшей администрации. Во многих случаях он играл роль государственного совета. Такие съезды-советы при монархе были существенным инструментом в управлении кочевыми государствами. Они издавали или утверждали законы и рассматривали государственные дела, тем не менее не являлись верховными органами власти, хотя и избирали хана (кагана) и других

правителей. В системе степной деспотии монарх всегда оставался средоточием всех видов власти, в том числе сакральной и политической.

Съезды знати играли большую роль в жизни монголов XVI–XX вв. Это были сеймы (*чуулган*) и съезды (*хурал*) нойонов данного ханства или *аймака* с выборными должностями. Сеймы XVI–XVII вв. рассматривали общегосударственные дела и являлись законодательными органами.

Кочевое скотоводство, экстенсивное по своей природе, не могло перейти на интенсивный путь развития. В силу этой причины данный вид экономики мог расти не «вверх», а только «вширь». Последнее означало постоянный захват пастбищных территорий и скота у соседних кочевых родов, племен и этносов. Все это ставило военный фактор на самое видное и почетное место. С ростом населения потребность расширения пастбищ решалась за счет силового фактора — войны. По мере создания и укрепления военной организации на передний план выходила функция военного руководства. Оно попадало в руки племенной верхушки и кочевой знати. Война становилась средством обогащения верхов, а сама война — перманентным состоянием. Грабительские набеги, дальние походы и завоевания были более престижными, нежели мирный труд скотовода. На этой почве формировался культ войны и героического воина — покорителя врагов и других народов, захватчика богатой военной добычи.

Военные действия переходили от мелких и примитивных форм к крупным и развитым. Такими ступенями были периодические набеги, регулярный грабеж соседних этносов и полнокровная война. Все это приносило военную добычу и взимание контрибуции, навязывало подчинение и выплату регулярной дани, приводило к прямому завоеванию с постоянной эксплуатацией земледельческого и городского населения. В итоге развивалась не экономическая, а военная функция кочевого государства. Для этого была необходима реорганизация изначальной орды в четко организованное и дисциплинированное войско. Тем самым степная государственность отливалась в форму военной машины и становилась орудием территориальной экспансии.

Основной функцией такой политической надстройки становилась война, а главной целью — завоевания. Сначала завоевывались новые пастбищные просторы, затем соседние кочевые этносы и, наконец, земледельческие страны. Попав в руки правителя и знати, военная машина обретала особое значение и выходила на передний план. Она становилась как бы над этносом, социумом и рядовыми номадами. Военская система превращалась из автономной в доминирующую. Обретая свою собственную логику саморазвития и функционирования, она порождала цепь войн, ширококомасштабных завоеваний и создание коче-

вых империй. Если в сельскохозяйственных моделях средневекового Востока господство государства над социумом проистекало из экономики и форм земельной собственности, то в степной модели диктат власти над населением, политической надстройки над экономическим базисом порождался военным фактором. В итоге сама азиатская деспотия в рамках степной модели становилась военной деспотией с господством армейского начала над чисто административными и фискальными функциями государства. Последнее здесь было нацелено не столько на контроль за производством и налогообложением, сколько на поддержание военной машины в боеспособном состоянии.

В основе возникновения степных вожеств лежали непрекращающиеся войны за пастбища, скот и источники воды. Роль военного фактора усиливалась по мере роста населения степи и возрастания нестабильности экстенсивного скотоводческого хозяйства. Все эти проблемы решались чаще всего силой оружия. В рамках военизированного вожества деление кочевников на «управителей» и «управляемых» отливало в дихотомию «командиры—рядовые воины», а сам вождь становился «главнокомандующим». При всем том война во всех ее видах — между родами и племенами с соседями (между кочевыми этносами) — становилась едва ли не основным способом существования степной модели. Таким образом, у кочевников переход от вожества к раннему государству происходил в русле милитаризации социума и возникновения военной иерархии. Организованный по-военному кочевой этнос восходил от догосударственной стадии к раннегосударственной. Тем самым ранняя степная монархия отливала в централизованный военный механизм с армейским порядком и жесткой дисциплиной. В итоге создавалось идеальное орудие внешней экспансии — удачных набегов, дальних походов и завоеваний. Такого рода военная машина ликвидировала изначальную децентрализацию степного населения и сводила его в один мощный «кулак».

Единая военно-административная система охватывала все населенные степи. Каждый кочевник был закреплен за своим десятком, сотней и тысячей. Эта «служба кровью» означала обязанность в указанное время явиться на место сбора для несения воинской службы. Степняк-воин должен был прибыть с оружием и доспехами, с двумя конями и запасом еды. При этом в Монгольской империи в эпоху Юань рядовые всадники несли большие расходы на обзаведение военным снаряжением и закупку всего необходимого на случай дальнего похода. Военно-административная система распространялась не только на самого воина, но и на его хозяйство и семью.

В степной модели действовала по сути всеобщая воинская повинность, когда каждый взрослый простолюдник фактически был либо

функционирующим, либо потенциальным воином второго призыва. Такая широта воинской повинности создавала военный и мобилизационный социум, где мужское население и армия во многом совпадали. Поэтому в степном варианте азиатской деспотии огромную роль играла жесточайшая военная дисциплина даже в мирное время, неизбежность, беспощадность и жестокость наказания, насаждение страха внутри самой модели и вне ее. В этих условиях политическая надстройка становилась, по сути, независимой от социально-экономического базиса и подминала его под себя вместе с массой рядовых кочевников. Делая их воинами, степная деспотия отрывала их от мирной жизни и хозяйственной деятельности. Эта вооруженная людская масса становилась первоклассной панцирной конницей и направлялась на внешние завоевания чужих стран. В то же время степные правители и кочевая знать становились профессиональными военными, военачальниками и полководцами. Тем самым и верхи, и низы степных социумов становились «людьми войны». Если в китайской модели государство носило по преимуществу штатский характер с господством бюрократии, то в степной модели государство возникает и функционирует как армейская организация с господством военной элиты.

В степной модели военная и административная системы переплетались неразрывным образом. У кочевых народов Центральной Азии с древних времен действовала десятичная система организации и деления этноса (десятки, сотни, тысячи и десятки тысяч воинов). Данная система возникала как инструмент военной организации, затем она переросла в административную и социальную, т.е. в систему наследственных владений знати (сотник, тысячник, темник). При всем том эти подразделения, или владения, не переставали быть военными единицами. Во главе их становились *нойоны* и ханская родня.

Война приносила кочевой знати богатую добычу, а та, в свою очередь, создавала престижное потребление — драгоценности, дорогое оружие, чужеземные диковинки и богатые одежды. При всем том сохранение степной монархии или кочевой империи становилось возможным лишь за счет поддержания высокой жизнеспособности военной машины, в том числе при учете интересов рядовой воинской массы. У кочевников все свободное мужское население не только имело право, но и было обязано носить оружие, изначально из поколения в поколение состоя в рамках военной организации. Каждый рядовой номад был прежде всего конным воином. Остро нуждаясь в боеспособном и мобильном войске, степной монарх и кочевая знать как могли в мирное время берегли эту конницу, опасаясь доводить массу вооруженных воинов до крайности. Таким образом, сама военная машина резко ограничивала уровень эксплуатации. Кроме того, «степные витязи»

шли в набеги, дальние походы и на завоевания не только из преданности своим племенным вождям, местной знати и ханам. Рядовых кочевников вела на войну и жажда богатой добычи. Простые номады, как правило, поддерживали свою верхушку во всех ее экспансионистских предприятиях. В итоге социальные антагонизмы в степной модели оставались слабыми. Их гасила военная организация и выносила их из социума вовне — в русло внешней агрессии.

Войны, набеги, завоевания, покорение иных племен и целых стран, захват добычи и ее дележ прежде всего укрепляли положение кочевого знати, военных вождей и степных правителей. Военные успехи усиливали зависимость низов от верхов, углубляли неравенство между семьями и племенами кочевников. Успешные походы, набеги и завоевания прежде всего «работали» на укрепление государственного аппарата, военной машины, власти монарха и господства знати. Каждый удачный поход или очередное завоевание еще больше укрепляли ударную силу степной конницы.

Особенно поражала сила монгольской военной машины времен Чингисхана. Эта сила определялась мощью панцирной конницы, отличной боевой выучкой воинов, своеобразным тактическим мастерством монгольских полководцев. Армия была спаяна железной дисциплиной, фанатической верой в победу своего оружия, единым стремлением одержать верх над противником, ограбить его и утвердить над всем миром господство своего хана. Война велась исключительно жестокими методами. Террор был сознательно поставлен Чингисханом на службу его целям достижения мирового господства.

Военные успехи малочисленных кочевников над многочисленными земледельческими этносами объяснялись тремя факторами. Во-первых, наличием у номадов хорошо обученной и высокоманевренной панцирной конницы, где каждый всадник, а зачастую и конь были защищены ламинарными (пластинчатыми) доспехами. Во-вторых, особую роль здесь играла все усиливающаяся оторванность массы земледельческого и городского населения оседлых этносов от военного дела и боевой практики. В-третьих, разобщенностью сил противника из-за внутренних распрей или войн между возможными союзниками, несмотря на страшную угрозу из Великой Степи.

Однако военный фактор отрицательно влиял на этносы степной модели. Сами сборы в дальние походы разоряли рядовых кочевников; значительная часть населения отрывалась от хозяйства и отправлялась воевать в другие страны. Одни из воинов погибали в боях и походах, а другие оставались в чужих краях — либо в составе гарнизонов, либо в качестве завоевателей, со временем ассимилировались и растворялись в иной, этнической среде. Так, в Золотой Орде очень много

монгольских воинов со временем денационализировалось и отуречилось. Много монголов погибло или осталось в Китае и на его окраинах.

Походы и войны отвлекали большую часть кочевников на многие годы. Отрицательное влияние отрыва степняков от хозяйства усугублялось тем, что они часто уходили на войны, уводя с собой семьи. После образования Монгольской империи владельцы улусов (уделов) уводили своих людей в чужие страны на постоянное жительство, то есть воины уходили из родных степей вместе со своими семьями. Все эти монголы навсегда осели в дальних краях в составе гарнизонов и особых поселений.

Военная добыча в виде сокровищ и рабов служила источником обогащения степной верхушки — ханского двора, ханского рода и высших военачальников. Процветали «царевичи», знать, *нойоны* разных рангов, вплоть до сотников, да аристократические гвардейцы. Рядовым воинам и командирам низших рангов, например десятникам, перепадала малая часть из этих трофеев. Массе же рядовых кочевников дальние походы приносили лишь дополнительные расходы на сборы в далекий путь, изнурительные тяготы, лишения походной жизни и смерть на чужбине. Как уже говорилось, в степной модели военная и административная системы были слиты воедино, поэтому у монголов темники, тысячники, сотники и десятники выполняли и управленческие функции. Так, например, тысячник управлял вверенным ему населением, распределял пастбища, руководил перекочевками, собирал налоги хану, руководил пленными ремесленниками, следил за состоянием боевой конницы, изготовлением оружия и доспехов, отбирал людей на службу и войну, сам мог возглавить отряд от своей тысячи. Тысячник или сотник обеспечивал также функционирование почтовой службы. Темники, тысячники, сотники и десятники выступали военными администраторами, обязанными быстро выставить соответствующее своему чину число конных воинов.

Штатская бюрократия в степной модели или отсутствует, или крайне слаба. Только при завоевании больших масс земледельческого населения в кочевых государствах и империях появлялся чиновный аппарат и штат бюрократии. К такой практике в своих государствах на территории Китая прибегали кидани, чжурчжэни и монголы. Однако в чисто степной, или кочевой, модели господствующий класс осуществлял все управленческие функции, оставаясь сугубо военной средой.

В некоторых земледельческих моделях средневекового Востока господствующий класс являлся военным, т.е. в известном смысле слова «рыцарским» во главе с «военными монархами». В Японии это были *сёгуны*, *даймё* и самураи, в Индии — падишахи, раджи, моголы,

раджпуты, маратхи, сикхи и наике. И в том и в другом случае это была среда военных феодалов, а сам феодализм выступал как военизированная система. И тем не менее как в Японии, так и в Индии под этой военной надстройкой находился мирный, т.е. штатский, социум. В кочевой же модели оба горизонта, т.е. знать (*нойоны*) и «чернь» (*харачу*), а также весь социум, этнос и сама система были военными.

В земледельческих моделях оседлых этносов военная машина и социум практически не совпадали. Более того, здесь армия служила всего лишь частью, причем иногда далеко не главной, государственной машины. При всем этом и социум, и государство, по своей природе являясь невоенными, возглавлялись штатской бюрократией (Китай, Корея, Вьетнам). В степной модели этнос и войско во многом совпадали. Причем самой системой руководили военные. Здесь не было противостояния «социум — войско» или «этнос — армия». Зато налицо был неразрывный синтез, или симбиоз, этих двух начал с созданием «военного этноса», или, другими словами, «армейского социума».

Политическая власть в рамках степной модели — это прежде всего военная власть. Степные правители (*шаньюй, хаган, хан*) по своей природе — главнокомандующие конным войском. Кочевая знать (*нойоны*) — это главным образом военачальники более низкого уровня и меньшего масштаба над рядовыми номадами — прирожденными воинами. В любом случае степная монархия являлась по преимуществу военным государством. Статус государя здесь был неотделим от функции главнокомандующего всеми вооруженными силами данного кочевого этноса и подчиненных ему степных племен.

Военный вариант азиатской деспотии в рамках степной модели привел к специфическим отношениям между государством и рядовыми номадами, между господствующим классом и трудящимися — ара-тами. В китайской модели государство могло довести и доводило свое крестьянство тяжестью налогов и повинностей до восстаний и крестьянских войн, ибо не имело необходимости беречь крестьян в качестве солдат при наличии колоссального населения. Иное дело степная модель. Здесь рядовой кочевник был конным воином при оружии и боевом опыте. Такого труженика нельзя было доводить до крайности высоким уровнем изъятия прибавочного продукта, ибо это разрушало военную организацию степного социума и государства при крайней скудости людских ресурсов, т.е. малочисленности мужчин призывного возраста.

В этой своей ипостаси степная модель ближе к японскому военному феодализму и «военизированной» индийской модели. Если в китайской и японской моделях усилия государственной машины направлялись, как правило, вовнутрь социума, то в степной модели — вовне,

т.е. на ограбление и захват соседних этносов и стран. Если для китайской, индийской и японской модели внешняя экспансия не играла ведущей роли, то в кочевом мире Великой Степи агрессия и завоевания вышли на передний план.

Степная модель была источником агрессии и разрушения. Набеги, вторжения и завоевания, осуществлявшиеся номадами, несли неисчислимые бедствия оседлым земледельческим цивилизациям. Только в ходе монгольских завоеваний XIII в. в странах, подвергшихся нападению, были перебиты сотни тысяч людей, составлявших значительную часть населения, и уничтожены огромные материальные и культурные ценности. Монгольские завоевания привели к упадку и застою в развитии экономики и культуры Китая, Средней Азии, Ирана, Закавказья и Руси.

Негативное воздействие Великой Степи на земледельческие социумы и страны особенно жестоко проявлялось в случае прямой военной агрессии кочевой периферии или переселения степных или полукочевых этносов. Все это сопровождалось грабежом и разорением деревень и городов, опустошением процветавших земледельческих районов, уничтожением материальных и культурных ценностей. Страшной катастрофой явились монгольские завоевания. Многие города и области, подвергшиеся нашествию монголов, на протяжении ряда последующих столетий так и не достигли уровня развития XII — начала XIII в. Такого рода воздействие Великой Степи не только тормозило поступательную эволюцию земледельческих обществ, но и зачастую резко отбрасывало их назад и укрепляло отсталые формы и институты.

Господство военного начала в степной модели играло отрицательную роль в эволюции самих кочевых этносов. Войны и завоевания обогащали только *шаньюев, хаганов, ханов* и *нойонов*. Походы и войны ложились тяжелым бременем на плечи рядовых кочевников и зависимых от знати аратов. Зачастую трудовому населению Великой Степи военный фактор в конечном счете не приносил ничего, кроме лишений и гибели на чужбине. Отрывая активную часть населения от производственного труда, набеги, вторжения, завоевания и дальние походы ослабляли экономический и демографический потенциал кочевых социумов, вели к застою в эволюции этих этносов.

Внутри военной организации степной модели особую роль играла гвардия монарха, или его дружина. Сформированная на основе личной преданности правителю, она была опорой скифских царей, гуннских *шаньюев*, уйгурских и хазарских *каганов*, киданьских императоров и монгольских ханов. У монголов эта многочисленная гвардия (*кэшик*) была основной опорой власти хана и одним из стержней государст-

венности. Ханская гвардия как мощный военный институт осуществляла основные функции публичной власти. Именно гвардия являлась главным инструментом подавления всякого недовольства или сопротивления прежде всего *нойонов* и их людей — рядовых кочевников. В степной модели с древних времен был распространен институт заложничества на случай измены знати своему правителю. Для этого в состав гвардии принудительно включали сыновей темников, тысячников, сотников и иных *нойонов*.

До перехода монгольской династии Юань к государственному аппарату китайского образца гвардия, точнее, ее верхушка (*кебтебулы*), была центральным органом управления Монгольской империи. Эти люди непосредственно ведали ставкой хана и ее охраной, выполняли полицейско-судебные функции, вели все хозяйственные дела, обслуживали хана, его семью и родню. Верхушка гвардии служила ядром госаппарата империи Чингисхана и его наследников. Однако и после перехода династии Юань к китайской системе управления служба в гвардии оставалась надежной гарантией успешной бюрократической карьеры, хотя гвардейцы перестали быть главными администраторами империи Юань.

Таким образом, в отличие от других азиатских социумов гвардия в степной модели была не просто охраной монарха, но и кузницей военных и административных кадров и создавалась как институт заложничества. Такого рода гвардия существовала при скифских царях, при государях *тоба*, *сяньби*, при тюркских каганах, киданьских императорах и монгольских ханах. Именно с гвардии в кочевой модели начиналось сращение военного и штатского начал, армейского и административного слагаемых в системе управления. Отсюда в госаппарат отбирались сановники и чиновники, отсюда можно было подняться на самую вершину государственной пирамиды.

Особую роль у монголов играл институт нукерства (*нукер* — букв. «товарищ», «дружинник»). *Нукеры* в отличие от наследственных и домашних рабов происходили из свободных людей, добровольно поступивших на службу к тому или иному вождю или *нойону*. Предводители такого рода держали *нукеров* на полном обеспечении. *Нукеры* служили дружинниками, сопровождали своих патронов на войну и на облавные охоты, вместе с ними совершали набеги на соседей ради добычи. Помогая своим господам по хозяйству, *нукеры* состояли в их свите и служили им ближайшими советниками. Само собой разумеется, что в такой атмосфере ни о какой независимости, самостоятельности и личностном статусе *нукера* и речи не могло быть.

Степная модель зачастую не знала четкого разделения функций охраны ханской ставки, управления ханским двором. Поэтому *нукеры* и

гвардейцы (*кешиктен*) были одновременно и охраной, и чиновниками, и придворной обслугой. У *нукеров* имелись почетные функции. Так, они управляли ставкой *хагана* (*орда*) и его сородичами, командовали его гвардией (*кешик*) и его воинскими формированиями, следили за уделами ханской родни. В этих ипостасях *нукеры* выступали как *нойоны*, т.е. знать. Однако у *нукеров* имелись и малопочтенные функции. Эти «воины» и «витязи» служили конюшими и кравчими, ведали прислугой и рабами, стадами овец и конскими табунами, управляли хозяйством и перекочевками.

При выяснении социальной природы нукерства бросается в глаза обилие у этих «витязей» придворных функций, черт личной зависимости, несвободы, прислужничества и полицейской ипостаси. При всем том очевидно отсутствие у *нукеров*, равно как и у гвардейцев (*кешиктенов*), основных черт западных рыцарей, европейских дворян, индийских *раджпутов* или японских самураев. В кочевом социуме не могло быть договорных отношений двух равноправных сторон. Статус *нукера* по отношению к хану определялся личной зависимостью первого от своего хозяина. Изначально при хане была его дружина — *нукеры*, дети и братья *нойонов* и сами *нойоны*. Затем дружина превратилась в гвардию. И в том, и в другом варианте *нукеры* выступали как воины. Если бы у *нукеров* не было иных, т.е. штатских, служебных, управленческих и прислужнических, функций, то о них можно было бы говорить с массой оговорок и умолчаний как о «степных витязях», своего рода «рыцарях кочевого феодализма», какого-то отдаленного подобия военных вассалов, дворянства и т.д.

Институт нукерства как в рамках военных дружин, так и в рамках ханской гвардии сыграл значительную роль в становлении государства монголов, а затем и кочевой империи Чингисидов, в укреплении классовой структуры средневековой Монголии.

При Чингисхане гвардия (*кешик*) являлась не только воинской частью, но и органом управления делами дома *хагана* (*хана*). Она служила лагерем знатных заложников, школой воспитания юных «аристократов» и главной администрацией монарха. С одной стороны, в ханскую гвардию набирали «сливки» кочевого социума — сыновей и братьев элиты. Для них служба в гвардии — верх почета. С другой стороны, гвардейская служба выросла из института нукерства, т.е. из среды людей лично зависимых от хана. Поэтому гвардеец по сути был заложником при ханском дворе и воспринимался как лично несвободный, состоящий при семье хана, и как своего рода *нукер* более низкого разряда — ведь отношения *нукера* к хану трактовались как отношения личной зависимости. В том же духе воспринималась и служба гвардейца при ханской ставке.

Из числа гвардейцев формировались кадры, ведавшие ставкой хана, его войском, средним и низовым аппаратом управления. Рядовой гвардеец по своей значимости мог быть выше армейского *нойона* — тысячника, а тем более *нойонов* более низкого ранга. Нукерство, гвардия и армия были связаны воедино, в том числе и через свой кадровый командный состав. Так, среди тысячников было много старых *нукеров*, бывших гвардейцев или их братьев. При Чингисхане из среды *нукеров* вышли крупные полководцы и влиятельные *нойоны*.

В степной модели азиатская деспотия получала свое достойное воплощение. Уже хуннский верховный правитель (*шаньюй*) был наследственным монархом с неограниченной властью, сочетая высшую военную, административную и судебную власть. Данная традиция универсальной нерасчлененной власти сохранялась в Великой Степи веками и передавалась от одного этноса к другому. Великий хаган олицетворял собой единство светской и религиозной власти. Только с интронизацией первого *богдо-гэгэна* в качестве главы ламаистской церкви (1641 г.) в Монголии фактически наметилось, пусть и слабое, противопоставление духовной власти абсолютной власти светских владык.

Если в индийской модели институт государства стоял выше персоны монарха, то в степной модели, как и в китайской, держава словно растворялась в самом правителе. Сам же он не только олицетворял собой государство, но и как бы замещал его собой. В степной модели не существовало различия между ханом и державой, между ханским и казенным имуществом. Монарх и государство в Великой Степи являлись взаимозаменяемыми и совпадающими понятиями. (Хаган — это держава, а он — воплощение ее.) Степной вариант восточной деспотии, по сути, был аналогом китайской модели и антиподом индийской и японской государственности.

В степной модели ханский двор, семья хана и придворное хозяйство не отделены от управления государством. В равной мере слиты воедино ханское имущество и потребление двора с государственным имуществом. Затраты на нужды хана, его семьи и двора не отделяются от затрат на содержание армии и госаппарата. Соединение этих двух начал пронизывает всю властную вертикаль и слито в одном лице на уровнях темников, тысячников, сотников и десятников. Все они олицетворяют неразрывность государственного и частного начал.

Азиатская деспотия в своем степном варианте пронизывала все горизонты системы — от верхнего уровня государственной власти до низового, вплоть до хозяйства рядовой аратской семьи. Так, местный князь, или *нойон*, руководил кочеванием зависимых от него скотоводов. Он по своему усмотрению распределял пастбищные угодья, уста-

навливал маршруты кочевания и определял стоянки. Тем самым в его лице властные и хозяйственные функции фактически совпадали.

Ни сёгунская Япония, ни средневековая Индия не являлись азиатскими деспотиями, тогда как соседствовавший с Великой Степью Китай служил образцовой моделью бюрократической и штатской деспотии. В противовес Поднебесной державе степные государства, и прежде всего Монгольская империя Чингисидов, являлись типичными военными деспотиями.

Монгольский вариант степной модели не знал никаких договорных начал и правовых отношений феодального типа в господствующем классе. В этой среде не было условий для вассалитета, для формирования дворянства и рыцарства. Вместо этого существовала жесткая властная вертикаль с неуклонным подчинением *нойонов* (*дзасаки*, *тайджи*) властителям (*хаган*, хан). Это была сугубо восточная система, специфический вариант азиатской деспотии с господством силы, обычая и традиции над правом. В свете всего этого применение к степной модели термина «кочевой феодализм» не имеет под собой реальных оснований.

В рамках степной модели присутствовали все «три кита» азиатского способа производства и восточной деспотии («класс-государство», «власть-собственность» и «рента-налог»). Тем не менее все эти три феномена Востока в кочевых государствах и империях имели крайне специфические формы и особые виды реализации. Здесь эти «три кита» в их кочевом варианте содействовали созданию милитаризованного государства и сильной военной машины с высокой централизацией социума и внутренней консолидацией.

Степной вариант восточной деспотии, равно как и ее земледельческие варианты, требовал обожествления личности монарха. Сакрализация власти кочевых властителей началась еще с древности. Хуннский верховный правитель (великий *шаньюй*) выступал как «Небом и Землей рожденный, Солнцем и Луной поставленный». Ханы и *хаганы* обладали особой силой и священной харизмой, ибо их власть была дарована Небом. Зачастую хан был представителем рода, «отмеченного небесным происхождением». Так, Чингисхан правил «велением вечно-го Неба». Именно Небо даровало Чингисидам безоговорочное право управлять всеми народами мира. Всемонгольский великий хан считался представителем Неба на земле.

Сакральная власть монгольского великого хана считалась универсальной, т.е. распространялась как на реальных, так и на потенциальных подданных. Отказ любого еще не покорившегося правителя и сопротивление любого еще не завоеванного этноса или государства признать священную власть великого хана рассматривались как мятеж,

подлежащий подавлению силой. Доктрина верховной власти с ее сакрализацией во многом роднит степную модель с китайской деспотией. В этой связи монгольская концепция сакральной, т.е. «небесной» власти великого хана (*хагана*) была либо калькой с китайской доктрины императорской власти, либо общей для Китая и его соседей концепцией, идущей из древности. Правда, китайский император, хотя и обладал силой (*вэй*) и дарованным Небом правом карать непокорных, все же воздействовал на соседние страны и этносы прежде всего своей благодатью (*дэ*). Монгольская же концепция делала упор на грубую силу оружия и беспощадность карательных акций.

Кочевая монархия означала прежде всего светскую власть. Тем не менее, согласно степной традиции, правитель олицетворял собой единство светской и духовной власти. Речь идет о *хаганах*, императорах династии Юань и великих ханах из рода Чингисидов и Даянидов. Такого рода соединение двух ипостасей способствовало определенному, хотя и весьма умеренному обожествлению монарха, поскольку сакрализация самого института верховной власти превалировала над частичной сакрализацией личности конкретного носителя наиболее высокого титула в степном государстве.

В ламаистской Монголии поклонение Чингисхану обрело религиозные черты. Для членов «Золотого рода» Чингисидов культ знаменитых предков служил обоснованием их политических притязаний. Благодаря властной харизме Чингисхана «Золотой род» сохранил политическое влияние в Великой Степи, его представители обладали властью в своих наследственных владениях и особым весом в монгольском *хурале*. Даже в отдаленных от Монголии казахских ханствах хан избирался из потомков Чингисхана, составлявших особую статусную аристократическую группу.

Синтез светского и духовного начал верховной власти усилился в период цинского господства в Монголии в лице маньчжурского богдохана (т.е. священного, августейшего хана). Традиция слияния двух властей при умеренной сакрализации сказалась при переходе от светского государства в Монголии в 1912 г. на рельсы теократической монархии с установлением верховной власти главы ламаистской церкви (*богдо-гэгэн*), получившего титул *богдохан*.

Создание в XIII столетии Монгольской империи Чингисхана и его преемников явилось своего рода рубежом, когда была подведена условная черта под предыдущей историей Великой Степи. После распада этой кочевой империи началась специфическая трансформация «степной модели в ее собственно монгольском ареале». Наступил период «позднего номадизма», а в самой степной модели наметились явные сдвиги. До этого условного рубежа социальная дифференциация при

всей своей слабости тем не менее способствовала созданию степных государств. Затем монгольские завоевания и возникновение гигантской империи, в свою очередь, усилили социальное неравенство в среде завоевателей. Значительно усилился статус и возросла власть знати над рядовыми монголами.

В Монголии XVI–XVII вв. владения знати — *тумэны* (бывшие *улу-сы*) и *оттоки* (бывшие тысячи) стали наследственными. Владелец (*эджэн*) данного *тумэна* или *оттока* сам творил суд и расправу, устанавливал поборы и повинности, командовал местным ополчением. В его руках была вся полнота военной, административной и судебной власти.

После полосы монгольских завоеваний сами рядовые завоеватели — араты оказались в тяжелом положении, подверглись эксплуатации со стороны *нойонов*. Помимо государственного налога на скот, в Монгольской империи и ее *улусах* из трудового аратства выкачивались большие средства на содержание ханского двора, войска и госаппарата. Великий хан, другие Чингисиды и *нойоны* брали из имущества рядовых монголов все что хотели и сколько хотели, полностью распоряжаясь самими аратами. Бесправие, отсутствие личностного и правового начала в степной модели делали самих рядовых завоевателей практически «завоеванными» своими монархами и знатью. Заметно усилились тяготы военной службы. Для кочевых народов Центральной Азии соотношение между числом воинов и общей численностью населения составляло один к пяти. Для монголов и покоренных ими других степных этносов времен Чингисхана этот показатель мог быть и бóльшим, т.е. более тяжелым для семьи кочевника. Даже в мирное время монголы отрывались от своего хозяйства для несения гарнизонной и пограничной службы. Кроме того, «служба кровью» не отменяла собой штатских повинностей, т.е. поставок скота и кумыса для степной знати и хана.

В XIII–XVIII вв. в Монголии постоянно действующим социальным институтом и основой нормального функционирования экономики стало использование труда аратов-*албату* путем принудительной задачи им на выпас стад, принадлежавших ханам, князьям и монастырям. Данный институт действовал безотказно и стал, по сути, главной повинностью трудового населения степи. Для рядового арата-*албату* фактически не было возможности уклониться от этой формы эксплуатации. Прикрепленные к земле светских и духовных владык, эти араты при всем том вели на ней самостоятельное мелкое и среднее скотоводческое кочевое хозяйство.

Светские и духовные владыки были владельцами многотысячных стад. Так, на территории Монголии в течение по меньшей мере двух

тысячелетий существовали крупные скотовладельцы, имевшие десятки, а иногда и сотни тысяч голов скота — кобылиц, коней, верблюдов, овец, коров, быков, мулов, ослов и других домашних животных. Практически вся эта масса скота раздавалась на выпас в мелкие и средние семейные хозяйства полукрепостных и крепостных аратов. Тем самым в степи не могли сосуществовать огромные хозяйства в десятки и сотни тысяч голов скота. Историки, пишущие о таких гиперхозяйствах, постоянно смешивают такие понятия, как «владение» и «хозяйство», «имущество» и «производство», «собственность» и «держание».

Поголовье скота в крупном владении кочевой монгольской знати в сотни и тысячи раз превышало потребительские нужды аристократа, его домочадцев, слуг и охраны. Обслуживание этого огромного стада требовало большого числа рабочих рук. Типичное крупное владение для нормального круглогодичного функционирования стада нуждалось в труде четырехсот или пятисот аратских семей.

Князья сдавали свои стада на постоянный выпас аратам-*албату* с обязательством аратов вернуть взятый скот по истечении срока в полной сохранности. Гарантией последнего условия служила собственная отара арата. Она же была гарантией поставок приплода и положенной господину продукции. *Нойоны* и ханы обычно ничего не платили аратам за их работу. Однако после сдачи положенного господину у аратов оставалась разница между общим валовым продуктом и поставками светскому владыке. Это поддерживало собственное хозяйство арата и давало возможность выполнить все обязательства перед раздатчиком скота в ходе очередного производственного цикла.

Собственное хозяйство аратов-*албату* на нойонской земле было условием существования кочевой модели степного социума. Разорившийся арат не мог выполнять повинности (*саун*) и не был нужен князю. В равной мере и сам *нойон* с его землей и пастбищами становился нужным разорившемуся *албату*, лишенному скота и своего хозяйства. Скот выступал в роли богатства и своего рода валюты. Накопление стад создавало возможность производства излишков и обмена их, особенно самого скота, на продукцию земледелия и ремесла оседлых этносов.

Фактическое закрепощение аратов, хотя и не совсем полное, началось еще до XIII в., а с этого времени происходило и юридическое прикрепление рядовых скотоводов к ханам, *нойонам* и монастырям, к их земле и к конкретным представителям этой светской и духовной знати. Лишенный собственной пастбищной земли и свободы передвижения, такой арат был обязан перекочевывать вслед за своим *нойоном* и мог пользоваться пастбищными угодьями лишь с согласия правителя, князя или монастыря. Право пользования пастбищным травостоем

давалось только в обмен на выполнение трудовой повинности (*саун*), воинской и курьерской службы.

Личная зависимость арата от князя базировалась на прочной экономической основе, ибо пастбищные территории были владением хана или князя. По отношению к ним арат нес ряд повинностей (*алба*). Это были натуральная повинность скотом и продуктами скотоводческого хозяйства, служба при ставке господина с обслуживанием личных потребностей последнего, служба в войске, участие в облавных охотах, урточная повинность для обеспечения почтовой связи.

Военно-административная система в Монголии была модернизирована после подчинения страны XVII в. маньчжурам. Княжеские владения (*дзасакства*) стали воинскими соединениями — «знаменами» (*ци*) или ополчениями (*хошун*). Последние состояли из эскадронов (*цзолин*) численностью примерно в 150 воинов. В списки эскадронов включалось все мужское население от 18 до 60 лет вне церковных владений. Каждое «знамя» формировалось из одноплеменников. Глава «знамени» (*дзасак*) совмещал функции военной, гражданской и судебной власти. Каждое «знамя» имело строго определенную территорию. Покинуть ее, не подвергшись наказанию, не мог никто, даже сам глава «знамени», *дзасак*.

Все взрослые мужчины-миряне считались солдатами (*цирик*). Вооруженные всадники в полной экипировке сводились в общие части в рамках *хошуна*. Войска *хошунов* входили в состав корпусов («знамен»), которые формировались в пределах аймаков (ханств). Такая структура копировала организацию маньчжурской «знаменной» армии. Тем самым значительная часть производственного населения отвлекалась на военную службу — учения, сборы, смотры, парады, дозоры, выпас казенных табунов и доставка донесений.

Военно-административная система все больше лишала номадов свободы и вела к их закрепощению. Люди в «тысячах» были прикреплены к месту своего проживания, т.е. к своему «тысячнику», и никуда не могли уйти от него. Вчерашние вольные «степные витязи» обрели своих господ, за которыми были закреплены. Такие принадлежавшие светской знати араты (*албату*) оказались на положении полукрепостных. Их господа дарили такого рода «чернь» (*харачу*) ламам высших степеней (*хутухта*) и монастырям. С переходом во владение новых хозяев такие полукрепостные, по сути, становились настоящими крепостными — на этот раз церковными (*шабинары*).

Рядовые араты-*албату* перестали быть свободными людьми. Им было запрещено переходить от одного хозяина к другому и покидать территорию, подконтрольную данному господину. Помимо принудительного выпаса его стад, труд *албату* использовался непосредственно

в хозяйствах *нойонов*. Кроме того, араты должны были ежегодно отдавать нойонам определенное количество овец на убой. Сверх того, *нойон* взимал со своих *албату* лошадей, быков, повозки, войлок и молочную продукцию. Араты несли ямскую повинность в пределах данного княжества. *Албату* были обязаны выступать в военный поход или отправляться загонщиками на облавную охоту по первому приказу нойона. После включения Халхи в Цинскую империю с конца XVII в. араты стали нести десятки самых обременительных повинностей в пользу монгольских и маньчжурских властей.

В прямой личной зависимости от светских *нойонов* — владельцев (*дзасак*) и невладетельных князей (*тайджи*) находились их крепостные (*хамджилга*). Последние были обязаны работать на своих господ, прислуживать им, равно как и их семьям. Эти личные крепостные являлись своеобразным атрибутом особого статуса своих господ.

Сравнение поздней монгольской действительности XVII–XX вв. с китайской, индийской и японской моделями приводит к выяснению роли внеэкономического принуждения массы непосредственных производителей. Если в этих трех земледельческих моделях крепостничество либо отсутствовало, либо играло ничтожную роль, то в степной модели данный институт был весьма значимым. Сомонные араты (*албату*), хотя юридически и считались свободными, по существу были превращены в государственных крепостных. Они не имели права без разрешения властей покидать пределы своего княжества (*хошун*) и своей воинской части. Тем самым крепостнический статус дополнялся военной дисциплиной.

В Великой Степи в обстановке частых межплеменных войн и постоянных набегов на соседние этносы издавна происходило обращение военнопленных в рабов — так военный фактор порождал и подпитывал институт рабства. В итоге в степной модели оба они оказались тесно связанными. У монголов имело место порабощение целых родов побежденных родами-победителями. На этой основе сложился институт наследственного рабства (*утэгу-богол*, букв. «старый раб», т.е. наследственный раб). Члены побежденного рода или племени объявлялись победителями «наследственными рабами». Последние из поколения в поколение находились на службе у владельческого рода. Кочуя отдельно и ведя свое хозяйство, они поставляли слуг и воинов своим хозяевам, пасли их скот и служили загонщиками на облавных охотах.

В дополнение к наследственному здесь существовало и домашнее рабство. Последнее стало важным институтом у монголов. Эти невольники (*богол*) составляли прислугу в юртах родовой знати, служили пастухами, занимались переработкой животноводческого и другого сырья, изготовлением посуды, войлока, сбруи и повозок. Фактически

они находились на положении бесправных членов семьи своего господина. Вплоть до середины XIX в. в Монголии знать (*нойоны*) имела домашних рабов (*китад*) из числа военнопленных, а также лиц, проданных или отданных в рабство за совершенные ими преступления.

Уже в период Монгольской империи доведенные до отчаяния нуждой, лишениями и голодом, араты сами продавали своих детей в рабство, в том числе в Китай. Их вывозили на другие иностранные невольничьи рынки. Если институт рабства издавна был плотью от плоти степной модели, то формирование полукрепостнического и крепостнического статуса аратов, хотя и проистекало из азиатско-деспотической отсталой природы степной модели, было тем не менее порождением и знаменем особой стадии ее эволюции, а именно «позднего номадизма».

Спецификой этой стадии в ее монгольском варианте стало наличие в ней явного дуализма, т.е. сосуществования двух начал — светского и духовного. Последнее было представлено ламаистской церковью. Во главе этой структуры находился *богдо-гэгэн* (досл.: августейший свет), ниже стояли *хутухты*, затем шли настоятели монастырей. Как и светская (*хаган*, хан, *нойоны*, *албату*), церковная подсистема несла в себе свои собственные экономические, социальные и политические слагаемые.

Ламаистская церковь учила народ покорности и смирению. В «поздней» Монголии она имела несколько сотен монастырей, крупные пастбищные угодья, огромное поголовье скота и своих крепостных аратов (*шабинары*). Как и светские правители и знать (*дзасаки*, *тайджи*), высшие иерархи церкви и монастыри раздавали почти весь свой скот на выпас *шабинарам*. Взамен церковь разрешала своим крепостным пользоваться частью молока, шерсти и иных продуктов от сданных им на выпас отар. В своих перекочевках семья *шабинара* не имела права уходить за пределы церковного владения, чаще всего монастырского. В этом отношении дихотомия «*нойон–албату*» служила аналогом связи «монастырь–шабинар».

Церковь имела не только «свое крестьянство», но и «своих подданных» — это были ламы, т.е. монахи-послушники, проживавшие в монастырях. Количество лам исчислялось десятками тысяч. К концу XIX в. в более чем 700 монастырях проживала почти половина (свыше 100 тыс.) мужского населения Халхи, т.е. Северной Монголии. Фактически внутри монгольского светского государства (с конца XVII в. как части Цинской империи во главе с маньчжурским *богдоханом*) находилось, по сути, автономное «духовное государство» — ламаистская церковь во главе с *богдо-гэгэном*. Другими словами, ламаистская церковь в поздней степной модели стала «государством в государстве», а огромная армия лам была исключена из сферы производственного

труда и семейных уз. Последнее сильно тормозило развитие экономики и вело к падению демографического потенциала страны.

С укреплением ламаистской церкви прежняя единая степная модель (в ее монгольском варианте), по сути, разделилась на параллельные подсистемы. Внутри светского государства и социума сложилось и укреплялось теократическое государство (во главе с *богдо-гэгэном*) со своим собственным социумом (ламы и *шабинары*). Такого рода параллелизм и двухсоставность сохранялись вплоть до начала XX в. Более того, с восстановлением независимости от Китая в Монголии теократия победила светскую власть и страной управлял глава церкви — *богдо-гэгэн* (1911–1919).

В истории монголов ламаистская церковь с точки зрения демографии сыграла отрицательную роль. С распространением ламаизма и численным ростом духовенства значительная часть мужчин Монголии обрекалась на безбрачие, что вело к резкому снижению общей численности населения.

Сильная ламаистская церковь в Монголии резко отличалась от слабой и эфемерной буддийской «церкви» в китайской модели. В Китае буддийская «церковь» не только не создала свою прочную иерархию, но и не обрела автономную внутреннюю власть. Ее верхний горизонт оказался в руках светской конфуцианской бюрократии. Такого рода «полуцерковь» оказалась поглощенной китайской деспотией и жила под пятой мощного госаппарата. В противовес этому монгольская церковь выстроила свою властную вертикаль, создала сильную организацию, обрела крепкую духовную власть и стала мирным конкурентом светской государственности.

В китайской модели буддийская церковь не смогла сложиться как властная структура и была наполовину разгромлена в 842–845 гг. Внутри монгольской модели, наоборот, фактически образовалось церковное «полугосударство» как сильная автономная структура. Это начало достигло своего апогея в Тибете. Здесь возникло теократическое государство во главе с далай-ламой и с опорой на мощную ламаистскую церковь. Между тем в Китае, Корее, Японии и Индии церковь как особый властный институт так и не сложилась. Этому во многом способствовало отсутствие в этих странах монотеизма.

Отрицательная роль ламаистской церкви, в свою очередь, усилила негативное воздействие других слагаемых «позднего номадизма», т.е. резкого нарастания частной эксплуатации аратов, укрепления их полукрепостнического и крепостнического статуса и сохранения различных категорий рабовладения. Все это усугублялось господством цинского режима в Монголии и изоляцией страны от внешнего мира, установленной маньчжурами. В итоге к началу Нового времени на-

ступил жесткий кризис степной модели и ее деградация с переходом аратского хозяйства в состояние глубокого застоя. По сути, это был финал «позднего номадизма».

В своей длительной истории степная модель во взаимоотношениях с оседлым земледельческим миром чаще всего выносила на первый план набеги, войны и завоевания с огромными разрушительными последствиями для соседних цивилизаций. Между тем в ряде случаев и даже на протяжении столетий обмен между Великой Степью и земледельческими государствами носил мирный характер. Ополчения племен, дружины племенных вождей во главе со своими ханами и другими предводителями принимались на военную службу государями, в вассальной зависимости от которых они находились. Племенная верхушка частично инкорпорировалась в состав господствующей элиты того или иного государства. Часть рядовых членов племен сливалась с непривилегированным податным населением. Инкорпорирование племенных и кочевых элементов в структуру земледельческих государств зачастую оказывало тормозящее воздействие на последние, усиливая элементы догосударственных и раннегосударственных форм.

Степная модель в ряде случаев вступала в синтез, или симбиоз, с оседлыми цивилизациями. Так, происходило включение в состав кочевых государств китайских территорий с китайским населением. При этом заимствовались формы китайской модели. Это были государства кочевых этносов, но большинство их населения составляли китайцы. Более того, эти государства в равной мере были китайскими по многим своим институтам. В итоге складывались смешанные, или переходные, образования, где механически сочеталась степная модель с китайской.

Степная модель играла специфическую роль в рамках смешанных оседло-кочевых государственных образований. Такие полужемледельческие-полускотоводческие структуры возникали на периферии Великой Степи в результате завоевания номадами земледельческих территорий. Применительно к Китаю такие комбинированные системы возникали не только в северной части Поднебесной, но даже охватывали всю ее территорию. В первом случае это были государства в Северном Китае IV–VI вв., созданные кочевыми племенами *сюнну* (гунну), *цзе*, *ди*, *цян*, *сяньби* и *тоба*. Их именуют «Шестнадцать царств пяти северных племен». В X–XII вв. здесь существовали три таких государства — киданьское Ляо (916–1211), тангутское Си Ся (1031–1227) и чжурчжэньское Цзинь (1115–1234). Во втором случае это были монгольская империя Юань (1271–1368) и маньчжурская империя Цин (1644–1911). Во всех этих государственных образованиях складывался причудливый синтез степной и китайской моделей.

Между степным и земледельческим мирами Азии находились этносы и страны, где существовало не чисто кочевое, а смешанное оседло-кочевое скотоводство. Причем последнее сочеталось с земледелием. В экономике и социуме данных этносов также причудливо сочетались черты степной модели и оседлой цивилизации. В такого рода пограничном, или промежуточном, мире жили такие этносы, как *фуюй*, *мохэ*, *чжурчжэни*, *маньчжуры*, *чоучи*, тибетцы и родственные им тангуты. К смешанному оседло-кочевому хозяйству, земледелию и городской цивилизации с IX в. перешли уйгуры, переселившиеся в Джунгарию и Кашгарию.

В завершение анализа степной модели отметим ее отличия от оседлых земледельческих цивилизаций. Если в других моделях доклассовые отношения сменялись раннеклассовыми, а те, в свою очередь, вытеснялись зрелыми классовыми, то в степной модели эти три вида зачастую не заменяли друг друга, а в том или ином виде сосуществовали одновременно на разных горизонтах социума. В ходе этой эволюции менялись верхние горизонты социума, а нижние оставались, по сути, в первоначальном состоянии. В итоге классовая структура, государство, военная организация, монархия и сословный строй базировались на родо-племенной основе. Данный исходный фундамент оставался во многом неизменным с доклассового периода. В силу этого верхние горизонты степной модели были крайне неустойчивыми. Кочевые государства и империи возникали, сменяли друг друга и разрушались. В противовес этому их базисные основы сохранялись почти неизменными, демонстрируя повышенную живучесть.

Специфическими были отношения верхов и низов. Для ханов и знати рядовые кочевники выступали в двух ипостасях — как подневольные труженики и как военнообязанные, быстро мобилизуемые воины. В первом случае простой арат был «кормильцем», обязанным пасти ханские и нойонские стада. Здесь он выступал в качестве эксплуатируемой «черни» (*харачу*). Во второй своей ипостаси рядовой номад являлся армейским рядовым, «пушечным (точнее, сабельным) мясом». Как конный воин, он служил средством ограбления соседних этносов и завоевания чужих стран. Свою жизнь такой кавалерист должен был положить во имя хана и *нойонов*.

Поэтому в отличие от земледельческих социумов в степной модели отсутствуют вооруженные социальные конфликты. Если история Китая — это череда массовых крестьянских восстаний и многолетних кровавых крестьянских войн, то в Великой Степи нет классовых битв. Здесь нет восстаний аратов, нет аратских войн. Простые кочевники берутся за оружие только против иноземных поработителей, и то под главенством своих князей. Таковыми были антиманьчжурские дви-

жения под руководством Амурсаны и Чингунжава (середина XVIII в.), а позднее — халхаских *дзасаков* и *тайджи* в 1911–1912 гг. Антиманьчжурским было и дугуйланское движение (XIX — начало XX в.). На свою светскую знать, а тем более на лидеров ламаистской церкви араты оружия не поднимают, т.е. низы не идут против верхов.

В рамках военной степной деспотии власть была предельно сильна, а социум крайне слаб. Здесь нет частной ответственности, нет верховенства права над силой, нет сословных статусов, нет понятия «личность». Как в любой восточной деспотии, в Великой Степи нет общества как такового. Вместо него существуют этнос, народ, податное население, подданные *хагана* или хана. Социум представлен здесь массой тружеников, подчиненных воинской мобилизационной системе, где вместо прав и закона главенствуют дисциплина и покорность. В рамках этой военизированной системы простые араты вооружены и сведены в армейские подразделения, однако обладание оружием здесь не делает человека свободной и гордой личностью.

Своей военной природой степные государственные образования резко отличались от таких земледельческих стран, как Китай, Корея и Вьетнам. В этой «конфуцианской семье народов» верховная и вся низостоящая власть по своей природе являлась штатской, т.е. «гражданской». Речь идет о чиновном «классе-государстве» в рамках конфуцианской деспотии. В той системе вся властная вертикаль от императора (*хуанди*), царя (*ван*, *выонг*) и до начальника уезда была штатской, бюрократической. Если в степной модели административное звено было жестко подчинено военному, то в китайской модели бюрократия подчиняла себе военных.

В отличие от стран конфуцианской земледельческой цивилизации (Китай, Корея, Вьетнам, Япония) в степной модели развитой сословной системы (с четырьмя-пятью сословиями) не сложилось. С самых ранних этапов эволюции кочевого мира социальная стратификация здесь приняла простейшую форму. Это была двухъярусная структура «верхи–низы», или бинарное противопоставление «знать — простолюдины», «аристократия — черная кость». В монгольском социуме эпохи Чингисхана это было противостояние «нойоны — *харачу*». Позднее это вылилось в дуализм «благородные — простолюдины» (*сайн хумуус* — *хар хумуус*).

Знать (*нойоны*) из наследственных глав родов, племен и племенных объединений в качестве господствующего класса противостояла в степи остальной массе тружеников — простых скотоводов (араты). Между этими двумя социальными горизонтами, по сути, не существовало промежуточных слоев. При всем том как внутри «верхов», так и в толще «низов» имела своя иерархия и градация. Тем не менее в обыч-

ную или развитую сословную систему дуализм «высшие — низшие» так и не вылился. Крайне слабое развитие робких зачатков земледелия, по сути, сделало невозможным становление в рамках степной модели крестьянства и сословия «земледельцев».

В отличие от китайской модели, в степном социуме не существовало никаких легальных неформальных и подпольных организаций и автономных структур. Здесь не действовали, как в Китае, землячества, тайные союзы, религиозные секты и иные вневластные самостоятельные ячейки и автономные системы. Степной социум оставался абсолютно открытым для надзора сверху, полностью контролируемым и послушным. Поскольку здесь не было деления на открытый, неформальный и подпольный горизонты, весь кочевой социум, по сути, оставался однотипным.

Для степной модели характерно и отсутствие торгово-ремесленных городов. Поселения городского типа играли здесь роль административных центров, т.е. ханских ставок. Только с XVIII в. при них и при ламаистских монастырях в Монголии появились китайские торговые слободы (*маймачэн*) с лавками, магазинами и складами. Отсутствие городов как таковых не предполагало таких социальных групп, как ремесленники и торговцы. Все это разительно отличало социальную структуру степной модели от развитых социумов соседних земледельческих стран. В этих последних (Китай, Корея, Вьетнам, Япония) сложилась четырехъярусная сословная система. Это были сословия «ученых», «земледельцев», «ремесленников», «торговцев» и, так сказать, пятый элемент — «внесословное сословие» — «подлый люд». В традиционном Китае это были *ши*, *нун*, *гун*, *шан*, *цзяньминь*. В средневековой Японии тоже имелась подобная иерархия (*си*, *но*, *ко*, *сё*), только вместо сословия «ученых» в нее входило сословие дворян (*самурай*). В отличие от земледельческих стран с их различными моделями (китайская — японская), в степной модели четырех-пятиярусная сословная «лестница» не могла сложиться. В этих условиях кочевой социум остался в рамках простейшей структуры «верхи — низы» с делением на две неравные страты: «знать — простолюдины».

Если в экономике и социуме китайской модели сосуществовали и четко различались два уклада — государственный (казенный) и «частный», то в степной модели «частный» уклад как таковой, по сути, отсутствовал. При всей отдаленной схожести с западнофеодальными или китайскими землевладельческими персонажами знать кочевой деспотии (*нойоны*, *дзасаки*, *тайджи*) вряд ли можно уподобить европейской средневековой аристократии или китайским «помещикам» — арендодателям и рентополучателям. Более основателен подход к степной модели как к единой, монолитной системе без деления на казенный и частный сектора экономики и социума.

В рамках такого сценария не могли сложиться рабовладельческая и феодальная формации. Вместо них существовали слабые и стертые формы, лишь внешне напоминавшие рабовладение и феодализм как таковые, но выступавшие как поверхностные и второстепенные явления. Здесь даже не сложился особый рабовладельческий уклад. Труд рабов применялся в рамках домашнего хозяйства, реже кочевого рода. Не сложились здесь и феодальные отношения. В Великой Степи не возникли «благородное» дворянство, отношения «сюзерен — вассал», частнособственнические аллоды, маноры, вотчины и сеньории. Здесь не было господства договорных отношений, личного начала, верховенства права и т.д. Степная модель лежала в русле азиатского способа производства и восточного деспотизма.

В итоге на просторах Великой Степи не происходила смена одной формации другой. Вместо нее действовал фактор стадийной текучести, когда наблюдалась смена крайне слабых поверхностных и стертых признаков той или иной формации без создания ее реальных основ. Такого рода смена вторичных напластований, по сути дела, не изменяла нижний горизонт базовых структур.

**СМЕНА МОДЕЛИ:
ТАЙВАНЬСКИЙ ВАРИАНТ**

До передислокации Гоминьдана на Тайвань остров в течение многих веков оставался отсталой глухой периферией Китая. С началом маньчжурского завоевания страны он приобрел стратегическое значение, став опорной базой борьбы флота и войск Чжэн Чэнгуна против захватчиков с 1662 по 1683 г. В эти годы здесь существовало так называемое «государство Чжэнов», т.е. Чжэн Чэнгуна и его наследников — своего рода «монархия без монарха». С захватом Тайваня в 1683 г. завершилось подчинение Китая династии Цин. Вплоть до 1885 г. остров оставался частью провинции Фуцзянь при постоянно растущей колонизации его китайцами, переселявшимися с материка. После «опиумных войн» середины XIX в. произошло вовлечение острова в мировую торговлю, ибо он стал крупнейшим в мире производителем камфары. После франко-китайской войны 1884–1885 гг. Тайвань был преобразован в отдельную провинцию. При ее первом губернаторе Лю Минчжуане здесь были проведены некоторые реформы, строились арсеналы, оружейные предприятия, железная дорога, была создана почта, промышленные объекты и новые учебные заведения.

Проиграв войну с Японией 1894–1895 гг., в соответствии с Симонсекским мирным договором Китай уступил Тайвань и о-ва Пэнху Японии. Так остров на пятьдесят лет (1895–1945) превратился в японскую колонию. Произошло это после героического сопротивления тайваньцев и провозглашения ими Тайваньской республики, просуществовавшей в мае–июне 1895 г. Японии, по сути, пришлось завоевывать остров военной силой и установить здесь репрессивный режим подавления непрекращавшегося сопротивления оккупантам. К японцам отошли огромные земельные площади, ими были введены различные монополии на торговлю ходовыми товарами. Тайвань стал объектом вложения японского промышленного капитала. Внешняя торговля колонии была подчинена интересам метрополии, поставляя в последнюю продукцию сельского хозяйства. Колониальная администрация

добивалась ассимиляции населения японцами, достигнув заметных успехов в этой сфере. В ходе японского завоевания восточной части Китая (1937–1945) Тайвань стал «первой линией обороны» Японской империи и поставщиком продовольствия и иной продукции для военных нужд.

После капитуляции Японии в 1945 г. Тайвань и о-ва Пэнху были переданы под власть Гоминьдана, чей режим на острове по своей жестокости напоминал колониальный. Гоминьдан захватил в свои руки огромную добычу — всю бывшую японскую собственность, т.е. промышленные предприятия, пахотные земли и другие хозяйственные объекты. Экономическая жизнь после этих конфискации оказалась дезорганизованной. Резко возросли безработица, инфляция, цены на товары. Голод коснулся почти половины населения. С конца февраля 1947 г. на Тайване началось массовое восстание против Гоминьдана. Чан Кайши перебросил на остров войска, подавившие восстание в крови методами массовых расстрелов. За первую половину марта 1947 г. было уничтожено от 30 до 40 тыс. человек. В связи с поражениями гоминьдановских войск в боях с коммунистами Тайвань становился последней опорной базой сопротивления армиям Мао Цзэдуна. Летом 1949 г. центр руководства Гоминьданом и командование военными операциями в Юго-Восточном Китае фактически переместились на Тайвань. Сюда вывозились архивы, ценности, золото, серебро и запасы валюты. На остров была доставлена бесценная коллекция произведений искусства и реликвий из императорского дворца Гугун.

В Пекине 1 октября 1949 г. была провозглашена Китайская Народная Республика, и в декабре в условиях нарастающих поражений войск Чан Кайши было решено перевести правительство Гоминьдана на Тайвань. Так он стал базой для создания второго китайского государства. Происходила эвакуация на остров значительной части вооруженных сил. Сюда бежали функционеры Гоминьдана, видные политики, предприниматели, деятели науки и культуры. Всего на Тайвань переехало около 2 млн. человек.

После образования КНР администрация американского президента Г. Трумэна отказалась ее признать. Вместе с тем было заявлено о невмешательстве во внутренние дела Китая, о стремлении избежать военной конфронтации с КНР в Тайваньском проливе. Армия Мао Цзэдуна готовилась к десанту на остров Тайвань. Однако в июне 1950 г. разразилась Корейская война, и армия Ким Ирсена начала наступление на Южную Корею, что принципиально изменило международную обстановку. Президент Трумэн немедленно послал 7-й Тихоокеанский флот ВМС США в Тайваньский пролив. Вашингтон заявил о полной поддержке Чан Кайши. В итоге Гоминьдан получил твердые военно-

политические и экономические гарантии своего существования. С тех пор Тайвань фактически развивался под американской защитой.

Благодаря этому Гоминьдан укрепил свою власть на острове. С упрочением жесткого полицейского режима власть партии на Тайване приобрела диктаторский характер. Одновременно Чан Кайши начал работу по созданию новой прочной государственности. Особое внимание было уделено перестройке самого Гоминьдана как правящей партии. По словам Чан Кайши, теперь Гоминьдан представлял из себя организацию, базирующуюся на «трех народных принципах» Сунь Ятсена, стремящуюся к освобождению Китая и борющуюся против мирового коммунизма. Генералиссимус особо подчеркивал необходимость освободить партию от бюрократизма и коррупции. Он призвал обновлять состав партии за счет молодой интеллигенции, рабочих и крестьян. Уже к 1952 г. почти половина ее членов приходилась на рабочих и крестьян. Принимаются меры для «тайванизации» местных организаций Гоминьдана. Речь шла о расширении участия тайваньцев в местных органах власти. Тем самым Гоминьдан перестал быть партией чиновников и военных. Во многом по аналогии с НОАК в армии вводятся политотделы, куда были направлены политработники от Гоминьдана.

Гоминьдан пошел по пути переоценки своей прежней экономической политики. Партия пыталась избавиться от ее отрицательных социальных последствий, стремясь вернуть себе поддержку хотя бы части населения города и деревни, обладавшего какой-то собственностью. Гоминьдановское руководство обещало отказаться от тоталитарных притязаний в экономике. При всем том партии предстояло прежде всего решить две тесно связанные между собой проблемы — аграрный вопрос и стимулирование частного предпринимательства. Уходя от бывшего курса на тотальное огосударствление хозяйства, Гоминьдан пошел на радикальную трансформацию программных установок. Тем самым партийное руководство, и прежде всего его лидер, продемонстрировало разумную гибкость в сфере идеологии. Чан Кайши вынужден был признать, что своих социальных целей Гоминьдан может достичь, только пройдя через неизбежный этап рыночного, буржуазного развития. Так было положено начало коренным изменениям программных установок партии.

Следует признать, что главным фактором изменения социально-экономической политики Гоминьдана было политическое и экономическое давление США на Гоминьдан. Вашингтон создал военные предпосылки сохранения гоминьдановского режима на Тайване, одновременно стремясь перевести военно-бюрократический режим на буржуазно-демократические рельсы. Предстояло сделать Тайвань своеоб-

разной «витриной» Запада, продемонстрировать возможности капиталистического развития стран «третьего мира». Основная часть американской помощи шла на укрепление обороны острова. Тем не менее эти средства стали важным фактором экономических преобразований. Сама помощь предоставлялась на весьма льготных в финансовом отношении условиях. Более 80% ее шло безвозмездно, остальная часть предоставлялась под невысокие проценты. Вашингтон фактически взял в свои руки контроль за реализацией предоставлявшихся средств. Это резко отличалось от практики 40-х годов, когда Гоминьдан бесконтрольно распоряжался американскими деньгами, а его функционеры в значительной мере разворовывали их.

Первым важным экономическим преобразованием стала аграрная реформа, проводившаяся под прямым американским воздействием. Созданная в 1948 г. Объединенная комиссия по реконструкции сельского хозяйства теперь под контролем американцев получила реальную возможность реформировать тайваньскую деревню.

В мае 1949 г. были строго ограничены размеры арендной платы, которые не могли быть выше 37% годового сбора урожая. Это фактически означало сокращение арендных платежей в два раза. Крестьяне были также освобождены от уплаты накопившейся задолженности арендодателям и ростовщикам. Затем им были проданы земли, находившиеся в руках государства после экспроприации японского колониального землевладения. В 1951 г. 237 тыс. крестьянских семей было продано 110 тыс. га таких земель. В 1953 г. был проведен принудительный выкуп сдававшейся в аренду земли. Это был самый трудный этап земельной реформы. Крупным и средним землевладельцам оставляли не более 3 га поливных земель и 6 га — богарных, стоимость которых оплачивалась государственными облигациями; таким образом было выкуплено 56 тыс. га. Эти земли затем были проданы 107 тыс. крестьянских семей на льготных для них условиях. Земля оценивалась в размере стоимости урожая, полученного с нее за 2,5 года. Выплата производилась в рассрочку на 10 лет. После этой реформы положение в деревне радикально изменилось. Если до начала реформы $\frac{2}{3}$ крестьян были арендаторами, то теперь почти 90% их стали собственниками земли.

Под давлением американцев Гоминьдан стал оказывать крестьянству значительную помощь. Поощрялось создание снабженческо-сбытовых кооперативов, получивших государственную поддержку. Стимулировалось производство экспортных культур. Были предприняты меры по развитию сельской инфраструктуры. Развернулось снабжение деревни химическими удобрениями. Значительные правительственные кредиты способствовали модернизации сельского хозяйства. Сюда же на-

правлялась существенная часть американской помощи. Началась модернизация сельскохозяйственного производства. Все это вело к непрерывному росту продуктивности крестьянских хозяйств. В итоге тайваньская деревня сумела накормить быстро растущее население острова. Аграрный сектор стал производить продукцию, шедшую на экспорт. Реформа обеспечила рост благосостояния сельского населения. Тем самым в лице обновленного крестьянства Гоминьдан получил прочную социальную поддержку своему режиму. Реанимированное сельское хозяйство стало надежным фундаментом общего социально-экономического развития Тайваня в русле общемирового рыночного хозяйства.

Американцы поставили перед Гоминьданом задачу реального поощрения частного предпринимательства. В начале 50-х годов экономическая структура Тайваня принципиально не отличалась от экономической структуры гоминьдановского Китая. Командные экономические высоты — банки, транспорт, внешняя торговля, крупная промышленность — находились в руках государства. Частный капитал был представлен в основном мелким производством. Кроме того, практически не было иностранных инвестиций. В этих условиях американские советники признавали необходимость сохранения государственного контроля над инфраструктурой и немногими отраслями промышленности. Главным же становилось стимулирование частного предпринимательства в большинстве остальных отраслей. При этом речь шла как о национальном, так и иностранном капитале. Была необходима продуманная приватизация государственной собственности. Требовалось создать систему юридических норм и экономических мероприятий, прямо поощрявших частные капиталовложения в промышленность. Американские советники вынудили Гоминьдан к концу 50-х годов признать этот императив.

Для глубокого реформирования экономической структуры острова, для реализации программы реформ была необходима прямая американская экономическая помощь. Именно эта помощь сыграла во многом решающую роль в экономических преобразованиях. За 15 лет (1951–1965) США предоставили Тайваню военную помощь в объеме примерно 2,5 млрд. долл. В эти же годы Гоминьдан получил от Вашингтона примерно 1,5 млрд. долл. в качестве экономической помощи. Фактически $\frac{2}{3}$ ее также составляли военные поставки. В итоге непосредственно на экономические нужды за этот период американцами было предоставлено только около 0,5 млрд. долл. При всем том военная помощь косвенно имела и экономическое значение. Речь идет о строительстве дорог, аэродромов и повышении занятости. Американская помощь и льготные условия ее предоставления сыграли важ-

ную роль в экономическом развитии Тайваня. Это был своего рода «золотой дождь». Американские советники убедили руководство Гоминьдана, что слабость инфраструктуры является «узким» местом в экономическом развитии Тайваня. Этот дефект сдерживал промышленное строительство и приток частных инвестиций, как национальных, так и иностранных. Именно поэтому 80% американской помощи пошли в инфраструктуру, сельское хозяйство и подготовку кадров и только 20% — непосредственно в промышленность. При всем том американцы оказывали систематический нажим на Чан Кайши и его окружение с целью изменения методов хозяйствования. От руководства Гоминьдана американцы требовали сокращения государственного вмешательства в экономику и принятия действенных мер по стимулированию ее частного сектора.

Такого рода всестороннее давление постепенно заставило лидеров Тайваня ускорить перемены в экономической политике. В середине 50-х годов Гоминьдан предоставил некоторые льготы иностранным инвесторам, в особенности китайским эмигрантам (*хуацяо*). Тем не менее эти льготы были незначительными и слабо влияли на положение дел. Тогда США заставили Гоминьдан предпринять новые шаги по либерализации законодательства. С начала 60-х годов иностранным инвесторам предоставлялись более существенные льготы. Затем политика поощрения инвестиций была распространена уже не только на иностранный, но и на национальный капитал. Большие льготы давались промышленным вложениям капитала. Здесь имели место снижение налогов и предоставление общественных земель под промышленную застройку. Передовые отрасли промышленности — электроника и нефтехимия — были зарезервированы за частным предпринимательством.

Гоминьдан был вынужден проводить антиинфляционную политику, включая даже сокращение военных расходов. Последнее позволило стабилизировать курс юаня. Один новый тайваньский юань стал равен одному доллару США. Для средне- и долгосрочного финансирования частного предпринимательства в 1959 г. правительством была создана Корпорация развития Китая. В поддержку частного предпринимательства в 60-е годы корпорация вложила 1,8 млрд. долл. Последнее сыграло важную роль в становлении тайваньского частного бизнеса. Иностранным банкам было разрешено открывать свои представительства на Тайване. Это позволило шире привлечь иностранные капиталы. Среди первых в этом плане оказались ведущие американские банки. В 1965 г. частному национальному и иностранному капиталу были предоставлены новые льготы. Для иностранных инвесторов созданы специальные «зоны экспортного производства». Начался процесс постепенной приватизации государственной собственности. По-

лученные от продажи государственных предприятий средства использовались Гоминьданом и американцами для поощрения частного предпринимательства.

Такого рода новая экономическая политика постепенно выявляла свою экономическую и социальную эффективность. Началось быстрое развитие капитализма. Наиболее активным здесь стал национальный капитал. В промышленности, торговле и сфере услуг число частных предприятий с 1951 по 1964 г. увеличилось с 68 тыс. до 227 тыс. Частные капиталовложения возросли на 1353 млн. долл. Одновременно казенные инвестиции выросли на 1253 млн. долл. В этот период преобладало открытие средних и мелких предприятий. Это стало характерным для промышленного развития Тайваня. В 50-е годы накопление частного капитала еще уступало росту госсектора. Доля частного капитала в валовом ежегодном приросте основного капитала до 1958 г. даже падала. Тем не менее политика его поощрения в конце концов изменила эту тенденцию. Если в 1958 г. доля частного капитала в экономике составляла 41%, то в 1964 г. — уже 72%. Эта тенденция сохранялась и в дальнейшем, определяя лицо тайваньского капитализма.

Первое время иностранные капиталовложения, в том числе и китайских эмигрантов, были незначительны. Иностранный капитал долго пренебрегал тайваньским рынком и на поощрительные мероприятия Гоминьдана реагировал весьма пассивно. Даже в первой половине 60-х годов реакция иностранных инвесторов все еще была слабой. Тем не менее новое законодательство середины 60-х годов и общее улучшение экономической обстановки открыли путь быстрому притоку внешних инвестиций на Тайвань. Вслед за американским сюда все больше устремлялся японский капитал. Кроме того, усилился импорт капитала из Гонконга, Макао и от всей китайской диаспоры (*хуацяо*). Приток иностранных капиталов стал играть заметную роль в развитии радиоэлектроники, химии, металлообработки, в расширении экспортных производств.

Стремительный рост частнокапиталистического сектора пугал Гоминьдан, который и не думал отказываться от государственного регулирования экономики и от развития государственного сектора. Экономические успехи укрепили авторитарную власть. Стабильное политическое положение способствовало проведению активной государственной экономической политики. Последняя стала играть важную роль в социально-экономическом развитии Тайваня. Начиная с 1953 г. Гоминьдан стал составлять и проводить в жизнь четырехлетние планы экономического развития, носившие индикативный характер. Вместе с тем они сочетались с другими рычагами макроэкономического регулирования — налогами, кредитом и таможенными пошлинами. Все это

способствовало успеху социально-экономического курса Гоминьдана, чье руководство сумело правильно учесть природно-экономические условия острова. Здесь большое значение имели скудость природных ресурсов, демографический фактор, возможности накопления и емкость внутреннего рынка. Американские советники и Гоминьдан смогли найти наилучшие пути для осуществления индустриализации. Тем самым прокладывались пути модернизации всей общественно-политической жизни Тайваня.

Первоначально Гоминьдан стремился ориентировать промышленное производство на импортозамещение. Данная задача была решена уже к концу 50-х годов. Внутренний рынок был полностью освоен. Затем произошла переориентация промышленности на работу на экспорт. Обилие рабочей силы при скудности природных ресурсов вынудило делать акцент на развитие производства прежде всего в трудоемких отраслях. Это были быстро развивавшиеся еще на предшествующем этапе текстильная и пищевая промышленность. Дешевизна рабочей силы сделала продукцию тайваньской промышленности конкурентоспособной. К середине 60-х годов разворачивается производство на экспорт уже более капиталоемких отраслей — металлургии, нефтехимии и судостроения. После этого пришла очередь бытовой техники. Затем важнейшей статьёй экспорта стала электроника. Экспорт возрос более чем на 20% в год. Все это стало важнейшим ускорителем всего экономического развития Тайваня. Уже в 1968 г. промышленность по стоимости произведенной продукции впервые обогнала сельское хозяйство. Тем самым задачи индустриализации были решены. Стали реальностью быстрый промышленный рост, успешное развитие земледелия и значительное расширение сферы услуг. В сумме это вело и к постоянному увеличению валового национального продукта примерно на 10% в год. Произошел значительный рост его среднедушевого показателя. К началу 70-х годов Тайвань сделал решительный шаг в сторону победы над «слаборазвитостью». Страна сумела разорвать порочный круг бедности и продолжала движение по восходящей линии развития. Происходил и постепенный рост стоимости рабочей силы, заработной платы рабочих и служащих и рост доходов крестьянства, что вело к сокращению разрыва в уровне доходов между богатыми и бедными. Это стало одной из причин стабильности и устойчивости политического режима Гоминьдана. Ускоренный рост производства и торговли вывел Тайвань на уровень наиболее быстро развивающихся стран Дальнего Востока. В это время заговорили о «тайваньском экономическом чуде». Тайвань был причислен к «новым индустриальным странам». Наряду с Республикой Корея, Гонконгом и Сингапуром его называли «четвертым драконом».

Однако правящий режим по-прежнему строго преследовал любое инакомыслие и не допускал существования оппозиции. Вместе с тем «тайваньское экономическое чудо» создавало социальные предпосылки политических перемен. Вне зависимости от субъективных замыслов лидеров Гоминьдана Тайвань вышел на горизонт политического обновления, все больше втягивался в международное разделение труда, становясь интегральной частью мирового рынка. Именно эта «открытость» стимулировала и экономический рост. В то же время включенность в мирохозяйственные связи ставила тайваньскую экономику в зависимость от всех перепадов мировой конъюнктуры. Экономика Тайваня полностью зависела от импорта нефти. Поэтому разразившийся в 1973 г. нефтяной кризис привел к сокращению спроса на тайваньские товары на мировом рынке. На помощь частному капиталу пришло государство. Начиная с 1974 г. Гоминьдан стал осуществлять программу строительства десятка крупных объектов энергетики, транспорта и тяжелой промышленности. К концу 70-х годов были построены атомная электростанция, новые железные и шоссейные дороги, металлургические предприятия. Гоминьдан продолжал строительство новых объектов, необходимых для более гармоничного развития Тайваня. Все это помогло минимизировать кризисные потери и сохранить высокие темпы экономического развития. В итоге государственное и частное предпринимательство не только конкурировали, но и сотрудничали на благо страны.

Уже на новом качественном уровне продолжают рост и развитие тайваньской экономики в 70–90-х годах. Все это происходило при стабильных почти 10%-ных темпах ежегодного экономического роста. Тайвань продолжал расширять свой экспорт и импорт. В связи с огромным ростом покупательной способности тайваньского населения быстро росло производство потребительских товаров. Благоприятный инвестиционный климат на острове все больше привлекал зарубежных инвесторов. Размер прямых иностранных капиталовложений в 1990 г. уже приближался к 10 млрд. долл. Примерно три четверти этих средств приходилось на зарубежных китайцев. Постоянное превышение экспорта над импортом привело к созданию на Тайване огромных валютных резервов. В 90-х годах они колебались около цифры 100 млрд. долл. и Тайвань делил здесь с Японией первое место в мире. Кроме того, он сам становился активным экспортером инвестиций.

Увеличение душевого размера валового национального продукта более чем до 10 тыс. долл. в 1992 г. означало выход Тайваня на уровень развитых индустриальных стран. Социальная направленность экономической политики позволила избежать усиления социальной диффе-

рениции. Если в 1953 г. соотношение между среднедушевым доходом «верхних» 20% населения (богатые) и «нижних» 20% (бедные) было 15:1, то теперь оно сократилось до 4:1. В этом плане Тайвань достиг одного из наиболее благополучных соотношений в мировом сообществе.

К этому времени остров стал зоной постоянного роста благосостояния, повышения уровня образованности населения, расширения слоя высококвалифицированных рабочих и служащих, а также интенсивного развития частного предпринимательства. Все это создало условия для складывания так называемых новых средних слоев, или «среднего класса», которые являются основой для возникновения элементов гражданского общества. Укрепились союзнические и дружеские отношения с западными демократиями и Японией. США все более настойчиво подталкивали Гоминьдан к политическим реформам. Сама логика мирового развития требовала либерализации политической жизни вслед за становлением свободной экономики. Уступая такому давлению, Гоминьдан вынужден был начать движение в этом направлении. Такому процессу весьма способствовал постепенный отход от политических процессов на Тайване самого Чан Кайши — главного охранителя старых устоев гоминьдановского авторитарного режима на острове. По мере старения генералиссимус и президент стал все решительнее выдвигать на первый план своего сына и наследника Цзян Цзинго, которому полностью доверял. В 1972 г. тот стал председателем исполнительного юаня (правительства). Практически он взял в свои руки всю полноту власти при старом и больном отце. В 1975 г. умер Чан Кайши, и на Тайване начала складываться новая политическая обстановка. В 1978 г. Цзян Цзинго был избран Президентом Китайской Республики. Будучи идейно-политическим лидером Гоминьдана, он был гарантом господства официальной идеологии суньятсенизма, но хранителем не догматическим, а достаточно прагматическим и гибким.

Постепенная смена лидеров Гоминьдана стала временем начала активной деятельности двух оппозиционных сил — сепаратистской оппозиции и оппозиции демократической. Последние как противостояли друг другу, так и переплетались между собой. В последние годы авторитарного режима Чан Кайши постепенно освобождалось некоторое политическое пространство для обеих крыльев оппозиции. Для них расширялись прежде всего возможности журнально-газетной деятельности при ослаблении контроля за прессой. Появлялись издания интеллектуальной оппозиции, некоторые журналы фактически становились центрами консолидации оппозиционных сил. Для оппозиционеров еще более важной сферой деятельности стали местные выборы, а

затем и в Национальное собрание. Местные выборы были уступкой Гоминьдана американцам и другим союзникам за рубежом. Сам режим нуждался в изменении собственного политического имиджа. В борьбе с китайским и мировым коммунизмом Гоминьдан стремился выступать как часть демократического лагеря.

Поскольку Гоминьдан не разрешал оппозиции создать политическую партию, ее представители выступали на местных выборах как «независимые» кандидаты. Во многих случаях им сопутствовал успех. Неуклонной консолидации оппозиционных сил способствовала некоторая либерализация политического режима. Во многом это объяснялось политической терпимостью Цзян Цзинго, понимавшего неизбежность политических перемен, хотя в стране все еще действовал Закон о чрезвычайном положении.

В сентябре 1986 г. группа тайваньских оппозиционных деятелей объявила о создании Демократической прогрессивной партии (ДПП), при этом Цзян Цзинго не прибег к использованию Закона о чрезвычайном положении. В рядах возникшей партии сосуществовали весьма разнородные и пестрые по своему составу элементы, которых в первую очередь объединяло стремление к сохранению независимости Тайваня.

Понимая, что политические реформы уже нельзя далее откладывать, Цзян Цзинго умело подталкивал старое и консервативное руководство Гоминьдана к политической либерализации. В июле 1987 г. было отменено чрезвычайное положение, что принципиально изменило внутривнутриполитическую обстановку на Тайване. ДПП обрела легальный политический статус. Своей предшествующей нелегальной работой она заработала большой авторитет среди коренных тайваньцев и стала основой политической оппозиции. Партия требовала отказа Гоминьдана от монополии на средства массовой информации, освобождения политических заключенных, разделения гоминьдановских партийных и государственных структур и собственного финансирования. По вопросу о независимости Тайваня в партии не было единства. В связи с отменой чрезвычайного положения на острове появилось множество политических партий. Отныне выборы стали происходить на многопартийной основе. Однако только ДПП сумела стать реальной политической оппозицией Гоминьдану. На всех последующих выборах новая партия получала все больше голосов, с успехом деля мандаты с правящей партией.

В этих условиях произошел раскол Гоминьдана, и в августе 1993 г. группа его авторитетных деятелей образовала Китайскую новую партию (Чжунго синьдан). Последние покинули Гоминьдан не столько по идеологическим соображениям, сколько из-за неприятия, как они сами

подчеркивали, политического консерватизма Гоминьдана, разгула коррупции, слабости внутрипартийной демократии. С созданием третьей политической силы не произошло становления двухпартийной системы.

В идеологическом плане Новая партия (НП) противостояла ДПП. Ее создали выходцы с континента, отнюдь не стремившиеся к образованию сепаратного государства. Эти политики выдвигали идею воссоединения Китая в будущем и стремились к развитию разнообразных связей с континентом. В этом они видели предпосылку такого объединения. Став заметной политической силой, Новая партия активно участвовала в местных и парламентских выборах, где она стала серьезным соперником как для ДПП, так и для Гоминьдана. На Тайване стала складываться многопартийная парламентская система, что воздействовало и на положение в самом Гоминьдане — партии «ленинского типа» с претензией на политическую монополию, с жесткой централизацией и идеологическим единомыслием. В такой среде процессы демократизации шли очень медленно. Обновление Гоминьдана начиналось по инициативе Цзян Цзинго, осознававшего необходимость обновления политической стратегии и норм самой внутрипартийной жизни. Цзян Цзинго положил начало омоложению аппарата партии, усилив привлечение в партию и в ее руководство коренных тайваньцев. В Гоминьдане все большую роль стали играть хорошо образованные, вестернизированные молодые технократы. После смерти Цзян Цзинго в 1993 г. Гоминьдан возглавил Ли Дэнхуй, продолжавший развивать эту тенденцию. По его инициативе была введена процедура избрания председателя партии путем тайного голосования. В программных документах Гоминьдан стал определяться не как «революционная» партия, а как «демократическая». Выборы президента Китайской Республики в 1996 г. были проведены путем прямого тайного голосования избирателями Тайваня, большинство их отдали голоса за Ли Дэнхуя. Тем не менее престиж правящей партии постепенно падал.

На президентских выборах 2000 г. Гоминьдан терпит поражение. Президентом Китайской Республики становится кандидат оппозиции Чэнь Шуйбянь. Поражение партии, проявившей инициативу в ускорении политических реформ, символизировало победу процесса демократизации Тайваня. В рамках этого процесса на выборах 2004 г. президентом стал новый лидер Гоминьдана Ма Инцзю. Послереформенное экономическое развитие КНР и Тайваня и политические изменения открыли новые огромные возможности для развития не только экономических, но и культурных и политических контактов через Тайваньский пролив. Их бурное развитие в 80-е и 90-е годы создает принципиально новые объективные предпосылки для объединения Китая.

В 1949 г. на территории Китая образовались два различных государства — Китайская Народная Республика на материке и Китайская Республика на Тайване. С этого момента началось их параллельное существование и своего рода негласное соревнование в русле мирового исторического процесса. Каждое из этих двух государств пошло по своему пути. В результате такого расхождения сложились две разные модели — материковая и островная.

Если материковая модель пошла по пути классовой борьбы, то тайваньская избрала социальный мир. В течение тридцати лет (50–70-е годы) на материке, то обостряясь, то ослабевая, шла классовая борьба. Были уничтожены целые классы — «помещики» (крупные и средние землевладельцы), «кулаки» (мелкие землевладельцы), капиталисты, т.е. буржуазия всех видов. Кроме того, периодически велась борьба в целях ликвидации или «перевоспитания» старой интеллигенции. Вместе с тем в деревне фактически велась борьба с землевладельческим крестьянством, т.е. с той половиной деревенских дворов, которые до 1949 г. владели своей землей. В ходе кооперирования началось изъятие этой земли, а в процессе создания народных коммун она была полностью отнята у этой части крестьян. Все это можно считать разновидностью классовой борьбы. Ее целью стала ликвидация «мелкособственнического» социального слоя в деревне — своего рода мелкого «частника», порождающего мелкого предпринимателя.

В отличие от материковой модели тайваньская оказалась свободной от классовой борьбы. Наоборот, здесь речь шла не об уничтожении «помещиков», а о переводе их из сферы традиционной эксплуатации крестьян-арендаторов в сферу буржуазного предпринимательства. За выкупленные у них «излишки» земли «помещики» получили, по сути дела, оборотный капитал для разного рода предпринимательства. Перестав быть эксплуататорами бедного крестьянства, бывшие «помещики» стали частью буржуазии. Это произошло без классовой борьбы, т.е. в русле буржуазной аграрной реформы. В той же мере не пострадал и тайваньский «кулак». Более того, для остальной части тайваньского крестьянства был открыт сугубо мирный экономический путь превращения в массовый слой такого рода «кулаков» при постепенном рыночном изживании бедности в сельской местности. В равной степени были созданы все условия для становления буржуазных и средних слоев во всех сферах экономики. Перейти на этот путь КНР смогла, только миновав тридцатилетнюю полосу классовой борьбы. За это время страна понесла колоссальные людские, экономические, социальные и цивилизационные потери. Таким образом, на путь общемирового развития материковый Китай по сравнению с Тайванем вышел с опозданием в тридцать лет, заплатив за это непомерную цену.

Специфику материковой модели можно изобразить в виде кривой типа «вверх–вниз–вверх–вниз»: от аграрной реформы — к коллективизации и от нее к восстановлению единоличного крестьянского хозяйства — таково было волнообразное движение деревни на материке с понятным возвращением на исходный уровень 50-х годов. Вместо этого движения «вверх–вниз–вверх» тайваньский вариант социально-экономической перестройки деревни после аграрной реформы знал только поступательное движение вверх, без возвратов и отступлений.

Вариант, разыгранный на «китайском материке», включил в себя мощный фактор «хаоса и смуты». Речь идет о «большом скачке» и о «культурной революции». Следствием их обоих было социально-экономическое падение. Выходом из такого спада становилось восстановление разрушенного, т.е. возврат на исходный уровень. В итоге по завершении каждого этапа «смуты» требовался соответствующий этап «умиротворения». В итоге два десятилетия (с конца 50-х по конец 70-х годов) жизнь в КНР шла по сценарию «хаос–восстановление–смута–восстановление». За это волнообразное движение и за обе «смуты» материковый социум, как уже говорилось, дорого заплатил. Островная модель оказалась избавленной от такого рода испытаний и экспериментов. Тайвань шел в русле движения по восходящей линии, в основном совпадавшего с общемировыми тенденциями. Поэтому, когда в начале 80-х годов КНР наконец-то вышла на ту же стезю, у Тайваня за плечами уже было 30 лет поступательной эволюции на пути к высокому уровню развития.

Когда в 1949 г. возникли два разных китайских государства, то каждое из них в политическом плане являлось азиатской деспотией. На материке этот тип государственности воплощала диктатура компартии, а на острове — Гоминьдана. За истекшие с того момента шесть десятилетий ситуация существенно изменилась. В континентальном Китае режим азиатской деспотии фактически сохранился. Островная же республика эволюционировала в сторону западной модели. С диктатурой Гоминьдана было покончено. На Тайване установилась парламентская демократия. В противовес этому восточная деспотия на материке не только не ослабла, но и обрела «второе дыхание». Создав под своей эгидой обширный и бурно развивающийся капиталистический уклад (в первую очередь в анклавах современной экономики на морском побережье), диктатура компартии подвела под авторитарный режим прочную социально-экономическую базу в крупных городах. Тем самым компартия получила возможностями успехами «городской» экономики уравновешивать нарастающие проблемы деревенского социума.

В процессе становления на Тайване современной капиталистической экономики, социума западного типа и парламентской демократии

островной Китай перешел от восточной модели к западной, от азиатского способа производства к капиталистической общественной формации. Материковый Китай не смог порвать с традиционной моделью азиатского способа производства. Возникновение здесь процветающего предпринимательства не вышло за рамки укладного состояния. Капитализм в КНР не вышел на уровень системного развития и продолжает своими успехами обслуживать старую формацию, т.е. азиатский способ производства с его двумя основными устоями — в деревне и на уровне государственного строя. Основой общественного устройства на материке остается системное господство партийного государства над крестьянской массой. Если в КНР сохранились старая восточная общественная модель и азиатская деспотия (правда, в существенно модифицированных формах), то Тайвань избавился от традиционного наследия — крестьянской бедности, проблемы национальных меньшинств, роста населения, подавления активности буржуазных слоев и др. Для материковой модели эти проблемы все более обостряются, тогда как на острове они практически сошли на нет.

В 1949 г. с победой в очередной крестьянской войне материковый Китай покончил с одним династийно-демографическим и социально-экономическим циклом (Тайпинский) и вступил в новый цикл (Коммунистический), продолжающийся и в настоящее время. Перейдя от азиатского способа производства и восточной деспотии к капитализму, Тайвань тем самым выпал из русла циклической эволюции традиционного типа и перешел на рельсы современного линейного развития.

С начала 80-х годов материковый Китай стал создавать у себя в городах и отчасти в деревне капиталистический уклад. В социально-экономическом плане он стал антиподом полутрадиционному сельскому хозяйству. Капиталистический уклад противостоит дихотомии «государство — податной крестьянин» или «восточная деспотия — сельское население». Тем самым КНР перешла от органического единства полутрадиционной системы к двухукладному образованию «капиталистический городской уклад — традиционный деревенский уклад». Так материковый Китай перешел от монолитной системы азиатского способа производства (в его социалистическом обличье) к многоукладности смешанной системы. На смену старому единообразному социально-экономическому цельному организму пришла бинарная переходная структура «восточная традиционность — уклад западного типа». От строгой системности «китайский материк» перешел к анти-системному состоянию «капитализм — традиционность».

В отличие от КНР Тайвань создал системное единство в рамках достаточно развитой капиталистической общности — как в городе, так и в деревне. В свою очередь, экономика здесь состоит из однородных

и однотипных укладов и секторов. Всем своим функционированием они укрепляют единство тайваньской модели как органической части общемировой капиталистической системы. В последнюю Тайвань включен целиком, тогда как материковая модель, по сути дела, вошла в нее в основном своим капиталистическим укладом.

При всех фундаментальных различиях между материковой и островной моделями есть нечто очень серьезное, что их сближает. Речь идет о великой китайской цивилизации, соединяющей материк и остров воедино. Данный фактор существует «поверх» обоих китайских государств как один из важных побудительных мотивов к их сближению.

Заключение

Традиционные структуры на Востоке крайне устойчивы, но и здесь налицо поступательное движение истории (при элиминировании периодов явного застоя), хотя непосредственное замещение старого новым встречается крайне редко. Выше мы как раз и рассматривали лишь один вид поступательности, когда речь шла о смене старой формации (азиатский способ производства) новой (капитализм). Явная смена модели на Востоке произошла лишь в Японии, Южной Корее, на Тайване и в Сингапуре. В остальных странах Азии вместо победы западной модели возникло длительное сосуществование восточного и западного начал, традиционного и современного на базе их разностороннего синтеза, или симбиоза, т.е. без смены модели. Обычно процесс имеет полосу переходности. Эволюция в русле триады «старое — переходное — новое» является имманентной чертой развития человечества. В сфере переходности новое не столько противостоит старому, сколько на время переплетается с ним. Появляются различные формы взаимозависимости, сочетания и временного слияния этих двух начал. Возникают комбинированные явления, смешанные структуры, переходные формы. На этой почве рождается синтез старого и нового, традиционного и современного. Благодаря этому общественный синтез органически присущ магистральному течению всемирной истории. Такой синтез служит инструментом, методом и ведущей формой переходности. Именно это явление рассматривается в данной книге применительно к Востоку.

За последние десятилетия востоковедами достаточно обстоятельно изучен своеобразный социально-экономический и общественный строй стран Востока (с его политической надстройкой — восточной деспотией). Для определения этого строя применяются различные термины — «восточный феодализм», «государственный феодализм», «азиатский способ производства», «государственный способ производства» и др. При всем различии таких определений всеми учеными подразумевается, по сути, одна и та же сумма отличительных черт. Именно это общее согласие и делает бесполезным и бессмысленным спор о

преимуществах какого-либо одного из этих терминов. Для этого строя характерна повышенная роль государства, его стремление подчинить себе, контролировать *все* стороны жизни общества — от экономики до идеологии и морали. Соответственно ему свойственны жесткая централизация, пирамидальная структура общества и власти, преобладание вертикальных, а не горизонтальных социальных связей, приоритет распределения над свободной торговлей, господство аппарата, засилье бюрократизма, нивелировка личности. Главным смыслом жизни любого человека объявляется служение такому обществу (при подмене понятия «общество» государством).

В первую очередь следует отметить необычайную живучесть азиатского способа производства, его огромные регенерационные возможности. Так, в Китае он успешно продержался — на фоне бесконечной череды сменявшихся династий и «варварских» завоеваний — две с половиной тысячи лет, до 1911–1913 гг. Но и затем — при бэйянских генералах Чан Кайши и Мао Цзэдуне — следовали его мощные рецидивы. Строго говоря, и до сегодняшнего дня Китай далеко еще не выбрался из тесных объятий этого строя.

Но необычайная устойчивость последнего имеет и обратную сторону — его застойность, практически полную несовместимость с динамичным экономическим и социальным развитием. Такой способ производства допускает — и то в известных пределах — лишь экстенсивный рост. Именно в этом глубинная причина нынешней технико-экономической отсталости многих стран Востока.

Неизбежное бюрократическое загнивание периодически приводит эти общества к катаклизмам. «Хирургическое» оздоровление аппарата — замена большей его части (в Китае совпадавшая со сменой династии) — возвращало все на круги своя. Начинался новый циклический виток.

Подлинный кризис азиатского способа производства порождается вызовом чуждой ему динамичной экономической силы. Тогда ставится вопрос о самом его существовании, об объективно сложившейся необходимости перехода к иным социально-экономическим и общественно-политическим структурам. Для Востока это была экономическая экспансия буржуазного Запада, перенесшая на азиатскую почву капиталистические отношения.

Вся историческая практика свидетельствует, что выход из такого кризиса на путях спонтанного, естественного саморазвития невозможен. Для преодоления огромной инерции старого необходимо мощное воздействие сильной центральной власти. Таков исторический парадокс — вырваться из застойности такого «государственного способа производства» можно, только используя в качестве решающего рычага

само же государство (проводящее руками последовательных реформаторов соответствующую политику). Именно так обстояло дело в Южной Корее и на Тайване, именно таким путем был обеспечен их быстрый подъем. На остальном Востоке государственная власть частичную модернизацию стремилась использовать для сохранения и укрепления старых основ, общество на долгие десятилетия застряло на мучительной переходной стадии.

Переходность, межформационный синтез, или симбиоз традиционного и современного, для азиатских правителей являлись средством избежать перехода на западную модель. Вхождение в русло синтеза позволяло «классу-государству» на Востоке сохранять средневековую модель за счет частичных, поверхностных уступок наступлению Запада. Главной из этих уступок стало создание капиталистического уклада в рамках экономики и социума азиатского способа производства. Единичность случаев смены модели и массовый характер межформационного синтеза свидетельствуют об огромных регенерационных возможностях и повышенной устойчивости азиатского способа производства. В этих условиях верх взяла не смена модели, а переходность в развивающихся странах Азии, оставшихся в рамках старой модели.

Развивающиеся общества — носители межцивилизационного синтеза и межформационных фаз эволюции и смены ее различных типов — объект пристального внимания ученых многих стран. Разработка целого комплекса проблем переходности и слаборазвитости лежит в русле фундаментального направления общественных наук. Конкретно речь идет о выявлении формационной специфики развивающихся обществ, т.е. об определении их места в общем потоке мирового исторического развития.

Важным шагом в изучении формационной природы развивающихся обществ стала концепция *синтеза традиционного и современного* как ведущего момента, определяющего своеобразие *переходного состояния* этих обществ.

Синтез — одно из важных понятий общественных наук. Речь идет о своеобразном процессе взаимодействия каких-либо разнородных социально-экономических или политико-идеологических начал, когда наряду с «обычными» явлениями сосуществования, борьбы, вытеснения происходит в определенной мере их переплетение, слияние, образование некой внутренне противоречивой целостности (являющей яркий пример проявления марксистского закона единства и борьбы противоположностей). Синтез в нашем понимании представляет собой и сам процесс, и его конкретные результаты (т.е. те социально-экономические и общественные явления и структуры, которые возникают вследствие переплетения, слияния разнородных начал).

В качестве примера упомянем европейские средневековые цехи. Именно в их недрах, как известно, зародились первые ростки капитализма. В то же время им были присущи многие феодальные по характеру черты, привнесенные окружающей их общественно-социальной средой (различные формы личностной зависимости, жесткая регламентация хозяйственной деятельности и т.п.). Слияние элементов разнородных начал в единый (цеховой) организм было столь прочным, что ликвидация цехов в ходе буржуазной революции стала необходимым элементом становления капиталистической формации.

Синтез захватывает различные явления социально-экономической и общественной жизни. Основной же сферой его распространения являются общества, находящиеся в состоянии переходности — от формации к формации или от одной стадии формации к другой, т.е. происходит межформационный переход.

Учение о формационном развитии человеческого общества заключает в себе два основных пласта. Первый — учение о социально-экономической формации как таковой, т.е. уже сложившемся комплексом, системном и в этом плане законченном состоянии общества. Второй — учение о смене формаций, о переходе от старой формации к новой. Между полным отмиранием одной формации и завершением складывания другой общество переживает сложную, болезненную, а иногда и затяжную эволюцию. В таких переходных фазах мы наблюдаем, во-первых, их органическую принадлежность к единому потоку формационного развития; во-вторых, крайнюю многоликость и сложность переходных структур, их внутреннюю двойственность и противоречивость; в-третьих, факторы, либо влиявшие на ускорение смены формации и соответственно сокращение длительности переходного этапа, либо, наоборот, растягивающие во времени эту болезненную обстановку взаимодействия и временного сращивания старого и нового. Так, при становлении буржуазного общества в Англии — стране первичного капитализма — переворот в общественном способе производства протекал среди пестрого хаоса переходных форм, а экономическая политика государства к концу XVII в. в сочетании с грубейшими насильственными методами была направлена к тому, чтобы ускорить процесс превращения феодального способа производства в капиталистический и сократить его переходные стадии.

Такого рода переходные состояния являлись общественными переворотами, или социальными революциями в широком смысле слова. Эти последние начинаются еще при господстве уходящей формации и завершаются при полном созревании новой. Таким образом, общественные перевороты, или социальные революции в широком смысле слова, являются процессами формационными по своей сущности и

межформационными по форме. Они осуществляются в те критические периоды, когда старое общество уже утратило или все более теряет комплекс формационных черт законченного порядка, а сменяющее общество еще только приобретает (и притом все интенсивнее) ту общественную системность, которая в конце концов позволит ей развернуться в законченную, полноценную формацию.

В эти переходные фазы формационного развития общество характеризуется не только наличием отмирающих и нарождающихся структур, не только их механическим взаимодействием (сосуществование, борьба, вытеснение), но и органическим взаимным приспособлением, взаимопроникновением обоих начал. Такого рода сращивание и переплетение, т.е. синтез старого и нового, представляют собой главную черту переходного периода — формационную неоднородность. Если функционирование уже сложившейся формации в целом являет собой достаточно органическую целостную, т.е. несинтезированную, некомбинированную, систему, то межформационные фазы в той же самой мере отличаются формационно разнородным, комбинированным, синтезированным характером базиса и надстройки. Со вступлением общества в полосу общественного синтеза староформационное начало все более становится традиционным, а идущие ему на смену новоформационные явления, процессы и структуры соответственно — современными.

И традиционное, и современное, будучи неразрывно связанными с типом и уровнем формационного развития, и в переходной фазе в той или иной мере сохраняют формационную определенность. Однако последняя зачастую выявляется в ходе слияния обоих начал и образования их временного синтеза, который по самой своей двойственной сути уже не несет в себе строгой формационной чистоты. Он становится явлением в известном смысле межформационным — например, феодально-буржуазным или буржуазно-феодальным — в зависимости от того, какое из двух начал образует сущность, а какое — форму.

Таким образом, переходность порождает временное сосуществование разноформационных компонентов, а также явлений, возникших в результате взаимопроникновения, слияния двух формационных начал. Подобное слияние представляет собой связующий потенциал их временной неразрывности, а внутри нее — еще и потенциал конфликтности. Одновременно все эти антагонистические компоненты и сложившиеся на их стыке синтезированные явления соединяются общностью более высокого порядка — живым, функционирующим социумом, обществом.

Межформационный синтез представляет собой антагонистическое единство, или временный общественный компромисс нарождающихся

и отмирающих разноформационных структур, процессов и явлений, в результате чего параллельно трансформируются как старое, так и новое. Синтез, будучи результатом диалектики исторического развития общества, выступает как одна из форм существования и эволюции переходного социума, комбинированной экономики и трансформированной надстройки в переходный период. В этом смысле общественный синтез — одно из средств или русел поступательного процесса всемирной истории. Необходимо выделить два важнейших момента: синтез — не застывшая формула, а историческое движение; компоненты синтеза находятся в антагонистическом единстве.

В течение переходных периодов элементы старого и нового временно синтезируются в виде особой общественной структуры с присущими ей закономерностями развития. Следует различать два основных пути перехода к новой формации: спонтанный, на внутренней основе; и невозможный без воздействия извне. Суть второго пути заключается во взаимодействии и конечном слиянии (синтезе) прогрессивных элементов, возникающих еще в недрах отмирающей формации на основе ее разложения, с внешними элементами, появившимися в радикально отличных общественно-экономических условиях. Суть этого процесса — переход к новой формации на основе взаимодействия данного общества с внешней средой.

При этом следует подчеркнуть еще один крайне важный аспект нашей темы: своеобразие межформационного синтеза в странах Востока.

Для стран Европы синтез традиционного и современного представляет собой продукт такого межформационного взаимодействия, когда обе формации по-своему ущербны: старая уже теряет свою целостность общественной системы, а новая ее еще не приобрела. Иными словами, синтез там был естественным результатом общественного саморазвития, т.е. носил гомогенный характер.

Существенно иным был данный процесс на Востоке, где формационная смена была вызвана или резко ускорена внешним воздействием. Синтез там являлся результатом воздействия уже сложившейся и достаточно «здоровой» новой формации (мировой капитализм) на старую, но еще далекую от внутреннего разложения, т.е. пока вполне жизнеспособную формацию. В результате по мере утверждения колониализма «почвенное» формационное развитие восточных обществ начинает насильственно укладываться в прокрустово ложе колониально-буржуазного развития. Восток утрачивает историческую инициативу и динамику саморазвития. Часть традиционных структур начинает трансформироваться и вовлекаться в колониальный синтез — своеобразное разделение труда в рамках системы «метрополия — колония».

При наложении процессов буржуазного развития Запада на ход традиционного воспроизводства стран Востока возникает сложная система международного и межформационного взаимодействия. Последнюю можно определить как колониальный синтез. В результате этого проблему переходных периодов на Востоке надо рассматривать в двух диалектически переплетенных аспектах: национально-колониальном и собственно формационном.

Все указанные моменты заставляют выделить особую категорию синтеза, свойственную странам Востока и отличную в ряде существенных моментов от европейских образцов (гомогенность), — гетерогенный синтез.

Впервые проблему синтеза традиционного и современного применительно к колониальному периоду в Азии поставил Н.А. Симония в своей книге «Страны Востока: пути развития». Затем он развил ее в других своих работах. Важнейшим этапом изучения этой проблемы послужила коллективная монография «Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного» под редакцией Л.И. Рейснера и Н.А. Симонии.

Исторический синтез дает возможность преодолевать тупиковые, изжившие себя во всемирно-историческом масштабе социально-экономические и социально-политические отношения старого общественного строя и сохранять при этом ценнейшие, необходимые для дальнейшего продвижения накопления предшествующей формации.

В синтезе на Востоке — явлении более сложном и многогранном, нежели межформационный синтез в Европе, — достаточно четко вычленяются три уровня. Первый уровень — глобальный (капиталистический Запад — традиционный Восток или какая-либо его часть, конкретная страна). Второй уровень — локально-страновой (становление и развитие сложной системы, объединявшей в рамках общества структуры и явления традиционного типа, современные, привнесенные извне, и синтезированные, с пышным шлейфом разного рода переходных — к синтезированным — форм). Третий уровень — это синтез на уровне конкретных социально-экономических и социально-общественных явлений и институтов (сдвиги в традиционном под влиянием современного, сдвиги в современном под влиянием традиционного, возникновение и развитие синтезированных и переходных к ним форм).

В Азии периода колониализма развитие локально-странового синтеза происходило в лоне синтеза глобального, представленного в колониально-капиталистической системе в целом. Такой синтез был продуктом действия глобальных факторов буржуазной формации, преломляемых и воспринимаемых социальной средой восточных об-

шеств. Произошло становление синтеза в его двух связанных между собой, но достаточно автономных формах бытия: внутривосточной (локальной) и глобальной (универсальной). Образование глобального синтеза в Новое время послужило отправной точкой для формирования в дальнейшем внутреннего синтеза в обществах Востока.

С одной стороны, речь идет о сосуществовании бок о бок чисто традиционного и чисто современного, а с другой стороны, об их синтезе, т.е. компромиссной сочлененности, сцепленности и взаимодействии. Поэтому для этой группы стран необходимы соответствующие переходные модели синтезированного характера.

Синтез в промышленности и других отраслях хозяйства коренился в самой невозможности быстрого и широкого преобразования старых и низших форм производства. Он превращается в ведущее направление колониально-капиталистического и зависимого развития. Причем порой новые, современные процессы и явления принимают традиционную, привычную, более приемлемую для местной окружающей социальной среды форму и оболочку. Возникал синтез иностранного предпринимательства (собственность, новые технологии, высшие управленческие кадры) и местной наемной рабочей силы. Фактически картину третьего уровня синтеза дает китайская фабрика, где имели место не только капиталистическое производство, но и «китаизация» капитализма. Последняя выразилась, в частности, в привнесении даже в фабрично-заводскую сферу (в том числе и на иностранные предприятия) примитивных методов эксплуатации (система «старшинок», контрактация девушек и т.п.). Тем самым капиталистическому хозяйствованию придавались жесткие средневековые черты, столь бросающиеся в глаза европейцам.

В принципе общественный синтез представляет собой не застой, а движение. В ранней стадии переходного периода он существенно отличается от того, чем становится на завершающей стадии. И в первой, и во второй фазе переходное общество — это общество, состоящее из структурных элементов и умирающего традиционного, и утверждающегося современного. Современное пробивает себе дорогу и укореняется в синтезированной системе постепенно и поэтапно, заставляя традиционность медленно отступать на периферию самих восточных обществ.

Отметим, наконец, еще один важный момент. Различия между цивилизациями Запада и Востока, как известно, весьма значительны (что является одним из существеннейших выражений неодинаковости социально-генетического «кода» и социоисторического типа породивших их обществ). И синтез на Востоке, вызванный к жизни воздействием Запада, был поэтому не только межформационным, но и межцивилизационным.

Подход с позиций синтеза помогает изжить представления об исторической эволюции Востока как экзотически окрашенного повторения западноевропейского варианта развития. В равной мере это относится и к подгонке реальностей Востока под классическую модель формационного плана или даже только под зрелые стадии классической модели. Вступление Востока в новейшую историю закономерно поставило вопрос о том, каким встретил он начало революционной эпохи, насколько его переходное общество было подготовлено для подключения к общемировому развитию в принципиально новых условиях.

Иными словами, обращение к проблемам синтеза — это и один из участков острой научной дискуссии с различными трактовками особенностей развития обществ Востока. Речь идет о теориях «догоняющего развития», «модернизации» (или «вестернизации») по японскому, тайваньскому или южнокорейскому образцам, концепциях «смешанных моделей», «дуализма», «плюрализма», а также их промежуточных вариантах.

Разработка проблем общественного синтеза важна и с точки зрения специфики Востока, изучение которой помогает понять характер социально-экономической и политико-идеологической эволюции развивающихся обществ, природу их формационного развития.

В данной работе типология азиатских обществ нами рассматривается в рамках дихотомии «Запад–Восток», т.е. в русле компаративистики. При всем том из понятия «Запад» по сути исключаются славянские и неславянские страны к востоку от Финляндии, Прибалтики, Польши, Чехии и Венгрии. Таким образом, из сферы типологического анализа и проблемы общественного синтеза выпадает вся Восточная Европа, и в первую очередь Россия. А между тем в период социализма советская система оказала большое воздействие на трансформацию китайской, вьетнамской и степной моделей. В этой лакуне заключается явный недостаток нашей постановки проблем в рамках дихотомии «Запад–Восток». Надеемся, что последующие исследования историков, экономистов, социологов и культурологов восполнят этот пробел.

Говоря о типологии азиатских обществ, следует подчеркнуть следующее. Предлагаемый нами подход к решению вопроса (или спора) о формационной природе традиционного Востока основан на расщеплении последнего на региональные и страновые модели. Таким образом, речь идет не об упрощении, а об усложнении подхода. Применение метода деления якобы единой Азии на типологические составляющие дает следующую картину. Вместо Востока как монолита мы имеем сумму разновеликих и разнородных по своим характеристикам сегментов. Если одни страны и регионы породили феодальную общественную систему (Япония и во многом Индия), то другие являлись

примером азиатского способа производства (Китай, Корея, Вьетнам). Таким образом, в рамках традиционной Азии в Средневековье сложилась дихотомия «западная (т.е. феодальная) модель — восточная модель (т.е. азиатский способ производства)». Средневековый Восток и в Новое время был разнородным не только в чисто типологическом, но и в формационном отношении. Японская и китайская модели являлись как в формационном, так и в типологическом плане антиподами. Между этими противоположными полюсами располагались арабо-османская, малайская и индокитайско-яванская модели. В этих зонах традиционное общество сочетало в себе промежуточные, стертые признаки, лишь частично сходные с основополагающими чертами индийской и китайской моделей. Если Япония являлась «островком» феодального Запада, то Китай был «материком» азиатского способа производства. Остальные модели выступали как особый «архипелаг» со смешанными признаками разного рода формационных и типологических начал. На периферии этой сложной общеазиатской системы находилась степная модель. В итоге традиционный Восток в Средневековье и Новое время предстает как крайне сложное образование. Здесь мы имеем не только сумму типологических моделей, но и комплекс нескольких цивилизаций. Кроме того, сочетание различных формационных, типологических и цивилизационных блоков отливалось в своеобразное противостояние западного и восточного начал в рамках самого традиционного Востока. Все это ставит под сомнение подход к средневековому Востоку как к некоему монолиту. Вместо целостного организма мы имеем конгломерат различных обществ. В рамках его помимо формационной неоднородности сложилось несколько типологически несходных моделей традиционного общества.

Метод «расщепления» средневекового Востока на различные типологические модели позволяет спор о формационной природе традиционной Азии перевести в иную плоскость и выработать новые подходы к решению данной проблемы. В частности, открывается возможность анализа сочетания типологического подхода с цивилизационной концепцией при соотнесении соответствующей модели общества с ее специфической культурой.

Применение типологического подхода и анализ природы традиционного Востока по региональным и страновым моделям снижает и частично снимает остроту давнишнего спора между сторонниками теории «восточного феодализма» и приверженцами концепции азиатского способа производства. Дело в том, что обе эти формации уже присутствуют внутри того конгломерата типов, моделей и форм, коим являлся Восток в Средние века и Новое время. Кроме того, все промежуточные модели, т.е. находившиеся как бы между феодальной Япо-

нией и «азиатским» Китаем, несли в себе те или иные сочетания азиатского способа производства и феодализма, но уже в ослабленных, стертых и специфических формах, в их региональных и страновых модификациях.

Тем самым в недрах средневекового Востока зародилась и окрепла собственная феодальная (западная) модель (Япония и частично Индия). Уже одно это говорит о единстве исторического процесса. Последнее условно объединяет между собой Запад и Восток. При всем том существование с глубокой древности двух типов эволюции (европейской и азиатской) ставит этот тезис о единстве под вопрос. Противостояние «Восток–Запад» проходит через Древность, Средневековье и Новое время. Все это свидетельствует не только о единстве, но и о дуализме исторического процесса. Всемирная эволюция одновременно и едина, и двуедина, т.е. разобщена. Тем самым мировой исторический поток являет собой сумму разнородных типологических моделей. Одна из них — западного, другие — восточного типа, третьи имеют смешанные характеристики и представляют собой синтез, или симбиоз первых двух типов.

В Древности большинство моделей оставались разобщенными, а в Средневековье — крайне слабо связанными между собой. В Новое время наступает эра их реального взаимодействия — чаще всего на путях синтеза, или симбиоза. Тем самым история становится всемирной, т.е. сферой реального взаимодействия типологически и формационно разных моделей. В Древности и Средневековье ткань всемирной истории представляла собой некую сумму самостоятельных и изолированных друг от друга моделей. В Новое время этот конгломерат постепенно превращается в систему всемирного масштаба. Здесь разнородные типологические модели уже взаимосвязаны и взаимодействуют между собой. В Новейшее время эта система образует органическое единство. Здесь разнородные модели уже не просто взаимодействуют между собой, но и переходят одна в другую. Наиболее яркими примерами смены модели служат «азиатские драконы» (Южная Корея, Тайвань и Сингапур, прежде, до воссоединения с КНР, в их число включался и Гонконг). Для этих трех «драконов» смена модели сочеталась со сменой формации (традиционное общество — капитализм), проходя через стадию колониализма (японского и английского) в качестве подготовительного этапа. Таким образом, исторический процесс развивался как смена фаз существования типологических моделей «физическая разобщенность — механическая системность — органическая общность». Это был путь прогресса, т.е. движения вперед и вверх с выходом из исходного застоя, пребывая в азиатской части дихотомии «Восток–Запад».

Вместе с тем абсолютное большинство древних и средневековых обществ возникало и функционировало в рамках азиатского способа производства. Именно последний претендует на роль общемировой нормы. Тем самым античный Запад (Греция и Рим), а затем и западно-европейский (и японский) феодализм оказываются отклонениями от нормы, т.е. являются боковой ветвью древа мировой истории. Впрочем, здесь нет смысла спорить о том, какой тип (западный или восточный) считать эталоном. При различных подходах как европейская, так и азиатская ветвь типологического древа может считаться образцом, т.е. быть принятой за точку отсчета. С учетом территориального охвата, демографического потенциала и иных количественных показателей, а также продолжительности существования азиатский способ производства выступал как норма. Как следствие «европейский способ производства» (Античность и феодализм) оказывается аномалией, т.е. отклонением от нормы. На самом же деле спор о том, что служит нормой, а что аномалией, может быть продуктивным лишь при определенных условиях. Одним из них является применение типологического подхода к этому вопросу, которое может перевести данный спор на почву реальности.

Литература

І. Общие вопросы

- Alaica. Сборник научных трудов российских востоковедов, подготовленный к 70-летию Л.Б. Алаева. М., 2004.
- Алаев Л.Б.* Формационное развитие стран Востока на рубеже Нового времени. — История Востока. Т. III. Восток на рубеже средневековья и Нового времени. XVI–XVIII вв. М., 1998.
- Алаев Л.Б.* История Востока. Первобытная эпоха. Древность. Средние века. Новое время. М., 2007.
- Буржуазия и социальная эволюция стран зарубежного Востока. М., 1985.
- Васильев Л.С.* История Востока. Т. 1–2. М., 2005.
- Васильев Л.С.* История религий Востока (религиозно-культурные традиции и общество). М., 1988.
- Васильев Л.С.* Что такое «азиатский» способ производства? — НАА. 1988. № 3. Восток как предмет экономических исследований. М., 2008.
- Генезис капитализма в промышленности и сельском хозяйстве. М., 1965.
- «Геном Востока»: опыты и междисциплинарные возможности. Материалы к научной конференции. М., 2004.
- Гордон А.В.* Крестьянство Востока: исторический субъект, культурная традиция, социальная особенность. М., 1989.
- Город в формационном развитии стран Востока. М., 1990.
- Государство в докапиталистических обществах Азии. М., 1987.
- Гуревич Н.М.* Товарно-денежные отношения и сельское хозяйство стран Азии в колониальную эпоху. М., 1998.
- Ерасов Б.С.* Цивилизации. Универсалии и самобытность. М., 2002.
- Зарубежный Восток: вопросы экономической истории. М., 1986.
- Илюшечкин В.П.* Проблемы формационной характеристики сословно-классовых обществ. М., 1986.
- Историография стран Востока (проблемы феодализма). М., 1977.
- Исторические факторы общественного воспроизводства в странах Востока. М., 1986.
- История Востока. Т. II. Восток в Средние века. М., 1995.
- История Востока. Т. III. Восток на рубеже Средневековья и Нового времени. XVI–XVIII вв. М., 1998.
- История Востока. Т. IV. Восток в Новое время (конец XVIII — начало XX в.). Кн. 1–2. М., 2004–2005.
- История народов Восточной и Центральной Азии с древнейших времен до наших дней. М., 1986.
- История стран Азии и Африки в Средние века. Ч. I–II. М., 1987.

- История стран зарубежной Азии в Средние века. М., 1970.
- Качановский Ю.В.* Рабовладение, феодализм или азиатский способ производства? Спор об общественном строе древнего и средневекового Востока, доколониальной Африки и доколумбовой Америки. М., 1971.
- Классы и сословия в докапиталистических обществах Азии. Проблема социальной мобильности. М., 1986.
- Количественные методы в изучении истории стран Востока. М., 1986.
- Коротаев А.В.* Социальная эволюция: факторы, закономерности, тенденции. М., 2003.
- Коротаев А.В., Малков А.С., Халтурина Д.А.* Законы истории. Математическое моделирование исторических макропроцессов. Демография, экономика, войны. М., 2005.
- Московское востоковедение. Очерки, исследования, разработки. М., 1997.
- Новая история стран Азии (вторая половина XIX — начало XX в.). Учебное пособие для самостоятельной работы студентов вузов. М., 1995.
- Новая история стран Азии и Африки. XVI—XIX века. Ч. 1. М., 2004.
- Общее и особенное в историческом развитии стран Востока: материалы дискуссии об общественных формациях на Востоке (азиатский способ производства). М., 1966.
- Общественные движения и их идеология в добуржуазных обществах Азии. М., 1988.
- Пантин В.И.* Циклы и ритмы истории. Рязань, 1996.
- Петров А.М.* Великий шелковый путь. О самом простом, но мало известном. М., 1995.
- Политическая интрига на Востоке. М., 2000.
- Поршнев Б.Ф.* Очерк политической экономики феодализма. М., 1956.
- Проблемы докапиталистических обществ в странах Востока. М., 1971.
- Проблемы истории докапиталистических обществ. Кн. 1. М., 1968.
- Проблемы социально-экономических формаций: историко-типологические исследования. М., 1975.
- Проблемы социальной истории крестьянства Азии. Вып. 1, 2. М., 1986, 1988.
- Рабство в странах Востока в Средние века. М., 1986.
- Рейснер Л.И.* Цивилизация и способ общения. М., 1993.
- Седов Л.А.* К типологизации средневековых общественных систем Востока (попытка системного подхода). — НАА. 1987. № 5.
- Смит А.* Исследование о природе и причинах богатства народов. М., 1962.
- Социальные группы традиционных обществ Востока. Ч. 1–2. М., 1982.
- Средневековый Восток: История, культура, источниковедение. М., 1980.
- Типы общественных отношений на Востоке в Средние века. М., 1982.
- Тойнби А.Дж.* Постигание истории. М., 1991.
- Феномен восточного деспотизма. Структура управления и власти. М., 1993.
- Хрестоматия по истории Востока. Ч. 1–2. М., 1980.
- Частная собственность на Востоке. М., 1998.
- Чистозвонов А.Н.* Генезис капитализма: проблемы методологии. М., 1985.
- Экономическая история: проблемы и исследования. М., 1987.
- Ясперс К.* Смысл и значение истории. М., 1991.

II. Проблема «Запад–Восток»

- Алаев Л.Б.* Восток в мировой типологии феодализма. Восточный феодализм. — История Востока. Т. III. Восток в средние века. М., 1995.
- Века неравной борьбы. М., 1967.
- Возникновение капитализма в промышленности и сельском хозяйстве стран Европы, Азии и Америки. М., 1968.
- Всемирная история и Восток. М., 1989.
- Глобализация и поиски национальной идентичности в странах Востока. Учебное пособие. М., 1999.
- Жуков Е.М., Барг М.А., Черняк Е.Б., Павлов В.И.* Теоретические проблемы всемирно-исторического процесса. М., 1979.
- Зарин В.А.* Запад и Восток в мировой истории XIV–XIX вв. М., 1991.
- Иванов Н.А.* Всеобщая история. Курс лекций. М., 2005.
- Конрад Н.И.* Запад и Восток. М., 1972.
- Конрад Н.И.* Избранные труды. История. М., 1974.
- Кульпин Э.С.* Бифуркация Запад–Восток. Введение в социоестественную историю. М., 1996.
- Левин З.И.* Развитие общественной мысли на Востоке. Колониальный период. XIX–XX вв. М., 1993.
- Мак-Нил У.* Восхождение Запада: история человеческого сообщества. Киев, М., 2004.
- Мельянцева В.А.* Восток и Запад во втором тысячелетии: экономика, история и современность. М., 1996.
- Можейко И.В.* 1185 год (Восток — Запад). М., 1989.
- Никифоров В.Н.* Восток и всемирная история. М., 1977.
- О генезисе капитализма в странах Востока (XV–XVI вв.). М., 1962.
- Онищук С.В.* Исторические типы общественного производства: политэкономия мирового исторического процесса. М., 1995.
- Петров А.М.* Запад — Восток: Из истории идей и вещей. Очерки. М., 1996.
- Проблемы генезиса капитализма. М., 1970.
- Проблемы генезиса капитализма. М., 1979.
- Проблемы социально-экономических формаций. Историко-типологическое исследование. М., 1975.
- Симония Н.А.* Страны Востока: пути развития. М., 1975.
- Славный Б.И.* Немарксистская политэкономия о проблемах отсталости и зависимости в развивающемся мире. М., 1982.
- Сравнительное изучение цивилизаций мира (междисциплинарный подход). М., 2000.
- Хазанов А.М.* Португалия и мусульманский мир (XV–XVI вв.). М., 2003.
- Широков Г.К.* Восток: Панорама новейшего времени. Избранные научные труды. М., 2003.
- Широков Г.К.* Социально-экономическая эволюция: Запад–Восток. М., 1999.
- Эволюция восточных обществ: синтез традиционного и современного. М., 1984.

III. Арабо-османская модель

- Аграрный строй Османской империи XV–XVII вв. Документы и материалы. Составление, перевод и комментарии А.С. Тверитиновой. М., 1963.
- Апродов В.А.* Тысячелетие Восточного Магриба. М., 1976.

- Арунова М.Р., Ашрафян К.З.* Государство Надир-шаха Афшара (Очерки общественных отношений в Иране 30–40-х годов XVIII века). М., 1958.
- Аши Ж.* Очерки марокканской истории. М., 1982.
- Беляев Е.А.* Арабы, ислам и арабский халифат в раннее Средневековье. М., 1965.
- Ближний и Средний Восток. Товарно-денежные отношения при феодализме. М., 1980.
- Большаков О.Г.* История халифата. Т. 1. Ислам в Аравии. М., 1989; Т. 2. Эпоха великих завоеваний. М., 1993; Т. 3. Между двух гражданских войн. М., 1998.
- Большаков О.Г.* Средневековый город Ближнего Востока (VII — середина XIII в.). Социально-экономические отношения. М., 2001.
- Видясова М.Ф.* Социальные структуры доколониального Магриба: Генезис и типология. М., 1987.
- Витол А.* Османская империя (начало XVIII в.). М., 1987.
- Гасратян М.А., Орешкова С.Ф., Петросян Ю.А.* Очерки истории Турции. М., 1983.
- Государственная власть и общественно-политические структуры в арабских странах. История и современность. М., 1984.
- Дулина Н.А.* Танзимат и Мустафа Решид-паша. М., 1980.
- Духовенство и политическая жизнь на Ближнем и Среднем Востоке в период феодализма. М., 1985.
- Еремеев Д.Е., Мейер М.С.* История Турции в Средние века и Новое время. М., 1992.
- Жданов Н.В.* Исламская концепция миропорядка. М., 2003.
- Жюльен Ш.А.* История Северной Африки: Тунис, Алжир, Марокко. От арабского завоевания до 1830 года. Т. 1–2. М., 1961.
- Иванов С.М.* Турецкая модель развития: Запад на Востоке и Восток на Западе. — Экономика развивающихся стран. Сб. статей памяти В.А. Яшкина. М., 2004.
- Иванов Н.А.* Османское завоевание арабских стран 1516–1574. М., 2001.
- Иванов Н.А.* Труды по истории исламского мира. М., 2008.
- Ислам. Религия, общество, государство. М., 1984.
- Ислам в истории народов Востока. М., 1981.
- История и экономика стран Арабского Востока. М., 1973.
- История Ирана. М., 1977.
- История Ирана с древнейших времен до конца XVIII века. Л., 1958.
- Книга законов султана Селима I. Публикация текста, перевод, терминологический комментарий и предисловие А.С. Тверитиновой. М., 1969.
- Колесников А.И.* Завоевание Ирана арабами (Иран при «праведных» халифах). М., 1982.
- Кузнецова Н.А.* Иран в первой половине XIX в. М., 1983.
- Курпалидис Г.М.* Государство Великих сельджукидов: официальные документы об административном управлении и социально-экономических отношениях. М., 1992.
- Маркарян С.А.* Сельджуки в Иране XI века. Саратов, 1991.
- Мейер М.С.* Османская империя в XVIII в.: Черты структурного кризиса. М., 1991.
- Мусульманский мир: 950–1150. М., 1981.
- Новичев А.Д.* История Турции. Т. 1. Л., 1963.
- Османская империя: государственная власть и социально-политическая структура. М., 1990.

- Османская империя: система государственного управления, социальные и этно-религиозные проблемы. М., 1986.
- Петросян Ю.А.* Османская империя: могущество и гибель. Исторические очерки. М., 1990.
- Петрушевский И.П.* Земледелие и аграрные отношения в Иране XIII–XIV веков. М., 1960.
- Пиотровский М.Б.* Южная Аравия в раннее средневековье: Становление средневекового общества. М., 1985.
- Прозоров С.М.* Ислам как идеологическая система. М., 2004.
- Прошин Н.И.* История Ливии в новое время (середина XVI — начало XX в.). М., 1981.
- Семенова Л.А.* Из истории фатимидского Египта. М., 1984.
- Семенова Л.А.* Салах ад-Дин и мамлюки в Египте. М., 1966.
- Смилянская И.М.* Социально-экономическая структура стран Ближнего Востока на рубеже Нового времени (на материалах Сирии, Ливана, Палестины). М., 1979.
- Степаняню М.Т.* Ислам в философской и общественной мысли зарубежного Востока (XIX–XX вв.). М., 1974.
- Степаняню М.Т.* Мусульманские концепции в философии и политике (XIX–XX вв.). М., 1982.
- Строева Л.В.* Государство исмаилитов в Иране в XI–XIII вв. М., 1978.
- Товарно-денежные отношения на Ближнем и Среднем Востоке в эпоху средневековья. М., 1976.
- Фадеева И.Л.* Мидхат-паша, жизнь и деятельность. М., 1977.
- Фадеева И.Л.* Официальные доктрины в идеологии и политике Османской империи (османизм — панисламизм): XIX — начало XX века. М., 1985.
- Фадеева И.Л.* Концепция власти на Ближнем Востоке. М., 1993.
- Фильштинский И.М.* История арабов и Халифата (750–1517 гг.). М., 2001.
- Формы феодальной земельной собственности и владения на Ближнем и Среднем Востоке. М., 1979.
- Хрестоматия по истории Халифата. М., 1968.
- Хрестоматия по средневековой арабской истории. М., 1977.

IV. Китайская модель

- Бокщанин А.А.* Императорский Китай в начале XV века. Внутренняя политика. М., 1976.
- Бокщанин А.А.* Современные историки КНР о проблемах феодализма в Китае. М., 1998.
- Ванин Ю.В.* Аграрный строй феодальной Кореи. XV–XVI вв. М., 1981.
- Ванин Ю.В.* Экономическое развитие Кореи в XVII–XVIII веках. М., 1968.
- Васильев Л.С.* Проблемы генезиса китайского государства (формирование основ социальной структуры и политической администрации). М., 1983.
- Волков С.В.* Служилые слои на традиционном Дальнем Востоке. М., 1999.
- Волков С.В.* Чиновничество и аристократия в ранней истории Кореи. М., 1987.
- Дацьшен В.Г.* Новая история Китая. Учебное пособие. Красноярск. 2003.
- Илющечкин В.П.* Крестьянская война тайпинов. М., 1967.
- Илющечкин В.П.* Сословно-классовое общество в истории Китая (опыт системно-структурного анализа). М., 1986.

- История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. М., 1998.
- История Китая с древнейших времен до наших дней. М., 1974.
- История Кореи. Сеул, 1995.
- История Кореи (новое прочтение). Под ред. А.В. Торкунова. М., 2003.
- Итс Р.Ф., Смолин Г.Я.* Очерки истории Китая. Л., 1961.
- Карнеев А.Н., Козырев В.А., Писарев А.А.* Власть и деревня в республиканском Китае (1911–1949). М., 2005.
- Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В.* Китайский этнос в средние века. М., 1984.
- Крюков М.В., Малявин В.В., Софронов М.В.* Этническая история китайцев на рубеже средневековья и нового времени. М., 1987.
- Кульпин Э.С.* Человек и природа в Китае. М., 1990.
- Кычанов Е.И.* Основы средневекового китайского права. М., 1986.
- Лапина З.Г.* Политическая борьба в средневековом Китае. М., 1970.
- Лапина З.Г.* Учение об управлении государством в средневековом Китае. М., 1985.
- Малявин В.В.* Китайская цивилизация. М., 2003.
- Маньчжурское владычество в Китае. М., 1966.
- Материалы по экономической истории Китая в раннее средневековье. М., 1980.
- Мугрузин А.С.* Аграрно-крестьянская проблема в Китае в первой половине XX века. М., 1994.
- Непомнин О.Е.* История Китая. Эпоха Цин XVII — начало XX в. М., 2005.
- Непомнин О.Е.* Социально-экономическая история Китая. 1894–1914. М., 1980.
- Непомнин О.Е.* Экономическая история Китая (1864–1894). М., 1958.
- Непомнин О.Е., Меньшиков В.Б.* Синтез в переходном обществе: Китай на грани эпох. М., 1999.
- Новая история Китая. Под ред. С.Л. Тихвинского. М., 1972.
- Очерки истории Китая. Под ред. Шан Юэ. М., 1959.
- Пак М.Н.* История и историография Кореи. Избранные труды. М., 2003.
- Попова И.Ф.* Политическая практика и идеология раннетанского Китая. М., 1999.
- Свистунова Н.П.* Аграрная политика минского правительства во второй половине XIV в. М., 1966.
- Симоновская Л.В.* Антифеодальная борьба китайских крестьян в XVII веке. М., 1966.
- Смолин Г.Я.* Антифеодальные восстания в Китае второй половины X — первой четверти XII в. М., 1974.
- Социальная структура Китая. XIX — первая половина XX в. М., 1990.
- Стужина Э.П.* Китайский город XI–XIII вв.: экономическая и социальная жизнь. М., 1979.
- Стужина Э.П.* Китайское ремесло в XVI–XVII вв. М., 1970.
- Тайные общества в старом Китае. М., 1970.
- Тихвинский С.Л.* Движение за реформы в Китае в конце XIX в. М., 1980.
- Тихвинский С.Л.* Китай и всемирная история. М., 1988.
- Тюрин А.Ю.* Формирование феодально-зависимого крестьянства в Китае III–VIII вв. М., 1980.
- Тягай Г.Д.* Очерк истории Кореи во второй половине XIX в. М., 1960.
- Тягай Г.Д.* Общественная мысль Кореи в эпоху позднего феодализма. М., 1971.
- Тяпкина Н.И.* Деревня и крестьянство в социально-политической системе Китая (вторая половина XIX — XX в.). М., 1984.

Фомина Н.И. Борьба против Цинов на Юго-Востоке Китая. Середина XVII в. М., 1974.

Хрестоматия по истории Китая в Средние века. М., 1960.

Шан Юэ. Очерки истории Китая (с древности до «опиумных» войн). М., 1959.

V. Японская модель

Бенедикт Р.Х. Хризантема и меч. Модели японской культуры. СПб., 2004.

Воробьев М.В. Япония в III–VII вв. Этнос, общество, культура и окружающий мир. М., 1980.

Гальперин А.Л. Очерки социально-политической истории Японии в период позднего феодализма. М., 1963.

Гришелева Л.Д. Формирование японской национальной культуры. Конец XVI — начало XX века. М., 1986.

Дискуссионные проблемы японской истории. М., 1991.

Документы по истории японской деревни. Конец XVII — первая половина XVIII в. Пер. О.С. Николаевой. М., 1966.

Жуков Е.М. История Японии. Краткий очерк. М., 1939.

Загорский А.В. Япония и Китай: пути общественного развития в оценке японской историографии. М., 1991.

Из истории общественной мысли Японии: XVII–XIX вв. М., 1990.

Искендеров А.А. Тоётоми Хидзёси. М., 1984.

Искендеров А.А. Феодалный город Японии. М., 1961.

История Японии. Учебное пособие. Т. 1–2. М., 1998.

Кин Д. Японцы открывают Европу. 1720–1830. М., 1972.

Крауд Н.И. Очерки истории культуры средневековой Японии. М., 1980.

Кузнецов Ю.Д., Навлицкая Г.Б., Сырицын И.М. История Японии. М., 1988.

Лещенко Н.Ф. «Революция Мэйдзи» в работах японских историков-марксистов. М., 1984.

Лещенко Н.Ф. Япония в эпоху Токугава. М., 1999.

Молодяков В.Э. Консервативная революция в Японии. Идеология и политика. М., 1999.

Норман Г. Возникновение современного государства в Японии. М., 1961.

Очерки новой истории Японии. М., 1958.

Очерки социально-политической истории Японии. М., 1963.

Пасков С.С. Япония в раннее Средневековье. VII–XII века. Исторические очерки. М., 1987.

Подпалова Г.И. Крестьянское петиционное движение в Японии. М., 1960.

Попов К.А. Законодательные акты средневековой Японии. Пер. с яп. М., 1984.

Свод законов «Тайхорё». Вступ. ст., пер. и коммент. К.А. Попова. Ч. 1–2. М., 1985.

Совастеев В.В. Проблемы буржуазной революции Мэйдзи в японской историографии. Владивосток, 1984.

Симонова-Гудзенко Е.К. История древней и средневековой Японии. Учебное пособие. М., 1989.

Севаковский А.Б. Самураи — военное сословие Японии. М., 1981.

Толстогузов А.А. Очерки истории Японии XII–XIV вв. Становление феодализма. М., 1995.

- Толстогузов С.А.* Сёгунат Токугава в первой половине XIX в. и реформы годов Тэмпо. М., 1999.
- Тояма Сигэки.* Мэйдзи-исин. Крушение феодализма в Японии. М., 1959.
- Файнберг Э.Я.* Внутреннее и международное положение Японии в середине XIX в. М., 1954.
- Хани Горо.* История японского народа. М., 1957.
- Ханин З.Я.* Социальные группы японских париев (очерк истории до XVII в.). М., 1973.
- Ханин З.Я.* Парии в японском обществе (очерк социальной истории XVII–XIX вв.). М., 1980.
- Япония. Вопросы истории. М., 1959.

VI. Индийская модель

- Азимджанова С.А.* Государство Бабура в Кабуле и Индии. М., 1977.
- Алаев Л.Б.* Южная Индия. Социально-экономическая история XIV–XVIII вв. М., 1964.
- Алаев Л.Б.* Сельская община в Северной Индии. Основные этапы эволюции. М., 1981.
- Алаев Л.Б.* Община в его жизни. История нескольких научных идей в документах и материалах. М., 2000.
- Алаев Л.Б.* Средневековая Индия. СПб., 2003.
- Антонова К.А.* Английское завоевание Индии в XVIII веке. М., 1958.
- Антонова К.А., Бонгард-Левин Г.М., Котовский Г.Г.* История Индии. Краткий очерк. Кн. 1–2. М., 1979.
- Ашрафян К.З.* Делийский султанат. К истории экономического строя и общественных отношений (XIII–XIV вв.). М., 1960.
- Ашрафян К.З.* Аграрный строй Северной Индии (XIII — середина XVIII в.). М., 1965.
- Ашрафян К.З.* Средневековый город Индии XIII — середины XVIII в. М., 1991.
- Ашрафян К.З.* Феодализм в Индии: особенности и этапы развития. М., 1977.
- Бэшем А.Л.* Чудо, которым была Индия. М., 1977.
- Ванина Е.Ю.* Средневековое городское ремесло Индии. XIII–XVIII вв. М., 1991.
- Ванина Е.Ю.* Идеи и общество в Индии XVI–XVIII вв. М., 1993.
- Ванина Е.Ю.* Средневековое мышление. Индийский вариант. М., 2007.
- Гордон-Полонская Л.Р.* Мусульманские течения в общественной мысли Индии и Пакистана. М., 1963.
- Иванов Л.Г.* Очерки экономической истории Шри-Ланки (XVI — начало XX в.). М., 1978.
- Индия: общество, власть, реформы. Памяти Г.Г. Котовского. М., 2003.
- Индия в древности. М., 1964.
- История Индии в средние века. М., 1968.
- Касты в Индии. М., 1965.
- Луния Б.Н.* История индийской культуры с древних веков до наших дней. М., 1960.
- Медведев Е.М.* Очерки истории Индии до XIII века. М., 1990.
- Можейко И.В.* В Индийском океане. Очерки истории пиратства в Индийском океане и Южных морях (XV–XX века). М., 1980.

- Неру Дж.* Открытие Индии. М., 1955.
 Новая история Индии. М., 1956.
Олимов М.А. Очерки истории Синда в XVII — начале XIX в. (аграрные отношения и город). М., 1961.
Осинов А.М. Краткий очерк истории Индии до X века. М., 1948.
Павлов В.И. Социально-экономическая структура промышленности Индии. Исторические предпосылки генезиса капитализма. М., 1973.
Панникар К.М. Очерк истории Индии. М., 1961.
Рыбаков Р.Б. Буржуазная реформация индуизма. М., 1981.
Сингха Н.К., Банерджи А.Ч. История Индии. М., 1954.
Чичеров А.И. Экономическое развитие Индии перед английским завоеванием (ремесло и торговля в XVI–XVIII вв.). М., 1965.
Шарма Р.Ш. Древнеиндийское общество. М., 1987.

VII. Вьетнамская, малайская и индокитайско-яванская модели

- Бандиленко Г.Г.* Культура и идеология средневековых государств Явы. Очерк истории VIII–XV вв. М., 1984.
Бандиленко Г.Г., Гневушева Е.И., Деопик Д.В. История Индонезии. Ч. 1. М., 1992.
Берзин Э.О. История Таиланда (краткий очерк). М., 1973.
Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия в XIII–XVI веках. М., 1982.
Берзин Э.О. Юго-Восточная Азия и экспансия Запада в XVII — начале XVIII века. М., 1987.
Всеволодов И.В. Бирма. Религия и политика. Буддийская сангха и государство. М., 1978.
Деопик Д.В. История Вьетнама. Ч. 1. М., 1994.
 Из истории стран Юго-Восточной Азии. М., 1968.
 История Кампучии. Краткий очерк. М., 1981.
 Источниковедение и историография стран Юго-Восточной Азии. М., 1971.
Козлова М.Г. Бирма накануне английского завоевания. Общественный и государственный строй. М., 1962.
Козлова М.Г. Английское завоевание Бирмы. М., 1972.
Корнев В.И. Тайский буддизм. М., 1973.
Кулланда С.В. История древней Явы. М., 1992.
Левтонова Ю.О. Очерки новой истории Филиппин. М., 1965.
Левтонова Ю.О. История Филиппин. Краткий очерк. М., 1979.
Машкина И.Н. Вьетнам и Китай III–XIII вв. М., 1978.
Миго Андре. Кхмеры (История Камбоджи с древнейших времен). М., 1973.
Мовчанюк П.М. Яванская народная война. 1825–1830 гг. М., 1969.
Можейко И.В., Седов Л.А., Тюрин В.А. С крестом и мушкетом. М., 1955.
Можейко И.В. 5000 храмов на берегу Иравади (Паганское царство). М., 1967.
Можейко И.В., Узянов А.Н. История Бирмы (краткий очерк). М., 1973.
Мурашева Г.Ф. Вьетнам-китайские отношения. XVII–XVIII вв. М., 1973.
Новакова О.В., Цветов П.Ю. История Вьетнама. Ч. 2. М., 1955.
Ребрикова Н.В. Очерки новой истории Таиланда. (1768–1917). М., 1966.
Ребрикова Н.В. Таиланд. Социально-экономическая история (XIII–XVIII вв.). М., 1977.

- Рябинин А.Л.* Рождение империи Нгуенов: Социально-политическая история Вьетнама в начале XIX в. М., 1988.
- Седов Л.А.* Ангорская империя (социально-экономический и государственный строй Камбоджи в IX–XIV вв.). М., 1967.
- Спекторов Л.Д.* Феодалные отношения в Камбодже накануне установления французского протектората (основные формы земельной собственности в середине XIX в.). М., 1979.
- Тюрин В.А.* Ачехская война (из истории национально-освободительного движения в Индонезии). М., 1970.
- Тюрин В.А.* История Малайзии. М., 1980.
- Тюрин В.А.* История Индонезии. М., 2004.
- Холл Д.Дж.* История Юго-Восточной Азии. М., 1958.
- Чеснов Я.В.* Историческая этнография стран Индокитая. М., 1976.
- Чешков М.А.* Очерки истории феодального Вьетнама (по материалам вьетнамских хроник XVIII–XIX вв.). М., 1967.
- Юго-Восточная Азия в мировой истории. М., 1977.

VIII. Степная модель

- Бернштам А.Н.* Социально-экономический строй орхоно-енисейских тюрок VI–VIII веков: Восточно-Тюркский каганат и кыргызы. М., 1946.
- Владимирцов Б.Я.* Общественный строй монголов. Монгольский кочевой феодализм. Л., 1934.
- Владимирцов Б.Я.* Чингис-хан. Петербург–Москва–Берлин, 1922.
- Воробьев М.В.* Чжурчжэни и государство Цзинь (X в. — 1234 г.). М., 1975.
- Степная Азия и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1986.
- Гумилев Л.Н.* Древние тюрки. М., 1967.
- Гумилев Л.Н.* Поиски вымышленного царства. М., 1970.
- Гумилев Л.Н.* Хунны в Китае. М., 1974.
- Далай Чулууны.* Монголия в XIII–XIV веках. М., 1983.
- Дальний Восток и соседние территории в средние века. Новосибирск, 1980.
- Дальний Восток и Центральная Азия. М., 1985.
- Е Лун-ли.* История государства киданей (Цидань го чжи). Пер. с кит., введ., коммент. и прилож. В.С. Таскина. М., 1979.
- Ермаченко И.С.* Политика маньчжурской династии Цин в Южной и Северной Монголии в XVII в. М., 1974.
- Златкин И.Я.* История Джунгарского ханства. М., 1964.
- История Монгольской Народной Республики. М., 1983.
- Кара Дьердь.* Книги монгольских кочевников. Семь веков монгольской письменности. М., 1972
- Карпини П.* История монголов. Рубрук В. Путешествие в восточные страны. М., 1957.
- Китай и соседи в древности и средневековье. М., 1970.
- Крадин Н.Н.* Кочевые общества (проблема формационной характеристики). Владивосток. 1992.
- Крадин Н.Н.* Империя хунну. Владивосток. 1996.
- Кычанов Е.И.* Звучат лишь письмена. М., 1965.
- Кычанов Е.И.* Очерк истории тангутского государства. М., 1986.

- Кычанов Е.И.* Кочевые государства от гуннов до маньчжуров. М., 1997.
- Кычанов Е.И.* Властители Азии. М., 2004.
- Марков Г.Е.* Кочевники Азии. Структура хозяйства и общественной организации. М., 1976.
- Материалы по истории древних кочевых народов группы дунху. Введ., пер. и коммент. В.С. Таскина. М., 1984.
- Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Вып. 1. Предисл., пер. и примеч. В.С. Таскина. М., 1968.
- Материалы по истории сюнну (по китайским источникам). Выпуск второй. Предисл., пер. и примеч. В.С. Таскина. М., 1973.
- Mongolica. Памяти акад. Б.Я. Владимирцова. 1884–1931. М., 1986.
- Мункуев Н.Ц.* Китайский источник о первых монгольских ханах. М., 1965.
- Мэн-да-бэй-лу (Полное описание монголо-татар). Пер. Н.Ц. Мункуева. М., 1960.
- Плетнева С.А.* Кочевники средневековья: поиски закономерностей. М., 1982.
- Степи Евразии в эпоху средневековья. М., 1981.
- Татаро-монголы в Азии и Европе. М., 1977.

IX. Тайваньский вариант

- Гудошников Л., Кокарев К.* Политическая система Тайваня. М., 1999.
- Иванов П.М.* Гонконг. История и современность. М., 1990.
- История Китая. Под ред. А.В. Меликсетова. Главы XVIII–XX. М., 2004.
- Многopартийность на Тайване. М., 1999.
- Современный Тайвань. Иркутск, 1944.
- Тодер Ф.А.* Тайвань и его история (XIX в.). М., 1978.

Содержание

Предисловие.....	3
<i>Введение. Восток и Запад в русле всемирной истории</i>	7

Часть I

Противостояние западной и восточных моделей

<i>Глава 1. Восток и Запад на рубеже Средневековья и Нового времени</i>	13
<i>Глава 2. Азиатско-деспотическая система традиционного общества (в свете антитезы «Восток–Запад»).....</i>	75
<i>Глава 3. Историческая динамика Запада и Китая</i>	112
<i>Глава 4. Цивилизации Востока и Запада на рубеже Нового времени</i>	152
<i>Глава 5. Упадок Востока и переход мировой гегемонии к странам Западной Европы</i>	173

Часть II

Сравнительный анализ азиатских моделей

<i>Глава 1. Арабо-османская модель традиционного общества</i>	193
<i>Глава 2. Китайская модель: становление и функционирование</i>	214
<i>Глава 3. Японская и китайская модели: фундаментальные отличия</i>	257
<i>Глава 4. Индийская и китайская модели: сравнительный анализ</i>	287
<i>Глава 5. Вьетнамская, малайская и индокитайско-яванская модели</i>	330
<i>Глава 6. Степная модель. Кочевые государства</i>	369
<i>Глава 7. Смена модели: тайваньский вариант</i>	401
<i>Заключение</i>	417
<i>Литература</i>	429

ТИПОЛОГИЯ АЗИАТСКИХ ОБЩЕСТВ

В книге дается анализ различных региональных и страновых моделей, типов общественных структур, сценариев исторического развития, систем, механизмов и вариантов социальной эволюции. Работа состоит из двух частей. В первой части показаны коренная противоположность и историческое противостояние между западно-европейской и традиционными восточными моделями Средневековья и Нового времени. Во второй части анализируются восемь азиатских моделей традиционных обществ: арабо-османская, китайская, японская, индийская, вьетнамская, малайская, индокитайско-яванская и степная. На примере Тайваня показана смена китайской модели на западную. Заключение посвящено синтезу западной и восточных моделей как господствующему варианту модернизации Востока.



ISBN 978-5-02-036429-5



9785020364295